

КОНТИНЕНТ 59

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

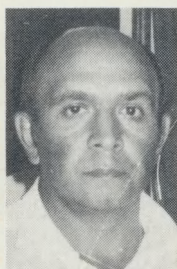
Путешествия – один из элементов советской действительности. Конечно, приходится считаться с воз-



можными опозданиями или ожиданием на пересадке, однако это никого не доводит до бессонницы. Если путешествуешь поездом, то известно, что надо заправиться в дорогу едой...

Барбара Поляк

Сколько тюремных ворот я прошел, в каких только стенах меня не запирали под замок: конвойные, собаки, начальники... по-давали мне команды, лаяли, уговаривали, сердились, улыбались; зэки, соузники – и они ведь не на одно лицо, хоть все направлено на то, чтобы обезличить их...



Алексей Мурженко

Понятие искренности в искусстве существует, сколько живет оно само. Это, прежде всего, честность художника перед самим собою – при изображении всего, что его заботит, тяготит, тревожит, вызывает протест и боль: за судьбу общества, поколения, страны, в конечном итоге – всего мира. При определенном



уровне профессионализма, писательского мастерства искренность непременно передается читателю, ощущается им благодарно и вызывает ответное чувство – доверие. Так автор и читатель становятся соучастниками одного и того же процесса – решения... наболевшей проблемы...

Наталья Кузнецова

Искусство XX века, как ни в одном предыдущем столетии, пережило существенные изменения стилей,



поисков авангардных представлений, связанных с развитием философии, науки, переменами в социальной и политической жизни, расширением средств массовой информации...

И. Левкова-Ламм

Можно «принимать» или «не принимать» Честертона – но если принимать, то полностью таким, каким он был. Аверинцев

подчеркнуто упоминает – в числе его «странных», – что писателю, во многом расхолившемуся с веком рационализма, было свойственно идеализировать Средневековье...

Иосиф Косинский



Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов · Ценко Барев · Ален Безансон
Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес
Ежи Гедройц · Михаил Геллер · Александр Гинзбург
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Пауль Гома · Милован Джилас · Пьер Дэкс
Ирина Иловайская-Альберти · Эжен Ионеско
Оливье Клеман · Роберт Конквест
Наум Коржавин · Эдуард Кузнецов
Николаус Лобковиц · Эрнст Неизвестный
Амос Оз · Ярослав Пеленский · Норман Подгорец
Андрей Сахаров · Андрей Седых · Виктор Спарре
Странник · Сидней Хук · Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

Италия	Сергей Рапетти Sergio Rapetti, via Beruto 1/B 20131 Milano, Italia
США	Эдуард Лозанский Edward D. Lozansky 3001 Veazey Terrace, N.W. Washington, DC 20008, USA
Япония	Госюке Утимура Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7 189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» – © В. Е. Максимова



КОНТИНЕНТ

**Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал**

59

**Издательство «Континент»
1989**

СОДЕРЖАНИЕ

Виктория П л а т о в а – Неяркая жизнь Сани Корнилова. Повесть	7
Яков О с т р о в с к и й – Стихи	70
Владимир С о л о у х и н – Фантастический разговор. Рассказы	77
Елена Д у н а е в с к а я – Стихотворения	127
Владимир М а к с и м о в – Кто боится Рэя Брэдбери? Сценическая фантазия в 2-х актах и 6-ти сценах	134
Лев Л о с е в – Новые сведения о Карле и Кларе. Стихи	189
Михаил М о р г у л и с – Степной этюд. Рассказ	198
Константин С е д у н о в – Стихи	202
Алексей Т у р б и н – Словарь обиняков	208
Анастасия Х в о с т о в а – Стихи	222
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Виктор С у в о р о в – Зачем коммунистам оружие? Отчего Сталин не верил Черчиллю. Почему Сталин не верил Рихарду Зорге	227
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Барбара П о л я к – В Москве летом 1988 года. Перевод с польского <i>Н. Горбаневской</i>	261
ЗАПАД – ВОСТОК	
Самюэль Б р ю с с е л ь – Границы Востока	275
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Алексей М у р ж е н к о – ГУЛАГ после Солже- ницына	281
ИСТОКИ	
Яков А й з е н ш т а т – Воспоминания об Алле Константиновне Тарасовой	293
РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ	
Иосиф К о с и н с к и й – Переводя Честертона	299

ИСКУССТВО

- Иннеса Л е в к о в а - Л а м м** – Деконструкция как метафора 309

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

- Наталья К у з н е ц о в а** – Магнитная стрелка искренности. К 35-летию статьи В. Померанцева 323

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- Людмила К у р и л о в а** – Встречи с Н. К. Зеровым. Воспоминания в письмах к *Юрию Шевелеву* 335

- КОЛОНКА РЕДАКТОРА** 361

- НАША ПОЧТА** 365

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- Н. Т.** – Сквозь дым легенд 377

- Михаил Л е м х и н** – О безобидных пришельцах и кровожадных дикарях 381

- Ольга М и р о н о в а** – «Книга о книге веры» 385

- Игорь Е ф и м о в** – Экспортный вариант перестройки 388

- Ада Ш л а е н** – В поисках самих себя... 393

- КОРОТКО О КНИГАХ** 397

- ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ** 403

НАША АНКЕТА

- Интервью с лауреатом Нобелевской премии по литературе **Клодом С и м о н о м**. Ведут *Н. Горбаневская и Н. Дюжева* 435

НЕЯРКАЯ ЖИЗНЬ САНИ КОРНИЛОВА

Рисовать Саню учил отчим Ховралёв. То есть он и не отчим ему был, мог стать отчимом, но не успел. Да и рисовать научить тоже не успел. Но краски подарил и, как говорится, пристрастил, заронил в душу огонек. Слабенький огонек тлел-тлел, да в сущности и погас. Тогда, в ту осень, когда не стало матери, Сане шестой год шел. Он даже и не знал, что она отравилась, ему сказали, что умерла. Ну, умерла и умерла – он еще не мог почувствовать смерти, детям не дано ее чувствовать, обычно они заражаются горем близких, а тут круто так наворачивались скандалы. Как видно, Ксюшина смерть никого не обделила, разве что его, Саню, а наоборот, развязала какой-то запутанный узел, так что горевать особенно было некому. Да и новую петельку накинула – Саню надо было теперь тащить тетке, она, правда, сама вызвалась, но при этом костила Ксюшу, осиротившую парня, на чем свет стоит, всю жизнь ругала, уже когда годы прошли, когда он уже сам себя кормил, тетка без упреков Ксюшу не поминала. Из этих поминаний, когда научился понимать, Саня и понял, что мать не умерла, а отравилась. Мало-помалу, то из теткиных слов выуживая, то вороша в тусклых закромах памяти, он вытряс и выстроил пыльную, неуютную, наполненную горьким светом картину своего детства.

Зачем это было ему нужно, он не знал, но одинокие люди часто думают о себе больше, чем следует, и Сане в отрочестве и потом, в юности, интересно бывало думать о том, что у него есть, где-то и сейчас живет, родной отец. Правда, знание это было умозрительное, не одушевленное ни единым воспоминанием об отцовской ласке, об отцовской улыбке. А ведь тогда, пока еще

была жива Ксюша, жил отец не где-нибудь на другом конце света, а тут же, в одной комнате с ними. Ясно, отчетливо Саня помнил только поставленные в ряд посередине комнаты стулья – от шкафа до стены, причем шкаф тоже от стены был развернут вдоль комнаты и вместе со стульями обозначал раздел, за который Сане ходить не полагалось. На один из стульев отец вешал свой китель – вот этот черный китель с золотыми погонами, такими яркими в тусклом свете маленькой лампы, особенно запомнился ему. Украдкой он подбирался к стулу, пытаясь не двигая, не шевеля стоящие рядом, заглянуть с другой стороны на лацкана, на орденскую колодку из трех разноцветных ленточек, на пуговицы – вообще почему-то дотрагиваться до кителя было особенно заманчиво и щекотливо. Но пересекать рубеж, за которым кончались владения их с матерью и начиналась территория отца, строго запрещалось. И так хитроумно была поделена комната этими стульями и шкафом, что все вроде бы получалось поровну: у отца оставался письменный стол с лампой под зеленым стеклянным колпаком, зато в их половину был обернут створками зеркальный шкаф, а на отведенном с середины потолка проводе светила маленькая люстрочка; там стоял диван, а тут за шкафом двуспальная кровать – на ней Саня спал вместе с матерью; и даже обеденный стол кое-как, но все-таки вмещался на их половине, но зато окно со всем льющимся сквозь стекла светом, с подоконником, с раскинутым за ним двором – принадлежало отцу. И это было, конечно, несправедливо. Оказывается, Ксюша тоже так считала, что это несправедливо оставлять ребенка без дневного света, но капитан иначе не соглашался делить комнату. Должно быть, просто из вредности, из лютой злобы на Ксюшу, из желания покрепче отомстить ей – скорее всего за нелюбовь к себе. И чем-то он умел так пригрозить ей, или она его вообще боялась, что всегда во всем, кроме одного, уступала. Сначала, оказывается, она и представить не

могла, что его злоба распространится и на сына и даже не думала запрещать Сане бегать к окну, взбираться на подоконник и через форточку перекрикиваться с мальчишками, но это было до тех пор, пока отец не поставил все шесть стульев поперек комнаты – три спинками в сторону их половины, а три сиденьями.

Саня много раз силился вспомнить, что и когда говорил отец, и никогда не то чтобы слов его не вспомнил, но даже ни разу не всплыло в памяти лицо отца с разомкнутым для говоренья ртом. Оно оставалось в памяти каменным, намертво замурованным, без всякого выражения – он не помнит даже самого незначительного шевеления его узких, крепко припаянных друг к другу губ. Саня только отчетливо видит те немногие движения и жесты, которые требовались отцу, чтобы, придя домой, зажечь лампу на столе, снять китель, разбросать простыню, подушку, одеяло, погасить лампу и лечь лицом в спинку дивана.

Потом Ксюша, протянув от верха шкафа до стены веревку, повесила ситцевую занавеску, достающую до спинок стульев – убрать стулья и повесить занавеску до полу, очевидно, было нельзя. Но с тех пор Саня видел отца только в те минуты, когда тот проходил их половину. Должно быть, и была так хитроумно поделена комната, чтобы он непременно проходил через них, иначе, по его мнению, им было бы незаслуженно удобно жить. Но как бы им не было теперь плохо, видно, Ксюше еще очень нравилось жить на белом свете, и она часто вечерами, распахнув дверцы шкафа, сняв с плечиков вешалки выходное платье, распускала по плечам волосы – пепельного цвета, как потом догадался Саня, потому что когда-то они казались ему голубыми, до того были пушистыми и легкими – и долго колдовала маленькой щеточкой над маленькой черной коробочкой, слюня щеточку, потирая ею в коробочке, поднося ее к ресницам, так легко и мгновенно касаясь их, что непонятно было, касается ли и если касается, то зачем; среди од-

нообразия этого действия, скосив на Саню ласковые и почему-то виноватые глаза, она говорила: «Санек, я поздно приду, ты не жди меня, попей молочка и ложись. Хорошо?» И Саня согласно кивал головой, хотя хорошо ему вовсе не было. И когда она шептала на ухо: «Дурачок, ты же не один остаешься, чего бояться?» – он не знал, как объяснить, что именно потому и боится, что не один. Казалось, что если бы один, то не боялся бы...

А Ксюша, последний раз глянув на себя в зеркало глазами, ставшими вдруг крылатыми, как готовые сорваться в полет птицы, убегала... Куда она убегала, Саня не знал и не задумывался, но наверное можно сказать – туда, где не надо было говорить шепотом, где можно было громко, непринужденно смеяться, встряхивая головой, обдавая всех легким летящим дымком волос, где пили вино, пели – Саня ни разу не слышал, чтобы мать пела, но тетка, ругая Ксюшу, говорила: «А все эти али-вали – траливали, все бы это хвостом вертела да песни пела, сумасбродка непутевая!» – может быть, там даже танцевали, и Ксюша, положив руки на плечи партнера, тоскливо и нежно прижималась к нему; а может быть, там рассуждали, спорили, тогда, наверное, одна Ксюша молчала, сквозь папиросный дым ширя серые крылатые очи, и, должно быть, ее особенно любили за умение слушать и молчать.

Может быть, за это и полюбил ее Ховралёв. Во всяком случае, он определенно любил ее, а не то, чтобы ему было негде ночевать, как объясняла Сане Ксюша. Он появился вскоре после того, как она повесила ситцевую занавеску. В ночь, когда она впервые вернулась не одна, Саня крепко спал и вовсе не слышал прихода матери, но среди ночи, привычно ища ее теплоты, наткнулся на что-то грубое, жесткое, открыл глаза и увидел, что спит между матерью и кем-то еще. Однако мать, лежавшая без сна, тотчас поймала его испуганный взгляд и, прижав к себе, зашептала на ухо: «Не бойся, родненький, это дядя один, ему ночевать негде... Он поспит

здесь и уйдет утром. Раненько-раненько, ты не буди его, лапусенька, спи спокойно...»

Он хотя и был озадачен и полон любопытства, но все ж таки и вправду уснул и не слышал, как и когда бородатый дядя ушел. Ксюша разбудила его, как обычно, торопливо собираясь на работу, и по дороге в детский сад еще раз втолковывала ему, что дяде, ночевавшему у них, совсем в целом свете некуда идти спать по ночам – днем он у друзей бывает или по улицам ходит, а ночью – хоть в саду на скамейке спи, но тоже нельзя. Она только не могла бы ему объяснить, почему – почему негде спать, почему у друзей нельзя, а только у нее, в самой неподходящей обстановке, где же он до того спал? Но Саня очень на объяснениях не настаивал и Ксюшины слов: «Вот ведь бывает так, ты еще маленький, не всё поймешь, еще и не такое бывает, Санёк!» – оказалось достаточно.

А Ховралёву и точно негде было ночевать. И точно, что вряд ли Саня сумел бы в те годы понять причину его бездомья. Особенно, если бы узнал, что не только сам по себе дом, в котором Ховралёв родился и вырос, существовал где-то совсем неподалеку, но и мать Ховралёва живой и невредимой жила в той же с детства ему знакомой коммунальной квартире – но идти туда он не мог.

Он только что вышел из заключения, в которое попал, так и не кончив одиннадцатого класса художественной школы. К моменту ареста ему уже исполнилось восемнадцать лет, и его судили за участие в подпольной организации, созданной с целью захватить и угнать к финским берегам катер или какой-нибудь другой корабль – судили на полную катушку с лишением прав на жительство в Ленинграде по истечении срока сидки.

Он был затейливый и упрямый человек – этот Ховралёв – так потом понимал о нем Сеня. Много лет потом он узнал, что вся та подпольная организация состояла из четырех парнишек, а при аресте у них найдены были

рисованные ими карты несуществующего государства и планы похищения у несуществующих врагов несуществующего корабля. Но исполнены они были – со столь тщательным мастерством, на которое только способны ученики художественной школы, набившие руку на подделке билетов в кино, проездных карточек и прочей мелочи – что тоже было обнаружено и присовокуплено к делу. К тому же у Ховралёва был найден при обыске револьвер – у многих послевоенных мальчишек можно было найти эту неоспоримую улику, да, к счастью, не у всех искали...

Впрочем, все это Саню никак не касалось, а вот то, что отсидев срок, заматеревший на лесоповале, обутый в кирзовые сапоги и черную косоворотку с белой пуговкой у ворота, хриплоголосый, обросший бородой, Ховралёв не пожелал жить на сто первом километре, а избрал своим уделом полуголодное бездомное незаконное мотание по городу, по утрам укрываясь в пустых музейных залах, вечера празднуя в мастерских друзей-художников, ночи в случайных постелях – коснулось Сани, и даже очень. Но с Ксюшей у него получилось что-то не случайное и не из благодарности, не из соображений удобств – потому что какое ж это удобство: спать с самого края постели, одним боком свисая с нее, а другим прижимаясь к мальчишескому тельцу, будто нарочно сделанному из одних локтей и коленок, и лишь закинутой на подушку рукой, самыми кончиками пальцев гладить, перебирать пушистые нежные прядки ее волос, не смея даже слова сказать, – какое ж этой удобство? Вдруг среди ночи сквозь чуткий сон Ксюша услышала, как, сняв со стула китель, застегивается на все пуговицы и проходит мимо них к дверям капитан. Она понимает неотступную беду и будит его, и надо бежать через черный ход, по длинному темному коридору, мимо дверей, из-за которых несется храп, босиком, держа сапоги в одной руке, другой сжимая холодные Ксюшины пальцы, не видя ее, но угадывая: сейчас по-

ворот, а здесь кухонный порожек? Ксюша скользит неслышно, она тоже босая, в одной сорочке, и ключ долго дрожит и бьется о замочную скважину, и нет времени обнять ее напоследок, надо бежать по черной неосвещенной лестнице, мучительно думая, как она там отвертится? А очень просто:

– Нет никого и не было. Вот, пожалуйста, документы, тоже не стыдно, мальчишку разбудили...

– Был здесь кто?..

Саня только ревет со сна...

– Это же зверь, а не человек! Что вы его слушаете, он же со зла всё...

Так начались скандалы, которые Саня хорошо помнит, – полубезмолвные, потому что капитан так ни разу и не открыл рта для того, чтобы ответить, но Ксюша кричала, плакала, причитала над своей судьбой, подолгу, безостановочно проклиная его, паука, кровососа, изувера, сектанта, злое несусветное чудовище...

И все-таки Ховралёв приходил еще. Он приходил еще и еще, и Саня не может вспомнить, сколько раз это было. Случалось, что капитан не ночевал дома. Вряд ли по личной надобности – он бы пренебрег ею ради удовольствия мстить, скорее всего его вынуждала к тому служба. И тогда ночью Ксюша с Ховралёвым переносили спящего Саню на диван. Он сам не знал почему, но не подавал вида, что просыпается; лежал, затаившись, как мышка, и вслушивался в незнакомый хриловатый голос.

Потом, через много лет вспоминая, Саня особую благодарность испытывал к Ховралеву за то, что тот любил его мать. Это было бесспорно и неопровержимо, хотя бы потому, что не мог же он, не любя его мать, так говорить о нем, Сане. С тягучей тоской вспоминал Саня безмерно обнадеживающие слова: «Ты, девочка, не применяй к нему этого дурацкого слова – «калека» – ей-Богу, ни к чему! Вот принесу ему краски, начну учить его рисовать – да, может, у него талант,

откуда ты знаешь? Ты Лотрека знаешь? Тулуза Лотрека?»

«Ты фантазер, ты ужаснейший фантазёр», – лепетала Ксюша, и под ее счастливый лепет, так и не дослушав про Лотрека, Саня засыпал...

Но краски Ховралёв принес. Он принес их днем, когда Саня заболел и Ксюша не повела его в детский сад, но сама на работу пошла, только предупредила, что дядя Володя придет: «Он с тобой посидит, чтоб тебе не скучно было, посидит-посидит, а потом пойдет, тогда я скоро приду, ладно, лапусенька?»

Ховралёв принес краски и бумагу – не альбом для рисования, а отдельные листы, и, сколько их было, Саня не помнит, но помнит, что, сколько ни было, они с Ховралёвым все их изрисовали. Все выходило легко и весело, Ховралёв шумно, раскатисто хватил его, восторгался и подымал своими восторгами куда-то высоко-высоко – никогда более так высоко не парила душа Сани Корнилова.

Но в ту ночь как раз Ховралёва забрали. В ту ночь жизнь казалась Сане совсем прекрасной, и тихое их лежание втроем в одной постели бок о бок было овеяно такой дружбой, такой надеждой, что, должно быть, поэтому они все трое – и чуткая Ксюша тоже – уснули крепким безмятежным сном. Капитан, никем не услышанный, прошел к дверям, вышел, потом вернулся, а через какое-то время в дверь постучали – Ксюша вскочила, Ховралёв вскочил, но дверь была не заперта, и от порога милицейский голос сказал: «Спокойно, товарищи! Предъявите документы!»

Ховралёва увели. Ксюша рыдала громко, надсадно, почему-то не проклиная капитана, не обзывая его никак; а только повторяя одно и то же: «Что же я наделала, Господи, что же мы с тобой наделали, Господи, что же мы сделали, что же делать теперь, что же делать?...» Потом она лежала как мертвая, но из ее без-

надежно распахнутых глаз лилось и расплзалось по комнате такое горе, что нечем было дышать...

Через какое-то время по комнате покати́лся капитанов храпок, и вдруг Ксюша сорвалась с кровати и началось что-то ужасное: она швыряла ногами стулья, сорвала со стола скатерть со всем, что на ней было, — патлатая, рвущая на себе рубаху, она металась и — что было самым страшным — не кричала, а сдавленным не своим голосом хрипела: «Иди, звони, беги, пусть и меня заберут, пусть, что же ты не бежишь?!» — но капитан только храпеть перестал, головы не повернул.

Он не хотел никуда бежать — он знал, должно быть, что так Ксюше будет хуже всего. Еще несколько дней прошло самых страшных, самых тягостных в Саниной жизни. Утром Ксюша вела его, как всегда, в детский сад, в положенное время забирала, но он не помнит, сказала ли она ему хоть слово в те дни — от ее молчания было гораздо хуже, чем от молчания отца, тем более, он уже знал, что будет ночью. Ночью Ксюша вскакивала, расшвыривала аккуратно расставленные в линейку стулья, била посуду, скандалила, буянила, соседи стучали в стену и в дверь, требовали прекратить скандал; они-то, наверное, и вызвали бы милицию или, может быть, скорую, продлись это еще пару ночей, но не успели...

В тот день за Саней в детский сад пришла тетка — то есть не тетка, а Ксюшина какая-то дальняя родственница, десятая вода на киселе — и увела его к себе. Всю дорогу она всхлипывала, причитала, крестилась, а дома сказала ему, что мама умерла.

Ксюшу хоронили скверным осенним днем под морозящим дождем. В хлипкой грязи вокруг могилы стояли какие-то люди, которых Сане никогда прежде не приходилось видеть. Он кружил возле них, сначала приставив к животу теткин зонтик, фырча и гудя как паровоз, а потом, подняв с мокрой земли теткину хозяйственную сумку, вцепившись в ее обмотанные изоляционной лен-

той ручки, рулил впереди себя, воображая, что едет в автомобиле, и, поглощенный ездой, был бессмысленен и безмятежен.

Помнил ли об этом Саня или потом ему тетка рассказала? Какая разница? Может, помнил, а может, нет...

Конечно, она пришла гораздо позднее – эта, все поглотившая – и даже память – мечта о собственном автомобиле.

Что бы там ни говорил Ховралёв, утешая Ксюшу, но Саня и в самом деле был от рождения калек. Его правая нога была намного короче левой, должно быть, в результате не распознанного вовремя внутриутробного вывиха. Правда, потом, уже во взрослой жизни, он узнал, что можно лечь на операцию и ногу вытянут, неизвестно только, на все ли недостающие сантиметры – гарантии тут не могло быть, да к тому же он настолько привык к этому времени не думать о своей внешности, жить в полном пренебрежении к ней, весь ход жизни подчиняя одной-единственной цели, что мысль об операции занимала его недолго и сама собой улетучилась.

Мальчишкой же, все свое детство, он так или иначе испытывал во всем своем физическом существе недостаток нескольких сантиметров. Ксюша, покупая ему новые ботинки, сразу же несла их сапожнику, и тот набивал на один каблук толстенную набойку, но все равно при ходьбе Саня сильно кособочился, и чем быстрее двигался, тем некрасивее. Но, если не думал о красоте, то мог, как другие, бегать и прыгать, и вообще до смерти Ксюши увечье почти не томило его, а вот, попав к тетке, он само собой разумеющимся образом приобщился к армии бедных, Богом обиженных калек и сирот.

Тетка Аля принадлежала по своей природе к тем прицерковным старухам, которые хоть сами и не стоят с протянутой рукой на паперти, но всей душой, каждым извивом характера вечно нищенствуют. Доставшийся

ей в воспитанники хромой сиротка был нужен ей закономерно с ее представлениями о божеском и человеческом. Существовая подле нее, он как бы утверждал ее в праве на вечный тягостный стон, на страдальчество. Капитаном он востребован так и не был с тех самых пор, как она взяла его из садика в день смерти Ксюши, но официально он от ребенка не отказывался, и, когда в один прекрасный день забыл платить алименты, тетка из страха потерять Саню, напоминать не стала. Но зато стонать и жаловаться Господу Богу могла еще испульнее.

Связанные с ращением Сани хлопоты сами по себе ей не были тягостны, напротив, ей нужно было печься о ком-нибудь и кому-нибудь сострадать. Но в ее сострадании было то кликушеское упоение, которое всякого, на кого оно падает, заставляет действительно страдать, отделяя от других людей сознанием полной невозможности перестать быть объектом сострадания. Саня был прочно окрещен теткой «убогим сиротинушкой», и уж как бы там он ни представлял самого себя, мало-помалу должен был всей душой срастись и со своим убожеством, и со своим сиротством. Мир для тетки четко делился на «других» и на «нас с тобой, сирот убогих». Она то и дело говорила: «Ты на других-то, Санечка, не гляди: что у них есть, то не про нашу честь» или «другим-то что? Об них есть кому позаботиться, а об тебе и мать родная не много думала...» Стало быть, думать надо было о себе самому, и в одиночку.

Жалобный теткин мотив не просто изнурял душу, но, как ему и назначено было, отдалял от «других», приучал к одиночеству. Говорят, дети бывают жестоки, и оттого калечные дети часто чуждаются своих сверстников, но Сане и не пришлось испытывать на себе меру их недоброты – его отделяла от них не их злоба, а чрезмерное, слезливое, пугающее сочувствие тетки. Им она на долгие годы прирастила к себе Саню, но прирастить окончательно, сделать из него маленького богомола,

не смогла. То есть если бы очень хотела, то смогла бы, но в ней, наряду с любовью ходить в церковь, молиться и причитать, совсем не было аскетического фанатизма. Она как-то даже преувеличенно уважала школьных учителей и яростно молилась Богу, дабы Он не допустил, чтобы других-то, которые побойчей, приняли в пионеры, а ее, пыльным мешком стукнутого, неровён час, обошли; она любила выпить – не до пьяна, а так, чтобы по нервам разошлось – тогда ей особенно давались слезливые воспоминания о покойнице Ксюше и горестные проповеди в адрес Сани; она любила копить деньги, причем откладывать из их средств было почти нечего, и она копила не десятками и даже не рублями, а копейками, так что сумма, имеющая реальный смысл, скопилась у нее только к тому времени, когда Саня стал уже взрослым и жил все в той же пятнадцатиметровой комнате вместе с ней, но своей отдельной жизнью. В детстве он часто видел, как, рассыпав по столу мелочь, она складывает в столбики один-два рублика. Он никогда не просил – знал, что просить нельзя, ибо в ответ услышит одно: «Да ты что, Санек, ты на других-то не смотри, они всё себе позволить могут: и кино разные, и эскимо – и всякое баловство, а нам с тобой на черный день копеечку отложить бы...» Когда столбиков становилось несколько, она завязывала мелочь в платок и несла в магазин менять в кассе, а бумажную денежку крепко прятала. Сберкассе она не доверяла и в реформу объявила Сане, что «обормотилась», но забот о черном дне не оставила, составляя в столбики сэкономленные медяки; она научила Саню, зажигая газ, не чиркать лишнюю спичку, а уже обгорелой зажечь от соседской конфорки; снаряжая в баню, напоминала, чтоб не тер без толку мочалку мылом и не оставлял бы мыло в воде. С годами. Саня, не пренебрегая всеми старушечьими мелочными статьями экономии, присоединил к ним и свои более основательные, а в конце концов вовсе перестал питаться одним котлом с теткой и давать ей деньги.

Это было в самом начале его пути к цели, но как раз тогда и постиг его первый удар – «москвичи» подорожали почти вдвое, и, должно быть, просто от отчаяния ему пришла в голову мысль выяснить у тетки размеры ее сбережений. Вопрос наверняка испугал бы ее, она заподозрила бы Саню в посягательстве на капитал, разговор предстоял малоприятный. Саня откладывал его со дня на день, но наконец, возвращаясь домой, твердо решил, что сейчас же как придет, так и спросит. Однако, едва переступив порог, понял, что опоздал; по всему полу, по кровати, дивану, столу перекатывались волны ситца – белого в незатейливый мелкий цветочек – и среди них, утопая и пыхтя, клубилась Алевтина, вооруженная Саней линейкой, делая отчаянные попытки перемерить километровый отрез. «Что это?» – изумленно спросил Саня, и Алевтина ответила с каким-то деланным смирением, но в то же время запальчиво:

– А это, Санечка, мое смёртное. Я же не вечная, как какой-нибудь жид проклятый, того и гляди помру, а тебе и похоронить меня не в чем, всю жизнь в тряпье проходила, что ж мне и в гроб в рванье ложиться, за всю жизнь того не переносила, что другие каждый день меняют...

Мысль о предстоящей якобы теткой кончине Саню не напугала: не умственного, а какого-то мышечного, мускульного здоровья в Алевтине было – хоть отбавляй, но и вопросов к ней он более не имел. Все было ясно: на это легкомысленное «смёртное» она ухлопала если не все свои сбережения, то во всяком случае ту их часть, что должна была остаться от трат на похороны, оставшееся же трогать не позволит... К тому же, со всей очевидностью представилась ему мизерность суммы, на которую он мог рассчитывать, – что она могла значить в океане требуемых сумм? Ровно ничего.

А впрочем, Саня сам копил по грошам.

Воспитанный теткой в сознании нищенства, убожества и сиротства, Саня не то чтобы однажды резко пере-

ломил свой характер и отторгся душой от маленького одинокого мирка, в котором жил – нет, если бы так случилось, он стал бы иным человеком, – но в том-то и дело, что внешние перемены в образе жизни не повлекли за собой искоренения всего, прочно заселившего его нутро. Просто это кособокое, угрюмое, ущемленное решило на свой лад во что бы то ни стало выжить. Началось с навязчивого желания внешне – вовсе не меняясь внутренне – не то чтобы сравняться; это было бы неисполнимо, – но превзойти в чем-то тех «других». Казалось бы, что может быть естественнее желания мальчишки четырнадцати лет закалить свой организм, не бояться ни холода, ни сквозняков? И Саня стал размахивать посреди комнаты гантелями, дрызгаться в раковине под холодной водой, в конце концов до того довел дело, что к семнадцати годам спокойно прохаживал зиму без пальто, не то что без зимнего, а вообще без всякого, не говоря о головном уборе.

Должно быть, всякому случалось хоть раз в жизни увидеть в текущей навстречу толпе феноменальную фигуру, сквозь простуженный воздух, задымленный морозным дыханием сотен укутанных в платки, меха, упакованных в вату зябких людей, несущую всем на показ выставляемое несокрушимое здоровье. В одном пиджаке, в небрежно закинутом на плечо ничего не укрывающем шарфике, а то и без него, фигура эта как-то особенно выдавливается из толпы, чем-то таким озабоченная, как бы целиком поглощенная приближением к какой-то определенной цели, она вроде бы не замечает недоуменных взглядов – но это неправда: взглянитесь, и вы почувствуете, что цели нет, спешить некуда, но всеобщее внимание обжимает ее со всех сторон, словно бы приподымает и понуждает едва касаться земли. Вглядитесь в подобного чудака, и вы всегда найдете в нем особую не призывающую к подражанию жалость. Обветренной шеей выглядывает он из обтрепанного воротничка несвежей рубашки, навсегда лишенной

пуговицы; ошпаренные холодом руки нескладно торчат из коротких рукавов пиджака, дешевое букле которого на локтях и по обшлагам карманов расползлось, наглядно демонстрируя надуманность союза белого с черным; обвислые на коленях брючины не достают до башмаков, тем самым обнажая их латанное убожество и всей фигуре придавая щемящую бесприютную детскость. Так и пахнет на вас заброшенностью, закинутостью человека в такую безысходность, из которой чтобы выдраться, кажется, и кожу бы с себя снял, не то что пальто, а он высунулся фиолетовой шеей и счастлив.

И Саня едва не умножил собой это бедное воинство: организм свой закалил, не боялся больше ни ветра, ни дождя, ни холода, но еще более оказался жалок и одинок.

Где-то на самом исходе отрочества он едва не полюбил. Но любовь приманила его красным дразнящим язычком и тут же скорчила рожу. Дело было так: брел он бесцельно, исключительно ради закалки без шапки и пальто по заснеженной площади Искусств и на углу улицы Ракова, должно быть, от желания придать взгляду осмысленность, направил его на будку телефона-автомата. И тут же увидел забытую кем-то записную книжку в потертом сафьяновом переплете. Еще не взяв ее в руки, он точно знал, что мужчине она принадлежать не может. И в самом деле: на первом листке старательно аккуратным почерком специально для него, Сани, было выведено: «Божанна Макарова», адрес и телефон. Все остальные страницы были исписаны вдоль и поперек, сумбурно, размашисто, то чернилами, то карандашом, номера телефонов, то есть имена их владельцев никак не могли, вероятно, в представлении Божанны зависеть от неизвестно кем и зачем установленного алфавитного порядка; на одном листе, разорванном пополам, было очень старательно выведено: «Жизнь – это вальс, в котором не каждый может кружиться с успехом». Саня перевернул страничку и наткнулся на предписание:

«Аскетизм, аскетизм и еще раз аскетизм!» – и тут же под ним другими чернилами, очевидно, позднее возникший недоуменный вопрос: «Совместить аскетизм и Кирилла? Но как?!» Через несколько страниц: «Когда я была маленькой, – доверительно сообщала Божанна Сане, – я всегда мимо мальчишек проходила хромая, как будто у меня не гнется нога. Мне казалось, что так я выгляжу интереснее. Смешно!» Следом за этой биографической справкой шли переписанные карандашом стихи: «Моей душе покоя нет. Весь день я жду кого-то. Без сна встречаю я рассвет. И все из-за кого-то», – Саня подумал, что это Божанино сочинение, но под строчками: «Клянусь, я все бы отдала на свете для кого-то», – разочарованно прочел: «Роберт Бернс». В самом конце несколько густо записанных страничек начинались воспоминанием: «8 января в 9 часов утра я была в костюмерной и там впервые увидела Кирилла». Из дальнейшего становилось ясно, что в разгар зимних каникул Божанну настигла несчастная любовь к совершенно бесчувственному человеку. Она с восторгом и трепетом цитирует его: «Кирилл говорил: „Человек должен иметь цель в жизни и идти к ней неумолимо через все препятствия и всякие душевные переломы!“» – «Говорят, – вздохнула Божанна, – когда любишь, не знаешь, за что. Мне кажется, я знаю: вот в этом весь Кирилл. Страшно! Ведь я совсем не такая – я слаба». Оказалось, что Кирилл носит белую рубашку с откинутым на лацканы пиджака воротником и светлые брюки и что ему обещано Божанной высоко держать голову, но никогда не задирать носа, а также быть намного лучше, чем она есть на самом деле. «Правда, он сказал: „Не думай обо мне“, но я все равно думаю о нем непрерывно. Я люблю его. Это поможет мне стать лучше. Но вот еще одно зло: я перестала любить людей», – прочел Саня и закрыл книжку. Последняя строка явно звала на помощь.

Редкие задумчивые снежинки успели выложить на Саниных плечах генеральские эполеты, он не стал их

стряхивать, стоило ему шагнуть к будке, они расстроились и облетели сами, словно его разжаловали; скрипучая дверь отвалилась и никак не хотела закрываться плотно, он с силой рванул ее на себя и закрыл глаза. Ему казалось, идущие мимо прохожие уже догадались о том, что он сейчас сделает, звуки куда-то исчезли, все остановилось, прислушивается, сахарное блюдечко площади вдруг обернулось распластанным гигантским ухом, Сане хотелось говорить шепотом, жарким, торопливым, невнятным шепотком... Едва он набрал номер, как тут же на том конце провода, как будто не сомневаясь в его звонке, легкий скользящий женский голос позвал:

– Алло! – и с трудом размыкая сухие сведенные связки, Саня ответил тихой сдавленной просьбой:

– Божанна!

И словно золотая рыбка, пойманная на крючок, засверкал, затрепыхался ее голосок:

– Вилька, Кирилл улетает сегодня, Гушку берет Кирианна, я договорилась, ты сможешь у меня остаться! Представляешь, на всю ночь! Ты сможешь, Вилька? Алло?

Секунду, один коротенький миг Сане еще казалось, что снежинки, плывя и кружась в воздухе, никогда не коснутся земли, прохожий, занеся ногу, так и не сделает шага, беззвучный троллейбус не тронется, но вдруг все рванулось, сорвалось со своих мест, заскрежетало, загудело, понеслось... В этой дурацкой карусели: Вилька, Гушка, Кирианна – только Кирилл определенно был уже знаком ему и тем одним почему-то дорог. И все-таки он не мог так сразу, так вот с ходу, ни в чем не разобравшись, ничего не поняв, смириться и отступить.

– Божанна, – еще не твердо произнес он и тут же поправил себя. – Божанна, значит так, я не Вилька.

– Интересно... очень интересно... – протянула Божанна. – А кто же вы?

– Я Саня Корнилов, – объяснять, что нашел записную книжку, он не собирался и потому сказал: – Ты не

удивляйся, что я звоню, мне один знакомый дал твой телефон, а кто неважно.

– Еще интересней. Ну и что дальше? – голос Божанны стал сухим, как приготовленная на растопку щепка. Отчаяние, подымаясь откуда-то из живота, подступало к горлу, но Саня пропихнул его вниз, заглотнув побольше воздуха:

– А то, Божанна, – закричал он, – что, когда я увижу тебя, я нарочно пройду мимо тебя хромя! Как ты думаешь, я покажусь тебе интересным?

– Ну, это как сказать... Странный вопрос... А с головой у тебя все в порядке?

– Нет, она вся в снегу, и теперь он тает и стекает мне на нос, потому что я хожу без шапки.

– Да... Глупая история, – кажется, она и не слушала его, обдумывая возможные последствия своей промашки. – А ты не можешь случайно простудиться и умереть?

– Я закален, – прокричал Саня. – Я не только без шапки, я и без пальто хожу, и мне хоть бы что!

– Жаль. Очень жаль. Забудь в таком случае мой телефон, – сказала Божанна и повесила трубку.

Саня слушал гудки и вдруг ему стало нечем дышать от стыда и злости. Будка казалась битком набита суматошным криком, казалось, кто-то передразнивает его и корчит рожи. Саня пихнул дверь, вывалился на улицу, утер лицо, прошел несколько шагов, вернулся и в открытую дверь бросил свою находку. Доковылял до угла и снова вернулся. Вошел, подобрал книжку, перелистал затрепанные странички и на одной из них нашел: «Вилька Шуст Ж-2-71-51».

Ему ответил уважающий себя голос:

– Слушаю.

– Мне Шуст нужен.

– Я вас слушаю, – повторил явно знающий себе цену Шуст.

– Вилька, это говорит один друг Кирилла. Значит, так: ты прекрати к его жене липнуть...

– Парень, ты только не вешай трубку, – теперь Шуст говорил отечески ласково и немного торопливо. – Скажи, будь добр, сколько тебе лет?

– Шестнадцать, – ответил Саня, растерявшись.

– Так вот, мальчик, я в курсе дела: Божанна мне звонила и все рассказала. Ты зря это затеял. У Кирилла есть один друг, и это я. Первое. Второе – тебе рановато звонить замужним дамам и тем паче их шантажировать, – этого слова Саня не знал, и оно его озадачило. – И третье – судя по обилию у тебя информации, ты нашел записную книжку, не так ли?... Ну, что ты молчишь? Маленькую, старенькую записную книжку в красном переплете? Будь порядочным человеком и скажи, где ты находишься, я через пять минут подъеду...

Призыв быть порядочным не взволновал Саню, но ему захотелось посмотреть на единственного друга Кирилла, к тому же речь Шуста сбивала его с толку, и он не знал, чем на нее ответить. Объяснил, где находится, и всё. Но, желая увидеть, он вовсе не хотел быть увиденным. Уж это лишнее. Чистых листков в Божаниной книжке не было, и он вырвал из своей, написал: «Не трогайте! Владелец сейчас придет!» – положил книжку на полочку под аппаратом и вышел. Огляделся и пошел к парадной между театром Музкомедии и Филармонией. Из окна на втором этаже он мог видеть будку телефона-автомата и всех входящих в нее. «Вилька-килька, Шустик-шустрик, катай для своей Божанночки на такси, хорошую она тебе закатила истерику, должно быть, – Саня не сомневался в том, что тот подкатит на такси, ведь сказал же, что через пять минут будет. – Дубина Кирилл, ну и дружок у тебя, интересно посмотреть, с кем она спит, пока ты напролом к своей цели, так тебе и надо, она, видно, баба не промах, а ведь хорошая девчонка была, они все сначала хорошие, сколько же ей теперь лет, наверное, звонила ему из автомата, назначала свидание, Вильен–Вильям–Велимир–Велепюр – ну и компания – божья Анна, Кирианна, какая-то Гушка,

бедняга Кирилл, куда ты вмазался... А это уже лишнее», – подумал Саня, глядя на человека, выходящего из будки. Как он туда вошел, Саня проглядел. Человек был в одном пиджаке, без шапки. Шагнув из будки, он на секунду остановился, помахал в воздухе на уровне уха записной книжкой, поглядел по сторонам, другой рукой подбросил и ловко поймал что-то блестящее и, слегка прихрамывая, пошел к кромке тротуара – прямо к новенькому голубому «москвичу»; обогнув его, еще раз подбросил и поймал ключи, открыл машину, еще раз огляделся, сел за руль и уехал. Сане показалось, что он заснул на минуту и видел сон. Словно бы он видел во сне самого себя, но себя другого, преображенного таинственной связью с поразительной, блестящей, пособачьи преданной вещью, готовой в любую минуту принять в свои теплые объятия, укрыть, укачать...

Саня был потрясен. С той минуты он навсегда и насовсем перестал страдать от одиночества, оно стало казаться ему чем-то обыкновенным и закономерным. Но хождение без пальто утратило для его свое спортивное начало – оно намертво вросло в дикое мясо новой идеи – копить, а следовательно, предельно экономить.

На курсах мастеров при училище Мухиной преподаватели хвалили Саню и советовали поступать в само училище, дабы с его способностями не оставаться бессловесным исполнителем чужой воли, а творить самому, но Саня даже помысла такого не лелеял в душе, напротив, он спешил, ему надо было срочно вступить в самостоятельную жизнь, в которой он мог бы по своему усмотрению распоряжаться заработанной копеечкой. Он и теперь старался урезать себя во всем и, не оглядываясь на других, ничуть не смущаясь производимым впечатлением, круглый год носил бумажные тренировочные штаны пузырями на коленях, кеды, на которые не то что лишней набойки не прибьешь, но зимой смотреть жалко, тем более, что и эту грошовую амуницию он

не спешил обновлять и донашивал до полного неприличия, ободряемый, впрочем, на пути экономии теткой. Его нищенский вид отпугивал сверстников, к тому же в самом Сане было что-то не допускающее ни сочувствия, ни участия. Что-то тайное, сектантское.

Окончил Саня по скульптурному отделению, и если бы он сам понимал, что ему нужно предпринять в дальнейшем, то, работая каменщиком у видных скульпторов, сразу бы стал хорошо зарабатывать. Но Саня просто не в состоянии был постичь смысл тех исключительно необходимых для поддержания деловой жизни попок, что начинаются, как правило, с обоюдного, лишённого задней мысли желания выпить, где-то в середине достигают опаснейшего накала, когда нередко доходит дело до хватания за грудки – но как и каким чудодейственным образом это хватание вдруг перетекает в объятие, теснейшее, надёжнейшее мужское объятие, каким образом рты, секунду назад извергавшие матерщину, ту же, собственно, матерщину уже ласково и слюняво лопочут, облизывая чью-то потную рожу, – каким образом именно в эту минуту пьянки рождаются самые нерушимые творческие союзы, напористые, плечо к плечу, – вот секрет, оставшийся на дне той самой бутылки, на которую у Сани никогда не хватало духу выложить свою треху. Потерял он на этом гораздо больше, осознал же свою ошибку не скоро.

Попав на службу в декоративно-постановочный цех киностудии научно-популярных фильмов, он считал, что ему повезло. Радовался регулярной зарплате, премиям, частым командировкам, в которых особенно экономил. Работу свою исполнял добросовестно, его охотно брали в группу, при этом оставался мало заметным, никаких разговоров о себе не возбуждал. Даже из отдела кадров, где он вынужден был открыться в своей мечте, когда выправлял нужные для записи в очередь на автомобиль бумаги, слухов не расползлось – должно быть, решили, что он хлопочет об инвалидной коляске.

А между тем Саня уже прошел медкомиссию и его допустили до обучения на курсах. Через несколько занятий Саня заметил, что инструктор кое с кем ездит подолгу, учит тщательно, а кое кем, в том числе им, Саней, пренебрегает. Инструктор этот был великий щеголь, имел замашки кутилы, много и впустую болтал о бабах, о красивой ресторанной жизни. И никто этому не удивлялся, ибо в первых словах он представлялся сыном генерала. Но генерал, как явствовало с его же слов, давно умер, и кого угодно могла не удивлять его роскошная жизнь, только не Саню – он, между прочим, тоже был чей-то сын, но это не имело в его жизни никакого значения, а вот зарплата в семьдесят новых рублей, в рассуждении Сани, к роскошной жизни никого располагать не могла. И когда тот один, другой, третий раз сократил время поездок с ним, потом как-то гонялся по своим личным делам, однажды вовсе отменил занятие, Саня решил заблаговременно принять меры. Свернув по указанию генеральского сына в переулок, он счел его достаточно пустынным и внезапно затормозил.

– Значит так, – сказал он, не поворачивая к оторопевшему инструктору головы, – тебе взятки дают – бери. Но при условии: я тебе копейки не дам, а ездить ты со мной будешь. И права я получу с первого захода. Иначе лавочку закроем. Понял? – и медленно вращая добавил: – Ва-а-с-я... – и повернулся всем корпусом, как бы предоставляя возможность разглядеть себя получше. Тот, должно быть, так и сделал, и в первый раз отчетливо увидел особенности телосложения своего задрпанного клиента.

Саня был даже с самой длинной своей ноги небольшого роста, но очень широкоплеч, почти квадратен. Голова у него была крепко всажена в туловище посредством того, что больше подошло бы назвать выей – короткая вровень со скулами шея резко выделялась над белой кромкой, видной из ворота трикотажной фуфайки. Заметить сразу могучесть его торса мешала непри-

ятная худоба лица – в скулах широкого с резким впадением щек и каким-то болезненно тонким ртом. Большие, совсем как у Ксюши, глаза его были так бедны цветом, что почти ничего не говорили людям и лишь в момент гнева, став вдруг совершенно белыми, могли испугать...

Но сердился Саня не часто. Обычно он смотрел или себе под ноги, или в сторону, словно вглядывался во что-то далекое, ему одному видимое и важное. Ни на кого не глядя, не говоря лишних слов, ему легче было совершать поступки некрасивые, но для него всегда оправданные и неизбежные. Так бывало, когда в экспедициях он приносил изумленному директору аккуратно скрепленные билетки по три, четыре, пять копеек за проезд в городском транспорте и предъявлял их к оплате. Отсчитывая недостающую рубля сумму, директор брезгливо морщился: конечно, правило такое существовало – оплачивать в экспедициях стоимость служебных проездов, но кто их разберет, какие служебные, а какие нет, и, конечно, никто так не мелочился; директору с ними одна возня – клеить, подшивать, писать объяснения, уж легче этому жмоту отдать сорок копеек из своего кармана.

Угрюмо глядя куда-то в пол, Саня ничего не хотел знать о директорских переживаниях. Чего они стоят в сравнении с тем, что в преддверии сна, пока не захлопнулась черная дверца сознания, сладкая греза, томительная и медленная, придет и окутает, и Саня снова и снова увидит себя легко и точно ловящим звонкие ключики, неуловимым, навсегда врезавшимся в память жестом подброшенные в воздух; чуть-чуть прихрамывая, ну, ровно так, будто порезавши любимый мозоль, будто просто вся лень перетекла на одну сторону и отяжелила ногу, он подойдет к новенькому, сверкающему, как ослепительная улыбка счастья, «москвичу», еще раз поиграв ключами, медленно, не спеша, движением раз и навсегда разученным, отомкнет дверцу, взглядом не-

брежным и безразличным провожая запинаящихся в ходьбе прохожих, вечных пешеходов, приговоренных пожизненно плестись, трястись и толкаться в общественном транспорте; слегка перегнувшись и чувствуя, как пружинит под коленом согнутой ноги переднее сиденье, достанет из «бардачка» кусок белой фланели и ею нежно погладит торпеду и ветровое стекло изнутри; не снимая одной руки с крыла, оботрет снаружи все ее прозрачности, впадинки и округлости, обойдет кругом и снова коснется крыла; теперь можно сесть за руль, словно маленькой, сжатой в кулачок ладошки бережно коснуться рычага скоростей, нажать на сцепление, перевести на нейтраль, вытянуть сцепление – теперь, когда рука в руке, можно действовать четко и быстро, но, повернув ключ зажигания, услышав мерный благодарный рокот мотора, надо расслабиться, безмятежно тронуться в сон. Сколько раз ему до самых сладких мук хотелось увидеть себя мчащимся по чудной, ровной дороге – где бы он ни был, ни проезжал, каждое место он запоминал лишь дорогами – хорошими или плохими; но когда-то данный самому себе зарок до поры, пока не купит машину, не поставит ее в гараж – в собственный гараж, – не позволял мечтам уноситься в заманчивую даль, заставлял обрывать их под шум мотора. Езда была запрещена – иначе не сбудется. Сумма, которую копил Саня, как ни была велика, но все же доступна его сознанию – ради нее имело смысл урезывать себя во всем, все потребности свести к минимуму. Но перед самым отъездом в последнюю экспедицию все лопнуло – цены на автомашины еще раз повысили. Известие об этом чуть не раздавило, не сломало Саню. Другой на его месте запил бы. Но, прибыв на место, Саня нашел способ разрядить обойму темных сил, запекшихся в груди.

Несколько меньше Сани, но все же озабоченный экономией средств директор группы Беленков путем одному ему известных ухищрений разместил своих людей на территории пионерского лагеря. Может быть,

ему удалось это потому, что в фильме должны были сниматься дети. Снимали картину о том, как полезно знать родную природу и как плохо жить в мире незнания и глупых суеверий. Первое якобы помогло заблудившемуся в лесу мальчику провести в нем безмятежную ночь, второе едва его не погубило. Саня должен был воплотить в реальность большую фантазию ребенка – пень в его руках должен был превратиться в лешего, но ровно настолько, чтобы в лучах восходящего солнца остаться пнем, сломанное дерево обернуться Бабой Ягой на помеле, словом, он должен был населить лес всяческой чертовщиной. Работа ему нравилась, но с первых же дней невыносимой оказалась жизнь под лагерный репродуктор. Эта сволочная штука начинала греметь и ликовать с семи часов утра: побудка, зарядка, марши, речовки и снова марши. Репродуктор был установлен на крыше административного здания, и, походив вокруг него, Саня составил план действий. Прежде всего надо было сколотить достаточно длинную лестницу, на что ушло несколько вечеров, потому что дело требовало полной конспирации. Две отдельные секции Саня припрятал в кустах и ночью, когда все наверняка уже спали, прокрался к тайнику, собрал лестницу, подтащил ее к стене дома, пробуждавшегося раньше всех, и добрался до его крыши. По ней к репродуктору вели набитые рейки, и яростно, словно выковыривая опухоль из собственных мозгов, разобрал головку репродуктора, Саня на обратном пути эти рейки сбил и побросал вниз. Спустившись, подобрал и вместе с лестницей отнес в самый дальний угол территории, перелез через колючую проволоку и, уйдя подальше в лес, сложил костер. В его свете натаскал дерну и сучьев и, когда лестница и рейки сгорели, тщательно затоптал угли и забросал сверху. Он еще успел в эту ночь поспать и под утро увидеть сон: ему снилось, что он в экспедиции на Баренцовом море и вместе с оператором Веней ползет по отвесной скале среди гомона птичьего базара – открыл глаза и по-

нял, что это ворвался в его сон веселый шум детских голосов...

Выяснить, что случилось с репродуктором, без Саниной помощи лагерное начальство не могло – скалолазов в наличии не было, а Саня, несмотря на обещанную мзду за плотничный труд, тянул и отговаривался. Однако неожиданно согласился, сколотил лестницу и, мало того, сам влез и починил репродуктор. Ему действительно хотели заплатить, но он потребовал наличными, наличными не полагалось, и он, махнув рукой, неожиданно уехал. Лагерное начальство это не удивило – оно не могло знать Саню, а вот в группе, узнав, что он отказался от денег, удивились. Еще бы: самый его отъезд был прямым образом связан с вопросом экономии. Дело в том, что вся группа, внося за трехразовое питание до рублю в день, питалась из лагерного котла. Но в столовую не ходили, а на студийном «рафике» в больших кастрюлях подвозили к своему корпусу – по договоренности Беленкова и директора лагеря. Так, очевидно, лучше сохранялась тайна обоюдной выгоды. Саня же был единственным человеком, отказавшимся вносить свой рубль. Правда, в большой общей комнате он никогда не появлялся к началу трапезы, а всегда немного позднее, но супы и гарниры все равно оставались, и он доедал. Жалко, разумеется, никому не было, но как-то что-то раздражало, и не выдержала здоровая, как роstralная колонна, добродушная и смешливая ассистентка режиссера Софа:

– Санька, ну не могу, ну ей-Богу, я прямо заинтригована: на что это ты так уж копишь?

– Коплю, – подтвердил и вместе с тем ушел от ответа Саня.

– Интересно, – пробурчал Беленков, – а если бы мы все копили и каждый надеялся бы доесть за другим?

Чтобы пустой суп не расплескался, Саня тарелку держал на весу близко к лицу и, продолжая перебра-

сывать остывшую жижу со дна тарелки в рот, из-за края ее подарил Беленкову редкий белесый взгляд.

– Нет, я спрашиваю, на что копишь-то? Это секрет? Ну, хочешь, я отгадаю? – непонятно зачем въедалась Софа.

Саня не то чтобы не хотел ответить, но сразу не мог, хотя, впрочем, именно не хотел, а она уже строила нелепейшие догадки:

– Ты накопишь и шикарный костюм себе купишь, как у нашего Б. Б. Правда? Вообще тебе лучше шить на заказ, у тебя фигура не стандартная, – она споткнулась, но вспомнив, должно быть, что лучший способ не упасть – бежать дальше, сделала еще несколько неловких скачков. – То есть она у тебя стандартная, но плечи одного размера, а в заду другого...

– Д-д-а н-на хрен е-е-му твой костюм, – зааикался оператор Веня. – М-можно, конечно, на к-к-ко-оператив накопить, но э-это всю жизнь ко-опить надо...

«Какой еще кооператив? – удивился Саня. – Что мне, жить нигде, что ли?»

– Лично я мечтаю о настоящей американской робе, – мечтательно произнес художник Светозаров. – Кстати, она там, у них, копейки стоит...

«Мне и роба твоя не на хрен», – подумал Саня, и его мечта показалась ему вдруг торжественно приподнятой над всеми этими жалкими мелочами. Он вдруг испытал прилив гордости и от того произнес как-то подчеркнуто весомо – тихо, но весомо:

– Я коплю на машину, вот что, – и встал. Но тут же сел, сбитый с ног неожиданно ударившим со всех сторон смехом. Громче всех хохотал, трясая животом, Беленков.

– Ой, не могу, держите меня, не могу! До смерти копить будешь! Прямо катафалк покупай!..

– Да подождите вы! Он же на инвалидную, – рассудила добродушная Софа.

– Н-на швейную, – сострил Веня.

— Кто у нас может купить машину? — успокоился Беленков. — Она подорожала? Еще подорожает, будь уверен. Для того, чтобы купить машину, надо воровать и не как-нибудь, а по-крупному. На трамвайных билетах, на лагерной жратве машины не сделаешь...

— А вот у нас в городе один нищий, — очень некстати вспомнил ассистент оператора, — так когда он умер... — И Саня вышел. Его не интересовала история про нищего.

На следующий день он починил лагерное вещание и уехал.

Беленков студийной машины не дал из вредности, и до станции надо было добираться автобусом. Автобусы ходили редко, с большим интервалом, но Саня знал расписание и под мелким морсящим дождиком не спеша шел к остановке. Пройти оставалось метров триста, когда он увидел, вопреки всяким расписаниям, автобус. Побежал, тяжело переваливаясь с боку на бок, но, по закону подлости, водитель, никого не видя на остановке, едва притормозил и, не открывая дверей, тронулся. В это время из-за поворота шоссе показался зеленый огонек такси. Когда сквозь метания по стеклу дворников уже можно было различить лицо водителя, Саня разглядел и сидящую на заднем сидении пассажирку. Махнул рукой, и такси остановилось.

Потом уже в электричке Саня сквозь дрему с удовольствием думал о тех небольших, но надежных победах в своей жизни, которые ему удается одерживать благодаря полному безразличию к женщинам. Взять хотя бы Софку — в самом страшном сне ей не могло присниться, как глубоко Сане наплевать на все ее кобыльи чары, как, доедая за ней пустую подливу, он просто не берет во внимание, что она при этом может о нем думать; или вот эту — пассажирку в такси — смазливую дачницу из поселка — судя по всему, ей выложить пятерку за путь от поселка до станции ничего не стоит, ей, видно, в голову не приходило подсчитывать километры, вообще счи-

тает за нее, наверное, очередной раззява Кирилл, пока она катает на свидания к какому-нибудь шустренькому-шустнику, но лично Сане даже разглядеть ее получше не было интереса, ему только и надо было, чтобы она отдала ему, а не водителю рубль с полтиной и катилась подальше, как только тачка остановится, а уж он там сам разберется, что к чему. Счетчик таксер включил, только подъезжая к посту ГАИ, и на нем нащелкало рубль с копейками, но Саня вмазал все полтора рубля в лапу обалдевшего водителя, доверительно сообщив ему: «Она за милицией пошла, так что ты сматывай побыстрее, а я ее догоню и отменю команду. Идет?»

Тот только рот раскрыл от изумления, потом, конечно, выматерился, но уже в спину Сане.

У самого перрона он действительно догнал ее, просто потому, что спешил, и, очень сильно наваливаясь на короткую ногу, прошел несколько шагов рядом.

– Ой, вот хорошо! – кокетничая уж, наверное, не с ним, а по привычке, она изобразила восторг. – А я думала, он убьет вас: ведь я за пятерку договаривалась...

Саня ничего не ответил и через несколько шагов обогнал ее, не думая о том, что от спешки и тяжести чемодана переваливается больше обычного. Он только отметил про себя, что денег ей, натурально, жалко не было бы, ей скорее даже неловко перед таксером, это она ради него, Сани, сама не зная почему, сделала...

И вот теперь в вагоне электрички, сквозь навязанную монотонностью движения дрему, Саня думал о том, как хорошо, что он никогда о женщинах не думает, они непременно помешали бы ему жить так, как он живет, они бы разоряли его, требовали от него развлечений, сами продажные, развратные, лживые существа. Он думал о них так, как приучил себя думать, но между тем думал – и, поймав себя на этом, тут же переменял тему размышлений.

Перед ним стояла проблема: как жить дальше, со студии он уйдет, это ясно, но вот что делать, чем зара-

батывать, пока не ясно. Надо начинать новую жизнь – но какую? Никакой другой, кроме прожитой, Саня не знал, и вся она была мелочная, жалкая. Он снова и снова копался в ней, и вдруг все ему показалось чрезвычайно простым – надо только найти лысого Якова. Яков был первоклассным каменщиком, работал у лучших скульпторов, говорили, загребал бешеные деньги. Но из честолюбия, куража, что ли, согласился преподавать на курсах. Он учил понимать и любить камень, видеть не только его поверхность, но чувствовать нутро, душу камня, чтобы, начав рубить, не ошибиться, не обнаружить вдруг внутри червоточину, не допустить трещины, а напротив, извлечь из камня таящееся в нем живое тепло, сделать его податливым, заставить светиться... Он учил в сущности тому, чему научить совершенно нельзя, но еще и просто приемам, знанию инструмента, разным маленьким хитростям своей старинной профессии. Он же и помогал многим найти выгодную прибыльную работу, но был ревнив к тем скульпторам, у которых работал сам и славу с которыми кичливо делил пополам. Сказать про него, что он любил выпить, было бы смешно, ибо Яков не выпивал, а жрал водку литрами, так, будто именно от нее его тяжелое могучее тело, увенчанное совершенно лысой головой, с грубо высеченным лицом варвара, с вмятым носом и вывороченными губами, наливалось бычьей силой. Он был вспыльчив, и груб, и дико хвастлив. Но болезненно влюблен в скульптуру и во всем, что касалось ее, настроен на мечтательно философский лад. Тем, кто пил вместе с ним, он открывал душу сполна, но Саню не любил и всегда норовил дать ему понять, что не за то не любит, что тот не пьет, а за то, что при всех способностях, явных, и Яковым не отрицаемых, нет в нем главного – приверженности – того, что Яков так и называл и ценил превыше всего. Он даже хвалил Саню, но не любил, и помощи своей никогда ему не предлагал.

И все-таки теперь Саня твердо знал, что для него самое главное найти Якова.

Однако оказалось, что это не так-то просто. Оказалось, что время многое перекроило на свой лад – не одни автомобили подорожали. Курсы мастеров при училище закрылись, их попросту упразднили, и кто-то посоветовал искать Якова при комбинате Союза художников. Там никак не могли понять, о ком идет речь. Потом вспомнили, как-то странно поморщились и посоветовали обратиться в управление садов и парков.

Саня сначала удивился, что в садах и парках делать лысому Якову, но потом вдруг сообразил, что кладбища – не сады, не парки, но в то же время и то и другое...

Теперь найти можно было, и Саня нашел. Он нашел его в закутке за кладбищенской конторой, там, куда сваливали глыбы гранита и куски мрамора. Закуток был отгорожен железной сеткой, и Саня, еще издали узнав Якова, не окликнул его и не пошел искать входа, а остановился понаблюдать, догадавшись, что так он быстрее узнает, чем теперь промышляет его бывший и будущий – почему-то Саня в этом не сомневался – патрон. Заметно постаревший, похожий на старого облезлого льва в вольере, всей повадкой выражая беспримерное презрение ко всему, в чем как бы вынужден принимать участие, он шел в сопровождении молодого человека, которого сейчас как будто стесняла и его молодость, и хорошая одежда, и он старался и то и другое сгладить перед Яковым, и тому и другому придать незначительность, и для того плелся рядом, сутулясь и подгибая ноги. Время от времени они останавливались у одного из камней, и молодой человек смотрел тогда не на камень, а в лицо Якову, но тот, что-то прочертив на камне толстым корявым пальцем, безнадежно махал рукой, и его спутник согласно кивал головой, заглядывая Якову в самые глаза. Наконец они остановились надолго, и видно было, что Яков принял решение. Молодой человек заметно приободрился, приосанился, и тотчас в его ру-

ках появился бумажник. Саня своими глазами видел, как натуральный четвертной перешел из руки клиента в лапу Якова вместе с полным надежды на вечную дружбу рукопожатием. Сделав несколько шагов к выходу из вольера, молодой человек неожиданно остановился и, оглянувшись, в упор встретился с замороженным взглядом Сани. Яков лениво поискал глазами в том же направлении и тут же признал в неожиданном соглядатае своего бывшего ученика.

– А, это ты, сирота казанская! Поймал старого Якова, ничего не скажешь! – добродушно и безбоязненно сказал он. – Это пустяк. Это, брат, только задаток... – Видя, что все обошлось, клиент облегченно припустил по дорожке к выходу.

– Так ты что ж, нашел меня? Это, небось, не так просто. Небось, я тебе крепко понадобился...

Через полчаса Саня сидел с Яковым на белом нежно изогнутом проволочном стульчике за таким же эфемерным столиком в баре «Незабудка». Перед ними с генеральской важностью стояли две бутылки шампанского.

– Поздно ты, сукин сын, спохватился водку со мной пить, – объяснил Яков свое влечение к «Незабудке», где водку попросту не подавали. – Мне врачи запретили это удовольствие. А шампань – это, с одной стороны, какое питье? Его много и не выпьешь, поскольку гадость, а с другой стороны – что-то в этой самой гадости есть: что-то веселящее, бодрящее. Я ж теперь, сам посуди, в какой обстановке нахожусь? В самой что ни на есть упаднической... Да, вот, брат, куда Якова бросило...

– ...А хочешь, я тебе скажу, почему? Потому что был и есть Яков настоящий художник, а не просто камелотес. Я ведь с кем работал? Знаешь? Вот то-то и оно, что знаешь. А понять все равно не можешь. Что это был за мастер, какой это гений был! Он мне однажды говорит: «Меня не признают, Яков, меня даже из союза вытурили, но ты-то веришь в меня? И денег мне не платят. А я все равно без денег леплю. Ну, а если я леплю

без денег, может быть, ты, Яков, будешь мне без денег рубить?» Я подумал и сказал: «Миша, если ты без денег лепишь, почему же я не могу тебе рубить без денег?» И что мне он ответил, знаешь? «Какой же ты дурак, Яков, меня же ждет слава, она все окупит. И что ждет тебя за твой труд?» Я только засмеялся и рубил ему совершенно за так...

– ...Да не давайся ты, хочешь пей, хочешь не пей. Мне компания не нужна. Я теперь чаще всего один пью. А тебя я вообще никогда не любил. К скульптуре, например, в жизни не допустил бы, а вот сюда, на кладбище, – это пожалуйста: хоть завтра выходи! Тут тебе, сирота казанская, самое место. Скульптура, она ведь чего от человека требует? – Саня уже не хотел его слушать. Ему было безразлично то обидное, что таилось в словах Якова, и скучно. Однако картина, которую он наблюдал совсем недавно, так и стояла перед глазами, и он с удовольствием ощутил в руке странный зуд. «Если в левой, – непременно сказала бы тетка Аля, – плакать будешь, а в правой здороваться». Но зудело именно в правой, и Саня подумал: «Здороваться – ладно, а вот попрощаться бы так, как Яков...» Все-таки он вслушивался в разглагольствования старика, надеясь выудить какие-нибудь полезные сведения о своей будущей работе. А Якова относил назад и он, заходясь, слишком громко, хвастливо рассказывал свою мало интересную историю:

– Когда у Мишки менингит случился и он всем союзовским жлобам на радость помер, я запил, как последний скот. И вот тут ко мне Женька Николаев: «Яков, озолочу, только выруби!» И что придумал: запер меня в мастерской! Сам пьет где-то, скотина, а меня запирает! Меня такое зло взяло! Я на его голову, говна-пирога, и смотреть не стал! Так это рублю поначалу – ничего не скажешь, а потом говорю: «Знаешь что, ты не мотайся здесь, раздражаешь!» И как рванул! Что я в своей жизни их вырубил?! Так как ты думаешь, неужели

не могу начать и кончить? И что хуже этого дурака сделал? В миллион раз лучше! А он: «Портретное сходство! То, сё!» Скандал на весь Союз! Бить меня нельзя – сам битый будешь, но вонищи он на весь Союз распустил. Сдуру, конечно. Потому что голова была – высший класс, и он ее выставил. Но меня заело: плюнул я себе под ноги, растер и пошел. Так-то и так, дескать! Ходили ко мне на поклон, а теперь тем паче придете, все у меня будете, может, еще и Женька, у него печень не должна выдержать, такого пьянства, как он допускает, ни одна печень не может выдержать, – рассудил Яков и допил шампанское. – Подожди, теперь я тебя угощу, – сказал он, невзирая на стоящий перед Саней непочатый бокал.

– ...А вообще, я тебе скажу, что мне здесь нравится. С одной стороны – здесь покойники, а с другой – вони меньше. То есть несравненно. Сам посуди: тут еврейское кладбище, а тут русское. Бок о бок лежат и ничего! В жизни практически не встречается! Философский вопрос! – и Яков поднял перед Саниным носом толстый короткий палец с расплюснутым, вросшим в мясо ногтем. – Или взять нас – кладбищенский народец? Оригиналы! У каждого свой сдвиг по фазе. К примеру: некто Фонарев. Девять человек одних детей, не считая самого, жены и тещи. Нормальный будет, по-твоему, девятерых рожать? А Фонарев родил и всех через покойников кормит. Или Гарька Восков – через всю грудь наколочка: «Momento mori» – еще пацаном, в шестнадцать лет, наколол. Значит, уже призвание чувствовал! Приверженность! И каждый сам по себе, и никто друг друга не касается...

Сане не терпелось дожить до завтрашнего дня. До него Сане, безусловно, суждено было дожить, поскольку кто бы там, что бы там ни говорил, какие бы ни выстраивал теории, не подгонял бы слагаемые под уже известную сумму, но определенно каждый доживает до тех дней, до которых ему суждено дожить.

И с того дня Саня тесал надгробные камни, долбил буквы, именно буквы, а не слова, ибо брал с буквы и ему безразлично было само слово со всей таящейся в нем смертельной тоской: он только одно и знал, что в «Дорогой мамочке» букв меньше, чем в «Незабвенной...» – а, следовательно, дешевле; он научился кривляться перед заказчиком, тянуть, набивать себе цену, научился прятывать хорошие камни и сбывать их по цене несообразной со здравым смыслом – да много ли здравого смысла в людях убитых горем и неизбывной виной перед ушедшим? Он надежно приближался к исполнению своей мечты и если не спешил, так только потому, что мечта его внезапно приобрела новые очертания – не то чтобы модифицировалась вместе с подорожавшим уже третий раз «москвичом», что уже совершенно не колыхнуло Санину душу, а приобрела более современные, более элегантные очертания грядущего «Фиата». Он столько лет ждал – мог подождать еще, пока выстроят завод и пустят с конвейера первую партию машин, и вот тут уже одна из них как пить дать будет его.

Денег, правда, надо было намного больше, но уже любая сумма лежала в пределах реальности, и более того: к моменту покупки автомобиля он мог запросто бросить полтора куска за гараж и пять столбиков взятки за оформление. Но он по-прежнему жил скудно, экономя каждую копейку, пренебрегая всем, что не было самым необходимым, только теперь никто и никогда не давал ему почувствовать, что есть в его облике, в нем самом, что-то отличающее его от других людей, ибо жил он теперь среди тех, кому не было до него ровно никакого дела – ни живым, ни мертвым.

Правда, одна забота не покидала его, и он все время чувствовал на душе неудовольствие, оттого что непрерывно откладывал то, что надо было бы исполнить, да как-то так все складывалось неудачно или наоборот удачно, и нужное дело не делалось. Касалось оно Ксюшиной могилы. Тетка часто возила на нее маленького

Саню, и он хорошо знал дорогу к ней. А вот теперь, работая в самой близи, стал обходить стороной. Однажды пришедшая в голову мысль, что надо бы сменить жалкую раковину с покосившимся крестом на мраморную плиту, а еще лучше поставить гранитный памятник, не то чтобы жить не давала спокойно, а вроде как шумовая помеха возникала время от времени. Он и тетку заверил, что ей теперь беспокоиться не о чем, как-нибудь он сам присмотрит за могилой, и даже вслух выразил свое намерение поставить памятник. А все не ставил. Несколько раз любовно, со знанием дела, выбирал наилучший камень, один раз даже Якова привлек к этому делу, выбрав, отваливал из общей свалки в сторону, закидывал разным битым барахлом и только приступал к обдумыванию, как его эффектнее обтесать, выбить ли крест на нем или вдруг взять и сделать рельеф – по фотографии, конечно, но по-настоящему, художественно, – как тут же появлялся проситель, да такой настойчивый, такой упорный, что не содрать с него три шкуры было бы непростительно. В конце концов он так же привык к мысли, что нужно бы матери поставить памятник, как и к мысли, что поставить его никак невозможно. И обе эти мысли сжились в его сознании и чем-то вроде изжоги поселились рядом с предвкушением новых долгожданных забот.

Как ни был Саня предусмотрителен, а избежать мелких неприятностей в день покупки машины он не сумел. Во-первых, его подвел бывший полковник, у которого он купил гараж. Гараж был отличный, не какой-нибудь там сборный, а бетонированный, с ямой, с водой, правда, только с холодной, но Саня на этот счет не беспокоился – к зиме он проведет и горячую, однако беда заключалась в том, что полковник уговорил Саню разрешить ему держать там пока свою «Волгу» – разбитую колымагу с ручным управлением. Он даже пытался всучить ее Сане, но это уже было совсем ни к чему. И

клятвенно заверил, что по первому требованию выведет ее, ну, хоть прямо на улицу, если не продаст раньше. Сдуру Саня ему поверил, а он возьми да помри буквально накануне того дня, когда Саня получил открытку из магазина с приглашением приобрести ВАЗ-2102. Родственники покойного были в таком неутешном горе – Сане показалось, несколько преувеличенном специально для него, – что долго не могли понять, что он от них хочет, приняли его сначала за водопроводчика, потом пытались напоить водкой и отвязаться, наконец, почему-то возмутившись, объявили, что им сейчас не до машины и все, что они смогут для него, Сани, сделать, сделают после похорон. Тон, каким это было сказано, был и слезливый, и оскорбительный одновременно, но Сане стало очевидно, что скандалом он все равно ничего от них не добьется, и он отступил, проклиная себя за доверчивость и слюнтяйство.

И вот теперь он не мог уснуть от досады на то, что свою первую ночь она – собственная его машина – должна провести под открытым небом. Не то чтобы боялся, что украдут, хотя если честно, то, конечно, боялся – все время в голову лезли противные мысли, что вот так по глупой случайности все и делается: одну-единственную ночь всего-то и должна простоять на улице, и украсть-то может совсем не обязательно профессионал-угонщик, а так, какой-нибудь хулиган, пахан подвыпивший – отъедет за угол и вмажется в столб, искурочит и бросит; или просто колпаки снимут – ищи их завтра на барахолке и покупай втридорога, а еще обидней – почему-то это казалось всего обидней – возьмут и чем-нибудь процарапают, чем-нибудь острым по ее матовой от восковой защиты поверхности – по скотству, по злобе, от зависти... Мысли эти были невыносимы, но и помимо их ему мучительно было представлять, как она там стоит одинокая, сиротливая, бесхозная, и так обидно становилось, такая начинала злоба душить на этого чёртового полковника, что даже мысль о том, что

тот уже дважды бывший полковник, то есть абсолютный мертвец, не примиряла с ним Саню. «Сволочь, — думал он, — не мог дела свои привести в порядок, потом помереть». В конце концов не выдержал и, сунув ноги в кеды, как был, в трусах и майке, вышел во двор. Тут вспомнилась вторая неприятность, омрачившая этот день: узкий, типично петроградский колодец, весь облеплен унылыми замызганными окнами, из которых вечно несется коммунальная склока, но подумать только, как дружно они все распахнулись и какой единодушный протест обрушился на Санину голову, едва он ввел машину во двор. Конечно, ему было бы легче, стой она ночь во дворе, можно было бы взглянуть на нее, но стоило кому-то одному заорать: «Этого еще не хватало! И так дышать нечем!» — как мгновенно посыпались угрозы пробить крышу, и такие злобные, что сомнений не оставалось — пробьют наверняка. Пришлось и тут отступить.

Он много лет мечтал об этом дне, ему казалось, что в этот день он сказочным образом из серого волка превратится в Ивана-царевича, с пьянящим, пряным привкусом во рту он предвкушал на себе завистливые взгляды — сегодня ему казалось, он нажрался чужой блевотины, и ничего больше. Лучше не вспоминать.

Саня вышел со двора и облегченно вздохнул полной грудью: вот она — стоит, окутанная нежным сумраком июньской ночи, мерцает, словно жемчужина, без нужды утверждать свое избранничество в этом мире безумным блеском, стоит и преданно ждет его, вся до последнего винтика принадлежа ему и только ему. Саня подошел, погладил матовую от воска крышу, провел рукой по ветровому стеклу, голой ногой ощутил прохладу крыла, отступил на несколько шагов, чтобы полюбоваться издали, обошел кругом и тут заметил, что задняя дверца чуть-чуть выступает над стойкой, к которой она должна примыкать идеально плотно. Ну, буквально капельку, почти незаметно, но все ж таки

выдается. Саня пожалел, что не взял ключи, проверил, закрыта ли дверь, но она была определенно закрыта – и вспомнил еще одну досаду этого дня, может быть, даже самую главную.

Вспомнил, что вовсе он не выбирал машину, а мог бы выбрать, эту же взял в сущности не глядя. Столько лет ждал, множество раз ходил и смотрел, издали, правда, как это происходит, мысленно репетировал, заранее все рассчитал и – просчитался. Наблюдая, как мечутся впущенные в загон или, как его называют, в торговый двор, покупатели, открывают капоты, заводят моторы, хлопают дверьми, выискивают царапинки и потому стараются взять уже отмытую машину, Саня усмехался про себя и тешился над их бесплодными усилиями. Кто-кто, а уж он-то знал – это не их дело сейчас, здесь понять свойства машины. Даже если ты профессиональный водитель, все равно: это дело профессионального продавца. И единственно, что нужно, – это чтобы продавец почувствовал в тебе клиента. А клиент, как известно, не суетится, тут дело не в одежде, а в том, как ведет себя человек. Исходя из этих расчетов, Саня, впущенный во двор с партией очередников, не стал, как другие, метаться между рядов машин, а спокойно наблюдал происходившее вокруг. Он не сомневался в том, что его машины здесь нет. Люди же вели себя как безумные: двое вцеплялись в одну машину и каждый утверждал, что выбрал ее раньше, пришедшие с ним приятели-советчики обкладывали друг друга матом, их приходилось разнимать, хорошо одетые люди внезапно бросались на землю и лезли под машину, одиночек было мало, большинство ходили стайками, некоторые целыми семьями с тещами и тестями – те на правах держателей акций командовали, зятя раздражались и ссорились с женами, терялись маленькие дети, владельцы со стажем раздавали бесплатные советы, но на них поглядывали косо: так спокоен может быть только тот, кто эти бешеные деньги украл, а не заработал; один

ходил совершенно убитый и, наткнувшись на Саню, стал объяснять ему, что выбрал машину, номер двигателя которой содержит счастливое число, но в последнюю минуту обнаружил на дверях вмятину – теперь не знает, что делать; какая-то пожилая дама держала в руках бутылочку с водой и в каждую машину, возле которой останавливался сопровождавший ее молодой человек, вероятно сын, плескала из нее на счастье – то есть это был настоящий сумасшедший дом! И среди всей этой публики время от времени мелькали люди в замусоленных куртках и каких-то специфических кептарях – с маленьким козырьком и пуговкой на макушке. Казалось, они совершенно безучастны к происходящему вокруг, но Саня заметил, что это не так: именно они как-то мимолетно, едва приблизившись, улаживали самые острые конфликты, именно их неприметными усилиями толпа понемногу рассеивалась и одна за другой уже оформленные машины выгонялись за ворота. Саня ждал, что на него обратят внимание, искал глазами в надежде встретиться взглядом с кем-то из них, но у них у всех была одинаковая манера смотреть и не видеть – скользящая, непроницаемо равнодушная. Стараясь подавить подступающую нервозность, Саня нащупал в кармане приготовленный четвертной и как раз в эту минуту услышал позади себя вялый, но призывающий к действиям вопрос: «Ну, что, будешь брать или будешь раздумывать?» – оглянулся и увидел привалившегося к крылу «фиата» парня в неподражаемой кепочке, в куртке, в которой если что и было цело, так это все четыре кармана: надежные, накладные, они скрепляли и удерживали на парне его не выдержавшую испытания временем амуницию. Саня не успел открыть рта, только сделал к нему один-единственный шаг, как парень, тотчас же легко отлепив себя от машины, так боком развернулся, что один из карманов оказался вплотную прижат к Саниному брючному. Оставалось только слегка выдвинуть руку, и четвертной, как в цирке, перешел из одного

кармана в другой. «Бери», – парень кивнул головой в сторону машины, возле которой оба стояли, и вяло, так, будто не было и быть не могло между ними никакого сговора, будто это нормально – получить двадцать пять абсолютно ни за что, тронулся с места. Саня успел поймать его за плечо, но он спокойно стряхнул его руку, как стряхивают случайный волосок, однако, не выдержав белесого Саниного взгляда, счел нужным успокоить его: «Чудило, они ж все сейчас итальянской сборки идут, – и пошел, но, пройдя несколько шагов, обернулся и, нагло улыбаясь, снисходительно ободрил Саню: – „Белая ночь“ – шикарно! Всего пять штук и пригнали-то!» Это было явное вранье, Саня мог голову положить в заклад, вообще наглость этого парня превосходила Санины представления о допустимом, мелькнула мысль о том, что Яков дурак и он, Саня, дурак – вот так надо делать клиента, – но положение было практически безвыходным, и это вранье как-то все-таки утешало. «Белая ночь» – смешно, но суеверие самого поэтического свойства коснулось Саниной души: вспомнилось, что сегодня канун проводов белых ночей...

И сейчас он подумал о том, что завтра можно будет покататься, посмотреть, как мосты поднимают, выехать на острова. Эта мысль примирила Саню с предчувствием долговременного сожаления о бездарно потерянном четвертаке. Спать хотелось ли, озяб ли в одной майке или разволновался, но его потрясывало, знобило, и, войдя в комнату, он неловко обошел стол, зацепил стул, и тот упал. Как ни надежно храпела малость дернувшая перед сном Алевтина, она проснулась, и спросонья ей что-то почудилось:

– Кто? Что? – замахала она в воздухе руками, словно пытаясь выплыть из своей по-старушечьи прогнувшейся кровати: – Санька? Ты чего вздумал?

– Да спи ты, – хотел он ее успокоить, но не тут-то было.

– Не бери манеру по ночам шляться, не смей! Без угла меня оставить хочешь? Господи Боже милостивый, это после всего-то, что я для тебя сделала?

– Да я и не думаю, – тоскливо отмахнулся от нее Саня, но Алевтина еще долго не могла успокоиться.

– А ты думай, думай! По материной дорожке не ходи, на ее манер жизнь не направляй – этот ее манер, сам знаешь, куда ее привел: тебя обездолила, калеку сиротой оставила, хорошо это или как? Она не думала, так хоть ты подумай, подумай, Санечка...

Засыпать под ее причитания было противно, в голову лезли какие-то безрадостные мысли, под это ее «Думай, думай!» невольно думалось что-то ненарядное, тоскливое и постепенно перелилось в сон.

Сон Сане приснился поразительный по своему упорству. Он несколько раз, не просыпаясь, говорил себе, что это сон, пытаюсь тем самым прервать его. Но один и тот же сюжет настойчиво и безнадежно раскручивался, доходил до одной и той же точки, рождавшей мучительное бессилие, доводя Саню до полного отчаяния, и опять начинался сначала. Сане снилось, как он подходит к машине, как садится в нее – все со всеми столько раз виденными подробностями, со всем предвкушением неземного блаженства, – заводит мотор и точно знает, что сейчас тронется, предчувствует движение, мотор работает ровно, мерно, но, надрывая Сане душу, машина ни с места. Все Санино нутро, напрягшись, рвется вперед, а какая-то злая сила сна приковала машину, настойчиво требуя, чтоб все началось сначала, и уже с зароненным в сердце ужасом перед невозможностью, что бы он ни делал, преодолеть ее, эту силу, без конца все сначала и всякий раз сызнова, все с большей мерой отчаяния и бессильной злобы на этот дурацкий сон...

Нельзя сказать, что новая жизнь Сани Корнилова отметилась чем-нибудь особенно новым. Разве что работать на кладбище стало нестерпимо скучно, как-то

неприятно стало иметь дело с мертвецами и их родственниками, стало раздражать обступавшее со всех сторон безразличие. Однако уходить было некуда. И он работал, но лениво, неучастливо и зарабатывал меньше прежнего. Часто вообще не выходил на работу. В эти дни он садился за руль и ездил – без цели и задачи, как прежде ходил. За город не выезжал – к собственному удивлению, обнаружил, что мчаться по шоссе совсем не доставляет ему удовольствия: пару раз выезжал на Приморское, но становилось неуютно, чего-то не хватало, тянуло назад в город, в людность. Вообще Саню удивляло, насколько все то, о чем он так долго мечтал, отличается от того, что получилось. Теперь его не покидало ощущение неудовлетворенности, ему все время чего-то не хватало, он искал, суетился, сделал множество покупок – все для машины: купил безумные по своей дороговизне чехлы, галогеновые фары, забил гараж дефицитными деталями, поскольку у продавцов запчастей тоже умирали родственники, подвесил танцующую негритянку в юбочке из перьев, с кольцом в носу – сначала она, болтаясь перед ветровым стеклом, мешала, но потом привык, – и все равно ему казалось, что не хватает чего-то. Он ловил взгляды прохожих, надеясь прочесть в них то самое, что вселило бы в него надежное успокоение, но, как ни старался, ничего в этих мимолетных взглядах не находил. В лучшем случае любопытство, но какое-то беглое, незаинтересованное, даже не то, с каким в зоопарке заглядываются на обезьян. Сانه казалось, что равнодушные толпы изготовлено специально для него одного, о том, что она может состоять из людей не менее одиноких, заброшенных, задавленных своими заботами, он не думал. И еще одно неожиданно появившееся ощущение не покидало его: ощущение понапрасну и безвозвратно утекшего времени. Он не мог ясно сказать себе, куда и зачем, но ощущал, что опоздал. Наматывая на спидометр километр за километром, остервенело вглядывался в толпу и с ужасом не

узнавал ее – так, будто после долгого отсутствия не просто в этом городе, а вообще на этой земле, в этой жизни, вернулся и обнаружил, что ничего и никого из прежнего нет.

Его пугала догадка, что вовсе не мода, открывшая ноги женщин так, что, сидя в машине, он не всегда видел их юбки, а именно сами эти ноги изменились, приобрели какое-то иное качество, в то время, как прежнее в его воображении существовало только предположительно. Если, так и оставшись непознанным, оно холодило Санину кровь своей недоступностью, то это новое – наводило ужас. Он слишком долго жил, отказывая себе не в женщинах, а в желании их, в помысле, и теперь, мучимый разочарованием и непокоем, боялся признаться в том, что всё, чего ему не хватает, движется навстречу, выбрасывая ему в лицо тугие икры, сверкая упругими ляжками обнаженных до самых чресел ног. Он боялся прислушаться к своей, казалось бы, надежно усмирненной плоти и вдруг обнаружить, что давно уже не хозяин ей, не повелитель, и в испуге нагромождал преувеличенные, болезненно разросшиеся препятствия.

И все-таки должен был наступить момент, когда мысль о женщине стала неотвязной, вошла в его жизнь плотно, словно бы он решил, что она причиталась ему впридачу к машине и была недодана. Он не собирался идти по пути измены – вовсе нет: женщина нужна ему затем, чтобы в ее глазах он смог наконец прочесть восторг и преклонение не перед собой, это ерунда, этому он бы не поверил, а перед тем, ради чего столько лет ничем не брезговал, чем наконец-то овладел и чем может приманить, осчастливить, как ребенка немислимой игрушкой – пусть бы только поддержать дали. Его мучила мысль о том, что как бы там ни было, нельзя заполучить женщину, не обнаружив перед ней своего убожества. Сидя за рулем, он чувствовал себя уверенно – в эти минуты он оглядывал, оценивал, браковал и сортировал их, но стоило ему представить себя выходящим

из машины, как услужливое воображение позволяло ему как бы раздвоиться и увидеть себя со стороны; он цепенел, и все эти, только что жалкие и нелепые, существа, отброшенные в сторону его оценивающим взглядом, стыдливо пронсящие мимо непоправимые изъяны своего экстерьера, мгновенно превращались в неприступных, уму не постижимых красавиц.

Нет. В конце концов, он не мальчик, он знает, где искать женщину, это всякий знает, это витает в воздухе. Он поедет и возьмет – как раз ту женщину, которая ему нужна. Конечно, машину придется оставить на площади, но тут, перед вокзалом, в зыбком воздухе дикой случайности ковыляющая походка не может быть, не должна быть ничему преградой.

Все-таки, вылезая из машины, он еще раз удивился тому, как быстро привык, сидя в ней, чувствовать себя иным человеком – уверенным, защищенным, и как скверно, намного скверней, чем прежде, он ощущает себя без нее. Вылезая из машины, он будто вылезает из одежды и оказывается среди толпы совершенно голым – не то что без пальто и шапки. Раньше он никогда не чувствовал себя так скованно. Показалось, что нужно сделать что-то, чтобы вернуть себе ускользающую решимость. Он пошел к гастроному, постоял в очереди, купил бутылку вина и пачку сигарет. Дешевого вина, которое обычно пила Алевтина, не было, и он взял сухого – по его наблюдениям, женщины предпочитали сухое. Вернулся к машине и спрятал покупки в «бардачок». Подходя к машине, открывая ее, закрывая, получил удовольствие – в эти секунды его могли видеть те, среди которых он теперь ковыляет в сторону вокзала. Перед вокзалом он остановился и огляделся. Но ничего интересного не обнаружил: подъезжали такси, люди с сумками, портфелями, чемоданами деловито входили в здание вокзала или под арку, им навстречу шли тоже с сумками, чемоданами. Одиноких, слоняющихся, зазывающих и манящих женщин не было, не было даже цы-

ганок, даже цветов нигде не продавали, даже милиционера нигде не было видно. Саня подумал, что он давно никуда не ездил, ему вдруг вспомнилась его киношная жизнь, и если бы еще немного подумал, он, наверное, пожалел бы о ней, но в это время подъехал интуристовский автобус и из него выгрузилась толпа иностранцев. Почему-то, едва вывалившись из автобуса, они тотчас же встали в круг и начали дружно, отрепетированно петь – судя по их полупонятному языку – это были чехи. Какая-то девица – грудастая и пучеглазая, одетая во все иностранное, но очень накрашенная, что бросалось в глаза на фоне бесцветных чешек, что-то скомандовала им, и, продолжая все так же дружно петь, они направились в зал ожидания. Саня проводил их немного, но не пошел с ними, а спустился по ступенькам вниз, туда, где находились кассы. Окошки с надписями : «На Москву», «На все направления» тянулись вдоль стен, возле них толпились люди, отгороженные от пустого пространства посередине двумя рядами колонн. Почти в центре зала одиноко стояла женщина. Ясно было, что она ждет – но чего или кого, не ясно. Веки ее и без того низко посаженных глаз были так густо подведены, а вялые длинные щеки так оттягивали вниз углы крошечного мертвецки бледного рта, что все лицо казалось перевернутым, казалось, правильнее на нее было бы смотреть с потолка. Она не понравилась Сане, но других, одиноких, чего-то ждущих женщин здесь не было, и он стал присматриваться к этой. У нее была хорошая фигура, ноги худые, как у подростка, но очень стройные, с тонкой щиколоткой; одета она была в зеленый бархатный костюм – прямая короткая юбочка и свободный жакет с круглым воротником, мягко отлегающим от высокой жилистой шеи. Глубокий зеленый цвет костюма как-то примирял с рыжими, чрезмерно взбитыми волосами. Ее одежда была слишком хороша для нее, слишком явно украшала, тогда как глаза ее, взлохмаченная голова, жилистая шея – словом, вся она сама по себе была при-

звана лишь показать, как одежда может украсить человека. Саня долго смотрел на нее, прислонившись к одной из колонн. Можно подумать, что он занял очередь в кассу. Ему все время казалось, что сейчас что-то произойдет и она исчезнет. Но ничего не происходило. Постепенно Саня заметил, что он не один смотрит на нее. Маленький жирнощекий азиат проплыл мимо, оглядел ее своим косым взглядом и сочно облизнул губы. Она как стояла, лениво опершись на одну ногу, заложив руки в кармашки жакета, словно бы ничего не видя, кроме потолка над головой, так и осталась стоять. Из одной очереди вышел грузин в роскошном белом плаще. На ходу пересчитывая толстую пачку денег, он деловито пошел прямо к ней. Саня с тоской подумал, что его она и ждала – но в двух шагах от нее грузин остановился, на лицо его откуда-то из самого нутра выплыла сладчайшая улыбка, и он громко призывно цокнул губами. Она сделала какое-то движение головой – не то отвернулась, не то качнула ею, но глаза по-прежнему разглядывали потолок. Какая-то женщина, войдя в зал, подошла к ней и что-то спросила. Она вынула на секунду узкую жилистую ладонь из кармашка и легким коротким жестом указала на одну из касс. Несколько солдат остановились неподалеку от нее и, положив на пол вещмешки, весело оглядываясь по сторонам, над чем-то загоготали – Сане показалось их веселье отвратительно похабным, он вдруг почувствовал себя уже каким-то образом причастным к ней, почувствовал, что от него уже что-то отделилось и протянулось к ней и теперь надо сделать только последнее усилие и сдвинуть с места свое прилипшее к колонне тело. Солдатики подхватили свои мешки и пошли к воинской кассе; и Саня понял: или сейчас, или никогда. Надо было во что бы то ни стало сдвинуться с места. Но одеревеневшее тело плохо слушалось, он насилиу проволокал себя до середины зала навстречу ей, сквозь туман, застилавший глаза, плохо видя перед собой ее опрокинутое лицо, и вдруг понял, что

совершенно не знает, что делать дальше. Сказать ей: «Поехали!» или «Прокатимся!» – было бы нелепо, просто глупо, Саня не мог так обратиться к ней, и в последний момент он сделал крутой неожиданный зигзаг и тотчас же затылком почувствовал ее взгляд – долгий и тяжелый, как ему показалось. Он даже вдавил голову в плечи, но не мог заставить себя повернуться. Этот взгляд проводил его до самого противоположного конца зала – если бы там были двери, он просто вышел бы в них, но дверей не было, и у самой стены он все-таки повернулся. И с ужасом, с отчаянием, какого никогда еще не испытывал, увидел, что посередине зала никого нет. Такой ужас он испытал бы, сдвинься с места на его глазах надгробие, такое отчаяние – только перед необоримым препятствием. Этого не могло быть – но это произошло: она исчезла. Как, с кем, куда – он никогда не узнает. Зачем она там стояла – казалось, она стояла вечно, а если это не так, тогда зачем? Кто увел ее – тот, кого она ждала, или кто-то случайный, вошедший в зал, пока Саня не мог повернуть головы? А может быть, она одна ушла? И самым обреченным был вопрос: если не она, то кто же смотрел ему вслед? Чей взгляд провожал его?

Хотелось пить, и он вышел не на улицу, а во двор. У автоматов стояли толпы, и он подошел к ларьку. Тут тоже толпились, но меньше. Саня уже протиснулся к прилавку, как вдруг ощутил прикосновение к себе чего-то мягкого, нежно трущегося и услышал хриловатый, приглушенный шепот: «Мальчик, пойдем со мной...»

Сердце совершило дикий прыжок к самому горлу и замерло, он ощутил во рту вкус сладкой тягучей слюны – обернулся и остолбенел: перед ним пьяно раскачивалось страшное, обезображенное намалеванными бровями, слюнявым, размазанным ртом лицо старухи.

– Пошла! – дернувшись всем туловищем, отталкивая ее от себя, крикнул Саня, но она снова прильнула к нему с другого бока, шепча:

– Пойдем, хорошенький, не пожалеешь...

Работая локтями и бедрами, Саня вытолкнул себя из толпы и ринулся прочь, но старуха словно прилипла к нему, и он опять услышал сзади ее слюнявый шепоток:

– Со мной хорошо будет, пойдем со мной...

Обожженный стыдом и горечью, Саня обернулся и пихнул ее в грудь, она покачнулась и не упала, а присела на асфальт – он увидел ее скатанные бубликом чулки над стоптанными с детской перепоночкой красными туфлями, увидел на дряблых икрах плетение вспученных синих вен, увидел, как взлетела и плюхнулась рядом с ней нитяная авоська с газетным свертком и буханкой хлеба внутри, и от обиды и жалости к себе побежал, а вдогонку ему несло уже не ласковое, а нагло-издевательское;

– Эй, хромой, подожди, у меня муфточка, как у молоденькой...

В тот вечер Саня закурил. Спичек у него не было, но зажигалка в машине работала. Дрожащими пальцами держа сигарету, он жадно затянулся, и голова не пошла кругом – он тянул в себя дым и им утолял жажду.

Позднее лето захватило август, залило теплом и светом половину сентября, но где-то в самой его середине налетел на город возмущенный ветер, холодный и резкий, в два дня пожелтели и пожухли кроны тополей, понеслись по улицам пронзенные холодом пешеходы, вода в Неве, в Фонтанке, в каналах поднялась, рвалась и металась, как обрывки гениальных идей в голове безумца. С прохожего ветром сорвало шляпу, она колесом покатила на мостовую, с тротуара за ней наперерез машинам бросился бесстрашный пионер-тимуровец, заскрежетали тормоза, улица замерла на секунду и облегченно вздохнула: какое счастье, что Сане некуда торопиться!

А хоть бы и было куда, но зачем? Люди спешат, потому что им холодно, ветер рвет с них одежду, подгоняет в спину, а ему в машине тепло и уютно, и можно вокруг посмотреть и себя показать, а спешить все равно некуда. Он спокойно сворачивает с Невского на улицу Бродского, удивляясь при этом вдохновенному спокойствию Александра Сергеевича – среди общей спешки и суеты стоит себе как поставили, другой бы от стыда и обиды удрал, а этот стоит, хотя, впрочем, без ног не убежишь, а у него – одни брюки, ног под ними как не бывало. Саня вполне мог так думать в виду установленной на площади гигантской статуэтки, ибо от природы был наделен безошибочным чувством формы и, может быть, кое-чем еще, только какое это могло иметь значение в его жизни, жизни кладбищенского каменотеса? И, верша бесполезные круги на площади, Саня уже в который раз принялся размышлять о том, как бы ему изменить свою жизнь, как вдруг увидел стоящего в раздумьи у решетки Русского музея бородатого человека в кирзовых сапогах – человека, ни на кого не похожего, кроме как на неизмененного самого себя, только словно бы заплесневевшего от времени, – и вздрогнул от радости, от мгновенно пронзившей сознание надежды, что это судьба посылает ему способ спастись от унылой, беспросветной жизни, жить которой он больше не мог.

Он выскочил из машины, заранее уверенный в том, что Ховралёв узнает его наверняка и обрадуется.

Как ни странно, Ховралёв действительно признал в нем Ксюшиного сына, скорее всего по неопровержимой примете, но обрадовался как-то вскользь, радостью скупающего одинокого человека, давно поджидающего, кто бы скрасил его одиночество, составил ему компанию. Казалось, он для того и стоял здесь, у входа в музей, чтобы поймать собутыльника.

И вот уже, рубя воздух правой рукой, на которой не хватало трех пальцев – Саня точно помнил, что прежде они были, – Ховралёв убеждал его бросить здесь на пло-

щади свою колымагу и пешком дойти до ресторана «Чайка». Во-первых, Саня машину бросить не мог и не собирался, во-вторых, пить ему не хотелось, в-третьих, при ближайшем рассмотрении Ховралёв сильно разочаровал Саню. Конечно, Ховралёв постарел, потерял где-то не только пальцы, но и передние зубы, из-за усов почти невидные, но речь его стала невнятной, в ней появилось что-то стариковское; его некогда русые волосы оказались совсем седыми, сильно поредели, и в свисающих на плечи патлах было что-то жалкое, так же, как в склеротических румяных щеках, вдобавок ко всему, зрачки его глаз, словно испуганные, бегали, ускользали, и как будто из старания удержать их дрожание склонялась на бок и потрясывалась голова. Но дело не в этом, вообще в нем появилось что-то деланое, бутафорское, нарочное, особенно в том, как ловко обрубками пальцев он держал сигарету, как выставлял их напоказ, вместо того, чтобы прятать, тем самым придавая своему увечью многозначительность, какую-то особую важность, и в том, что каждую минуту как-то поглупому хихикал, заигрывая и кокетничая.

– Нет, почему не хочешь, ты мне объясни, – размахивая беспалой рукой, приставал он к Сане. – Со своей колымагой расстаться не можешь? Да ну ее знаешь куда? Я вот бабу послал... – и, неестественно хихикая, выматерился... Нет, это был не тот Ховралёв. И встречать его было вроде незачем. Саня уже готов был отвяжаться от него, как вдруг услышал:

– Ну, тогда давай отвези меня в мастерскую...

– Так ты, значит, на кладбище? – переспросил Ховралёв, всем туловищем наваливаясь на спинку переднего сиденья. Он почему-то не захотел сесть рядом с Саней и теперь ужасно раздражал тем, что все время наваливался. Раздражение мгновенно усилилось от предчувствия, что сейчас Ховралёв спросит про Ксюшину могилу – это еще полбеды; чего доброго предло-

жит прокатиться на кладбище и постоять над заветным холмиком. Саня выругал себя за поспешную откровенность. Но Ховралёв, кривляясь и хихикая, пропел: «А за кладбищенской оградой живое сердце не стучит...» – и сказал вдруг очень серьезно, своим ховралёвским голосом:

– Может, знаешь Гарьку Воскова? Здорово пишет, собака.

– Что пишет? – не понял Саня.

– Как что? Ясно, что не романы. Картины пишет, Аб-стракции, – произнес он с расстановкой, и Сане послышалась в нем не то ирония, не то зависть. – Валяет нитрой. Но здорово!

Смеется Ховралёв над Восковым или действительно восторгается им, Саня опять не понял, но удивился без меры: двух Гариков Восковых было не могло, а тот, которого знал Саня, худой, угрюмый, с мрачной накойкой на впалой груди, – как это он пишет, какие еще абстракции? Саня привык себя считать среди своих кладбищенских коллег человеком с секретом – и ревниво насторожился: оказывается, есть другие, с другими секретами.

– Причаливай, – скомандовал Ховралёв и небрежно предложил. – Может, взглянешь на мой чердачок?

Саня все-таки довольно скоро понял, что пора прекратить удивляться. Удивился тому, что Ховралёв не тот, каким запомнился с детства, удивился тому, что он до сих пор ни словом не обмолвился о Ксюше, не расспрашивал, не вспоминал, еще кое-чему удивился, наконец тому, что в отсутствие хозяина его обиталище оказалось битком набито какими-то людьми, совсем молодыми, моложе его, Сани, к тому же встретившими хозяйина как-то странно: почти не заметив его возвращения, как, вероятно, и его отсутствием не беспокоясь, они обращались к нему в то же время не запросто, а с подчеркнутой почтительностью, называя по имени-от-

честву, — поудивлялся и понял, что хватит, пора начать сообщать, что к чему.

Маленькая, обитая железным листом дверь в мастерскую, казалось, не запиралась никогда, и жизнь, происходившая за ней, частично выплескивалась на лестничную площадку. Ховралёв еще на пятом этаже, как бы объясняя происхождение шума, разносившегося по всей узкой гулкой, пропитанной кошачьим запахом лестнице, незлобно, со смешком, выругался:

— Вот... напоззли козлы, я ж тебе говорил: пойдем в кабак!

Какой-то молодой человек, перегнувшись через перила, но не перестав обнимать девушку в брюках, с длинным черным мундштуком в картинно отставленной руке, между прочим сообщил:

— Владимир Борисович, водки навалом...

Ховралёв, едва переступив порог мастерской, словно забыл, что пришел не один, а с Саней. Ему оставалось только раствориться в общей сутолоке и делать, что заблагорассудится. Хоть уйти, как пришел ни с кем не поздоровавшись, так и уйти ни с кем не попрощавшись.

Из двух небольших комнат, свет в которые проникал из выходивших на крышу окон на сильно скошенной стене, одна, заставленная мольбертами, заваленная подрамниками, обернутыми к стене холстами, служила хозяину рабочей комнатой; другая же, с матрацем на кирпичах и большим нелепым столом на подрубленных ножках, очевидно, была жилой. По стенам и той, и другой висели полотна — их разглядывали и с жаром обсуждали. Те, кто уже насмотрелся, продолжали спорить в тесной прихожей, которую газовая плита оборачивала к тому же и кухней — девушка, одетая во все черное, неправдоподобно худая, с серьезным некрасивым лицом, непрерывно варила кофе и непрерывно участвовала во всех спорах. Собственно споров, как таковых, не было, как не было и сильно пьяных, хотя пили все и

говорили горячо и непонятно. Рыхлый молодой человек, похожий на даму средних лет, при появлении каждого нового человека брал его за лацкан или пуговицу и говорил одно и то же:

– Пойми, каждая работа уникальна, как событие в духовной жизни мастера. Живопись раскрывает всеобщее, как единичное, но не как символ в единстве природы, а как эйдос в единстве истории...

– В конце концов, – неслось от плиты, – Кандинский и Вазерели не меньше натуралисты, чем Репин. Художник вообще не вещь эмпирического мира...

– Да, но пойми: эйдос живописи достигается через духовное очищение от всего случайного, эмпирического... – Саня запомнил, потому что и ему пришлось это выслушать – он ничего не понял, но, к счастью, от него ответа не требовалось: кто-то другой вступил в разговор.

Он было хотел уже уйти, но его снова и снова тянуло назад, туда – к картинам. Он возвращался к ним, словно примагниченный. И не было слов, которыми он мог бы выразить произведенное в нем потрясение. Почти на каждом из полотен он видел свою мать.

Он не мог бы сказать, хороша или плоха живопись Ховралёва – она была до полной невообразимости ни на что не похожа, и Саня сообразил, что именно это и привлекло сюда всех этих людей, но понять, хорошо это или плохо, сам, своим нутром, он не мог. Он не знал, зачем Ховралёв так, словно в отверстие детской трубочки-калейдоскопа, видит мир раздробленным, не разобранным, нагроможденным, цветным и узорчатым, но вместе с тем не радостным, не легким, а наоборот: рухнувшим, разбитым вдребезги. И то единственное, что среди жизненной неразберихи оставалось в его картинах нетленным, отчетливо прекрасным, – был дымчатый, полупрозрачный, призрачный облик Ксюши. Он внезапно проступал сквозь руины, ее глаза сияли сквозь обломки, скорбно и нежно смотрели на стариковски

мудрое лицо младенца, в котором через страх и нежелание поверить Саня узнавал себя.

Ему делалось нестерпимо тяжело дышать, он должен был выйти, совсем уйти, но он возвращался и смотрел снова...

– Ты б выпил водочки, очень даже помогает, – услышал он за своей спиной голос и, не обернувшись, с удивлением подумал, что, может быть, обращаются к нему.

– Я смотрю: ты прямо как психованный, чокнутый какой-то.

И еще прежде, чем осознал, что не ошибся и все это относится именно к нему, Саня испытал странное, никогда прежде не постигшее его чувство: это было ощущение полного удобства. Не оттого, что, стоя перед ним со стаканом водки в одной руке и с огурцом в другой, эта девушка обращалась несомненно к нему, и не от того, что она была непохожа ни на что, что он мог бы вообразить рядом с собой – от этого скорее могло возникнуть обратное, – но вдруг оказалось, что ему уже давно и незаметно удобно здесь, как никогда в жизни хорошо до полного забвения своего физического существования, своей калечности, о которой он вспомнил впервые, но и это не вернуло ему скованности и напряженности. Если бы он продолжал думать дальше, он сказал бы себе: «Им плевать на мои ноги, они не знают, кто я, и только это может интересовать их – кто я?» – и чувство удобства мгновенно улетучилось бы, но он не успел: кивая на картину, она спросила:

– Ты, собственно, смахиваешь на этого выродка, правда?

– Это я, – вдруг радостно признался Саня.

– Потрясно! – слово выражало удивление, но на самом деле удивления не было. Просто она узнала о нем все, что требовалось, он представился ей – вот и все. Слова отлетали от ее личика, совершенно не меняя его выражения. Они вылетали из-под утиноного носика, из-

под вздернутой губки, не заставляя ее шелохнуться, только нижняя чуть заметно участвовала в процессе рождения странных, полудетских не слишком разборчивых звуков. Окруженные сумраком глазниц, длинные, глубоко и косо посаженные серые глаза, казалось, раз и навсегда наделены одним и тем же выражением хитроватости, подобно неменяющемуся выражению лисьих глаз; прямые пепельные волосы челкой и длинными прядями обрамляли ее мордочку, падали на плечи, стекали по спине, скрадывая сутулость, почти вогнутость грудной клетки с едва обозначенной недоразвитой грудью, так что пупырышки сосков с детской откровенностью топорщились под податливой тканью. Узкие затертые брюки обтягивали маленькую попку – из-за сутулой спины она казалась вогнутой обратно – и косточки бедер, призванные уравновесить крылья лопаток. Но странным образом от нее исходило ощущение гармонии, ее очертания как-то так естественно вписывались в самый воздух, окружавший ее, что, казалось, он должен передвигаться вместе с ней, давая ей право существовать во все времена, во всех пространствах. И того, кто оказывался рядом с ней, касалась и окутывала какая-то легкая туманная дымка.

– Да бухни ты, вот, ей-Богу, я что: так и буду держать? – лениво, крошечными крылышками шелестели слова, и Саня ощутил желание не то что выпить, а вылакать из ее рук. Но вспомнил о машине, тоскливо поморщился:

– Нельзя мне...

– У тебя что... это? – по ее гримасе Саня догадался, что она имеет в виду, и покраснел так, будто то, что у него, еще хуже:

– Да на машине я...

– А, баранку крутишь, – и она жеманно, как притворяющийся глупеньким ребенок, повела плечиком. – Таксер, что ли?

– Почему таксер? – Саня старался говорить естественно и спокойно. – У меня «жигуль» собственный.

– Собственный, – она наклонила голову, и упавшие пряди совсем заслонили ее от Сани. – Потрясно! – откинув волосы, она улыбнулась деловитой, ничего не меняющей в лице улыбкой, посмотрела во внутрь стакана, взболтала в нем водку, зачем-то подула на нее и, ничего больше не сказав, пошла в другую комнату, унося с собой свой воздух.

Теперь все, кроме Сани, были там – как-то незаметно стеклись, то ли устав слоняться из угла в угол, то ли перед тем, как разойтись окончательно, а может быть, чтобы оказаться поближе к Ховралёву. Но сам Ховралёв был уже совершенно бесчувственен к их вниманию – раскидав по матрацу свое развинченное тело, он спал тяжелым, пьяным сном; какая-то девушка заняла позицию в изголовье, не снимая руки с его покрытого испариной лба, кто-то потеснил ее, она подвинулась, но руки не сняла...

«Кажется, – подумал Саня, – так им всего интереснее быть с ним: практически его нет, а все ж таки вот он – тут...»

Сам он протискиваться в комнату не стал, и уходить совсем теперь не хотелось, но хотелось к чему-нибудь прислонить себя, чем-нибудь занять. Он подошел к окну, и тут ему открылось зрелище чужой жизни – заманчивое и нежное. Широкий проем окна, расположенного намного ниже на противоположной стене дома, позволял почти целиком увидеть комнату с диваном у невидимой стены, на котором не то в тоске, не то в оцепенении ожидания сидел парень, свесив руки меж широко расставленных колен и понутив плечи; вдруг он вскочил, наверное, в дверь постучали, и тут же она распахнулась: на пороге стояла невысокая крепенькая круглолицая девушка в беретике, из-под которого мокрые прядки прилипли к щекам – только сейчас Саня понял, что тот таинственный занавес, сквозь который про-

сматривалась странно близкая чужая жизнь, был пеленой сплошного унылого дождя, – и пока тот, что ждал, снимал с нее и куда-то вешал курточку, она стряхнула беретик – от него, наверное, полетели брызги, и она засмеялась, а потом аккуратно заправила за уши мокрые прядки, и все это каким-то милым образом, и он сначала просто стоял и просто смотрел на нее, а потом подошел и стал гладить ее по волосам, поймал в раскрытые ладони приподнятое навстречу ему лицо и не поцеловал, а прижался губами к ее лбу, и так они замерли, и Саня перестал дышать, пронзенный струящейся сквозь пелену дождя нестерпимой нежностью. Но вдруг он уронил руки, прыжком достиг дивана, плюхнулся на него лицом вниз, а она, крадучись, мелкими шажками, подошла, опустилась перед ним на колени и что-то одним пальчиком стала чертить на его спине, – и Саня почувствовал, что заплачет сейчас, больше не выдержит – и точно: тот, что ничком лежал на диване, рванулся, схватил, начал ломать и комкать ее извивающееся, сопротивляющееся тело, она все-таки отпихнула его, кинулась к дверям, на ходу подхватила откуда-то куртку, хлопнула дверью – сквозь немоту Саня услышал сухой хлопок – он вскинул вслед ему руки, женским, истерическим жестом выкрутил их и снова упал на диван. Тихонько приоткрылась дверь, сначала она заглянула в нее, потом вошла, со стула подобрала беретик, переминаясь с ноги на ногу, что-то сказала. Должно быть, он ответил ей, и тогда она стала говорить быстро-быстро, очень горячо, размахивая беретиком, тыча в воздух пальцем. Он сел на диване, потом вскочил, и его рука указала на дверь: «С ума сошел! Идиот!» – едва не заорал Саня, но вместо того, чего он так испугался, она выронила беретик и, закрыв лицо руками, заплакала. Теперь он стоял перед ней на коленях, побежденный, испуганный, едва касался ее: не тело ее, а воздух вокруг нее обнимая нежно и жалостливо, пытаясь поймать ее слезинки, не дать им упасть на пол... Любовь

не могла втиснуться в тех узких стенах, сквозь стекла, сквозь пелену дождя она проникала в мир и поражала его неумемной дрожью...

И так должно было сделаться, иначе и быть не могло:

– Давай смоемся, пойдем, слышишь, – теребила его за рукав Лена. – Ты что, уснул тут, тоже мне.

Он даже не удивился: так должно было быть! Свободно скользя в спеленавшем их тумане, они пронеслись к двери, мимо стоящих, через чьи-то ноги, пролетели по лестнице, омытые дождем, мгновенно пронзенные ветром, но так и не успевшие остыть, наполнили своим жарким дыханием автомобиль, и тут же тонкие пальчики с паучьей проворностью заплясали на «торпеде», коснулись обмотки руля, рычага скоростей, его прозрачной головки с блестящей машинкой внутри – «это японская? кайфовая штучка, верно?» – пустили в пляс негритянку и наконец, дотронувшись до самого Сани, слегка притянули его, и над ухом его прошелестели слова величайшей признательности: «А я зато бухало стырила!»

Страх и растерянность подползали к сердцу, вытесняя из него блаженное предчувствие счастья. Что теперь? Куда деваться? Забиться бы в узкую щель, чтоб только диван и окно – окно обязательно, каждый должен иметь свое окно...

– Послушай, а к тебе нельзя?

– Что ты! Я с предками в контрах. Давай к тебе...

Саня вышел, поставил дворники и, садясь за руль, будто бы невзначай, будто бы так и надо, подмигнул Лене:

– Прокатимся?

Выпущенное из-под колес мокрое шоссе летит, пронзая, разбивая лес, деревья во всем своем осеннем многоцветье разваливаются, косо рушатся – вот оно, оказывается, как, – но Ховралёв-то откуда знает? – «Да

ну его на́ фиг, твоего Ховралёва! Гений, гений! Скотина он, вот и всё!» – метание дворников по стеклу крошит свистящие мимо машины, огни фонарей, ветер то бросает в стекло сплошную стену дождя, то вдруг относит ее в сторону, и тогда моросит так мелко, что глазу не различить, то снова налетает остервенелый ветер; Саня то подымает боковое стекло, то вновь опускает, в машине накурено и жарко, дышать нечем...

– Ой, дай зажигалочку! Фенк ю! Потрясно! И главное, все работает. Так вот: он пошел блевать, а окно открыто было... Ты ширялся когда-нибудь? Выпивать вообще исключается! Ну, ей и показалось, что она полетит-полетит!.. А что дальше? Ничего, разбилась вдребезги и всё. Вот номер, да?

У Сани противная слабость в животе, вообще он весь как тряпка на ветру, и сколько же можно ехать? Пора сворачивать.

По размытой вязкой лесной дороге Саня двинулся навстречу глухому реву, с каждым метром рев становился все мощнее и грозней и наконец лес расступился и дальше ехать уже невозможно: завязнешь в песке, но из машины видно, как далеко-далеко вырастает гряда волн, и, обгоняя друг друга, брызжа пеной, рыча и скалясь, они несутся к берегу, но вдруг... разбиваются о мелкое дно, и к самому берегу доползают уже укрощенные, потерявшие прыть, подобострастно и бессмысленно лизнув по песку, откатываются назад, а где-то совсем далеко, почти у горизонта, закипает вода, и одинокая отчаянная волна, вздыбив белый пенистый гребень, стремительно растет, но, не достигнув предела, с которого дружно берут начало другие, теряет силу и с последним страшным рыком гибнущего зверя падает, тонет в пучине...

– Ой, ветрище какой! – пугается Лена, зачем-то открыв и отпустив дверь, и в ту же секунду ветер, как парус, ударяет в нее и отбрасывает так, что прогибает со скрежетом.

– Идиотка! – злобно кричит Саня. – Закрой, что ты делаешь?! – он выскакивает из машины и, враз отхлестанный по щекам, остывший, с тоской убеждается: так и есть – на двери в нижнем углу вмятина...

– Подумаешь, – необидчиво говорит Лена. – Я же не знала... Не каждый же день в машинах ездешь... – она вытаскивает из перекинутого через плечо лоскутного мешка бутылку и примирительно спрашивает: – Ты из горла будешь? – но тут же участливо вспоминает: – Ах, ты вообще не можешь, бедненький! Тогда и я не буду, – и садится прямо, замерев в ожидании, готовая как угодно искупить свою вину...

Но Саня вообще ничего не может. И ему не стыдно. Только бесприсветно уныло. Он обхватил руками руль, лег на него головой, скрывая тоску и раздражение, и тогда она, тыча его под ребра костлявым кулачком, настырно, как капризный ребенок, спрашивает:

– Я что, не нравлюсь, тебе? Не нравлюсь, да?

Не подымая головы, Саня с отчаянием выдавливает из себя:

– Нет, очень нравишься...

– А тогда что? Чего же ты? – и вдруг оживившись. – Знаешь что, поедem к тебе: во-первых, бухнем, а во-вторых, дома...

«Что ей нужно от меня? Какой дом? Никакого дома нет, – тоскливо плыло в голове, а ее кулачок все тыркал его под ребра, и больше всего он боялся открыть глаза и увидеть ее по-детски безучастное лицо с его неизменной смесью хитроватости и беспомощности. – Господи, не везти же ее к Алевтине?»

Но ехать надо, тут нечего делать. Он выпрямился и, не глядя на нее, включил зажигание. И тут внезапно ее тонкое тельце переломилось так, что, оставшись сидеть, она легла головой вниз ему на колени, поджав под себя руки, и он с ужасом почувствовал их суетливое шевеление, и тут же томительное, тянущее, до стона сладкое поднялось в нем и помutilo разум. И пронзи-

тельно осчастливило. Он схватил ее голову, оторвал от себя, как рвут с кровью, с мясом, со жгучей болью, нашел, всосал в себя ее мягкие губы, достал солоноватый упругий язык. И вдруг среди полного бессознания зажглось и отчетливо прочиталось – не им, кем-то – не мог же он, умирая от ярости, ослепший от жажды, простить и понять – слово «Гараж».

Его потрясла эта способность одновременно быть безумным и здравым. Это казалось ненормальным, никто другой на его месте не смог бы так переключиться, что-то все-таки в нем не так, как надо. Он думал об этом всю дорогу, хотя теперь он точно знал, что у него все в порядке, но вот эта странность, она может помешать, может быть, в постели этого и не сделалось бы, надо все продумать заранее. Он вспомнил, что в багажнике лежит плед – вот это отлично, надо сразу откинуть сиденья, двигатель не выключать: в гараже холодно, сколько он гонялся за этим ханьгой водопроводчиком, а что толку – все равно еще не топят, и в гараже холодно, она замерзнет, такая худющая, такая тоненькая, такая маленькая – а все умеет, стерва, все знает, с ней у него получится, она его сделает, только надо ни о чем не думать, никаких мыслей, и чтобы было тепло, и чтобы все повторилось – эта дрожь, эта боль, эта сила...

...И сладкое удушливое тепло ползло и ширилось, заполняя собой подлое убежище первой Саниной пьяной радости...

Скорая подъехала и сразу встала вплотную к въезду в гараж, так что из окна дома напротив не было видно, что там внутри обнаружилось, но как грузили носилки, сначала одни, потом другие – было видно. Оба тела закрыты простынями, но, когда их пихали в машину, какая-то старуха очень завывала и бросилась, ее удерживали, но она рвалась и, кинувшись, сдернула с одних носилок простыню – под ней оказалась худая голая женщина. Собственно, не женщина, а девочка. А вообще-то

труп. Точно, конечно, ничего не известно, но кое-кто из окон противоположного дома мог не только это печальное событие наблюдать, но и прежде еще присматриваться, ну, и в меру своей фантазии домыслить разные полученные от соседей сведения. А кто точно может знать чужую жизнь, как она начинается, что вмещает в себя, когда и почему должна оборваться ее плохо крученная нить?

Февраль – март
1979 г.

Ж у р н а л «Б Ъ Д Е Щ Е» **(«Будущее»)**

на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

*Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,
75017 Paris. Tel. 380-57-64*

МОЯ МОЛИТВА

Господи, если Ты есть, милуя или карая,
Высмотри меня там, в тени за углом сарая,
Следящего за муравейником
с полуоткрытым ртом,
Еще ничего не знающего о том, что будет потом.

Высмотри меня там, хотя бы под старость,
Во дворе за зеленым забором,
где никого не осталось,
Где пустые и темные разваливаются дома,
Где старый Альтшуллер повесился,
а тетя Надя сошла с ума,

Там, где лето написано белым на светло-синем,
Где шипят и сегодня примусы, пропахшие керосином,
Где сполохами проносятся и исчезают мгновенно
Тень довоенной жизни и тени послевоенной.

Высмотри меня там, где окна жестью забили,
Выросли и ушли... а меня забыли.
Выведи меня, Господи, на солнце, которое греет,
Чтоб мог я на нем дозреть, как помидоры зреют.

Господи, я устал отсюда туда тянуться...
Или оставь меня там.
И дай мне туда вернуться.



А. К.

Отстоим свое на перроне,
Будут проводы наши скорыми.
И живых своих похороним
Под высокими семафорами.

Вам, испившим из горькой чаши,
Из коричневой чаши этой,
Как вам там, под землею нашей,
На другой стороне планеты?

Февраль, 1978



Моталась лодка на воде.
Во тьме.
На привязи причала.
И было все это
 – начало.
И это все вело к беде.

Как жаль, что все это потом
Поймется и потом прочтется,
Когда беда уже начнется...
И будет вовсе не о том.

15 сентября 1988 г.

Кипит наш российский треп. А кипение, как известно, выбрасывает на поверхность пену.

* *
*

**Всю ночь шел спор до хрипоты
И жгли свечу.
И кто-то говорит: «А ты?»
Но я молчу.**

**И спор проходит стороной –
Валяй, ребята.
Все это было и со мной.
Давно когда-то.**

**А поутру (затрубит рог
И филин ухнет)
Хозяйка яблочный пирог
Несет из кухни.**

**И тесто дышит горячо
Лимонной долькой.
И пухлое ее плечо.
И все. И только.**

* *
*

**Тьма источала мед и яд.
Недвижно. Недоступно зрению.
Страдая медленной мигренью,
В себя и в ночь смотрел Пилат.**

Над Иудеей тишина
Повисла. И висит незримо.
Мигрень. И нет вестей из Рима.
А в Риме цезарь... и жена.

Бог с ним, с юродивым, Бог с ним.
И лишь одно неодолимо...
Мигрень. Высокий цезарь. Рим...
...Бог мой, как далеко до Рима!

Итак, вот вам нечто из цикла «Ностальгия».

НА СТАРОСТИ ЛЕТ

Каждый день все то же.

Шлях в пыли.

В пыль корова шмякает навозом.
Дядька, щелкая кнутом, идет за возом,
Пропадая там, где край земли.

Мальчик (руки, ноги, ничего)
Вдруг застыл веревочкой стоячей,
И, черноголовый и незрячий,
Стал похож подсолнух на него.

День уходит. Только скрип колес
Долго-долго раздаётся где-то,
Будто на возу увозят лето...
А оно еще не началось.

* * *

Что я помню? Кривой забор.
Над забором – шелковиц ветки.
Через весь наш тишайший двор
Перекрикиваются соседки.

Что почем узнают, и где,
Сколько сахара класть в клубнику...
И в заботе этой великой
Сходит медленный летний день.

✱ ✱ ✱

**Жук прополз.
Таракан пробежал.
Лето прошло.
Лед ломается под ногами, как ломается стекло.
Но сначала прикидывается – подстерегает шаг.
И тихо-тоненько так, комарино – звенит в ушах.**

**А там
в сарафане своем молодом
— мать у печи.**

**И птица кричит.
Так...
Ни о чем...
Просто кричит.**

✱ ✱ ✱

А вы говорите: ностальгия...

А вы говорите: хорошие стихи. Лучше бы их не было. Потому что хорошие стихи пишутся болью, только болью и ничем больше. И это (для меня) – единственное средство от боли.

**А он не знал, откуда боль
Приходит и куда – уходит.
И ничего. И можно, вроде,
И дальше жить. Не в этом соль.**

Что боль, когда бы не шаги
Под лестницей – их шум несносен!
Когда бы не шаги... Не осень...
Когда б не осень... Ни строки.

Это называется «Осень 1836 года». Это «о Пушкине». Ровно через 150 лет.

БАЛЛАДА О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

Человек, геройски раненный в живот,
Впервые подумал, зачем живет.

Он думал и полз за верстой версту,
Прижимая землю к своему животу.

На четвертой версте подумалось ему,
Что жил он вроде бы ни к чему.

Ни к чему? И ладно. И хрен с ним.
Главное дело – доползти к своим.

Доползти к своим! И под их смешок
Вывалить комок собственных кишок.

И тогда полковник, заместо наград,
Всенародно его пусть целует в зад.

Пусть целует в зад, раз он заслужил...

.....

А если не для этого,
зачем он жил?

ОСТРОВСКИЙ Яков Исаакович – родился 24. 1. 1932 года в Днепропетровске. В 1954 году окончил факультет журналистики Днепропетровского университета. Работал в Казахстане препода-

вателем русского языка и литературы в школе на целине. В 1956 году заведовал лабораторией психолингвистики Днепропетровского университета. Затем – редактор многотиражки одного из крупных днепропетровских предприятий. Последние годы попеременно служит истопником и сторожем в котельной ЖЭКа. Живет в Днепропетровске. Член Союза журналистов СССР.

ПАМЯТИ ЮЛИЯ ДАНИЭЛЯ

30 декабря 1988 года в Москве после тяжелой и продолжительной болезни скончался бывший политзаключенный, поэт, прозаик, переводчик Юлий Маркович Даниэль.

Проза Николая Аржака (псевдоним, под которым Юлий Даниэль печатался на Западе до своего ареста) и стихи Юлия Даниэля, в том числе лагерные, через запретки и колючую проволоку вышедшие на волю, – две стороны его творчества, которые навсегда останутся в истории русской свободной словесности. Но для тех, кто его знал, останется и горестное, безутешное ощущение личной утраты – ушел от нас человек добрый, чистый, глубоко порядочный, всегда готовый защитить и поддержать, равно обладавший и чувством юмора, и твердостью принципов.

С родными Юлия Даниэля, с его друзьями на родине мы разделяем эту безвременную утрату.

«Континент»

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАЗГОВОР

В этом могло и не быть ничего фантастического. В 1955 году в марте я на целый месяц выезжал в Будапешт как корреспондент «Огонька». Первым делом идешь в посольство. Сам я – молодой, начинающий, безымянный, но «Огонек» есть «Огонек», фирма, орган ЦК КПСС. А он, о ком теперь пойдет речь, был в то время послом в Будапеште. Он помог тогда нам (мне и фото-корреспонденту Коле Драчинскому) встретиться с тогдашним лидером Венгрии Матиасом Ракоши. Помню еще, пока Драчинский щелкал своей камерой, я спросил у лидера, что вот, мол, нам предстоит целый месяц ездить по Венгрии, собирать материал для «Огонька», так на что, мол, обратить особенное внимание? Лидер довольно сердито, хмуро, во всяком случае, буркнул по-русски:

– Спросите ребят в своем посольстве, они лучше меня все знают.

Он же (посол) помог нам встретиться со знаменитым и престарелым венгерским скульптором Штроблем. Это его (Штробля) скульптура венчает гору Геллерт над Будапештом. Женщина держит в поднятых над головой руках огромное перо птицы. Правда, Штробль изваял женщину с пером в память летчика, сына Хорти (правителя Венгрии в гитлеровские времена), погибшего в бою, но теперь считается, что это памятник павшим советским воинам, «освобождавшим» Будапешт от того же Хорти.

Когда мы пошли к Штроблю, посол тактично предостерег нас, рассказав, как вот так же он, посол, помог фотокорреспонденту другого журнала попасть в мастерскую великого скульптора, и тот снимал там его

больше часа, а потом в журнале появилось несколько жалких, замельченных фотографий.

– Конечно, если я попрошу, Штробль не откажет. Но что значит снимать такого человека в течение часа? – резонно спрашивал нас посол. – Он же будет ждать отдачи в журнале. Он же привык к полосным снимкам. Венгерские журналы посвящали ему целые номера...

Потом был огромный прием в советском посольстве (это была десятая годовщина образования ВНР), потом был грандиозный прием в здании Парламента (самом красивом здании Будапешта), потом посольство же помогло нам с Драчинским сесть на наш грузовой пароходик, и мы из Будапешта по апрельскому половодью две недели плыли из Будапешта в Измаил... Одним словом, общались, общались тогда в Будапеште с советским послом.

Так удивительно ли, что, оказавшись на недостижимой практически высоте, он захотел поговорить с литератором, с которым познакомился в молодости и который тоже ведь не остался навек в молодых безымянных корреспондентах «Огонька»?

• Нет, сначала, услышав по телефону, кто меня приглашает, кто хотел бы поговорить «в удобное для вас время», я все-таки был удивлен и потрясен. Но потом, когда машина уже мчала меня куда надо, я думал: «А почему бы, собственно говоря, и нет?» Он – глава многосложного, запутавшегося в экономических, продовольственных, социальных, демографических, политических, идеологических противоречиях государства, доведенного фактически до полного разложения и маразма. Должен же он все это чувствовать, должен же искать какой-нибудь выход из положения. А я коловращаюсь вниз, езжу, смотрю, пишу, думаю. Разве не полезно было бы ему послушать, что думает литератор, соприкасающийся с жизнью по иным касательным, нежели он? Так что к моменту встречи, когда надо уж было переступить порог кабинета и сделать 10-15 необ-

ходимых шагов, чтобы приблизиться, встреча не казалась мне ни фантастической, ни даже удивительной. Я бы на его месте поступил точно так же.

...С той будапештской весны прошло больше двадцати пяти лет. Уж не было того худощавого, подобранного, легко выходящего из кабинета в приемную на шум голосов человека, а был человек старый, усталый и больной.

– Боже мой! – мелькнуло у меня в уме, а вернее сказать, отозвалось в душе, – зачем же он? Ему бы сейчас полный покой. Попросился бы, сказал бы, так, мол, и так. Тяжело болен. Прошу отпустить... А ОН ВЗЯЛ ВЛАСТЬ. Этот шаг может быть оправдан только в одном случае, если у него есть решительная и конструктивная идея все перевернуть и все изменить. Тогда это – героический шаг. Но ведь незаметно пока, чтобы он начал все переворачивать и все изменять.

Между тем, я занял свое место в кресле, и беседа, между тем, началась.

Я не знал, чего он от меня хочет и о чем будет наша беседа. Захочет ли он поговорить о нашей современной литературе, захочет ли узнать об истинном состоянии нашей российской деревни, об истинных размерах вырождения русского народа, о масштабах алкоголизма, преступности, бездуховности, инертности. Захочет ли он конкретно узнать, что я думаю о, скажем, повороте северных рек в Каспийское море, то есть об окончательном погублении русского Севера, поговорим ли мы о том, почему закрываются в РСФСР ежегодно сотни школ и чем грозит то обстоятельство, что у льдины (если сравнить на минуту нашу страну со льдиной) тяжелеют края, а середина истончается и легчает... Можно было только гадать, зачем он меня позвал.

А он вдруг по-хорошему, словно бы смущенно даже, улыбнулся и спросил:

– Ну... и что обо мне говорят? Наверное, и анекдоты уже пошли? Без этого не бывает...

Я промолчал. Не анекдоты же в самом деле рассказывать.

– Я понимаю, – продолжал он, – все ждут, а что будет дальше? Понимаю, что побаиваются меня. Все же я столько лет был председателем Комитета... Понимаю, что слушаться меня будут, возможно, больше, чем моего предшественника. Но что-то подсказывает мне, что меня хоть и побаиваются, да не любят. Вот вы – писатель. Считается, что вы стараетесь быть допустимо правдивым. Ответьте же прямо: почему меня не любят? Ведь я, даже будучи председателем Комитета, не сделал народу ничего плохого. Никого не сажал... без вины, по крайней мере. Конечно, каждое государство защищает себя, на то и органы. Но ведь не возникло же массовых лагерей. Ведь болтаете же вы все каждый что может и сколько может. По бывалошним недавним нормам, каждого можно брать и сажать. Теперь вот я – во главе государства. Если бы знали, какое наследство я получил... Можно только сочувствовать. Но сердце подсказывает, что меня не любят? Прав я или не прав?

– Как-то очень неожиданно поставлен вопрос. Но если вы ждете от меня правды и только правды и ничего, кроме правды, то позвольте и вам задать вопрос. А почему и за что вас должны любить? И ради чего вы взяли власть?

– Что же я должен такого сделать? Я хочу укрепить дисциплину, навести порядок. Все – для общего блага. Разве этого мало?

– Начнем с того, что не потеплело. В стране промозгло и зябко. Противно. Вот если бы повеяло вдруг теплом и добротой... Но, увы, не повеяло.

– Это лирика. Что значит, повеяло бы теплом и добротой? Само по себе не повеет. Нужны поступки.

– Об этом и речь. Нужны поступки, а любовь народа, о которой вы говорите, пришла бы сама собой. Вы же не пробовали...

– Что я должен был пробовать?

– Ну... так много всего... Можно сказать, перед вами были открыты неограниченные возможности для завоевания любви народа.

– Например?

– Например, в первый же день прекратить эту нелепую и дикую возню в Афганистане. Да, уйти из Афганистана, причем не тихонько, а откровенно, с заявлениями в прессе, по телевидению... Считаем грубой ошибкой... Бессмысленное пролитие крови с обеих сторон... Бессмысленная трата средств... Пусть афганцы сами решают свою судьбу...

Послать подальше Фиделя, эфиопов и прочих хлебников. Все равно они сами своевременно пошлют нас подальше, но высосав из нас сколько было можно. Опять же все это – громко, обоснованно, с цифрами и выкладками. «Считаем, что эти средства лучше обратить на собственные нужды». Объявить, что резко сокращаются расходы на исследование космического пространства. Все равно американцы нас безнадежно обогнали.

Мы ежегодно высыпаям в западный карман 300 тонн чистого золота. Хлопнуть ладонью по столу и сказать – хватит. Мы торгуем сырьем, как последняя колониальная страна. Гоним на выброс за бесценок сырую нефть, сырую древесину, руду, газ, меха, алмазы (центнерами), уголь... Мы гоним на валюту старинное серебро, иконы, даже бедных последних уссурийских тигров. Хлопнуть ладонью по столу и сказать – хватит! Пригодится самим.

Только в нашем государстве на земном шаре существует два вида денег: одни государство держит для себя, другими (бумажной шелухой) расплачивается с населением. Прекратите это унижительное и рабовладельческое несоответствие, сделайте рубль единым, полноценным и конвертируемым. Возвратите названия старинным городам: Нижнему Новгороду, Твери, Вятке, Самаре, Царицыну, Екатеринбург, Мариуполю, Влади-

кавказу... Снимите народ с жесткого и унижительного пайка во всех сферах жизни, освободите его от унижительного стояния в очередях, от унижительных поездок в Москву за продуктами, от метания по магазинам в поисках нужной вещи... Освободите народ от бесцветной, бездушной, тошнотворной принудительной пропагандистской жвачки, от сиденья на тошнотворных и бессмысленных, отупляющих собраниях, от общих фраз, набивших оскомину, от нелепых и позорных лозунгов, развешанных всюду... Перестаньте лгать в газетах, по радио, телевидению, в речах на каждом шагу и в каждой фразе... Развяжите инициативу людей, их самостоятельность, разморозьте мозги, которые заморожены... Объявите громко, что два комбината, губящие озеро Байкал, прекращают свою работу... Объявите громко, что в ближайшие годы будут восстановлены все памятники истории и культуры, разрушенные или полуразрушенные в предыдущие десятилетия... Объявите громко, что начинается восстановление в Москве храма Христа Спасителя. Разрешите мусульманам открыть достаточное количество мечетей, а православным христианам достаточное количество храмов... Верните людям их праздники, ярмарки, лошадей, мельницы, землю, то есть – свободу... Вот если бы и тогда вы не почувствовали, что вас любят, было бы о чем говорить, а то... Несколько облав в магазинах, пивных, парикмахерских – и уже хотите, чтобы вас полюбили!..

Я думал и ждал, что он сейчас действительно хлопнет по столу и скажет: хватит! Но он слушал меня в задумчивости и в задумчивости же тихо проговорил:

– Ну что же, может быть, я так и буду действовать.

Надо ли говорить, что от неожиданности я на этой его фразе проснулся.

СТАРИЧОК С ИНТЕЛЛИГЕНТНЫМ ЛИЦОМ

Летом 1942 года я окончил Владимирский механический техникум авиационной промышленности. В дипломе значилось «Технолог по инструментальному производству». Весь наш выпуск получил распределение в Москву на завод № 500. Нам выдали командировочные, вернее, дорожные или подъемные деньги по 243 рубля (24 рубля по теперешнему курсу), но внезапно нам сообщили, что поедут в Москву только девушки. Парни пойдут в военкомат. С нас, как тогда называлось, сняли «бронь», нас «разбронировали». Оно и понятно. На огромных земных пространствах гремела война, где перемалывались миллионы человеческих жизней. Уж если чего и хватало тогда у советского государства, так это людей, уж если чего и не жалели тогда в этой войне, так это людей же. Немцев мы просто-напросто завалили трупами. Они просто не успевали нас убивать. Сколько бы ни убивали, а мы лезем и лезем, прем и прем. Сзади ведь тоже пулеметы – заградотряды, не обернешься, не то что повернешь назад. Потом-то, конечно, пошло полегче, потом и до Берлина дошли, только какой ценой. Хрущевская цифра потерь – 20 миллионов – занижена, по крайней мере, в два раза. И как бы ни научились мы воевать к концу войны, какой бы техники ни наработали и сколько бы ее ни наработали, общий стиль веденья войны – не жалеть людей – сохранился до самого конца. Этот стиль лежит в самой природе и сути социалистического государства, рассматривающего людей только как ресурсы, как материал, с которым можно и должно обращаться по своему усмотрению.

Что же говорить в таком случае про лето 1942 года, когда немцы были на Волге и Северном Кавказе. Про Северный Кавказ я запомнил еще и по другому случаю. Директор техникума, Павел Исаакович Шихтин, собрал нас всех, должных предстать перед призывной комис-

сией, оглядел нас, восемнадцатилетних, желторотых юнцов, а завтрашних мертвецов (говорят, от 1924 и 1925 года рождения уцелело около трех процентов), смутился и напутствовал нас такими словами:

– Ну, смотрите, ребята. Вы, конечно, на Северный Кавказ сейчас все попадете. Там камней много. Вы хоть за камни прячьтесь первое время.

При моем хорошем знании Владимира я не могу сейчас вспомнить места и здания, где нас призывали. Не помню обстановки, как раздевались, как выглядела комната, в которой мы представляли перед комиссией. Помню, что за длинным столом сидело несколько человек (пожалуй, не меньше семи), а еще один человек с краю стола держал перед собой списки с нашими фамилиями и разграфленные листы бумаги. После осмотра он записывал каждого из нас в ту или иную графу и тем самым решалось, кто в какую часть попадал, в какой род войск, куда, – решалась судьба. Мы шли гуськом, конвейером, непрерывным потоком и, конечно же, выглядели в глазах усталой, если не обалдевшей комиссии одинаковой и безликой массой: все голые, все стриженные, все худые (по условиям военного времени), все покорные, все бессловесные. Разве кто-нибудь негромко перекинется по соседству словечком, а то и шуткой. Так же вот и я, не вспомнить теперь, по какому поводу (в каком, надо бы сказать, контексте), обронил фразу, которой еще за секунду до этого не было у меня в голове. То есть, вообще-то, она была, читал я, значит, это стихотворение, и оно запомнилось, но я тогда вовсе не увлекался Блоком. Просто мой старший брат Николай, когда готовился к какому-то экзамену, учась на рабфаке (а я был еще совсем маленьким), разложил по столу в нашем деревенском доме разные книги и учебники, в которые я и заглядывал. И вот, значит, я прочитал эту строку, и где-то она хранилась в мозгу, в таинственных запасниках памяти, а теперь неожиданно выско-

– Ладно, «Я не первый воин, не последний...», – произнес я вслух и довольно громко по какому-то (теперь уж не вспомнить) поводу. Но зато запомнил я четко, как один из членов комиссии вскинул удивленно лицо с седенькой бородкой и в золоченом пенсне, лицо такого интеллигентного, такого чеховского старичка, перед этим задумавшегося или не задремавшего ли от тяжелой усталости. И вот я перед глазами комиссии. Они разглядывают результаты моего взвешивания, измеренья роста, дутя в аппарат для измеренья объема легких.

– А что это вы там сейчас сказали, – обратился ко мне старичок в пенсне, – какую-то вроде фразу?

– Это не фраза, это строчка из стихотворения Александра Блока, – проговорил кто-то за меня, но моим натуральным голосом.

– М-да, – вглядывался в меня старичок все пристальнее, – строка из стихотворения Александра Блока... Надо же... М-да... А что, – вдруг решительно обратился он ко всей комиссии, – там у нас есть графа, в которую требуется только один человек. Вы понимаете, о чем я говорю? Эта графа уже заполнена или остается вакантной?

Человек на краю стола начал перелистывать свои бумаги.

– Графа еще не заполнена.

– Я думаю, этот молодой человек был бы подходящим кандидатом в эту графу. И осанка, и рост... Я бы рекомендовал.

Не знаю уж, что это был за профессор, что за местное медицинское светило, привлеченное в комиссию для ее, видимо, авторитетности, а вообще-то дремлющее за столом, но только его послушались. Меня заворотили обратно и стали опять мерить, взвешивать, прослушивать и осматривать, но более тщательно. Придраться им было не к чему, и меня вписали в таинственную графу.

Дальнейшие события развивались не менее таинственно. Всех ребят, призывавшихся вместе со мной, давно увезли, а я недели две жил один в опустевшем общежитии. Наконец меня позвали вторично, на этот раз «имея смену белья, кружку, ложку» и не помню уж что еще. Я провожал ребят, своих однокашников, я видел, как их сначала держали несколько дней в помещении школы № 5, накапливали там, а потом более или менее прямоугольной толпой (хоть это и называлось – строем) они маршировали до вокзала, где их поглотили товарные вагоны, приспособленные под перевозку людей. У меня все было иначе. Я шел с вещмешком до военкомата один. Несколько минут подождал в коридоре, и ко мне вышел человек в штатском с папкой в руках.

– Это ваше «личное дело», – сказал мне человек, – я буду вас сопровождать до места назначения. Сейчас мы пойдем на вокзал.

Мы сели в обыкновенный пассажирский поезд «Нижний Тагил – Москва» и ехали до Москвы в обыкновенном пассажирском вагоне. По Москве мы довольно долго шли пешком и оказались на Красной площади. Там, возле Никольской башни Кремля, сопровождавший меня человек сказал, чтобы я подождал на улице, а сам вошел в пристроечку, на которой висела небольшая вывеска «Бюро пропусков».

– Все в порядке, – сказал человек, возвратившись, – сейчас за вами придут.

Действительно, вскоре из Никольских ворот вышел военный с одной шпалой в петлице (капитан Песочников – зачем-то запомнилась мне его фамилия) и спросил, оглядев меня с головы до ног:

– Это вы и есть наш новобранец? Ну, что ж, пошли.

Очень часто говорим мы про что-нибудь неожиданное, про какую-нибудь внезапную, но, конечно, счастливую перемену: «Как в сказке». Надо знать, что значил в те годы Московский Кремль для всех советских людей,

что олицетворял, какой был овей дымкой, легендой, славой, чтобы понять применительно ко мне, деревенскому парню, пусть и окончившему владимирский техникум, новобранцу, обреченному на почти стопроцентную скорую гибель, это выражение «как в сказке». Да, как в сказке, не успев моргнуть глазом, я шел вслед за капитаном Песочниковым, с вещмешком, снаряженным моей матерью (горбушка хлеба, несколько луковок, сольца в тряпице), по брусчатке Московского Кремля в его замкнутом, отделенном от всего остального мира пространстве, в его недостижимости от всех тогдашних военных лишений, бед и невзгод, включая тяжелые ранения, плен и смерть...

Я прожил за кремлевской стеной сначала курсантом полковой школы, а затем командиром отделения (в звании сержанта) до июня 1946, когда меня демобилизовали. Но к этому времени я уж стал публиковаться в московских газетах. И нет теперь никакой возможности восстановить: кто же был этот старичок с интеллигентным лицом, в золоченом пенсне, восторженный вдруг от строки из стихотворения Блока.

РЕБЯТА, ТИШЕ...

Из многих разговоров с людьми из среды московской интеллигенции у меня сложилось впечатление, что секретное сотрудничество с «органами», осведомительство (а в обиходе – стукачество) в некие времена предлагалось если не всем, то почти всем, за редкими исключениями.

Предлагали его и мне. Это было уже после 1953 года, у меня уже были опубликованы «Владимирские проселки», и, может быть, даже я был уже членом редколлегии «Литературной газеты». Однажды позвонил мне мой бывший сослуживец по армии и сказал, что

надо бы повидаться, есть небольшой разговор. Я, естественно, согласился. При встрече он сказал мне, что работает теперь в «органах», и показал полуграмотное стихотворение, клеймящее В. И. Ленина в самых отборных выражениях. Мне был задан вопрос, не узнаю ли я по стилю кого-либо из известных мне поэтов. Я ответил, что это писал не профессионал, а какой-то самоучка, что с художественной стороны это стихотворение ниже всякой критики, что вообще это писал, должно быть, полуграмотный человек.

– А может быть, это лишь маскировка? Проанализируйте его потщательнее и, пожалуйста, напишите нам в порядке дружеской помощи свое заключение. То, что вы говорили: непрофессионально, полуграмотно и так далее. Только мы не хотим, чтобы ваша фамилия фигурировала в наших архивах. Поэтому придумайте себе псевдоним.

– Какой псевдоним?

– Ну, как, например, звали вашего прадеда?

– Дмитрий.

– Вот и подпишитесь – Дмитриев. Ну, а если нам понадобится снова ваша помощь такого же характера, не откажите.

В следующий раз разговор был уже о другом.

– Мы знаем, что скоро будет собрание московских писателей. Вы, конечно, на нем будете присутствовать. Расскажите нам потом, о чем там говорилось.

– Но будет же протокол собрания... Можете его прочитать.

– Мы хотим услышать это в вашей интерпретации.

Я саботировал это задание, поняв, что меня попросту втягивают в регулярное сотрудничество.

После того, как я саботировал еще одно задание, мне сказали, что со мной хочет поговорить «генерал».

Генерал ли он был, я не знаю (потому что – в штатском), но разговор с ним я запомнил.

– Нам известно ваше настроение. Вы не хотите сотрудничать с нами. Но хорошо ли вы подумали, прежде чем решиться на это?

– Товарищ генерал... мне сказали, что вы генерал. Мы с вами почти одного возраста. Ну, пусть вы немного постарше. Но и я уже не мальчишка. Вы в своей области достигли генеральского уровня. Если бы нам, писателям, давали звания и погоны, то оказалось бы, что и я уже кое-чего достиг. Пусть я не был бы генералом, но майором, а то и полковником был бы, то есть мы с вами должны говорить почти на равных, мы с вами люди одного уровня. А что же вы мне предлагаете теперь? Быть рядовым безымянным агентешкой. Мальчишкой на побегушках! Почему вы должны быть генералом, а я у вас – на побегушках, на мелком осведомительстве? Я тоже если не генерал, то почти генерал. Поэтому извините... товарищ генерал.

После этого разговора меня ни разу не потревожили.

Но уж если зашла об этом речь, то не могу не вспомнить курьеза из нашего студенческого времени. Заходит к нам в комнату в общежитии (а нас жило в комнате шестнадцать человек) молоденький, тогда еще худенький, тогда еще безвестный, но и тогда уж хитрый Расул Гамзатов. Заходит и говорит со своим дагестанским акцентом:

– Ребята, тише. Теперь при мне никогда не ведите никаких разговоров. Меня сегодня назначили осведомителем.

Я думаю, что после этого тоже вскоре отказались от его услуг.

ИСТОРИЯ С ПЕРСТНЕМ

Здесь не место рассказывать о побуждениях, вернее, о глубине побуждений (пожалуй, это, чтобы быть

понятым, потребовало бы исповеди на десятках и сотнях страниц, каковую я и написал еще в 1976 году и каковая существует – не скажу где – в виде рукописи в 500 страниц), здесь же речь идет о том, что в один, не знаю уж, прекрасный ли, день я начал носить на безымянном пальце левой руки золотой перстень. Он был весь золотой, потому что мне сделал его ювелир из пятирублевой царской монеты, оправив его в золотой ободок. Такая монета раньше так просто и называлась – «золотой». Были монеты достоинством 15 рублей (империал), десять рублей (червонец) и вот, значит, пятирублевки. Говорят, были еще 25 рублей и семь с полтиной (полумпериалы), но я ни ту, ни другую ни разу не видел.

Рассказывают, что этими «золотыми» до революции выдавали зарплату и будто бы получатели возражали, предпочитая получать зарплату не золотом, а бумажными деньгами, ассигнациями. Разумеется, эти ассигнации в любое время, в любом городишке России, в любом банке можно было обменять на золотые монеты.

Ну, если золотые монеты находились в простом обращении, значит, практически они могли оказаться в каждом доме, у каждого человека. Таковую-то монету и завещала мне моя мать Степанида Ивановна, чтобы я ее хранил как память о ней. Я оправил монету в кольцо, а получившийся перстень стал носить на безымянном пальце левой руки. Такова была моя официальная версия ношения перстня, которой я потом твердо придерживался всюду, где приходилось давать объяснения.

Я носил этот перстень два года как ни в чем не бывало, но постепенно пошел шорох. В Союзе писателей, в ЦДЛ, в разных кулуарах зашелестело: «Солоухин Николай Второго на пальце носит». Леонид Леонов, услышав про перстень, будто бы произнес: «Не одобряю, но восхищен!»

И вот однажды, именно в кулуарах писательского съезда, в Большом Кремлевском дворце, товарищ Афа-

насьева (если не ошибаюсь), курирующая нашу Московскую писательскую организацию со стороны МК КПСС, неожиданно схватила меня за палец. Значит, она слышала уже о перстне, дошло и до нее, и знала, за какой палец меня хватать.

– Что это у вас? Никак – Николашка.

– Во-первых, Николай Александрович, – ответил я...

Афанасьева вспыхнула, покраснела.

– И почему вы его носите?

Ну... Объяснить все было бы невозможно, тем более пока меня держат за палец.

Даже мою официальную версию надо было бы – излагать. А я вспомнил эпизод с художником Левитаном. Его осматривал доктор и увидел на его груди православный нательный крестик. Левитан был некрещеным евреем (в отличие, скажем, от Пастернаков), и, естественно, доктор его спросил:

– Исаак Ильич, почему у вас крестик?

– Да так, – ответил Левитан, – каприз любимой женщины.

Я думал, что человек, курирующий культуру со стороны МК, может быть, знает этот эпизод с Левитаном, и, чтобы не продолжать разговора и все свести по возможности на шутку, брякнул:

– Да так, каприз любимой женщины.

Афанасьева эпизода с Левитаном не знала и позволила в партком Московской организации.

– Во-первых, он меня оскорбительно поправил: я ему – «Николашка», а он мне – Николай Александрович. А во-вторых, там какая-то женщина замешана, разберитесь.

Партком теперь обязан был разобраться.

И вот из тихого и мирного Карачарова, где я сидел в удобном так называемом Втором корпусе и писал, меня срочно вызывают на общее закрытое собрание Московской писательской организации. Стояли зимние

холода, и я, помнится, приехал в Москву в валенках. Такие большие армейские валенки. Я думал, какая разница, в чем сидеть в многолюдном зале, и действительно не было бы никакой разницы, если бы меня тотчас не попросили выйти на трибуну и дать объяснение своему поведению. Происходило все это в Большом зале ЦДЛ.

Перед этим председатель собрания в двух словах рассказал, в чем тут дело, и закончил:

– Послушаем коммуниста Солоухина, пусть он сам расскажет, как дошел до жизни такой.

Тотчас послышалась злобная реплика:

– Разве вы не видите, что он нас всех презирает! Почему на партийное собрание он пожаловал в валенках?

Партийным руководителем в нашей Московской организации (парторгом МК) был тогда Аркадий Николаевич Васильев, печально известный тем, что ему выпала роль общественного обвинителя на процессе Синявского и Даниэля. Ему-то и было поручено разобратся с моим перстнем. Еще до собрания он однажды уговаривал меня:

– Ну, если дорог тебе этот материнский талисман, носи его под рубашкой на цепочке, но сними с пальца, не дразни гусей.

Любопытно, что в этом случае он и себя, видимо, причислял к дразнимым, к гусям.

Сейчас он давно уж в земле сырой, но мне запомнился один разговор с ним. Во время обеда в ЦДЛ оказались за одним столом (он подсел ко мне, а не я к нему).

– Что же вы, – спросил я у Васильева, – Твардовского-то на тот свет отпустили, я уж не говорю – без звания Героя Соцтруда, но даже и без ордена Ленина, а дали ему лишь «трудового».

– Ты советскую власть не любишь, и она тебя не будет любить, – ответил парторг.

– Эх, Аркадий Николаевич, не нам с вами разбирать отношения Твардовского с советской властью!

Остатки обеда доели молча.

Этот-то Аркадий Николаевич и председательствовал тогда на собрании.

Я гладко и быстро изложил свою версию о материнской золотой монете, и началась реакция слушателей. Мариэтта Сергеевна Шагинян, сидя в первом ряду и держа в руке слуховой аппаратик, кричала:

– А я ему верю, а я ему верю!

Сурков, сидевший в президиуме, бросил реплику:

– Эх, Владимир Алексеевич, я считал вас, понимаете ли, умным человеком.

– Представьте себе, и я вас тоже, – немедленно огрызнулся я. (Ведь уж были написаны мной в то время «Волки».)

Степан Щипачев сказал, что хочет вместо реплики прочитать стихотворение, но председатель попросил его не делать этого и вообще обойтись без выступлений. Из этого я понял, что парторгу дано указание выслушать меня, добиться моего согласия снять перстень, но шумного дела с выступлениями и обсуждением вопроса не поднимать.

Меня долго интересовало, что же за стишок хотел прочитать Степан Щипачев (автор позорнейшей поэмы о Павлике Морозове, воспевший в поэме, впервые в мировой поэзии, не доблесть, не благородство духа, а предательство сыном родного отца), однако прочитал я это стихотворение только на днях, т. е. много лет спустя, выпросив его у вдовы поэта. Вот оно, это чудовищное по своей глупости и слепоте стихотворение седовласого, но слабоумного старца.

ПЕРСТЕНЬ

(О случае, несомненно, единственном и необъяснимом)

Это, верьте не верьте,
но факт – не придумать такого:
на пальце не с камешком перстень –
с лицом Николая Второго.

Возможно, бравада это?
Не знаю, по совести говоря.
Оправлена в перстне монета:
на золоте – тупость царя.

Кладя растопыркою пальцы
тяжелой мужской руки,
владелец не прочь побахвалиться
перстнем таким.

Хочу у него спросить
всерьез (не точить ляды):
неужто душою Вы в той Руси,
где царь и охотнорядцы?

Откуда такое, откуда, сударь?
Известно, Вы любите старину,
твердите об этом без устали.
Я тоже к ней сердцем льну,
любуюсь красою Суздаля.

Только Россия – не стрижка под скобку.
Ее без кондовых слов
любили Лазо, Маяковский,
Калинин, Дзержинский, Свердлов.

И мне дорога – не с Распутиным,
а та, что придумала спутники.

Особенно трогательно, конечно, что к любящим
Россию отнесены Дзержинский со Свердловым, пролив-
шие реки и моря русской крови. Эх, Степа, Степа, про-
жил ты на свете больше семидесяти лет, но так ничего и
не понял.

Торжественного снятия перстня на трибуне все же
не состоялось. На другой день, уже в личной беседе,
Аркадий Николаевич Васильев мне сказал:

– Если хочешь – носи. Но ты одновременно носишь два профиля: на пальце – профиль Николая II, а на партбилете – Владимира Ильича. Так что выбери уж, пожалуйста, один из них...

На этом закончилась история с перстнем.

ЗАБАСТОВЩИКИ

Однажды абхазы в Сухуми устроили сидячую забастовку. Несколько тысяч человек собрались на главной площади, сели там и сидели пять дней и пять ночей. Они требовали, чтобы их Абхазию вывели из состава Грузинской ССР и ввели в состав Российской Федерации. Действительно, с грузинами у них нет ничего общего – ни языка, ни истории, ни религии. Конечно, и с русскими у них тоже нет ничего общего, но известно, чем меньше нация, тем сильнее она угнетает другую, еще меньшую нацию, коль скоро та достанется ей в подчинение. Совершенно очевидно, в что составе огромной Российской Федерации Абхазии жилось бы лучше, вольготнее (если вообще можно употребить это слово относительно жизни в СССР), нежели в составе маленькой Грузии, которая сама насквозь закомплексована с точки зрения и национализма, и шовинизма.

И вот абхазы забастовали. Из Москвы для их успокоения послали кого-то из членов правительства. Тот вышел на трибуну перед забастовщиками и приготовился читать речь, которую ему написали в Москве. Но тут сухумский ветер вырвал листочки из рук оратора и разнес их по площади. Началась прямо-таки идилия. Забастовщики бегали по площади, собирали листочки и возвращали их оратору: только, ради Бога, говори. Но, конечно, ничего удовлетворительного, путного он им все равно не сказал, да и не мог сказать.

Свою свадьбу в 1953 году я справлял в «Арагви». Приехала из Орла сестра жены Евгения Лаврентьевна и ее муж (а мой, значит, теперь свояк) Евгений Александрович Неручев. Он там, в Орле, работал в системе МВД или КГБ, имел звание подполковника и был чуть ли не начальником орловской тюрьмы. При всем том хороший, хозяйственный человек, семьянин.

Ну, и с моей стороны было много гостей, в том числе один крупный журнальный работник (кадр ЦК ВЛКСМ), мой приятель и муж моей приятельницы. В гости друг к другу ходим. Пиво вместе в Домжуре пьем и воблу едим.

И вот Евгений Александрович Неручев, мой новый свояк, смотрит на моего приятеля (а тот в вышитой украинской рубашке) и спрашивает:

- А этот вон гость как сюда попал?
- Так же, как и все, я его пригласил. А что?
- Да так. Мы с ним вместе пять лет в высшей школе КГБ учились.
- Не может быть! Это журналист. Зам. главного редактора журнала.
- Как это не может быть, если вместе учились.

Между тем мой приятель, видимо, сделал какой-то знак Евгению Александровичу, и тому сразу же захотелось в туалет. Вышел вслед за ним и приятель.

Когда Евгений Александрович возвратился и сел опять около меня, я спросил:

- Ну, что?
- Обознался. Надо же, как похож! Ну просто – близнецы. Но оказывается, я обознался.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПО-МОСКОВСКИ

Когда в августе 1968 года советские войска вошли в Чехословакию, чтобы навести там социалистический порядок, в Москве нашлись люди, протестующие против этой акции. Так, известно, что внук Литвинова (бывшего наркома иностранных дел) и жена Даниэля (осужденного вместе с Синявским) вышли на Красную площадь и развернули плакат: «Руки прочь от Чехословакии». На Красной площади обретались, как всегда, людишки, вероятно, приезжие. Один говорит другому:

– Иван, глянь-ка, руки прочь от Чехословакии. Знать, напал кто-то на нее. Кто же?

– Немцы, наверное, кому же напасть?

– А может, американцы?

Пока ротозеи судили и гадали: кто же напал на Чехословакию, подъехал воронок и обоих демонстрантов забрали.

В ПОРЯДКЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Муж был работником какого-то министерства, а жена врач. И вот у них утонул трехлетний мальчик. Сорвался с парапета в бассейн, где фонтан у Дома культуры, и пока спохватились, пока вытащили, он уже захлебнулся.

Не знаю, как, под каким и под чьим влиянием, но постепенно пришло к родителям убеждение, что надо мальчика хоть задним числом, хоть заочно уж теперь, но все-таки покрестить. А то как же он там – некрещеный. Конечно, по всей вероятности, ТАМ ничего нет, но на всякий случай, а вдруг? Вреда ведь не будет. А вдруг? По всей вероятности, очень они жалели мальчика да и чувствовали свою вину, что отвернулись, недоглядели.

Так или иначе – приходят они к священнику. А священник им говорит, что задним числом и заочно

покрестить мальчика и кого бы то ни было – невозможно.

– То есть как невозможно? – возмутился отец, работник министерства. – Бывают же случаи. В порядке исключения...

– Нет никаких исключений, – объяснил им священник. – Невозможно.

– Так что же ему – так на веки вечные некрещеным оставаться? – вступила в дело и мать.

– Да... Надо было при жизни, а теперь не воротись.

– Ну, это мы еще посмотрим! – заявил работник министерства, привыкший к тому, что в порядке исключения у нас можно сделать все, что угодно.

Бедные родители пошли к местному архиерею, архиепископу. Архиепископ их выслушал и говорит то же самое: «Нельзя задним числом и заочно крестить, и никто этого сделать не властен».

– Ну, это мы еще посмотрим! – еще категоричнее возразил отец мальчика.

В конце концов они добились приема у Патриарха всея Руси. Выше инстанции уже не было и не будет. Но и Патриарх их утешить не мог. Оказывается, не все можно сделать даже в порядке исключения.

НАКОНЕЦ-ТО РОДНОЕ...

У меня была трехмесячная поездка по США. Меня сопровождал переводчик из госдепартамента Майкл. Мы объехали многие штаты. В восьми университетах я встречался со студентами-славистами. Наконец приехали в Вашингтон. В тоске по родине я первым делом побежал в наше посольство. Вбегаю с широкой и глупой улыбкой, чуть ли не обнимаю дежурного сотрудника:

– Здравствуйте! Вот я тут... писатель... восемь университетов... Наконец-то как дома...

– Документы! – железным голосом потребовал сотрудник посольства.

Господи! Да я за три месяца и забыл уж, какие бывают документы. Вот теперь я почувствовал, что действительно дома.

БАРХАТНЫЙ ПИДЖАЧОК

Сестра Натальи Иосифовны Ильиной, Ольга Иосифовна, живет в Париже. Наталья Иосифовна возвратилась из эмиграции, а ее сестра – нет. Но она часто бывает в Москве (как, впрочем, и Наталья Иосифовна в Париже). И вот они – обе сестры – у нас в гостях. Ну, у нас иконы по всем стенам – коллекция, которую я собирал. Мы-то здесь привыкли, а там, за границей, знают настоящую цену иконам и понимают, какими ценностями я невольно располагаю.

Между тем у женщин свой разговор. Ольга Иосифовна спрашивает у моей жены:

– Приеду в следующий раз, может, надо привезти что-нибудь девочкам, дочкам...

– Ой, – обрадовалась жена, – если можно, бархатный пиджачок. Сейчас так модно...

Ольга Иосифовна задумалась, даже как будто погрустнела и проговорила не то с удивлением, не то с горечью:

– Да... иконы есть, а бархатного пиджачка нет...

(Надо ли уточнять, что на одну среднюю икону в Париже можно купить несколько тысяч бархатных пиджачков.)

НЕ ГОВОРИТЕ...

Живем как если бы зачумленные. Вот я в Женеве (в Кёльне, Регенсбурге, в любом большом или маленьком

европейском городке) накручиваю на телефонном диске код города Сан-Франциско (там у меня живут друзья), и через несколько секунд – щелчок в трубке, готово дело, даже не верится. Я разговариваю с друзьями из Сан-Франциско. В Париж позвонить и того легче. Вдруг опьяняет эта доступность и возможность: было бы кому звонить. Нью-Йорк, Тегеран, Каир, Токио, Дамаск, Иерусалим, Лима какая-нибудь, Буэнос-Айрес, Рио де Жанейро, Мадрид, Севилья...

Господи, да что же я домой-то не позвоню! Что же я другу своему в Москве-то не позвоню! Что же я... еще-то по одному телефону в Москве-то не позвоню!

Начинаю вертеть, крутить, пыhtеть, пробовать. Баста. Стена. Изоляция. Барьер. Закрытая территория. Звонки не проходят. Надо заказывать разговор, и будут тянуть сутки, а то и больше. Особый мир, другая планета, зачумленный остров.

Особенно потрясла и возмутила меня картинка в Кёльне. Там, на окраине Кёльна, ну, как если бы у нас в Черемушках, располагается советское торговое представительство. Это несколько многоэтажных жилых домов, со своим магазином, клубом, столовой. И вот все это обнесено высокой проволоочной сеткой. Изоляция, особая зона... Дети-подростки гоняют на велосипедах по небольшому кругу, раскатав там землю до пыли. Крутятся часами, как белка в колесе.

– Рядом прекрасное немецкое шоссе, широкие улицы, – говорю я работникам торгпредства, – почему же они кружатся там, за проволокой?

– Что вы! За пределы территории представительства выходить нельзя.

– Но почему?

– Режим, наши женщины могут ходить в город только втроем. Отмечаться. Докладываться.

– Но почему? Ведь рядом большой интересный город Кёльн! Соборы с их мессами, театры, кино, бесчисленные кафе, да и вообще – город.

– Мало ли что...
– Ну, а что если пойдут вдвоем?
– Вдвоем могут сговориться. Зайти в кино, в кафе, в бар... Мало ли...

– И что? Рухнет советская власть? Ну, даже если одна из ста женщин влюбится в немца и бросит своего мужа (что маловероятно), ну и что? Это же жизнь!

– Ну – нет! Режим.

Совпало так, что в этом представительстве работала в то время моя очень хорошая московская знакомая, одинокая, относительно молодая женщина. Было бы странно, если бы я не позвонил ей и не пригласил ее пообедать со мной в каком-нибудь ресторанчике. Мы назначили свидание у главного входа в знаменитый Кёльнский собор.

Они пришли втроем. Ну, правда, две ее подруги оставили нас и пошли таскаться по магазинам.

Я предложил своей знакомой пойти в китайский ресторанчик, потому что очень люблю китайскую кухню. На ее лице я увидел испуг.

– Что вы! Нам категорически запрещено заходить в китайские рестораны.

– Но почему?

– У нас же с китайцами испорченные отношения.

– Милая, это не те, во-первых, китайцы. Это же китайские эмигранты, скорее всего тайванцы. И вообще, что за вздор...

Кое-как я уговорил ее (да и соблазн был велик), мы прекрасно пообедали, но когда прощались, она попросила:

– Пожалуйста, не говорите никому, что я заходила в китайский ресторан.

Когда я учился в Литературном институте, нашей кафедре марксизма-ленинизма как-то уж очень не везло.

Преподавал нам марксизм профессор Шестаков, дуб дубом. Сейчас, конечно, задним числом удивительно, как мы не боялись тиранить его вопросами, за которые по тем временам можно было схлопотать арест или лагерь. Помню один особенно яркий случай. Кто-то из студентов задал Шестакову такой вопрос:

– Дialeктика учит, что всё в конце концов превращается в свою противоположность...

– Да, товарищи студенты, именно этому учит диалектика. Всякое явление должно превратиться в свою противоположность.

– Во что же, в таком случае, превратится коммунизм, когда он будет построен?

Шестаков посмотрел на спрашивавшего ословелыми глазами, будто его стукнули по голове. После длительного молчания он сказал:

– Ваш вопрос, товарищи студенты, требует напряжения мозга. Я отвечу на него в следующий четверг.

Конечно, в следующий четверг и мы, и он сделали вид, что никакого вопроса не было.

На этой же кафедре лаборанткой работала пожилая латышка Эмма Мартыновна. Она писала какую-то диссертацию на историко-революционную тему. Впрочем, быть может, это была теоретическая диссертация. Так или иначе, она однажды призналась нам:

– Ты знаешь-понимаешь (она плохо говорила по-русски), я свой диссертаций совсем написал. Осталось только пронизать ее идеями марксизма-ленинизма...

А ЖАЛЬ...

В Вашингтоне, в музее космонавтики, уже много лет с огромным успехом демонстрируется потрясающий каждого человека фильм. Огромный, панорамный экран, и вот – создается полная иллюзия, что вы на каком-то бесшумном летательном аппарате снижаетесь к земле из заоблачной выси, летите в красивейших кучевых облаках мимо тучи (грохочет гром над вами, ибо во всем полная иллюзия полета) и наконец начинаете полет над земным шаром и смотрите с высоты птичьего полета на все, что на нем наиболее удивительно и знаменательно. Льды Гренландии и египетские пирамиды, саванны Африки с бегущими жирафами, антилопами, львами, дворцы и соборы Европы, Париж и Рим, чудеса Индии, Японии, океаны, Ниагара и другие великие водопады... И не просто на экране в кино, нет, вы летите над всем довольно медленно и бесшумно, парите и смотрите. Весь мир, весь земной шар, и нет только нашей страны, ну и некоторых других стран около нас. Нет Ленинграда, Кавказа, Самарканда, Хивы и Бухары, Киева, березовых рощ, Кижей и тайги, Байкала и тундры, Москвы с Кремлем... Во время этого кинофильма я особенно остро почувствовал, как мы отделены от остального мира, самоизолированы. Как будто нас и нет на земном шаре. А жаль...

ПОГОВОРИЛИ...

Две сотрудницы ленинградского телевидения решили устроить большую передачу о русском языке. К председательствованию они привлекли Володю Вахтина (сына Веры Пановой, между прочим), а к участию в передаче академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, писателей Льва Успенского, Олега Васильевича Вол-

кова, Володю Бушина, сына Всеволода Иванова, Владимира Солоухина... Может, был и еще кто-нибудь, да за давностью лет не помню.

Мы, участники передачи, распределили между собой, так сказать, сферы разговора. Помнится, мне досталось говорить об ужасных сокращениях, аббревиатурах, засоривших наш великий и могучий язык, обо всех этих МХАТах, ГАБТах, ТЮЗах, МЮДах (не говоря уж о совершенно не поддающихся расшифровке сотнях наименований разных НИИ, ну, скажем, МОНИИЛГ, ВНИИБД, ВНИИГМИМЦД-МО, ЦИИНГА-иК, ИВТААН, ИГПАН, ВЗИИП, ВНИИК, ВНИИ-ПТИК, ВНИИКП, ИЗМИРАН, ГИРЗ и т. д.), а чего стоят все эти царапающие ВЛКСМ, ВЦСПС?

Дальше я, конечно, не пошел перед камерой телевидения, но зрители вполне могли и продолжить этот ряд.

Академик Лихачев говорил, наверное, о богатстве древнерусского языка, о языке «Слова о полку Игореве», Олег Васильевич Волков – о засорении языка техницизмами, иностранными словами, бездушными газетными шаблонами, сын Иванова читал перед телевизором в связи с чем-то письма Пастернака, а Володя Бушин взял себе тему переименований.

Передача шла прямо из студии в эфир, без предварительной записи. Могу ошибиться, но, кажется, именно после этой передачи стали обязательно сначала снимать и записывать любую передачу, потом проверять ее и монтировать, а потом уж пускать в эфир.

Мы, надо сказать, вели себя немножечко вольно, немножечко, я бы сказал, подраспоясались, но все же, если бы не Володя Бушин, я уверен, никаких горестных последствий не возникло бы. Ошибка Володи Бушина состояла в том, что он упомянул имя, фамилию, и это упоминание сыграло роль запала, взрывателя. Извест-

но, что пироксилиновая шашка, если ее даже бросить в огонь, горит ровным синеватым пламенем, а не взрывается, все вокруг разрушая. Если же ставить детонатор, запал...

Володя говорил о переименованиях, о всех этих нелепых Горьких, Кировых, Куйбышевых, Калининных, Свердловых, Орджоникидзе вместо Нижнего Новгорода, Вятки, Самары, Твери, Екатеринбурга, Владикавказа, о тысячах переименованных улиц и площадей, о сотнях улиц Урицкого, Дзержинского, Володарского и т. д. и т. п.

Как и в моем случае с ВЛКСМ и ВЦСПС, он не пошел дальше в перечислении городов и не дошел до города, в котором мы тогда выступали. Но зритель мог дойти до этого сам.

И все же это было все ничего, не назови он фамилии. Он сказал: «Известно, что в Моссовете комиссию по переименованиям возглавлял некто Пегов. Самое страшное для него – названия религиозного происхождения, ну, скажем, Благовещенский переулок, или Пименовский переулок, или Воскресенский тупик. Дать бы волю товарищу Пегову, он бы и наших поэтов Рождественского с Вознесенским переименовал бы в каких-нибудь Урицкого и Воровского».

Ну, а Пегов, должно быть, слушал все это, сидя в Москве, или слушали его дети и закричали: папа, папа, про тебя говорят!

Не успела еще закончиться передача, как мы почувствовали, что что-то произошло. На лицах у девушек-редакторов, организовавших передачу, появилась озабоченность, не было этого радостного возбуждения, которое бывает после успешной передачи, а была какая-то подавленность, скованность, угнетенность. Однако основные события начали раскручиваться утром.

Уже в восемь утра у меня в номере в гостинице «Европейская» зазвонил телефон. Звонили как раз эти де-

вушки-редакторы. Говорила, конечно, одна из них, и она плакала.

– Нас увольняют с работы за вчерашнюю передачу. Позвоните, пожалуйста, директору нашей студии Фирсову.

Я набрал номер. Я говорил о том, что девушки ни при чем. Выступали ведь не они. Мы, писатели, должны за все отвечать сами.

– Хорошо, хорошо. Я их, конечно, не уволю, но я обязан. Ведь сигнал из Москвы.

Через четверть часа опять телефонный звонок.

– Это Фирсов. Мы только что говорили. Вы когда едете в Москву?

– Хотел сегодня со «Стрелой», а что?

– Говорят, вы знакомы с министром культуры, с Фурцевой...

– Да... в общем знаком.

– Не можете ли поговорить с ней?.. Дело в том, что меня снимают с работы...

Всего было уволено с работы тогда восемь человек. Шестеро в Ленинграде и два человека в Москве, те, которые нашу передачу пустили на весь Союз. Передача была записана на видеопленку. Рассказывали, что работники московского телевидения иногда прокручивали ее для себя как кино.

Не знаю, как других, но меня после этого восемь лет не пускали в эфир ни по телевидению, ни по радио. Кто-то наверху назвал нас, всех выступавших, могильщиками революции. Одним словом – поговорили...

А ВАСЬКА СЛУШАЕТ ДА ЕСТ

Мне позвонил человек из Брянска. Он сказал, что говорит от имени группы брянцев, и сообщил, что в их городе собираются сносить огромный собор на одной из центральных площадей. Собор, правда, XIX века, но

очень красивый, организует архитектурно центр города и его силуэт. Да ведь и «Исаакий» в Ленинграде тоже XIX века. Да и Казанский собор в том же Ленинграде...

Ну что я мог сделать, как помочь? Позвонил президенту Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры (одновременно он заместитель предсовмина РСФСР по делам культуры) Вячеславу Ивановичу Качемасову, а также министру культуры СССР Екатерине Алексеевне Фурцевой. И тот, и другая возмутились действиями брянских властей и заверили меня, что примут немедленные меры: будут звонить в Брянский обком КПСС, пошлют телеграммы. Я успокоился.

Месяца через два мне снова позвонили из Брянска и сообщили, что наш подопечный собор снесен. Совпало так, что в этот же день у товарища Качемасова было какое-то совещание по «Золотому кольцу», и я был на совещание приглашен. Товарищ Качемасов, рассказывая о делах, упомянул и о том, что стараниями Общества спасен собор в городе Брянске.

Я не удержался и с места перебил оратора:

– Вячеслав Иванович, мне очень не хочется вас огорчать, но собор в Брянске снесен.

– Как?! Не может быть! Я лично звонил первому секретарю обкома, я лично посылал телеграмму...

– Это очень прискорбно, но собор в Брянске снесен.

Товарищ Качемасов налился кровью. Я, конечно, понимал, что в присутствии 20-30 человек поставил его в крайне неловкое положение, но как-то вот не мог сдержаться.

Между прочим, Качемасов мне этого никогда не простил. А Брянскому обкому все прощено.

В самолете, улетающем из Москвы, из Шереметьева в ФРГ, летит в числе пассажиров женщина лет сорока с ребеночком на руках. Женщина изуродована полиомиелитом, кисти рук скрючены, трясутся, сама она тоже вся перекручена в разные стороны. Но ребеночек, вероятно, будет расти нормальным. Ведь полиомиелит болезнь инфекционная и по наследству не передается.

История этой женщины такова. Она из Белоруссии, откуда-то из-под Орши. Во время войны ее мать, молодая и красивая девушка, полюбилась немецкому офицеру и сама полюбила его. Они повенчались в местной православной церкви.

Родился ребенок. Потом немцы отступили, а женщина с ребенком осталась на месте, да и можно понять: ведь шли бои... впрочем, не знаю, почему тогда он не отправил ее в Германию. Она жила отверженной, была вынуждена уехать от родных мест подальше, где никто не знал бы ее прошлого. К тому же у девочки случился полиомиелит. Смерть прекратила ее страдания, а дочь выросла и даже вот каким-то образом, несмотря на болезнь, обзавелась своим ребеночком. Кто-то ей посоветовал найти отца. Она стала действовать через международный Красный Крест. Имя отца она знала, да и в церковных записях оно сохранилось. Отца нашли, и она ему написала.

Отец отозвался быстро. Он написал, что у него в Баварии своя ферма, своя теперь уж семья, но «ты моя дочь, я приму тебя вместе с твоим ребенком. Вы будете жить, ни в чем не нуждаясь».

Теперь она летит в Германию. Вот такая история.

В Баку, на квартире у Самеда Вургунa, шло большое застолье по случаю приезда московских писателей. Точного состава гостей я не знаю, но были Антокольский (со слов которого это записано), Симонов, Луконин, С. С. Смирнов, Прокофьев, кажется, Дудин и Липкин. Ну, и азербайджанские наиболее крупные поэты.

В разгар пиршества раздался телефонный звонок. Самед Вургун небрежно взял трубку, но вдруг, выпрямился, вскочил, как бы встав по стойке «смирно», и разговаривал уже стоя.

– Да... московские товарищи... ужинаем... да-да, конечно...

Окончив разговор, он посмотрел на всех не то торжествующе, не то испуганно и сообщил:

– Сейчас сюда придет товарищ Багиров.

Уточним ситуацию. Самед Вургун – поэт (кстати сказать, довольно посредственный), которого сделали живым классиком азербайджанской советской поэзии, потому что, по мысли Иосифа Виссарионовича, у каждой нации, входящей в его государство, должны быть свои герои и классики. Так возникли в одном ряду, скажем, Паша Ангелина, Мамлакат Нахангова, сестры Виноградовы и т. д., а в другом ряду – Сулейман Стальский, Джамбул, Дмитрий Гулиа, Гамзат Цадаса, Мирзо Турсун-заде, Берды Кербабаяев, многие другие, включая и Самеда Вургунa.

Что касается Багирова, то это был в Азербайджане царь и бог. Азербайджанский Сталин. Впрочем, выражение «был культ, но была и личность», которое применяется обычно к Сталину, применимо, видимо, в какой-то степени и к Багирову. Недаром впоследствии из всех первых секретарей союзных республик Хрущев расстрелял одного лишь Багирова.

Так вот: «Сейчас сюда придет товарищ Багиров».

Прежде самого Багирова появились двое людей, одетых в штатское. Они принесли два ящика. В ящиках были коньяки, вина, икра и виноград. Заодно они оглядели застолье и оценили обстановку. Потом уж приехал и Багиров. Конечно, он сел во главе стола и сам уж вел застолье. Тосты, по-восточному витиеватые, следовали один за другим.

Теперь я думаю, оценивая следующий поступок Багирова, что, возможно, он уже чувствовал колебание почвы под ногами после смерти Сталина, был недоволен временами, раздражен, понял цену советскому патриотизму тех же писателей, одинаково кричащих «ура» Сталину так Сталину, Хрущеву так Хрущеву. Возможно, на фоне прочного сталинского «благополучия» он так бы не поступил. Вдруг Багиров, взяв свой бокал, скомандовал:

– Встать!

Все вскочили, думая, может быть, что это нужно для особого тоста, а может быть, механически, вовсе ни о чем не успев подумать.

Багиров обвел всех тяжелым, медленным, испытующим взглядом и скомандовал:

– Сесть!

Не успели пирующие сесть, как опять последовала команда «встать!». Все встали. Встать-сесть, встать-сесть – это повторилось три раза. После этого Багиров обратился к хозяину дома:

– Ничего... Хорошая интеллигенция... Хорошая советская интеллигенция. Продолжайте...

Вышел из-за стола и уехал.

ЦИТАТА

В военной газете одному сотруднику было поручено «организовать» статью крупного военного начальника, может быть, даже маршала. Сотрудник не знал, с

какого конца к этому делу подступиться. Друзья ему посоветовали: «Ты что, не знаешь, как это делается? Будет ли тебе маршал сам писать статью? Ты ее напиши и дай ему. Скажи, что это, конечно, „болванка“, материал, но чтобы облегчить работу... и т. д. Он исправит в твоей статье два слова (а может быть, и их не будет исправлять), подпишет ее, а подписать ему недолго. Всегда ведь так делается, ты разве не знал?»

Все так и получилось. Прошло время. Однажды сотрудник был дежурным по номеру газеты и читал очередную статью, в которой цитировалась та самая статья маршала, а фактически его самого. Цитата показалась ему немного корявой стилистически. Он еще подумал: «Что я тогда – пьяный, что ли, был, что написал так коряво?» Недолго думая, он исправил цитату и сделал ее более грамотной.

Вдруг его вызывают «наверх», «на ковер».

– Вы дежурили по номеру?

– Я.

– Вы исказили цитату маршала?

– Да я... да видите ли...

– Вы исказили цитату маршала! Будете отвечать за это по всей строгости...

КАКИЕ КАМНИ?

19 января 1980 года я был в гостях у Ивана Стаднюка на даче. Стаднюк, как известно, на протяжении уже многих лет встречается с Вячеславом Михайловичем Молотовым. Из разговоров с Молотовым у Ивана Фотиевича родился замысел его многотомной книги «Война», питается эта книга теми же разговорами с Молотовым, точнее сказать, его рассказами.

В тот крещенский вечер у Стаднюка на даче разговор неизбежно коснулся и его книги, и его встреч с Молотовым.

– А давай ему позвоним, – предложил Стаднюк, – поздравим его с праздником. Интересно, знает он или нет, что сегодня Крещение.

Тотчас Иван Фотиевич набрал номер, и вот уже пошел у них невероятный, фантастический лет бы тридцать тому назад разговор, как и сам факт этого разговора.

– Вячеслав Михайлович? Добрый вечер. С праздником вас решили поздравить. Сегодня ведь праздник...

– Знаю, знаю, Крещение, – ответил Молотов (записываю со слов Стаднюка, ибо нам ответы Молотова слышны не были).

– Вот здесь Солоухин Владимир Алексеевич. Тоже поздравляет вас.

– А он вас там молиться не заставляет?

– Вот он сам, передаю ему трубку.

– Здравствуйте, Вячеслав Михайлович, – (Невероятно, неправдоподобно, фантастично.) В ответ я услышал молодой, металлический, немного скрипучий голос Молотова, точно тот же самый, каким он оповестил всех нас 22 июня 1941 года о том, что началась война. Как сейчас звучат у меня в ушах последние слова его речи: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами».

Тот же самый голос теперь говорил:

– Здравствуйте, и я вас поздравляю с праздником, над чем сейчас работаете?

– Я только что написал книгу «Время собирать камни».

– Какие камни? Почему собирать?

– Ну... Какие камни? Вы в свое время разбрасывали, а теперь приходится собирать.

– Ну, желаю вам успехов.

Невероятно, неправдоподобно и фантастично.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

В так называемом «Сороковом» магазине, то есть в магазине № 40 (располагающемся, кстати сказать, в здании КГБ, и в этом дополнительный тут оттенок), как обычно – толчея, очереди, шум и гам. Я стою в очереди в винный отдел. Вдруг мужичок, по внешнему виду из провинции, из другого какого-нибудь города, через людей, толпящихся у прилавка, спрашивает продавщицу:

– Кагор у вас есть? Мне наказали обязательно привезти кагору, я из Воронежа.

Значит, первое, что явствует из этого вопроса, что в Воронеже кагору днем с огнем не отыщешь. Как, впрочем, и во всех остальных городах государства. Как, впрочем, не только кагору. Мои родственники обыкновенно везут в Орел из Москвы творог, масло, мясо, колбасу, сыр... Ну, да все это уже всем известно.

– Нет кагору, – отвечает продавщица воронежскому мужичку. А тому, очевидно, очень нужен кагор. Это ведь, во-первых, вино лечебное, а во-вторых, вино церковное. По той или другой причине мужичку нужен кагор. Он, как видно, был готов к тому, что кагора в продаже не окажется, он тотчас задал второй вопрос:

– А типа кагора что у вас есть, типа кагора?

– И типа ничего нет.

– А что случилось? – искренне изумился мужичок.

– А ты не знаешь, что случилось? – спокойно и четко ответил голос из очереди. – Революция в 1917 году случилась.

– Вот-вот, – дружно загудела очередь. – Что случилось? Революция случилась в 1917 году, а он и не знает, а он спохватился, кагора ищет.

НЕ БОЙТЕСЬ...

Один мой знакомый работал в ЦК инструктором. Поехал он в отдаленную область читать лекцию активу обкома. Встретили его там, как говорится, на высоком уровне, поселили на даче обкома, организовали рыбалку, выпивку... Потом работник обкома осторожненько-осторожненько стал наводить речь на это самое... В то же время и лектор тоже осторожненько-осторожненько стал наводить речь на это самое... Мгновенно они друг друга поняли. Работник местного обкома говорит:

– О чем речь? Нет ничего проще. Кого предпочитаете – блондинку, брюнетку, потолще, потоньше? Давно бы сказали.

Тогда москвич, работник ЦК, то ли из некоторой осторожности, то ли из некоторого приличия, вроде бы поостыл. «Да удобно ли? Как бы чего не вышло... все же – ЦК...»

Работник обкома его превосходно понял и успокоил:

– Не бойтесь. Подберем члена партии.

НЕ О ТОМ Я ЖАЛЕЮ...

Александр Альфредович Бек был человеком хитрым, лукавым и по-своему веселым. Говорит о чем-нибудь вроде бы грустном для него и вообще, а глазки его голубенькие, маленькие так и бегают, так и прыгают. Кроме того, у него была приговорка, происшедшая из распространенного паразитирующего словечка «так сказать». Вместо «так сказать» Александр Альфредович говорил «кашкá». Как уж могло превратиться внятное «так сказать» в «кашкá», я не знаю, но речь Бека была вся пересыпана этим словечком.

Мы были знакомы, и при редких встречах, преимущественно где-нибудь в доме творчества, в Малеевке,

в Переделкине, в фойе ЦДЛ, у нас установилась этакая, как бы сказать, игра в поддавки.

– Кашка, слышали, что чехи, кашка, творят? Сущее, кашка, безобразия, не хотят, кашка, строить социализм. Кашка, хотят идти каким-то своим путем. Это же, кашка, полное безобразие... Надоело им, видите ли, кашка, строить социализм... Все, кашка, строят и ничего не говорят, а им, кашка, видите ли, надоело... Свободы, видите ли, кашка, захотелось...

Ну вот, говорит он так, а глазки веселые бегают, лукавят, хитрят.

– Да, – начинаешь вторить ему, играя в поддавки, – и это при самой-то свободной и демократической системе в мире. Ревизионисты ползучие. И чего не хватало? В магазин зайдешь – колбасы пятнадцати сортов, масла – хоть завались, икра черная и красная...

– Кашка, их бы осенью к нам на картошку, дурь-то и вылетела бы! А как поступать с ними? Я думаю, кашка, надо давить, надо, кашка, танки пустить, нечего, кашка, с ними церемониться, а то ведь, кашка, на них глядя, и другие тоже захотят... Плохи дела в Чехословакии, плохи...

А глазки веселенькие так и бегают.

Однажды Александр Альфредович дал мне почитать свой новый роман, в рукописи. Это была главная книга его жизни. Сначала роман назывался «История болезни...» номер такой-то (а какой, я не запомнил). Потом пришлось его переименовать (все это в рукописи) в «Онисимов», потом появилось третье название – «Новое назначение». Дело было там в том, что этот Онисимов, крупный государственный (или хозяйственный) деятель сталинской эпохи, умирает в больнице от рака. Ну и с ним вместе (подразумевается) умирает целая сталинская эпоха. Так казалось, должно быть, Беку.

Я роман прочитал и после этого каждый раз при встрече с Беком мог уж спрашивать: «Ну, как роман?»

– Плохо, кашкá. – Тут глазки уж не веселились, не бегали. – В издательстве прочитали и требуют доработки. Многие места придется менять. Название романа мы уже изменили.

В другой раз:

– Плохо, кашкá. Роман отослали читать в ЦК.

Так и шло года два, три. Роман не брали ни один журнал, ни одно издательство. Наконец вновь я спросил о судьбе рукописи у Александра Альфредовича.

– Владимир Алексеевич, кашкá, катастрофа...

Никогда я еще не видел у Бека таких веселеньких, бегающих, прыгающих глазок.

– Катастрофа, Владимир Алексеевич, беда, несчастье.

– Да что такое?

– Роман, кашка, издали на Западе.

– Ну... Они многое теперь издают. Надеюсь, не вы сами отослали им рукопись, как-нибудь она попала к ним окольным путем... А здесь вы сделали что могли. Ведь рукопись побывала во многих журналах и издательствах. Вы не виноваты.

– Кашка, не то меня огорчает, не о том я жалею, что роман там издан...

– О чем же?

– Да ведь сколько мы тут мудрили с редакторами, сколько вычеркивали, дописывали, округляли и сглаживали, а они, кашка, гады, опубликовали первый, нетронутый вариант!..

А глазки голубенькие так и бегают, так и брызгаются лукавством и радостью.

ОТКОПАЛИ...

Когда в 1960 году на очередном съезде КПСС Хрущев провозгласил, что у нас в стране через 20 лет будет построен коммунизм, и когда это было внесено даже в

программу партии, естественно, что все газеты опубликовали это. И вот в Саратове два школьника взяли газету того времени, наверное, «Правду», положили ее в железную банку и закопали у себя во дворе.

Прошло 20 лет. Школьники выросли. И вот они решили откопать газету и новыми глазами прочитать, что там было написано. К этому времени на месте их «клада» разбили сквер, так что копать пришлось в сквере. Стали собираться любопытные зеваки: что там ищут мужики? Наконец, газета откопана. При стечении народа началось чтение вслух.

...Догоним и перегоним Америку по основным показателям...

Смех.

...Бесплатное общественное питание...

Смех.

...Изобилие продуктов...

Гомерический хохот.

...Бесплатный проезд в общественном транспорте...

Хохот.

Подошла милиция. Мужичков с газетой забрали. Приписали им, говорят, антисоветскую пропаганду, а ведь читали они всего лишь газету «Правда».

ХОРОШАЯ ФОТОГРАФИЯ

Одно время я увлекался собиранием старой крестьянской утвари. Тогда у меня была машина «ГАЗ-69», то есть вездеход, на ней-то я и шастал по владимирским деревням и селам, где – деревянная солонка, где – туесок, где – берестяное плетенье. И вот на одном чердаке мне попалась большая и даже застекленная фотография семьи Александра III. В центре фотографии – он сам, лысый, с широкой бородой, за ним, за правым его плечом, – государыня императрица Мария Федоровна,

вокруг – пятеро их детей: государь наследник-цесаревич Николай Александрович (будущий Николай II), еще две царевны и два царевича. Эту фотографию я взял и привез домой. Не то чтобы я собирался ее навечно повесить у себя в кабинете, но, пока не нагляделся, поставил на виду, и время от времени мы с сестрой Екатериной Алексеевной ее разглядывали.

Ну, конечно, деревня деревней, но все же вот – московский литератор, и надо знать, конечно, как он там живет и чем дышит, и, конечно, кому-нибудь да поручили поглядывать и послушивать. Да мы и знали кому – соседу нашему Федорычу. Лучшей кандидатуры им бы и не найти. Бывший фронтовик, член КПСС, язык подвешен и – не дурак. Этот Федорыч частенько, следовательно, ни с того ни с сего заглядывал к нам на тарыбары и даже все время соблазнял меня на лоно природы (с бутылкой, разумеется): «Посидим, поговорим».

Вот он заходит ко мне в кабинет, незаметно, но зорко оглядывает все углы и вдруг видит большую застекленную фотографию.

– А это кто такие?

Я-то хотел ему сказать правду. Ну, подумаешь, старая фотография, найденная на чердаке. Там, куда пошла бы информация о ней, я думаю, пережили бы. Но не успел я открыть рта, как меня опередила Катюша:

– Это семья Ульяновых. Разве не видишь?

– А... да, да... – понимающе закивал Федорыч. – Хорошая фотография.

ЗА ЧТО?

В нашем селе произошел страшный случай. Произошел-то он не в самом селе, но касался сельчан и даже моих соседей. Назовем участников драмы и скажем по два слова о каждом из них. Антонида Кузьминична, моя бывшая учительница (когда я учился в 4-м классе), а

теперь уж на пенсии, да к тому же и школу давно закрыли – некого стало учить. Ее муж Александр Федорович (Федорыч – по-нашему, по-соседски). Бывший фронтовик, а теперь в колхозе (к тому же и член КПСС) на привилегированных должностях, если можно назвать привилегированной должность, скажем, завскладом. Впрочем, теперь-то он тоже на пенсии, да и болен. Была уже одна операция на почках и назревает другая. Их сын Вовка. Конечно, Владимир или даже Владимир Александрович, но так как он значительно моложе нас всех, тут обретающихся, и мы помним его с ползункового возраста, то – Вовка. Работает под Владимиром в милиции. Имеет собственные «Жигули». Его жена Люся, молодая белокурая женщина, по образованию – педагог. Помню еще, как меня пригласили в соседнее село в школу на сорокалетие пионерской организации, и эта Люся, тогда совсем еще девочка, пионерка, звонким голосочком докладывала (рапортовала) перед всем строем директору совхоза о делах и успехах пионерской организации. У них с Вовкой – сынишка Олег (Олежка), но в трагических событиях он не участвовал.

Так вот, Вовка на «Жигулях» и его мать Антонида Кузьминична поехали в Орехово-Зуево (за 100 километров по Горьковскому шоссе) покупать поросенка. Взяли с собой и Люсю. Причем, как вспоминали потом, очень ей не хотелось ехать, да и незачем – могли бы купить поросенка и без нее.

Поросенка, кстати сказать, они почему-то не купили (в цене ли не сошлись, не понравился ли товар), а на обратном пути произошла автомобильная авария. Вовка шел на обгон и развил скорость больше ста километров. Его сторона дороги была свободна, и он, развивая скорость, ничего не опасался. Как вдруг, откуда ни возьмись, из бокового лесного проезда на дорогу вылетел тяжелый военный грузовик, ведомый, очевидно, молодым новобранцем. Деваться было уж некуда. Антониду Кузьминичну и Люсю, говорят, собирали по

кускам. Сам Вовка получил пару серьезных переломов, но очень скоро все срослось и зажило. Он после катастрофы успел уже два раза пережениться. Положим, нормальная жизнь тоже была сломана в этой нелепой аварии, но если жив, то жизнь продолжается. Что касается Федорыча то он года два постоянно ходил на могилу под вечер и страшно и жутко был там, наводя тоску на окрестных жителей. Да и можно его понять. Сыновья с ним не живут, они в городе. Остался он сразу один-одинешенек.

Вот я и стал думать: за что же их так, и Люсю, и Антонида Кузьминичну? Душегубством не занимались, в коллективизации не участвовали, церковей не закрывали. Мало ли что – одна была сельской учительницей в начальной школе, а другая – активной пионеркой. Вся-то и активность ее состояла в собирании макулатуры, металлолома да в прополке кукурузы на совхозных полях.

А потом меня осенило. Это не их «за что», а ведь Федорыча. Ведь не они же, а он ежевечерне волком воет на их могиле. Они погибли мгновенно. Когда-никогда, а каким-нибудь способом умирать придется. Ну а Федорыча, а Федорыча – есть за что!

Как-то он уговорил меня отъехать от села на километрик-полтора и там в зеленом овражке, под старым дубом, посидеть на травке в тихое предзакатное время. Около бутылки, разумеется, захватив домашних припасов. Скорее всего, ему тогда поручалось как соседу наладить контакт с московским литератором. Я хоть понимал это, но «под дуб» с ним поехал. Во-первых, таить мне было нечего. Я не заговорщик, не конспиратор, а круг моих мыслей более или менее известен. Я его никогда не скрывал. У меня профессия – высказывать свои мысли. В сущности, я ничего другого и не умею. Во-вторых, интересно же, как Федорыч меня будет «колоть».

Однако чарка (вторая, третья) действует на обе ведь стороны и языки развязывает обоим собеседникам. Федорыч вдруг развоспоминался и разоткровенничался о своей фронтовой жизни. И рассказал мне следующие два эпизода:

– Ну, ты знаешь, что я воевал в Белоруссии партизаном. Как попали мы в окружение в первые дни войны, так в этих лесах и застряли. Это называлось «партизаны», а были такие же воинские части и подразделения. Воевали, одним словом. Белорусы-то нас не очень любили. Во-первых, нам же питаться нужно, где же нам еды взять, кроме как у крестьян. Отбирали и не спрашивали. Война! Во-вторых, убьем немца в какой-нибудь деревне – немцы эту деревню карать. А мы-то в лесу сидим. Нарочно так делали, чтобы у немцев ненависть к белорусскому населению возбудить, а у населения – к немцам. А потом освобождение началось. Вот освободили мы одно местечко и в нем большой немецкий госпиталь. Немцы все ушли и раненых эвакуировали, а девчонки наши, медперсонал, остались. Ну, там, медсестры, нянечки... Ворвался я в этот госпиталь, палаты все пустые, стекла выбиты, по коридорам ветер гуляет. Вдруг слышу – голоса за одной дверью. Я дверь распахнул и стою на пороге с автоматом. В эту комнату, оказывается, все эти девчонки и собрались и нас, освободителей, ждут. Как я показался на пороге, они все обрадовались, улыбаются мне. Я тоже им улыбаюсь. Нарочно им улыбаюсь, чтобы легче им было, чтобы ни о чем они не догадались. Да... Улыбаюсь я им, «здорово, говорю, сестрицы», а сам незаметно автоматом-то и провел... Одиннадцать штук их там было. Ни одна и не пикнула. А я-то нарочно улыбался, чтобы они, значит, ни о чем не догадались. А то ведь метаться, кричать бы начали. Нет... Ни одна и не пикнула... А то еще в эти же дни случай был. Освободили мы село. При немцах все колхозы были распущены, возродилось единоличное хозяйство. Но мы снова пришли, значит, снова надо кол-

хоз образовывать. Собрали мы мужиков: так, говорим, и так. Ну, все молчат, только один старик, борода большая, седая: не пойду, говорит, опять в колхоз, не пойду и баста. Ах, ты, думаю, что же теперь с тобой делать? Пойдем, говорю, вон за тот сарай. Он пошел и не сопротивляется. Завел я его за угол сарая и – короткой очередью... А что же с ним было делать?

«ПЛОХОЙ СОБОР...»

В конце 1979 года я три месяца (впервые) провел в Соединенных Штатах Америки. Приглашение пришло из Канзасского университета, от профессора Джери Майкальсона, в каковом университете я и жил первые три недели, встречаясь со студентами-славистами и рассказывая им по мере возможности о нашей литературе. Потом, согласно программе, разработанной американской стороной, началась поездка по другим университетам. Когда сидели с представителем госдепартамента и уточняли программу, то спрашивали у меня относительно каждого города, где предстояло побывать: нет ли каких-нибудь особенных пожеланий. Дошел черед до Сан-Франциско, и я вспомнил, что существует ведь архиепископ Сан-Францисский Иоанн, что он пишет стихи, издает их под псевдонимом «Странник» и посылает свои сборнички некоторым московским поэтам с дарственной надписью. В частности, и у меня были уже два его сборничка стихов. Я знал, что наши Женя Винокуров, Елизар Мальцев во время своих поездок в Америку встречались с архиепископом и долго беседовали. Кроме того, я хорошо знаком с его сестрой, живущей в Париже, – Зинаидой Алексеевной Шаховской. Достаточно основания попросить американцев внести в программу пункт: встреча с Иоанном Шаховским, архиепископом и поэтом.

Однако когда приехали в Сан-Франциско, то мой сопровождающий и переводчик Майкл (Миша) сказал, что в программу вносится маленькая поправка. Дело в том, что Иоанн Шаховской уже не у дел по болезни и старости, более того, он находится на излечении где-то в санатории далеко от Сан-Франциско, а заменил его другой архиепископ по имени Антоний. С Антонием можно встретиться, с ним уже говорили, он не возражает и ждет нас в одиннадцать часов у себя в резиденции.

Я шел на эту встречу с опасением и тревогой. Одно дело Иоанн Шаховской, посылавший мне свои книги и с сестрой которого я знаком, а другое дело вовсе незнакомый человек и скорее всего не слышавший обо мне. Придем, а он спросит: «Чем могу служить?» А то и еще проще: «Зачем пожаловали?» И что я тогда отвечу, что пролепечу? Дѣла ведь никакого нет у меня к этому церковному иерарху, захочет ли он вообще разговаривать с советским писателем?

Тут самое время пояснить, что Русская Православная Церковь в других странах разделена на несколько разных Церквей. Одна Церковь, будь ее приходы в Швейцарии, Франции, Англии, ФРГ, в той же Америке (не говоря уж о Болгарии, Польше, Чехословакии и т. д.), подчиняется Московской Патриархии, Патриарху всея Руси Пимену, и поэтому считается просоветской. Другая-де не хочет подчиняться Москве и существует самостоятельно, хотя к Москве относится более или менее лояльно. И есть еще так называемая «Русская Православная Церковь за рубежом». Православную Церковь в СССР она считает продавшейся советской власти, называет ее советской Церковью и с Московской Патриархией находится в непримиримой конфронтации. Они последовательные и убежденные монархисты. Недавно они (но тогда, в 1979 году, этого еще не произошло) прославили, канонизировали царскую семью, расстрелянную большевиками в 1918 году в Екатеринбурге (по-теперешнему в Свердловске), и вместе

с царской семьей всех новомучеников российских, то есть всех замученных и убитых после исторического залпа «Авроры». Одним словом, реакционеры и мракобесы.

Конечно, когда войдешь в ту или другую церковь, никакой разницы в богослужении сначала не увидишь и не услышишь. Это то же самое русское православное богослужение с той, однако, не сразу уловимой разницей, что если в Москве дьякон во время великой антины провозглашает: «Еще молимся о богохранимем державе Российской, властех и воинстве ея», то дьякон-зарубежник провозгласит: «Еще молимся о многострадальной державе Российской от безбожной власти угнетенной и о спасении ея». Небольшая, но все же разница. Ну и, конечно, особенные могут быть молебны, панихиды о почивших государях, поминовение всех членов царствующего дома, чего не бывает в условиях советской действительности. Только Болгария отстояла себе право во время каждой службы поминать императора Российского Александра Николаевича, то есть Александра II, которого болгары называют царем-освободителем. Ну, так ему и памятник стоит в центре Софии.

Я как-то раньше и не задумывался, что Иоанн Сан-Францисский, поэт «Странник», встречающийся со многими советскими писателями, даривший им свои книги и вообще персона для советских людей вполне рукопожатная, принадлежит к монархической и бескомпромиссной ветви Русской Православной Церкви. Поэтому я с легким сердцем и попросил включить в программу моего пребывания в Сан-Франциско встречу с ним. Но теперь, оказалось, я шел на аудиенцию к настоящему иерарху этой Церкви, который сейчас вполне резонно спросит меня: «Чем могу служить?» Или еще проще: «Зачем пожаловали?»

А и правда – зачем?

Но отступать было некуда, и я, механически поправив галстук, уверенно стал подниматься по лестнице в

архиерейских палатах. Ну, ладно, — думал я, — десятиминутное знакомство не повредит, в конце концов, ни ему, ни мне. Писатель должен все знать, а они, как бы там ни было, русские люди, может быть, даже не меньше русские, чем я сам или уж, во всяком случае, мои коллеги, наполняющие по вечерам отнюдь не богоспасаемый Центральный Дом Литераторов, одними дверями выходящий на улицу Герцена (бывшую Большую Никитскую), а другими — на улицу Воровского (бывшую Поварскую), в полминуте ходьбы от переулка Наташи Качуевской (бывшего Скорятинского), в полминуте же от площади Восстания (бывшей Кудринской) и в пяти минутах от площади Маяковского (бывшей Садово-Триумфальной) в Москве. У Москвы название, в отличие от бывшего Санкт-Петербурга, уцелело.

Двери открылись, и я увидел седовласого, седобородого старца, открывающего мне свои объятия, как если бы отец блудному сыну.

Следующие пять-шесть часов я описывать не берусь, да и нет нужды. Достаточно сказать, что был мне показан собор на главной улице в Сан-Франциско с хранящимися в нем некоторыми бесценными реликвиями, в частности, обломком кирпича из Ипатьевского дома, обрызганным кровью. Ведь русская армия вошла в Екатеринбург через два дня после совершившегося злодеяния. В эти же часы я познакомился с замечательной русской семьей: жена, муж, сын и две дочери. (С этими людьми я подружился настолько, что когда четыре года спустя судьба опять привела меня на два дня в Сан-Франциско, я не стал останавливаться в гостинице, а остановился у них.)

Ну, вот. В одиннадцать утра мне нужно было прийти в советское консульство, и я по дороге зашел в собор на полчаса, постоял, послушал, поставил свечку Николаю-Угоднику.

Ответственный сотрудник консульства, когда дело было закончено, повез меня показывать Сан-Францис-

ко. Конечной целью мы наметили китайские кварталы города, где, кстати, намеревались пообедать. Машина мчалась по главной улице Сан-Франциско.

– Смотрите-ка, собор! – как бы удивился я.

– Это плохой собор, – объяснил мне сотрудник консульства. – Есть другой, тот наш, подчиняется Московской Патриархии. А это – плохой собор.

Я подумал, что, судя по времени, моя свечка перед Николаем-Угодником, возможно, не успела еще догореть до конца.

СОЛОУХИН Владимир Алексеевич – родился 14. 6. 1924 в с. Алепино Владимирской области. Окончил Литературный институт имени Горького. Его перу принадлежат книги стихов: «Дождь в степи» (1953), «Журавлиха» (1959), «Имеющий в руках цветы» (1962) и «Жить на земле» (1965). Но широкую известность приобрел как прозаик, автор художественных очерков «Владимирские проселки», «Капля росы», «Письма из русского музея», «Третья охота», «Камешки на ладони», «Смех через левое плечо», получивших широкую известность, как у себя на родине, так и за рубежом.



Ничего нет правдивей заката, воды и гранита,
И корней оголенных, заката, ветвей и воды.
Разгадай на мгновенье, какая здесь правда сокрыта,
А потом уходи, на песке оставляя следы.

Одинок постановщик пейзажей, небес и пророчеств.
Как неопытный зритель, ты жалок и дорог ему.
Но едва ты восторг превратить в отпущенье
захочешь,
Он домой отпускает. Во тьму.

1979

СТАРАЯ СКАЗКА

На белой скатерти бывший друг
Поест, попьет. И уйдет.
Я слезы утру, я скатерть запру,
И тут мой жених войдет.

Ему на клеенке накрою я,
И сядет он есть, влюблен.
Он даже гордится, что белым я
До свадьбы храню свой лен.

1977

ПЕСЕНКА

Начинает этот вечер колдовать,
Заклинанья сочиняя на ходу.
Начинаю потихоньку напевать,
Оттого что я по улице иду.

Оттого, что налит в окна желтый сидр,
Оттого, что вечереет, но светло,
И на каждой почке капелька висит,
И по капельке от сердца отлегло.

Оттого, что не гляжу судьбе в глаза,
Оттого, что не надеюсь и не жду,
Но, как десять лет, как десять лет назад,
Я по этой вешней улочке иду.

А на вечной этой улице всегда
И девчонки, и мальчишки, и капель,
И поют про голубые города,
И вдыхают вечереющую прель.

Я не знаю, что случится с ними там,
Где окончится их вешняя стезя.
Люди с жизнью ударяют по рукам
Оттого, что им без этого нельзя.

А иных ударит обухом судьба,
От которой ни вперед и ни назад,
И не нужно ни «помилуй!», ни «избавь»,
Но смотреть ей нужно попросту – в глаза

И твердить себе, что улица была,
Где девчонки, и мальчишки, и капель,
Где шептались про сердечные дела
И вдыхали вечереющую прель.

1978

* *
*

Ты в поддавки играешь с крошечным бытом,
Ты вдоль реки времен путешествуешь с горстью вишен.
Дух беспокойства, почти что лишенный плоти,
Ты привираешь по-женски, по-царски ранишь.

Крошечный принц со страниц Матенадарана,
Рыцарь щебечущих, лживых тбилисских улиц,
Горький и ломаный весь ленинградский книжник,
Мертвый, что с жизнью и смертью играет в покер.

Ты безупречен, но душу твою увидев,
Я отшатнулась: сломанный мрамор, сучья
Черные, свет ниоткуда изжелта-слабый,
Небо беззвездно. Как смерч, круговертью – небо.

Я поняла, что ты ничего не любишь:
Только такие жизнь отдают за прихоть.
Я поняла: отошла твоя милость князя
И за спиною моей, как стена, сомкнулась.

Знания ты не прощаешь. Ну, что же, с Богом.
Низкий поклон тебе и твоей пустыне.
Как ты по-царски ранишь себя, счастливчик!
Как ты живущих жить заставляешь, мертвый.

1978

* *
*

Проходим оба свой урочный путь.
Но я люблю, и я тебя ревную.
Во сне я падаю к тебе на грудь
И шею постаревшую целую.

Ты мнительней становишься и злей,
Моя душа и силы на исходе,
И путь трудов, запретов и скорбей
Мы в обуви колодников проходим.

Но будем перед смертью вспоминать
Не дел своих застывшие побеги,
Но то, как ты не смел поцеловать
Меня в степи на призрачном ночлеге.

1981

АПАТИТЫ

Воздух снегом исколот,
И стоит над душой
Этот маленький город,
Деловито-чужой,

Нам, чье слово не стало
Достоверным, как хлеб,
Нам, застывшим устало
На распутье судеб.

Но в этажнике сером
Из клеенки – уют,
Здесь надежда и вера
Гнезда скромные вьют.

Из обрывков бумаги,
Из стихов и вестей
Для крикливой ватаги
Сероглазых детей.

Нашей жизни уроки –
– И пронзительный кров,
Где естественны строки,
Как кормежка птенцов,

Где, топорща коленки, –
– Пятилетний дьячок –
Шпарит Пушкина Ленка,
Сорванец и сверчок,

А медлительный Леша,
Толстый и золотой,
Хлеб на Библию крошит
И, довольный собой,

Тянет руки к голубке
И к фабричным плато...
Наши судьбы – обрубки,
Но спасибо за то,

Что, отвыкнув молиться,
В этом доме чужом
Я молилась за птицу,
За ребенка и дом.

1982 – 1983

* *
*

Театр мятущихся теней,
И тени листьев на стене,
И странно той, чья жизнь пуста,
Что тень ее темней листа.

И странно этому впотьмах,
Что не бросает тени страх,
За ним крадущийся всегда,
И страшно той, чья жизнь пуста.

И вновь играет смех и плач
На черной скрипочке скрипач
Для тени тех, чья доля – свет,
Где жизнь чиста и страхов нет.

И так же смотрим я и ты
На плоских тварей темноты,
Как ослепительные – те,
На нас взирают в высоте.

1983

КОКТЕБЕЛЬ

Да сбудется над вами синева,
Дороги колчеватые Тавриды.
Холмы, как лапы слепнущего льва,
Кольчугой трав зазубренных покрыты.

В сетях остистых, выжженных обид
Земной коры застывшие изгибы,
И волны – переливчатых глубин
Воинственные, пенистые глины,

И цепкий взгляд распластанных высот:
Вода не поит, камень не дает
Вцепиться, но трава – неистребима

На той земле, где чаянья несут
Как узкогорлый – на плече – сосуд,
Но пьют на взгорьях только жажду Крыма.

1973

КАРАДАГ

Дорога пишет глиною мыслете,
И вишенья глядит из-под руки,
И ласточки на бреющем полете
Вычерчивают в воздухе круги,

И смотрят сверху царственные козы,
Наставницы для низкорослых роц.
И у порога – встрепанные розы,
Как дачницы, попавшие под дождь.

1985

ДУНАЕВСКАЯ Елена – живет в Ленинграде. Других сведений
о ней у нас нет.

КТО БОИТСЯ РЭЯ БРЭДБЕРИ?

*Сценическая фантазия
в 2-х актах и 6-ти сценах*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

БОРИС ВОДЯНОЙ	}	– Скульпторы, братья-близнецы
АЛЕКСАНДР ВОДЯНОЙ		
ОЛЬГА	}	– Их жены, сестры-близнецы
ЛЮДМИЛА		
ХВАТ	}	– Роль для одного актера
СВАТ		
ГОРЕМЫКИНА		– Старушка-соседка
ЭНБЕР		– Мальчик-сосед

А К Т П Е Р В Ы Й

С ц е н а п е р в а я

Застекленная веранда загородной дачи, приспособленная под скульптурную мастерскую. Повсюду – беспорядочное нагромождение начатых, полузавершенных и законченных работ. Слева – входная дверь вся в разноцветных отпечатках кистей рук. Сбоку от входа – крохотный закуток, в котором чуть не впритык друг к другу теснятся газовая плита, холодильник и кухонный стол. На столе громоздится некое загадочное сооружение из стекла и металла, соединенное зигзагообразными трубками с кипящей на плите кастрюлей. Сооружение

переливается всеми цветами радуги, подрагивает и фырчит, чем-то отдаленно напоминая лабораторный агрегат. Справа – во всю длину глухой стены – широкая тахта на высоких ножках. Над ней – полки, уставленные разрозненными книгами и фотографиями. На тахте, закрыв лицо раскрытой монографией и держа на животе перед собой включенный транзистор, лежит Б о р и с В о д я н о й. Из транзистора льется тихая восточная музыка. За окном хлопьями падает снег.

Входит О л ь г а.

ОЛЬГА (отряхиваясь). И как тебе не надоест!

БОРИС (из-под монографии). Чего?

ОЛЬГА (раздраженно). Волынка эта узбекская.

БОРИС. Не узбекская, а туркменская.

ОЛЬГА. Не все ли равно.

БОРИС. Для тебя, может быть.

ОЛЬГА. А для тебя?

БОРИС. Огромная.

ОЛЬГА. С твоим бы слухом да в оперу.

БОРИС. Не в оперу, а к оперу. И вообще закрой варежку, мешаешь кайфу.

ОЛЬГА. Кайфуешь, а братцы Кукины опять безобразничают.

БОРИС. Что еще?

ОЛЬГА. Вынесли мать в одной рубашке на снег и держат.

БОРИС. Чего им от нее?

ОЛЬГА. Бутылку бормотухи вымораживают, она ее от них к Пасхе спрятала.

БОРИС. Безнравственно.

ОЛЬГА. Пока ты философствуешь, старуха концы отдаст. Запросто.

БОРИС. Я же не участковый. Что мне прикажешь делать?

ОЛЬГА. Хоть поди, пристыди их.

БОРИС. Нравственно. А зачем?

ОЛЬГА. Пусть отпустят.

БОРИС. Отпустят. Только без бутылки все равно не уймутся. Грабить пойдут, а это тоже безнравственно.

ОЛЬГА. Ничего не скажешь, логика железная, тебя ничем не проймешь. *(Кричит в сердцах.)* Господи, да заткни ты свою волюнку наконец, я от нее скоро с ума сойду, будь она проклята!

Раздается звонок в дверь.

БОРИС. Меня нет.

ОЛЬГА. Порядочные люди без предупреждения не приходят, опять рвань какая-нибудь. Когда это только кончится!

Выходит. В прихожей возникают торопливые голоса. Музыка в транзисторе взрывается на полную мощность, но так же внезапно обрывается, уступая место дикторскому голосу: «Вчера в Нью-Йорке, в знаменитой галерее Каstellи, закрылась выставка выдающегося русского скульптора-нонконформиста Александра Водяного. Выставка прошла с огромным успехом. Ведущая американская пресса и телевидение уделили этому событию большое внимание. Крупнейший американский критик в области искусства Джон Рассел...»

БОРИС *(отбрасывает от себя внезапно умолкший транзистор, смахивает с лица монографию, возбужденно вскакивает).* Алька, выдающийся русский скульптор-нонконформист! Я его карандаш в руках учил держать, он у меня с детства на подхвате бегал, его и знали-то в Москве только как моего брательника. Он мне до самой эмиграции глину месил и за пивом бегал. Выдающийся русский скульптор-нонконформист! Что они там – Каstellи с Расселом – чокнулись, что ли, забыли с перепоя, кто есть кто? Мир сбрендил! *(Вдруг угасает так же внезапно, как и загорается, снова валится на тахту.)* А, чёрт с ними...

Возвращается Ольга.

ОЛЬГА. По твою душу.

БОРИС. Кто там еще?

ОЛЬГА. Очередной страждущий. Душа горит, а выпить не на что.

БОРИС. По вторникам не подаю. (*Накрывает лицо тою же монографией.*) Пошли они все...

ОЛЬГА. Он не задаром.

БОРИС. Гони.

ОЛЬГА. Говорит: повесится.

БОРИС. Безумству храбрых.

ОЛЬГА. Последнее принес.

БОРИС. Могу себе представить.

ОЛЬГА. Мешок копирки и ящик скрепок.

БОРИС. Ничего лучше не украл?

ОЛЬГА. У него жена машинисткой в конторе, там больше красть нечего. Может, посочувствуешь все же?

БОРИС. Боже мой, чего мне только уже не пытались всучить! Женские лифчики и трусы, магнитофонные пленки, мясной фарш для пирожков, электронику, ручного зайца, японские презервативы с усиками, лодочные моторы, золотую фольгу из кремлевских церквей, полуботинки без подметок, ремни без пряжек и пряжки без ремней, растворимый кофе, иконы, типографский шрифт, целлофан, туалетную бумагу, значки для иностранцев, занавески, табуретки, этажерки, корень жень-шень, морфий, шприцы, бинты, бормашину – и все за бутылку! До какой же ты ручки дошла, Россия!

ОЛЬГА. Человек ждет.

БОРИС. Дай ему на мерзавчика и пусть убирается отсюда к чёртовой матери вместе со своим мусором. Что у меня здесь, в самом деле, склад для ворованного, что ли?

ОЛЬГА. Гуманно.

Выходит. Борис снова запускает транзистор на полную мощность. Сквозь громыхающую музыку пробивается телефонный звонок. Второй... Третий... Возвращается Ольга. Демонстративно затыкает уши.
Музыка резко обрывается.

БОРИС (*жестом указывая ей в сторону телефона*).
Меня нет.

ОЛЬГА (*подходит к телефону*). Алло, слушаю. (*Мгновенно преображается*.) Люська, ты! (*Знаками зовет Бориса к себе*.) Откуда ты?.. Господи, как во сне!.. И Алик здесь?.. Даже не позвонили, не предупредили... Хорош сюрприз, от таких сюрпризов людей на инвалидность списывают... Вот Борис рвет трубку, Алика давай, пускай мужики сами между собой разберутся. (*Передает трубку Борису*.) Ей-Богу, надо же!

БОРИС (*берет трубку*). Ну ты даешь, Алик, как снег на голову, высечь тебя некому, шиз несчастный!.. Ты где?.. Хватайте тачку и сюда... Какие могут быть разговоры, ты что, у бусурман этой вшивой дипломатии нахвтался... Даже говорить больше не хочу, приедешь – наговоримся, нам спешить некуда, впереди вечность, ждем. (*Кладет трубку*.) Какой гусь, даже разговаривает уже с бусурманским акцентом: апойтмент, ланч, парти. Нахвтался, чернушник... Ишь ты: выдающийся русский скульптор-нонконформист Александр Водяной, Рассел-Кастелли. (*Ольге*.) Так, мать, ноги в руки и в Елисей к Токолову, он у меня какую-нибудь порнуху просил для его баньки накарябать, я было отказался, но ради такого случая, чёрт с ним, придется оскоромиться. Пускай мечет все, что у него в номенклатурных закромах карячится: икру всех оттенков, коньяк марочный, парную ветчину и протчая, и протчая, и протчая, а самогон ностальгический (*кивает в сторону закутка*) у нас свой есть.

ОЛЬГА. Их, наверно, не удивишь, у них там этого добра навалом.

БОРИС (*отмахивается от нее, возбужденно кружится по мастерской*). Навалом не навалом, а пусть секут, что мы здесь тоже не побираемся, нам сладкой жизни за бугром искать не приходится, свою на дому имеем, нечего им нос задирать, мы тоже не лаптем щи хлебаем. Подумаешь, «выдающийся»! Борис Водяной – это вам тоже не хер с горы, меня еще Пикассо ценил, мне Ренато Гуттузо при жизни памятник пророчил, я с

Генри Муром на «ты» переписывался. Вон они у меня на двери почти все отметились. Даже сам Жан-Поль Сартр лапу приложил. *(Вздыхает с завистью.)* А все-таки недурно они там устроились, сачки: ни тебе мосха, ни тебе худфонда, ни искусствоведов в штатском, лепи-рисуй себе что Бог на душу положит! Живут же люди!

ОЛЬГА *(размышляя о чем-то своем)*. Когда сбор?

БОРИС. Договорились вокруг восьми.

ОЛЬГА. А сейчас.

БОРИС *(смотрит на часы)*. Почти три.

ОЛЬГА *(озабоченно)*. Успеть бы. *(Загибает пальцы.)* Парикмахерская – раз, к Елисееву – два, уборка,стряпня – три, плюс – дорога. *(Взволнованно.)* Нет, подумать только, Люська – американка, гран-дама, наверно, вся в фирме и брильянтах, а давно ли за мной колготки донашивала!

БОРИС *(не слыша ее)*. Если у них мой Алька за выдающегося проходит, то какая же мне цена, меня еще Шагал современным Микельанжело называл! До каких же пор я буду прозябать здесь, в этой занюханной тмутаракани, ведь еще пять, от силы десять лет и совсем исхалтурюсь на этих вшивых госзаказах и сопьюсь к едрене бабушке: классический конец российского таланта, а уж через неделю после крематория обо мне даже собственные родственники забудут. На потомков надежда слабая, да и, кто знает, суждено ли им быть, этим потомкам? Вдарит какому-нибудь чмуру в маршальских эполетах моча в голову, нажмет кнопку, и поминай как звали нашу землю-матушку вместе со всеми Микельанжело, Водяными и прочей пылью впридачу. Эх, бросить бы все к чёртовой матери пока не поздно, махнуть в чем есть за бугор, наделать шороху и хоть напоследок пожить по-человечески.

ОЛЬГА *(занятая своими мыслями)*. Если успеть смотаться на Центральный рынок, можно исхитриться устроить грузинский стол, самогон за чачу сойдет, посидим по-семейному.

Звонок в дверь.

БОРИС. Меня нет.

ОЛЬГА. Меня тоже.

Выходит. Из прихожей доносится возбужденная перепалка. Затем в мастерскую вваливается Х в а т. Он расхристанно пьян и шумен.

ХВАТ (на ходу сбрасывает шапку, шарф, дубленку, расшвыривая их в разные стороны). Все, чехты, конец! Расплевался я с Софьей Власьевной вчистую, по всем статьям. Разошлись, как в море корабли: мне на Запад, ей – в другую сторону. Отныне и навеки Федор Хват вольный казак! Свобода, бя!

БОРИС. Когда отваливаешь?

ХВАТ. Завтра, старичок, в пятнадцать ноль-ноль.

БОРИС. Пустили, значит, Дуню в Европу?

ХВАТ (обиженно). Завидуешь?

БОРИС. Европе завидую, такое счастье ей привалило.

ХВАТ (с вызовом). А что, моя школа еще себя покажет! Ихний авангард против моего метафизического сюрреализма слаб в коленках, про меня вон недавно «Тайм» писал, большое будущее моей школе сулит. Федя Хват только с виду прост, а в душе у меня бездонный вулкан. Надолго хватит.

БОРИС. С твоим бы товаром да в Чухлому, тебе бы там цены не было.

ХВАТ (отмахивается). Не понять тебе, старичок, моего мистического прорыва, ты все еще по земле пластаешься, а я давно в горних высях парю. Меня, может, и поймут-то по-настоящему лет через сто, не меньше... Ладно, старичок, Бог тебе судья, накапай лучше страждущему своего зелья.

БОРИС. Не маленький, сам справишься.

ХВАТ. Грубый ты человек, старичок, будто и не родной вовсе, нехорошо. (Скрывается в кухонном закутке.) Гудит и воет родной завод...

Из прихожей заглядывает Ольга.

ОЛЬГА. Мальчики, не скучайте, лечу: одна нога там, другая здесь.

Исчезает.

ХВАТ (*появляется со стаканом в руке*). Нет, что там ни говори, а не тянет кастровская тростниковая против нашей свекольной, квинтсистенция не та, с трудом память снимает, слабаки они с нами тягаться, у нас по этой части, можно сказать, тысячелетняя культура. (*Прихлебывает из стакана.*) У меня, слышишь, старичок, на таможене целая история вышла. Сидит там чмур один, полтора ивана, в приличном поддатии, печать на бумаги шлепает, дошла до меня очередь, ткнулся он в мой паспорт пропитым носом, взглянул на меня и спрашивает: «А ты куда собрался?» – «Как, – говорю, – куда, на историческую, – говорю, – родину». – «А ты на себя, – говорит, – давно в зеркало смотрел?» – «А чего мне, – говорю, – смотреть, я, – говорю, – по себе не соскучился». – «Дрын, – говорит, – по тебе лагерный соскучился, у тебя, – говорит, – мордovorот полметра на полметра, с похмелья не обкакаешь, родина твоя, – говорит, – историческая Рязанью называется». – «Раз на раз, – говорю, – не приходится, под Рязанью евреев тоже навалом». Посмотрел он на меня, как на приезжего, покачал головой,дохнул на печатку и прихлопнул: «Хер с тобой, отваливай, глядишь, скоро все там будем». (*Пьет.*) Нет, старичок, не тянет кастровка против нашего свекольного, никак не тянет.

БОРИС. Не в таком темпе, Федя, наглотаешься, завтра не встанешь, аннулируют визу – наплачешься.

ХВАТ. Бедная виза! Подумать только, до чего дошло, пархатые сионисты вместе с израильской военщиной протягивают братскую руку русскому мужику. Чего бы мы теперь без них делали, где бы голову приклонили кроме вытрезвителя, а они на тебе, битте-дритте, и родню обрезанную в готовом виде, и приглашение-вызов на меловой бумаге, и в голландском посольстве

билет до венского леса: беги, серый, куда глаза глядят. Прямо скажем, гуманный народ.

БОРИС. А из Вены-то куда решил?

ХВАТ. В Париж, старичок, в Париж. Порастрясую я там их сонное царство, заелись лягушатники, такое фуфло вместо высокого искусства гонят, смотреть совестно, мертвечина. Не хватает им нашей сермяжной выстраданной правды, боли нашей метафизической. В абстрактных кружевах, как в дерьме тонут, скоро всем выродятся. Гибнет Европа, на глазах гибнет, спастись надо.

БОРИС. Вот и я говорю, заждалась Европа нашего брата, с утра встает и выглядывает, где же мы с тобой, Федя, запропастились, когда явимся, вызволим из беды, поправим дело.

ХВАТ. Все подначиваешь, а я тебе всерьез говорю, европейскому искусству свежая кровь во как нужна, они без нас от своей суходрошки совсем на нет сойдут скоро. Они и сами признают. Вон у меня был один недавно, не хер еобачий, культурный атташе, без пяти минут русский граф, правда, через мать с прожидью оказался, так тот прямо говорит: «У нас, – говорит, – форма, а у вас дух, таких как вы, – говорит, – во Франции на руках бы носили».

БОРИС. Не уронили бы только.

ХВАТ *(снова прихлебывает из стакана)*. Зависть тебя гложет, старичок, вот и ерничаешь. *(Его начинает заметно развозить.)* У меня уже там все на мази: и связи, и галерейщики, и пресса... На Орли встреча по первому разряду... Министр речь толкать будет... Большой бомонд, можно сказать: силь ву пле, ком ву вуле, се ля ви и все такое прочее... Перебрал я, старичок... Кастровка, она тоже свое берет, ежели больше ведра... Покимарю я у тебя часок-другой, сниму лишний градус с души, облегчусь малость... Не обессудь, старичок...

БОРИС. Ты свое место знаешь.

ХВАТ (*опускается на карачки*). Обидеть хочешь, старичок... Зря, меня обидеть нельзя... У меня корона с головы не упадет... Федор Хват себе цену знает. (*Все так же на карачках передвигается к тахте.*) Да. (*Запевает.*) «Враги сожгли родную хату, убили всю его семью. Куда теперь идти солдату, куда нести печаль свою...»

Скрывается под тахтой и вскоре затихает.

БОРИС (*обреченно*). Господи, мир действительно сошел с ума: Федя Хват и тот в Растиньяки подался! Чего же я – Борис Водяной – здесь забыл, чего жду и на что надеюсь? Все перепутано и некому сказать: Россия, Лета, Лорелея! Надо что-то решать, поговорить сегодня с Аликом и решать: ту би ор нот ту би!

Из-под тахты доносится голос Хвата: «А на груди его светилась медаль за город Будапешт...»

З а н а в е с

С ц е н а в т о р а я

Обстановка та же. За окном в вечеряющем воздухе струится тихий снег. Мастерская старательно прибрана. Посередине празднично накрытый стол, на котором горят свечи. **О л ь г а** озабоченно кружит от кухни к столу и обратно. **Б о р и с** в прежней позе лежит на тахте с включенным транзистором перед собой. Звучит уже знакомая нам восточная музыка.

ОЛЬГА (*удовлетворенно оглядывая стол*). Не стыдно перед басурманами, пускай нам пыль в глаза не пускают, сами с усами. (*Взволнованно.*) Случается же такое! Люська, тихоня с вечным насморком – американка, нарочно не придумашь! Могу себе представить, какая она теперь цаца, а в детстве нас родная мать путала, до того похожи были, только характерами и расходились: она тише воды, ниже травы, а я сорви-голова.

Мы даже иногда нарочно ролями менялись, чтобы всем во дворе голову заморочить, чего вытворяли, вспомнить совестно. *(В сердцах в сторону Бориса.)* Да заткни ты наконец свою шарманку, мозги плавятся!

БОРИС *(из-под монографии)*. А зачем они тебе?

ОЛЬГА. Сам кретин. Так и будешь валяться до самого прихода, уже почти восемь. К тебе ведь не из Каширы приезжают – из Америки, неужели вот так, в затрапезе, и встретишь?

БОРИС. Подумаешь, барин, американский дядюшка, мистер-твистер, бывший министр! Перебьется. Забываешься, мать, тебе от этого родства уже моча в голову вдарила, совсем перестала соображать, кто есть кто в русском искусстве.

ОЛЬГА *(безнадежно вздыхает)*. С тобой разговаривать... *(Раздается звонок в дверь.)* Они!

БОРИС *(нехотя поднимаясь)*. Легки на помине.

Ольга спешит открывать. Оставшись наедине с собой, Борис принимается поспешно приводить себя в порядок. Затем появляется Ольга, ведя за собой гостя, как две капли воды, даже в одежде, прохожего на

Х в а т а.

• ОЛЬГА. Проходите, проходите. *(Борису.)* Вот принимай. *(Многозначительно.)* Из милиции.

Уходит на кухню.

БОРИС. Опять из-за этой бронзы! Я ведь уже писал объяснительную: куплено в законном порядке, через Худфонд.

СВАТ. Здравствуйте, я извиняюсь, конечно: служба... Оперуполномоченный из райотдела, капитан Федор Петрович Сват моя фамилия... Я насчет ваших соседок сестер Горемыкиных.

БОРИС. Что, замочили кого-нибудь, притон держат или валютным бизнесом занялись, с них станется?

СВАТ. Ну что вы, что вы! Очень законные старушки, Божьи, можно сказать, одуванчики, по всем оперативным данным полный ажур.

БОРИС. Может, сами по рукам пошли или ширяются?

СВАТ (*обиженно*). Тут шутки шутить не приходится, гражданин Водяной, не до шуток тут, у нас сигнал.

БОРИС. Письма трудящихся, надо думать?

СВАТ. Врубаются в тему.

БОРИС. А я при чем?

СВАТ. При том, что сосед и можете соответствовать.

БОРИС. Каким концом?

СВАТ (*вынимает записную книжку и карандаш*). Горемыкиных давно знаете?

БОРИС. Здравоемся.

СВАТ. Ничего подозрительного не замечали?

БОРИС. Я по другой части.

СВАТ (*угрожающе*). Товарищ Водяной, я при исполнении...

БОРИС. А в чем, собственно, дело, что вы мне все шарады загадываете, говорите прямо.

СВАТ (*примирительно*). Такое, понимаете, дело, соседи сигнализируют: чтой-то неладное у старушек. Раньше, сколько лет друг без дружки никуда, что во двор, что в магазин, будто склеенные, а вот уже с полгода по одиночке стали ходить, с чего бы это, как по-вашему?

БОРИС. Предположим, поссорились, семейное дело, все очень просто.

СВАТ. Отпадает. У них друг на дружку пенсионная доверенность оформлена, а получает только одна. Если бы поцапались, не получала бы.

БОРИС. Логично.

СВАТ. То-то и оно. Участковый ваш уже подкатывался к ним, без толку, как ни придет: то одной нету, то — другой. И каждая по-разному показывает, а вместе их никак не застать, такая история.

БОРИС. И все-таки, при чем здесь я?

СВАТ. В нашем деле любое лыко в строку. Опрашиваю всех кругом на всякий случай, может, выплывет что-нибудь.

БОРИС (сухо). Ничем не могу помочь.

СВАТ. Как знаете. Только ежели чего вспомнится, позвоните. *(Вырывает листок из записной книжки.)* Или через участкового.

БОРИС *(убирает руки за спину)*. И звонить не буду, и к участковому не пойду. Увольте.

СВАТ *(осторожно кладет листок на краешек стола)*. Всякое может случиться, гражданин Водяной, глядишь, пригожусь. *(Отступает к двери.)* Извиняюсь за беспокойство.

Уходит.

ОЛЬГА *(показываясь из кухни)*. Ушел?

БОРИС. Такие гости уходят только временно, теперь не отвяжешься.

ОЛЬГА *(смотрит на часы)*. Алик в своем репертуаре, вежливость королей это не для него, но хотя бы позвонили.

БОРИС. В такой снег найти тачку, набегаешься.

ОЛЬГА *(задумчиво глядя в окно)*. У них там и снег-то, наверное, совсем другой.

БОРИС *(хмуро)*. Какой же?

ОЛЬГА. Особенный... Посмотри американское кино, такая природа, ни в чем меры нет: если дождь, то уж как из ведра, если жара, глядя пить хочется, а если зима, святых выноси, будто все холода мира на них свалились.

БОРИС *(насмешливо)*. Прямо по Райкину, мать: у них там все как у людей, сначала весна, потом лето и так далее. Когда мы только повзрослеем!

Звонок в дверь.

ОЛЬГА *(тоскливо)*. Они или опять не они?

Идет открывать.

БОРИС. Чувствую, напьюсь сегодня по-черному!

В сопровождении Ольги входит **Анна Николаевна Горемыкина**. Старушка словно выхвачена из киномассовки фильма на революционную тему: обнищавшая барынька в ободранных мехах и под вуалькой.

ОЛЬГА. У Анны Николаевны к тебе приватный разговор.

Уходит на кухню.

ГОРЕМЫКИНА (умоляюще). Борис Александрович, голубчик, был у вас этот сыщик?

БОРИС. Вы же знаете.

ГОРЕМЫКИНА. Еще бы не знать, весь дом переполошил, сейчас Кукиных трясет, делать ему нечего.

БОРИС. Что же все-таки у вас происходит с сестрой, Анна Николаевна, поссорились, что ли?

ГОРЕМЫКИНА (всплескивая руками). Да что вы, Боря, Бог с вами, мы с ней с самого детства душа в душу, чего же нам под старость делить!

БОРИС. Всякое бывает.

ГОРЕМЫКИНА. У кого угодно, но не у нас с Таней! Столько вместе пережито, столько переговорено-передумано, что мы давно уже как одно целое. К тому же мы, как и вы с Аликом, близнецы.

БОРИС. Извините, Анна Николаевна, я без всякого умысла.

ГОРЕМЫКИНА. Да что вы, что вы, Боря, какие у меня могут быть от вас секреты, вы же у меня на глазах выросли, можно сказать, почти родные. Все проще простого, голубчик: мы с Таней до того обносились, что нашего с ней гардероба только на один выход и хватает: одна ходит, другая дома сидит. Нашей пенсии нам еле-еле на хлеб хватает, не до туалетов.

БОРИС. Анна Николаевна, дорогая, обратились бы ко мне по-родственному, не чужие же, в самом деле.

ГОРЕМЫКИНА (*оскорбленно*). Мы – Горемыкины – с протянутой рукой никогда не хаживали, не пойдем и при совдепии. У нас в роду от самого Ивана Калиты нищих не было, сами благодетельствовали, моего деда, Алексея Петровича, Царствие ему Небесное, последний государь-император личной дружбой жаловал, у нас фамильная гордость... Грех вам, Борис Александрыч...

Сотрясаясь от плача, спешит к выходу.

БОРИС. Анна Николавна, простите меня дурака, Бога ради! Куда же вы! (*Показавшейся из кухни Ольге.*) Вот обидел человека.

Горемыкина уходит.

ОЛЬГА (*отмахивается*). Перезимует. (*Горделиво оглядывает стол.*) Как в лучших домах ихнего бомонда: приборы, салфетки, свечи. Пускай не задаются, буржуи недорезанные. (*Почти сквозь слезы.*) Эх, Люська, Люська, а давно ли мы с тобой выходное платье на двоих носили, по очереди, на материну зарплату не разгуляешься да и зарплата та, стыдно вспомнить, слезы одни, много ли она там на «Ундервуде» своем допотопном за день выколотить могла, если бы по вечерам не прирабатывала, совсем бы по миру пошли. Считай, на одной картошке с макаронами выросли, собачью радость – микояновские котлеты – лакомство, и то через раз. В кино сходить – событие, в театр – счастье, о концертах только мечтать приходилось – выйти не в чем. Так бы и жила до старости, если бы ты не подобрал.

БОРИС. Ну, пошло-поехало, села на своего каурого.

ОЛЬГА. Но ведь это правда, Боря! Скажи мне, почему мы так скверно, так нищенски, так неинтересно живем? За что это нам, за какие грехи? По утрам, как представишь, что тебя ждет, глаз открывать не хочется. Куда ни посмотришь, волком выть тянет: грязь, пьянь и

злоба непереваримая, а кругом знамена и лозунги один другого отвратнее: «вперед», «поднимем», «перевыполним»! Ты же художник, Боря, большой художник, неужели тебя не воротит от этой смеси темно-серого с красным, это ведь как кровь на грязи, бррр!

БОРИС (примирительно). Все зависит от угла зрения, мать, если особенно не присматриваться, жить можно.

ОЛЬГА. Да очнись же ты наконец, Борис! Ведь самое страшное в том, что она – эта смрадная смесь – и нас с тобой затягивает, накрывает с головой, словно болотная ряска, мы даже замечать перестаем, что на свете может быть что-то кроме этого, ведь это же страшно, Боря!

БОРИС. Что ты от меня хочешь?

ОЛЬГА. Уедем, Боря, все, кто не готов сдаваться, едут, теперь вон уже и туда-обратно курсируют, чего мы ждем? Пока они тебя своим катком не раскатают в беспозвоночное? Алик поехал, его и в Москве-то никто всерьез не принимал, его даже за глаза называли «мы с Борькой», а теперь о нем чуть не весь мир шумит: «Александр Водяной, Александр Водяной!» Но Водяной может быть только один – это ты, Борис, других Водяных не существует.

БОРИС. Кому надо, тот знает об этом.

ОЛЬГА. Ты живешь в девятнадцатом веке, Боря, времена Роденов прошли, сегодня велик не тот, кто умеет делать дело, а тот, кто умеет громче заявить об этом. Вспомни, что о тебе говорили и писали, когда Алька у тебя еще глину месил! *(Она бросается к тахте, выдергивает с полки над ней увесистый фолиант и начинает наугад выхватывать оттуда печатные вырезки и письма.)* Вот что о тебе говорил Пикассо, вот что о тебе писал Генри Мур, вот Сальваторе Дали, вот письмо Ренато Гуттузо. Вот, вот, вот! *(Распаляясь, начинает разбрасывать листки вокруг себя.)* Когда ты опомнишь-

ся, поздно будет, заявишься, а тебе скажут, как у нас в очереди: вас тут не стояло.

БОРИС. Неужели ты не понимаешь, что я вообще не хочу стоять ни в какой очереди, я себя уважать перестану, я тебе в глаза смотреть не смогу.

ОЛЬГА. А ты не смотри, не смотри, Боря, сделай меня своей собакой, собаке же в глаза смотреть не обязательно, я даже говорить разучусь, чтобы совесть твою не потревожить. Буду служить тебе и всё, хочешь, на колени перед тобой встану, только займи свое место, не чужое – свое. Пусть знают! *(Почти кричит.)* Нас тут стояло!

Ольга поспешно бросается подбирать с полу листки. На пороге неожиданно возникает Горемыкина.

ГОРЕМЫКИНА. Извините великодушно... У вас там открыто... Я стучала, стучала... Я, наверное, не вовремя?

БОРИС *(с облегчением бросается к ней)*. Ну что вы, что вы, Анна Николавна, какой разговор, милости прошу... Вы уж меня простите за давешнее, я, ей-Богу, не хотел вас обидеть... От чистого сердца сморозил.

ГОРЕМЫКИНА. Премного благодарна, голубчик, премного благодарна... Только я не Анна Николаевна, а сестра ее – Николаевна, но Татьяна.

БОРИС *(в изнеможении закрывает глаза)*. Час от часу не легче.

ГОРЕМЫКИНА. Сестра очень переживает. Просила вам передать, что погорячилась, наговорила лишнего... Знаете, горемыкинская кровь, не характер – порох.

БОРИС. Какой разговор, Татьяна Николавна, какой разговор, все мы люди-человеки, тем паче, что я дал повод.

ГОРЕМЫКИНА. Она стала такая нервная, особенно в последнее время. И все из-за меня.

БОРИС. Что-нибудь случилось?

ГОРЕМЫКИНА. Ей почему-то кажется, что я безнадежно больна. Ничего не дает мне делать, все сама и сама, а ведь она мне ровесница, надолго ли ее хватит, но слова не скажи, сразу в слезы. А тут еще этот сыщик.

БОРИС. Не берите в голову, Татьяна Николавна, у него такая работа собачья, ему за нее деньги платят. Походит, походит и сгинет, как сон, как утренний туман. У нас где сядешь, там и слезешь. В случае чего, зовите меня, я его быстро утихомирю.

ГОРЕМЫКИНА. Я всегда в вас верила, Боря. Вы и в детстве были необыкновенным мальчиком. Я знала, что вы станете великим человеком, потому что, сколько я вас помню, вы никогда не расставались с книжкой. Человек с книгой это уже личность. И хотя однажды вы разбили у нас окно мячом, мы не стали жаловаться участковому, нам не хотелось портить вам будущее, чего не бывает с детьми. Тем более, что у вас была такая интеллигентная мама.

БОРИС. Татьяна Николавна, помилуйте, какая уж моя мать интеллигентка, она упаковщицей в типографии всю жизнь проработала!

ГОРЕМЫКИНА. Не скажите, Боря. Важно, не кем человек работает, а где работает. Вы сами сказали – в типографии, значит, около книг, а это сразу отражается на личности, книга облагораживает. Нет, нет, Боря, что ни говорите, а судьбу человека можно угадать по лицу уже в детстве. Аннушка тоже так считает, а у нее большое чутье на людей, она у меня такая чувствительная, а тут еще этот сыщик.

БОРИС. Татьяна Николавна, я беру его на себя.

ГОРЕМЫКИНА. Если бы вы знали, как я вам благодарна, Боря!

БОРИС. Передайте Анне Николавне, что инцидент исчерпан.

ГОРЕМЫКИНА. Ну, не буду вас больше утруж-

дать, тем более, что вы, кажется, ждете гостей. Всего вам хорошего, желаю культурно провести вечер.

Выходит.

БОРИС. Кажется, я опять вляпался в какую-то историю, тряпка.

ОЛЬГА *(все это время кружит по мастерской, собирая разбросанные листки и бережно складывая их в тот же фолиант).* Так... Сальвадоре Дали... А где же Пикассо?... Мур есть... Вырезка из «Арт ньюс»... «Уни-та», статья Ренато Гуттузо. А вот и «Тайм» с фотографией...

Примерно с середины диалога между Горемыкиной и Борисом в мастерской возникает фигура хрупкого мальчика в джинсовом костюмчике. Мальчик появляется как бы из ничего и, порхая, принимается тихо кружить по мастерской, с пристальным вниманием вглядываясь в каждую скульптуру.

БОРИС *(первым заметив его).* А ты как сюда попал?

ОЛЬГА *(спохватываясь).* Это ко мне, Борис. Это Энвер, сын нашей дворничихи Фатимы. Я с ним дикцией занимаюсь. Очень способный мальчик.

ЭНВЕР. Было открыто, я и вошел. Ждал, пока вы разговаривали.

ОЛЬГА. Ты что так поздно?

ЭНВЕР. У нас завтра утренник, тетя Оля, я «Парус» буду читать.

ОЛЬГА. Ну, давай порепетируем, Борис Александрыч будет за публику. Начинай, не стесняйся.

ЭНВЕР. Только я завтра утром еще забегу. Для верности.

ОЛЬГА. Заметано, Энверчик. Слушаем.

ЭНВЕР *(занавес за его спиной смыкается, он выходит на просцениум и читает прямо в зал).* «Белеет парус

одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном?...» В краю родном... В краю родном... В краю родном...

Свет вокруг него медленно гаснет.

З а н а в е с

С ц е н а т р е т ь я

Обстановка та же. Б о р и с возится около аппарата на кухне. О л ь г а разговаривает по телефону.

ОЛЬГА. Здравствуйте, извините за беспокойство. Господин Водяной с супругой у вас проживает?... Это его дальние родственники... А где они?... И давно они вышли?... Массаж? Какой массаж?... Ах, массаж! Извините, сразу не сообразила. Нет, ничего, я еще раз перезвоню. Спасибо. *(Вешает трубку.)* Что там у тебя еще? Такое амбре, что сюда скоро все дворовые алкаши сбегутся.

БОРИС *(продолжая возню)*. Змеевик потек. Придется менять всю систему, эта, видно, свое отслужила.

ОЛЬГА. Всё в этой гнусной тмутаракани свое отслужило.

БОРИС. Не можешь без обобщений.

ОЛЬГА. Побегай с мое по магазинам, высунув язык, сразу поумнеешь.

На пороге внезапно возникает С в а т. Он тихонько прикрывает за собою дверь, принимаясь внимательно ее рассматривать. Затем начинает поочередно накладывать свою ладонь на оставленные на ней отпечатки. Недовольно хмыкает, подозрительно покачивает головой.

СВАТ *(громко)*. Это что же у вас за картотека?

БОРИС *(вздрагивая от неожиданности)*. Опять вы?

СВАТ *(кивает на дверь)*. Как в уголовном розыске, говорю.

БОРИС *(зло)*. Друзья на память оставляют.

СВАТ. Ишь ты! Такую бы дверь да к нам на Петровку, цены б ей, соображаю, не было.

БОРИС. Берите выше – в Интерпол, там все больше иностранцы отмечались.

СВАТ (*многозначительно*). О-очень интересно.

БОРИС. Ладно, не тяните, чего вам?

СВАТ (*подозрительно тянет носом*). Ну и запахок, скажу я вам.

ОЛЬГА. Гостей ждем.

СВАТ. Я не о закуске, я о выпивке.

ОЛЬГА (*смешавшись*). Бутылку разбили нечаянно...

СВАТ. Я так думаю, в той бутылке не меньше ведра было.

БОРИС (*показываясь из кухни*). Опять вы? Не надоело?

СВАТ. В нашем деле не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Ложный след иногда на другого зверя наводит. Иногда и покрупнее.

БОРИС. Бросьте вы свои шарады, говорите прямо.

СВАТ (*с наслаждением снова тянет носом*). Запашок, говорю, качественный. Из чего гоните?

БОРИС. По Чонкину: кило дерьма, кило сахара.

ОЛЬГА. Говорила же, говорила!

БОРИС. Закрой варезку, мать. (*Свату.*) Дело, что ли, хотите мне пришить.

СВАТ. На срок, конечно, не потянет, Борис Александрыч, но неприятностей вам не миновать. И по нашим временам – крупных.

БОРИС. У меня справка от худфонда, мне это для производственных целей.

СВАТ. Не надо меня на арапа брать, Борис Александрыч, не советую, я ведь тоже не пальцем деланный: у нас на этот продукт монополия государства, за такие справки и вашему худфонду могут хвост прищепить.

БОРИС (*сдаваясь*). Чего вы от меня хотите?

СВАТ. Вот это да, вот это мужской разговор, я же говорил вам, что пригожусь. И так я думаю, не в последний раз. Вы ко мне по-хорошему, и я к вам, как к человеку. Баш на баш. А нужно мне от вас самую малость. Я сейчас уйду, а старушка сразу к вам сунется, вы ее и придержите хорошим разговором, пока я у нее в норе пошую.

БОРИС. Да почему вы думаете, что она сюда явится?

СВАТ (*ласково*). Не думаю, а знаю, Борис Александрыч, дорогой (*как бы передразнивая*), такая у меня работа собачья, я за нее деньги получаю.

БОРИС (*с вызовом*). А если я отказываюсь?

СВАТ (*еще ласковее*). Участковый. Протокол. Последствия. Зачем это вам, Борис Александрыч, тем более, что и дела-то здесь на полчаса. Вы же советский человек, товарищ Водяной.

БОРИС (*подавленно*). Советский, кадетский, какая разница!

СВАТ. Ну вот и договорились. А старушка, будьте покойны, не задержится. Она меня в подъезде напротив уже высматривает: я от вас, она – сюда. Так вы уж отогрейте старушку добрым словом, от вас не убудет... А двери-то в прихожей надо бы закрывать. Нынче такой отчаянный народ пошел, чуть зазеваешься, враз голову отвинтят. Запросто. Бывайте...

Исчезает так же внезапно, как и появляется.

БОРИС. Какая же я размазня! Ведь он же меня на голую блесну зацепил, как последнего ханыгу у пивной. И я согласился! Согласился! Я – Борис Водяной! Личность, созданная по образу и подобию Божию! Повязал, гад, мою бессмертную душу базарной удавкой. Какая же я все-таки дрянь!

ОЛЬГА. Если бы ты один, Боря, всех они нас повязали и ведут нас куда считают нужным, и делают с нами всё, что им заблагорассудится. Ведь стоит ему захотеть,

ведь он меня с собой в постель уложит, а то и без нее обойдется. На твоих глазах на четыре кости поставит да еще при этом в лицо тебе плевать будет. Им все можно, им все дозволено, они – наша власть, будь они прокляты. Бежать отсюда надо, Боря, бежать, куда глаза глядят, пока не поздно! Не могу больше!

БОРИС (*в пространство перед собой*). Если бы от себя можно было бы куда-нибудь убежать.

Появляется Горемыкина.

ГОРЕМЫКИНА. Простите, Бога ради. Я на минутку.

БОРИС (*решительно*). К сожалению, Татьяна Николавна, я очень занят, перенесем ваш визит на завтра. Утром я к вашим услугам. Или когда вам будет угодно, но не сейчас.

ГОРЕМЫКИНА (*подавленно всхлипывая*). К кому же мне теперь идти, кто поможет?

ОЛЬГА. Но мы действительно заняты, Татьяна Николавна, у нас с минуты на минуту – гости.

ГОРЕМЫКИНА. То-то и оно, что Таня исчезла. Как ушла к вам, так и пропала. (*Плачет.*) Где ее искать, ума не приложу.

БОРИС (*в отчаянии*). Бога ради, успокойтесь, Анна Николавна, приходите, я не хотел вас обидеть.

ОЛЬГА. Ну, будет, будет, Анна Николавна, возьмите себя в руки. Слезами делу не поможешь.

ГОРЕМЫКИНА. В последнее время Таня сама не своя сделалась, такая нервная, такая нервная. Иногда по целым дням пропадает, а где – неизвестно. Куда ей, скажите, ходить, родня у нас, даже дальняя, давно вымерла, знакомых и подавно никогда не водилось. Кому ей визиты наносить?

ОЛЬГА. Не принимайте близко к сердцу, Анна Николавна. Найдется ваша Таня, никуда не денется. Давайте-ка я вас лучше чаем угощу. Посидимте-ка с вами рядком да поговорим ладком, где ее искать.

Уводит Горемыкину на кухню. Звонит телефон.

БОРИС (*снимает трубку*). Да, слушаю. (*Меняется в лице.*) Откуда?.. Из Парижа?.. Ну, конечно, конечно же!.. Разумеется, слышал... Что?.. Когда?.. Разумеется... К сожалению, не от меня зависит... Конечно, согласен... Да, да!.. Еще бы!.. Передайте сердечный привет господину Бернару... Что вы, что вы!.. Всего хорошего. (*Ошарашенно.*) Мать!

ОЛЬГА (*показываясь из кухни*). Слышу. (*Вглядываясь в Бориса.*) Что стряслось? Не тяни!

БОРИС (*как во сне*). Предлагают выставку... Ретроспективную... У Бернара... В Париже... Это же мировая марка!

ОЛЬГА (*спокойно*). Какое имя, такая и марка. Слава Богу, спохватились; лучше поздно, чем никогда. На диссидентской самодеятельности далеко не уедешь, большое искусство рано или поздно свое берет. (*Озабоченно.*) Когда?

БОРИС. В сентябре-октябре. Самый сезон. Приглашают приехать.

ОЛЬГА. Поедешь?

БОРИС. Кто меня пустит?

ОЛЬГА. Подними шум.

БОРИС. Что толку. Только заказы потеряешь.

ОЛЬГА. Опомнись, Борис, сколько они будут тобой помыкать? Чёрт с ними, этими заказами, проживем как-нибудь, я работать пойду. Нельзя же все время гнутья, ведь не выпрямишься потом. Тебе сама судьба шанс дает, воспользуйся же наконец, стань самим собой.

БОРИС (*приосаниваясь*). А что, не крепостной же я, в самом деле, до каких пор они на мне ездить будут: этого не лепи, этого не читай, этого не говори. Шаг влево, шаг вправо, секут без предупреждения. Я уже позабыл, когда что-нибудь за себя решал, разве что в самом раннем детстве. Не хочу больше, им нечего у меня от-

нять, кроме жизни, остальное они давно отняли. Будь что будет! Что ты предлагаешь?

ОЛЬГА. Подай в Союз официальное заявление на поездку.

БОРИС. А если откажут?

ОЛЬГА. Пресс-конференцию для инкоров.

БОРИС. А потом?

ОЛЬГА. А потом, как сложится.

БОРИС. Ты же знаешь, как в таких случаях складывается.

ОЛЬГА. По-разному.

БОРИС. Вспомни Рухина. Заживо сожгли.

ОЛЬГА. Хуже не будет.

Телефонный звонок.

БОРИС (*снимает трубку*). Слушаю... Привет... А в чем дело?.. Что значит не телефонный разговор, скоро по телефону о погоде не поговоришь... Зачем эти тайны мадридского двора!.. Никуда я не пойду, у меня нет времени по кабинетам таскаться... Я художник, и этим всё сказано... Ты что, угрожаешь мне... Друзья не берут на себя таких, мягко говоря, деликатных поручений... Да плевать мне на последствия!.. Будь здоров и не кашляй. (*Бросает трубку.*) Вот работают, шаромыжники! Не успел очухаться, а они уже тут, как тут!

ОЛЬГА. Кто это?

БОРИС. Твой номенклатурный вздыхатель Леша Золотарев, обо мне беспокоится, предостеречь спешит, приглашает встретиться тет-а-тет, побеседовать. Вот ведь, сукины дети, уже засекли разговор. На что другое, а на это у них ума хватает, насчет тащить и не пущать они ба-альшие профессионалы.

ОЛЬГА. Пойдешь?

БОРИС. Ты же слышала.

ОЛЬГА. Я же тебя знаю, Боря, поартачишься, поартачишься, а потом поплетешься, как миленький.

БОРИС. На этот раз нет. Хватит с меня!

ОЛЬГА. Твоими бы устами да мед пить. Попробуем дожить до понедельника, посмотрим, что ты тогда запоешь.

БОРИС. Берешь за горло.

ОЛЬГА. С тобой иначе нельзя.

БОРИС. Хватит!

ОЛЬГА. Уже нервничаешь?

БОРИС. Заткнись же ты наконец (*замахивается на подвернувшуюся под руку работу*) или я за себя не отвечаю!

В мастерскую буквально врывается Сват. От его недавней официальности не остается и следа. Сейчас он похож на взмыленную гончую в предвкушении добычи.

СВАТ. Старуха тут? (*Замечает сидящую на кухне Горемыкину.*) Тсс... (*Горемыкиной.*) Анна Николавна, вот вы где скрываетесь, а я вас целый день ищу, с ног сбился... Здравствуйте.

ГОРЕМЫКИНА (*показываясь из кухни*). Зачем же мне скрываться, голубчик, я ничего ни у кого не украла, сижу, вот чай пью. Здравствуйте.

ОЛЬГА (*тянет носом, всплескивает руками*). Лаваш горит! (*Спешит на кухню.*) Так и знала! (*Оттуда Борису.*) Помоги же, Боря!

БОРИС (*нехотя двигаясь на ее зов*). Иду...

СВАТ (*Горемыкиной*). Приятно познакомиться, Анна Николавна, очень приятно, вот вы какая!

ГОРЕМЫКИНА. Что ж во мне особенного, какая есть.

СВАТ. Ой не скажите, Анна Николавна, дорогая, ой не скажите. Бывает с виду человек, как все, пройдешь мимо и не заметишь, а на самом деле в нем семь пядей, а, может, и того больше. Такой талант бывает, что там тебе Левша!

ГОРЕМЫКИНА (*беспокойно*). Вы это к чему?

СВАТ. Да так, просто случай из нашей епархии вспомнил. Есть у нас в подвале министерства на Огарева

спецмастерские для всяких надобностей, там такого народа пропасть. Посмотришь, сморчок сморчком, а копнешь, ему хоть сейчас высшую меру или Нобелевскую премию. Таким блоху подковать, раз плюнуть, они и почище номера откалывают. Есть там один. Попал за фальшивые деньги. Трешки ручным способом выделывал. Его и не поймали бы ни в жизнь, да он по пьянке сам в чайной растрепался. Пришли к нему домой, а у него эти трешки по всей избе висят, сушатся. Посмотреть, никакая экспертиза не отличит, что тебе монетный двор. Спросили, чего ж ты на трешки-то мелочился, гнал бы полсотенные, а он: «Мне, – говорит, – на бутылку с сырком, больше не надо, я не жадный». Это, конечно, на старые цены, нынче-то на трешник и квасу не выпьешь, а за сырком в «Березку» бежать надо.

ГОРЕМЫКИНА (еще беспокойнее). Вы зачем это всё мне рассказываете, мало ли на свете жуликов?

СВАТ (как бы не слышит ее). Или вот еще с ювелирной фабрики гоп-компания, любой Академии Наук сто очков вперед дадут. Сами понимаете, работа с драгоценными металлами: обточка, обтирка, распиловка всякая. Без пыли не обойдешься, а кто же эту пыль когда учитывал. Пыль она и есть пыль, воздушная, так сказать, материя. Вот и нашелся у них Мичурин, из говна пирожки делать. Сочинил машинку пыль эту собирать. Если бы не засыпались на выносе, они бы из этой пыли давно бы себе целую Сахару намыли.

ГОРЕМЫКИНА (уже заинтересованно). И что же они у вас там делают, в вашем министерстве?

СВАТ (снижительно). А это, гражданка, государственная тайна. Подписку давал на неразглашение. Одно скажу: с такими людьми за оборону нашей страны беспокоиться не приходится. Соответственно и к ним по-человечески: вместо высшей меры – питание трехразовое от пуза, нам бы с вами такое по праздникам кушать, камеры, как номера в «Метрополе» и по выходным личные свидания без ограничений. Хоть самому – к ним.

ГОРЕМЫКИНА (*задумчиво*). Интересно, очень интересно.

Из кухни появляется Ольга. За нею выходит Борис.

ОЛЬГА (*смотрит на часы*). Одиннадцатый час! Нет, с меня довольно. Больше я ждать не желаю. Подумаешь, нашлись Рокфеллеры вшивые. Придут – придут, а не придут, плакать не станем. (*Решительно.*) Вот что! (*Горемыкиной и Свату.*) Незванный гость все же лучше заезжего татарина. Садитесь-ка с нами за стол, вздрогнем коллективно на страх врагам и надменным соседям!

СВАТ (*растерянно*). Конечно, я при исполнении... (*Завистливо оглядывает стол.*) Но если так, по маленькой, из уважения к хозяевам...

ГОРЕМЫКИНА. Уж, право, не знаю, что и сказать... Вот так сразу... Без приглашения...

БОРИС (*хмуро*). Ну, чего уж там, Анна Николавна. Давайте я вам помогу...

ГОРЕМЫКИНА (*испуганно*). Нет, нет! Если позволите, я так... Я не одета... Вот разве лишь шляпку сниму...

Небольшое замешательство. Некоторая суета. Постепенно все рассаживаются за стол.

СВАТ (*первым подходит к столу, замечает собственный листок с телефоном, берет его и небрежно сует его в нагрудный карман Бориса*). Теперь-то он вам непременно пригодится. (*По-хозяйски берет застолье в свои руки, встает.*) Ну, как говорится, дорогие граждане: со свиданьем, дай Бог, не последняя...

В этот момент одна из оконных рам веранды с треском переплетов и звоном разбитых стекол распаивается. В проеме – смеющееся лицо вдрызг пьяного Александра Водяного с бутылкой шампанского в руке. Из-за его плеча выглядывает хохочущая
Л ю д м и л а.

АЛЕКСАНДР. А вот и мы!.. Принимайте гостей!.. Или не рады?

БОРИС (растерянно). Ну ты даешь, Алик, ну ты даешь!

ОЛЬГА (сокрушенно). И это называется – американцы...

З а н а в е с

А К Т В Т О Р О Й

С ц е н а ч е т в е р т а я

Обстановка та же. Только выбитая рама прикрыта случайной гравюрой. Застолье в самом разгаре.

АЛЕКСАНДР (непослушным языком). Хочу поднять тост за прекрасных женщин!

ЛЮДМИЛА (кокетливо). За присутствующих, грубиян.

АЛЕКСАНДР (отмахиваясь). За них потом.

ЛЮДМИЛА (обиженно). Остроумно. (Ольге.) Ты же его знаешь, стоит ему выпить и – пошел куролесить. В гостинице он и принял-то всего два или три коктейля, а его уж повело. «Хочу, – говорит, – прокурсировать по маршруту Венички Ерофеева, только в обратном порядке: от Красной площади до Савеловского». Я его уж и так, и так: «Времени, – говорю, – в обрез». Да разве с ним сладишь. «Успеем, – говорит, – мимо Борьки не проедем». Ну и потащились от шалмана к шалману, очереди, конечно, везде – не протолкнешься, но ведь у нас карточки американские, только высунешь, сразу сервис по высшему классу. Да еще валюта, с ней здесь, видно, даже в Мавзолей ночью пустят. Короче, у Савеловского он был уже чуть теплый. Горе мое!

ОЛЬГА. Ладно. Ты лучше расскажи, как ты там живешь в своем Нью-Йорке? Привыкла уже?

ЛЮДМИЛА. Честно говоря, жаловаться грех, а вот привыкнуть до сих пор не могу, не получается.

ОЛЬГА. Что так?

ЛЮДМИЛА. Не знаю. Вроде все у меня есть: и дом, и машина, даже три, тряпкам счет потеряла, у Алика кругом тип-топ: цены на него, как на классика, а в душе все равно тоска зеленая. Ну для кого мы все это покупаем, кому я все это покажу, там через одного у всех то же самое. Вот и сижу часами у телека, благо он там круглосуточный, да по магазинам бегаю. Такой мрак, даже пить не хочется.

ОЛЬГА. Мне бы твои заботы, Люська, зажрались вы там, с жиру беситесь.

ЛЮДМИЛА. Когда-то я тоже так думала. Если бы только это!..

БОРИС (Александру). Рассказал бы, что ли, как ты живешь-можешь на гниющем Западе?

АЛЕКСАНДР. Живем хорошо, можем мало.

БОРИС. Наслышан, наслышан, чего же тебе не хватает?

АЛЕКСАНДР. Того, чего у тебя много.

БОРИС. Чего же?

АЛЕКСАНДР (*мутным взором обводит мастерскую, гостей, стол*). Тебе это трудно понять, Боря... Для этого ты должен влезть в мою шкуру... Отсюда все выглядит гораздо заманчивей, чем это есть на самом деле... Везде хорошо, где нас нету... Да...

БОРИС. Может, объяснишь?

АЛЕКСАНДР. Попробую... Ты «Марсианские хроники» Брэдбери читал?

БОРИС. Помню, но смутно.

АЛЕКСАНДР. Есть там такой рассказ «Две тысячи первый год»... Прилетают люди на другую планету, смотрят, а кругом все как у них на земле: та же природа, та же архитектура, те же люди. Встречают их, как родных, с музыкой, разбирают по домам, поят, кормят, вспоминают прошлое. Только уже обратно никто не

возвращается... А назавтра, на планете этой сплошные похороны и тоже – с музыкой: дорогих гостей хоронят... Вот такие дела.

БОРИС. Не пойму.

АЛЕКСАНДР. Очень просто. С нами за бугром случилось примерно то, что с теми землянами. Нас тоже приняли, как родных, – с музыкой. Потом проглотили, душу высосали и выплюнули, как использованную жвачку. Живи и дыши себе, если сможешь, как Зомби на Гаити.

БОРИС. А это что еще?

АЛЕКСАНДР. На Гаити колдуны каким-то зельем покойников оживляют и продают вместо рабсилы.

БОРИС. Это у тебя с перепоя, Алик...

СВАТ (*Горемыкиной*). Там и дамы есть, Анна Николавна, вполне культурные. Одна, например, к слову сказать, такие замастырки делает, от настоящей чумы не отличишь или там проказы, ну чистый Репин. Ей бы с ее талантом в Союз художников, а она по кабинетам на сочувствии разные льготы выбивала. Вот и выбила себе льготу на всю катушку по Уголовному кодексу.

ГОРЕМЫКИНА. Скажите пожалуйста, и такие устраиваются...

БОРИС (*Свату*). Можно вас на пару слов?

СВАТ. Со всем моим удовольствием, Борис Александрыч, хоть сто порций.

Встают из-за стола, отходят в сторону.

БОРИС (*грубо*). Что вы пристали к старухе? Что вам от нее надо?

СВАТ (*прикладывая палец к губам*). Тсс... Тут дело государственной важности, Борис Александрыч... Эта старуха теперь для нас на вес золота. Дороже Сахарова. С нее теперь нам пылинки сдуть и от сквозняков прятать. Главное теперь, не дать ей окочуриться раньше времени.

БОРИС. (*раздраженно*). Не можете вы без загадок. Не темните – выкладывайте.

СВАТ. Понимаете, сунулся я к ней с обыском, туда-сюда, вроде ничего подозрительного, а под кровать заглянул и ахнул. Лежит себе там ее сестрица в целости и сохранности, только, извиняюсь, уже покойница.

БОРИС (*ошарашенно*). Выходит, что же, она ее...

СВАТ. То-то и оно, что нет. Никаких следов насильственной смерти, я на этом деле собаку съел, тут другое. Соображайте, пропала она чуть не с полгода, а от трупа никакого запаха или разложения не наблюдается. Даже если на болезнь половину срока скинуть, все равно не меньше трех месяцев лежит, а будто только что померла или летаргическим сном спит.

БОРИС. Вам-то что до этого, ваше дело установить факт и отправить обеих куда следует.

СВАТ. Эх, Борис Александрыч, Борис Александрыч, а еще художник. Тело-то я уже, конечно, отправил по назначению, а вот старушку эту надо теперь живьем держать, не спугнуть ее раньше времени, она ведь от ненужного беспокойства концы отдать может. Запросто. Сами понимаете, возраст сверх пенсионного. А тут, может быть, мировое научное открытие. По секрету вам скажу, хотя подписку о неразглашении давал, но вы человек с известным допуском, вам можно. Неувязка у нас с Ильичом в Мавзолее. Гниет. Часто менять приходится.

БОРИС (*изумленно*). Чего менять?

СВАТ. Ну это самое... Чучело. Или муляж по-научному. Специалисты наши совсем замучились: двойников не напасешься да и возни сколько. У них вокруг Ильича, может, с десятков институтов кормится. А тут, на тебе, дворовая старушка – Божий одуванчик – в одиночку такое дело оборудовала. Можно сказать, на семейном подряде.

БОРИС. Вот и берите ее, пока не поздно.

СВАТ. Разве так делают, Борис Александрыч, а еще, наверное, Достоевского читали! Тут психологический подход требуется. Спугнуть ее раньше времени смерти подобно, не воротишь потом. К ней надо теперь со всем обхождением, чтобы она сама, по доброй воле поделилась.

БОРИС. У вас уже и Достоевский в ход пошел!..

Возвращается к столу.

ОЛЬГА (*Людмиле*). Эх, Люська, Люська, забыла ты уже все, я смотрю, не помнишь про наши туфли на двоих, про вечную картошку на постном масле, про соседские склоки под пьяную лавочку. А очереди – очереди ты забыла? Мне кажется, что я даже родилась в очереди, в ней, видно, и концы отдам. А злобы звериной нашей, от которой душа плавится, тоже не помнишь? Или по начальству своему соскучилась, по хамству, по наглости их номенклатурной?

ЛЮДМИЛА (*почти плачет*). Ничего я, Оля, не забыла, ничегошеньки! Только оттуда это иначе выглядит, иное вспоминается.

ОЛЬГА (*иронически*). Есть что вспомнить!

ЛЮДМИЛА. Представь себе, есть.

ОЛЬГА. Ну, ну.

ЛЮДМИЛА. Да, да! И про то, о чем ты говорила, и про многое еще, только по-другому как-то, без обиды.

ОЛЬГА (*с горечью*). Видно, нас, советских, только могила исправит. Нас хоть в рай посели, мы все по своим коммуналкам тосковать будем, не можем мы уже без них, этих коммуналок. Как тот чмур в анекдоте: сидит по шею в дерьме, а когда его вытащить предлагают, отказывается: «Я, – говорит, – здесь живу». Так и мы: сидим в дерьме даже не по шею, а с головой и кукарекаем про свободу, а стоит нас оттуда вытащить, обратно тянемся, уже другим воздухом дышать разучились. Люди, если по Писанию, из земли вышли, а мы, видно, из дерьма, туда и уйдем.

ЛЮДМИЛА (*почти в крик*). Ну что же я могу с собой сделать!..

АЛЕКСАНДР (*Борису*). Прямо тебе скажу, Боря, без бабы своей я бы едва устоял. Поначалу так худо было, что хоть в петлю. Куда ни ткнусь, везде нос воротят, даже смотреть не хотели, вчерашний день, говорят. Что вы там, говорят, в России изобразить можете, матрешек, что ли, у нас, говорят, этого добра своего навалом. Даже глину месить не брали, у них от местных желающих отбоя нет. Пришлось Люське огонь на себя брать, в русский ресторан посудомойкой пошла. Года два на ее шиши держались, пока я себе менеджера нашел. Из наших тоже, но деловой. Сам начинал с бросовых иконок и мятых самоваров, а потом в гору пошел, теперь большими делами ворочает, главное – недвижность, а галерея, это у него так, для души. Он меня и вытянул... Но без Люськи, честно скажу, мне бы хана. Недаром у Некрасова: «Коня на скаку остановит...»

БОРИС (*насмешливо*). В горящую избу введет.

АЛЕКСАНДР. Во-во, точно. Но это уже потом.

БОРИС. Ладно, пей, Алик, только закусывай, а то окосеешь.

На протяжении всего разговора он с откровенным любопытством разглядывает Горемыкину.

ГОРЕМЫКИНА (*смущенно*). Что это вы, Боря, так на меня смотрите?

БОРИС. Сколько лет живем по соседству, Анна Николавна, а ведь в сущности почти не знакомы. Недаром говорят: человек человеку вдруг.

ГОРЕМЫКИНА (*встревоженно*). Помилуйте, Боря, как же это незнакомы, если я вас, извините, с пеленок знаю.

БОРИС. Вы меня, может, и знаете, Анна Николавна, а я вас, как выясняется, довольно мало.

ГОРЕМЫКИНА (*еще встревоженнее*). А зачем вам, Боря, нам ведь с вами детей не крестить.

БОРИС. Зато вы — целый мир. И я — тоже. *(Поочередно указывает на сидящих за столом.)* И он. И она. И она. *(В сторону Свата.)* Даже он.

ГОРЕМЫКИНА. Я ведь и сама-то о себе почти ничего не знаю... *(Гаснет свет. В крошечной темноте остается высвеченным лишь ее лицо.)* Помню тихую Клязьму, большой бревенчатый дом с мезонином в соснах, двух смешливых девочек в белых платьицах, в высоких со шнурками башмачках, запах кипящего варенья на плите летней кухни, музыку граммофона с веранды *(возникает, постепенно нарастая, мелодия старинного вальса)*, а потом вдруг обрыв, словно внезапное беспамятство, а сразу после этого чувство голода. Такого голода, что мир вокруг распадался на две части: съедобную и несъедобную, а все остальное как бы не существовало больше. Ни музыки, ни книг, ни любви, ни природы. Кто-то стрелял, в кого-то стреляли, что-то горело, а что-то рушилось, люди исчезали, появлялись новые, падал снег, шли дожди, палило солнце, но все это текло мимо меня, не задевая у меня ни ума, ни сердца. Во мне будто поселился огромный прожорливый зверь, который хотел только одного: есть. Есть беспрерывно все, что попало, без разбора, лишь бы можно было жевать и проглатывать. Господи, если бы вы могли знать, как это унижительно! Что греха таить, не стеснялась протягивать руку, не стеснялась подбедать за другими, даже подворовывать. Когда я говорю «я», это значит мы с Таней, потому что мы с ней одна суть. Оттого и голод, и унижение, и стыд в нас с ней был вдвойне мучительнее и тяжелее. И ведь так не один день, не один год и не десять лет, а всю жизнь. Жизнь! Таня и умирая хотела есть, а что я ей могла предложить, кроме гнилой картошки с хлебом. С нашей старческой пенсией мы и этого не всегда ели досыта. Мне самой вот-вот за ней, земля к себе тянет, еле хожу, с месяц еще протяну, и то едва ли. И такой ли уж это тяжкий грех, что не отдала я ее земле до сих пор, чтобы пенсию ее к своей прибавить?

Ведь чуть не за весь свой распроклятый век я, может, в первый раз хлеба досыта наелась! Суди меня, Господи, по грехам моим, если я за них еще не расплатилась!

Луч света скользит в темноте, останавливаясь на лице Александра.

АЛЕКСАНДР. Будто и не уезжал никуда! Будто по пьянке приснился мне кошмарный сон со всеми этими билдингами, апойтментами, парти, обжираловкой на Брайтоне. Проснулся, а кругом, как бывало, снег идет, известкой пахнет, на столе бутылки с закусью, Борька философствует. Как же я его все-таки ненавижу – гада этого, гения, везуна, семейного любимчика. Сколько себя помню, столько и слышал вокруг: Боря – уникум, Боря – вундеркинд, Боря – чудо. Боре можно все – болеть, капризничать, орать благим матом. А я так, сбоку-припеку, вроде случайного гарнира к лакомому блюду, мальчик для битья, послушный оруженосец. Он унижал меня по любому поводу, помыкал мною по своему усмотрению, третировал когда и как хотел, а я платил ему молчаливой, но прочной ненавистью. Сколько раз я мысленно убивал его, предавая самой изощренной смерти, сколько раз в мечтах плевал ему в лицо, топтал ногами, а внешне лишь лгисто ему улыбался и спешил во всем угодить. Не за славой, не за сладкой жизнью бежал я за тридевять земель, а от него, но он догнал меня и там: с кем я поначалу ни встречался, каждый спрашивал: «Вы не родственник Бориса Водяного?» Будь он проклят! Чего мне только стоило сбросить груз этого родства! Какого чёрта я сюда притащился? Чего я здесь забыл? Говорят, убийцу часто тянет на место преступления. Но разве я убил его? Скорее – наоборот...

В световом пятне проступает лицо Ольги.

ОЛЬГА. Долго ли мне осталось? Десять, в лучшем случае пятнадцать лет, а там – закат. Буду вроде старух Горемыкиных сновать с авоськой по двору, в магазин и

обратно. Боже мой, Боже мой, неужели другого мне уж не суждено? Разве это справедливо? Почему Люська, которую я и за человека-то никогда не считала, вытягивает свой счастливый билет, а я продолжаю прозябать здесь? И всегда у меня так складывалось: другие и попроще и побездарнее в конце концов выплывали наверх, а мне с моей внешностью и талантом приходилось утешаться на выходных ролях. Мне Эфрос будущее Ермоловой предрекал, а в результате – Госконцерт с гастрольями по колхозным площадкам. Замуж выходила за гения, а считаю за честь его бездарного братца принимать. Неужели это и есть мое разбитое корыто. (Кричит.) Не могу, не хочу!..

Высвечивается Людмила.

ЛЮДМИЛА. Смотрит на меня, будто я что-нибудь у нее украла. Она, видно, считает, все мне с неба свалилось. Знала бы она, чего мне это стоило! Жили в таком вертепе, вспомнить страшно, первую мебелишку по улицам из бросового старья собирали, месяцами на голых макаронах держались, одежкой только ношеной пользовались. А работа? Попробуй найди. Бывало, выходила с утра по всем стритам, начиная с первой до сорок второй, от магазина до магазина, от забегаловки до забегаловки, а жара – чуть не сорок, асфальт под ногами течет. И везде от ворот поворот: нету, не надо, не требуется. Да и какая из меня работница: язык с пятое на десятое, с виду, в чем душа держится, одета – хоть чучелом в огород. Посудомойкой устроилась, за счастье считала. Хлебнула горяшка, пока Алик на ноги встал. Чего ей мне завидовать, живет за Борькой, как за каменной стеной, мне бы ее проблемы! Я бы с ней с закрытыми глазами поменялась!...

Выявляется лицо Бориса.

БОРИС. Тоска, Господи, какая тоска!

Исчезает. Тут же на тахте загорается шкала транзистора. Возникает мелодия прежнего вальса. В луче света появляется Сват.

СВАТ. Тошно мне смотреть на эту занюханную интеллигенцию! Их бы к нам в Сычевку на ферму или в поле, узнали бы тогда, почем фунт лиха. Бывало, отмантулит мать от зари до зари, вернется домой, вывалит нам на стол ворованной брюквы, а мы ее, брюкву эту, прямо немытую с кожурой грызем, такая наша богатая колхозная жизнь была. Как вспомню я эту жизнь, волком выть хочется. Только через армию, спасибо ей, я от той каторги и отвязался. В городе тоже спервоначала несладко пришлось, специальности нету, на земляных работах вкалывал, семь кубов норма да еще с перекидкой, а на эту норму только каши с хлебом и наешься вдоволь. Года два в своем армейском «беу» проходил, пока на первый пиджак заработал. После, когда в милицию попал, конечно, легче стало, да ведь и тут не зевай, а то опять с лопатой окажешься. Мне эта старушка теперь, как манна небесная, только бы сквозь пальцы не протекла, я на ее парусах в большую гору могу пойти. Не упустить бы только, не вспугнуть нена роком. Получится, мне тогда сам чёрт не страшен! (*Горемыкиной.*) Вы, надо думать, притомились уже при вашем уважительном возрасте, дорогая Анна Николавна, гражданка Горемыкина, дозвоьте, я вас домой провожу. Ночь на дворе – глаз коли.

Подходит к ней, галантно берет ее под руку. Оба они оказываются в фокусе светового пятна. Пара под звуки вальса, медленно кружась, движется к выходу.

З а н а в е с

С ц е н а п я т а я

Обстановка та же. За столом Борис и Александр. На тахте, тихо переговариваясь, сидят Ольга с Людмилой.

АЛЕКСАНДР (*в пьяном возбуждении*). Борька, ведь мы же с тобой однойцовые. Говорят, при таком

варианте у людей все одинаковое: и мысли, и желания, и характер. Помнишь, у Окуджавы: «как природа захотела». Может, это и так. А талант? Выходит, талант не от природы? Молчишь?.. От Бога, Боря, талант, от Бога! Но на меня, видно, у Него не хватило. Или пожалел. Вот и живу с молодых ногтей в твоей тени, как в мышеловке, куда ни подамся, всюду ты. Я даже за бугром от тебя не отделаюсь, ты меня и там достал, где мне от тебя скрыться?

БОРИС (*примирительно*). У тебя теперь у самого успех, пресса пишет, «голоса» шумят.

АЛЕКСАНДР. Фуфло все это, пена, Боря. Такой славе цена – три копейки в базарный день. Такую славу теперь на компьютерах заранее просчитывают. Там этих халифов на час пекут, как блины: реклама на телевидении, проспекты по почте, рыночный типаж, вот и все отмычки. Плюс – пробивная сила и наглость. А настоящие гении, как и у нас, девятый хер без соли досыпают. Не без исключений, конечно, бывает, и они пробиваются, но это больше по теории вероятности, чем по заслугам.

БОРИС. Разочаровался, значит? Тогда чего ныть, подавай на возвращение, нынче это даже модно.

АЛЕКСАНДР. Я бы, может, и махнул на все рукой, позору не оберешься, самолюбие не позволит.

БОРИС. Собака лает – ветер носит. Стыд, говорят, на вороту не виснет и глаза не ест.

АЛЕКСАНДР. Глаза – нет. Душу.

БОРИС. Перетерпит. Что-нибудь да останется.

АЛЕКСАНДР. И хочется, и колется, и маменька не велит. Хорошо бы, конечно, чтобы не насовсем, чтобы исхитриться одной ногой тут, другой – там, чтобы щей здесь похлебать, а десертом за бугром побаловаться. Как в том анекдоте, где любовник парфюмерши от мужа в шкаф для образцов спрятался, а когда вылез, кусочек дерьма попросил. Так сказать, для контраста. Или вот как у Эфраима Севелы, слышал?

БОРИС. Как в таких случаях выражается мой друг Толя Найман, про Севелу не слышал, а Эфраим мне что-то напоминает.

АЛЕКСАНДР. У него книжка есть, «Остановите самолет, я слезу» называется. Там один чмур, вроде нас с тобой, туда-сюда катается, только никак не может решить, где ему слезть.

БОРИС. Дураку свобода в тягость.

АЛЕКСАНДР. Обидеть хочешь?

БОРИС. Принимай, как хочешь.

АЛЕКСАНДР. Гад ты, Боря.

БОРИС. Мы же с тобой однояйцовые.

АЛЕКСАНДР. Ты бы там, конечно, не растерялся.

БОРИС. Не знаю, не пробовал.

АЛЕКСАНДР. А ты попробуй.

БОРИС. Мне просто лень ходить, собирать справки, обивать пороги, просить, ждать ответа. Я только подумаю об этом, меня тошнит. Нет уж, Бог с ней, с этой свободой. Здесь перебыюсь. Да что она такое – свобода. *(Берет с полки над тахтой книгу.)* Вот послушай, что на этот счет умные люди пишут. *(Читает.)* «Скульптор-монументалист по природе не может находиться в подполье. Скульптор на протяжении истории заключал договор с Властью. Теократии и демократии, монархии и республики – все нуждались в каменной летописи, с какими только тиранами не связывал скульптор свою судьбу, поэтому Власть и скульптор – есть история создания искусств Египта, Китая, Индии, Мексики, а также Европы – от древней Греции до наших дней. Скульптура материальна, поэтому она нуждается в поддержке денежной и политической власти. В этом скульптор природно консервативен, но скульптура не только материальна – она духовна. И всякий значительный скульптор был революционер, его творчество отрывалось от усредненности, открывая новые пути, и именно власть защищала скульптора от тирании цеховой демократии, от тирании общепринятого; Власть дала возможность

Фидию и Микельанджело создать то, что они создали. Перикл и Первосвященник по существу и являются соавторами шедевров. Можно себе представить, что было бы с Сикстинской капеллой, если бы судьба ее зависела от голосования коллег-художников, а не от воли заказчика! Демократии, монархии и даже тираны понимали свое социальное призвание защиты культуры от притязаний хаоса и энтропии. Отдельный властитель – всего только человек. Были ошибки, бывали трагедии. Но всегда авторитет религиозной и денежной власти защищал и создавал цивилизации». Понятно? Вот, а ты говоришь – свобода!

АЛЕКСАНДР. Оправдываешься?

БОРИС. Констатирую.

АЛЕКСАНДР. Точнее: боишься.

БОРИС. Я тебе уже сказал: лень.

АЛЕКСАНДР (*вскакивает как бы подхваченный озарением*). Слушай, но если только в бюрократии дело, ты можешь запросто обойтись без всего этого.

БОРИС. Научи.

АЛЕКСАНДР. Так это же проще простого. Одно-
яйцовых не только пограничник, Господь Бог друг от друга не отличит. У Людки с Ольгой то же самое. Берите наши паспорта и аля-улю за бугор на все готовое: и квартира, и мастерская, и башли на счету, подпись у нас с тобой один в один, кроме первой буквы, быстро приспособишься. Не понравится, тем же способом вернешься. Можно даже челночную связь наладить. А?

БОРИС. Ну ты даешь, Алик, ну ты даешь.

АЛЕКСАНДР. А что, разве плохо придумано? На хорошем взводе у меня голова варит. Нам даже переодеваться не надо, вы с Ольгой тоже с ног до головы в фарце.

БОРИС (*растерянно смеется*). Маскарад без переодеваний.

АЛЕКСАНДР (*его несет*). Ты не спеши с выводами. Ведь проще не придумаешь. У нас с Людкой круго-

светка. Нью-Йорк – Москва, Москва – Ленинград, оттуда в Ташкент и далее со всеми остановками через Токио снова в Нью-Йорк. В крайнем случае по дороге передумать не поздно: дашь знать, и мы вслед вылетим, успеешь вернуться.

БОРИС. Соблазняешь.

АЛЕКСАНДР. Нашел себе Мефистофеля.

БОРИС. Значит, советуешь?

АЛЕКСАНДР. Предлагаю. Хозяин – барин, выбор – твой. Но при этом мы оба ничего не теряем.

БОРИС (в сомнении). А может, действительно попробовать?.. (Задумчиво смотрит в окно.) «В той деревне все дождь, дождь...»

Расплываются в затемнении.

ЛЮДМИЛА. Знаешь, мне там вот уже десять лет подряд, каждый день один и тот же сон снится. Будто я в Москве, а обратно не могу выбраться: просрочен паспорт, и меня хотят арестовать. Я в ужасе прокручиваю и прокручиваю разные варианты, как мне отсюда выбраться, прорваться домой, а кругом погоня, обкладывают, будто зверя, отслеживают за каждым углом. Душа во мне холодным потом обливается. Ведь там, на Гран-стрит, ждет меня Алик, хозяйство мое, кошка. Особенно кошка почему-то вспоминалась. С годами, правда, я приспособилась, стала взлетать. Только они до меня дотянутся, а я раз и вверх. И лечу себе. Внизу – города, реки, горы, а я – над ними, как птица. Но, главное, сознаю, что сплю. Страшно.

ОЛЬГА. Здесь наяву еще страшнее.

ЛЮДМИЛА. А со стороны смотреть, не сказала бы.

ОЛЬГА. На туристский взгляд, разумеется. Когда знаешь, что тебе здесь все равно не жить, то даже страх вроде экзотического допинга: приятно щекочет нервы, как прогулка в ночном лесу.

ЛЮДМИЛА. Не такой уж это и лес, Оля. Там ведь тоже не райские кущи, даром ничего не достается. И

тоже как в лесу: чуть зазевался, заживо съедят. Только вежливо, с улыбочкой, по-цивилизованному.

ОЛЬГА. Какого тебе еще рожна хочется? Чего ты дурью мучаешься? Чего тебе не хватает? (*Она окидывает взглядом мастерскую.*) Вот этого?

ЛЮДМИЛА. И этого тоже.

ОЛЬГА. Бери, угощаю. Ешь, пока из ушей не полезет. А я взамен твои джунгли возьму. Съедят, говоришь? Ну это мы еще посмотрим, кто – кого. Боюсь, на таких, как я, у них еще зубов не выросло. Пускай моих попробуют, как бы без головы остаться не пришлось. А ты, Люська, как была смазливой дурой, так и осталась, тебя только ленивый не обидит и вокруг пальца не обведет. Где уж тебе Новый Свет покорять!

ЛЮДМИЛА (*плачет*). За что ты меня так?..

Ольга снисходительно привлекает ее к себе. Затемнение.

АЛЕКСАНДР. Значит, договорились?

БОРИС. Как говорил товарищ Берия: попытка – не пытка.

АЛЕКСАНДР. Люську я беру на себя.

БОРИС. А мою и уговаривать не придется.

АЛЕКСАНДР (*решительно поднимается*). Мужчины приглашают!

Вновь загорается шкала транзистора над тахтой. Пары принимаются тихо кружиться под звуки старинного вальса.

ЛЮДМИЛА (*доверчиво прикикая к Борису.*) Вы, конечно, не помните, Боря, а мы с вами уже танцевали однажды под этот вальс. Вы тогда были почетным гостем у нас в школе на выпускном вечере. Как давно, как безнадежно давно это было! Я ведь влюбилась в вас в тот вечер, как последняя дурочка. Ночами не спала, плакала, выслеживала, письма любовные писала, правда, отсылать духу не хватало, у себя под подушкой складывала. Ольга как-то нашла, долго потом издевалась. Злая она у вас, Боря.

БОРИС. Ну что вы, Люся, она вас очень любит.

ЛЮДМИЛА. Если бы! Только она, кроме себя, никого не любит, а может быть, и себя тоже не каждый день. Меня-то уж это точно. Завидует. Да, да, не смейтесь, Боря, завидует. Ведь я красивее ее, сознайтесь.

БОРИС (после паузы). Пожалуй.

ЛЮДМИЛА (торжествующе). Вот видите! Хотя мы и двойняшки, а я красивее. Отбила вас у меня, а все равно завидует. Эх, Боря, Боря, я бы за вами на край света пошла!

БОРИС. Зачем так далеко?

ЛЮДМИЛА. Смеетесь? не верите? А мне, Боря, не до шуток, я, может, если по правде, и Алика-то уговорила на эту поездку только из-за вас. Потянуло мечте своей девичьей в глаза посмотреть.

БОРИС. И как?

ЛЮДМИЛА. Что как?

БОРИС. Я имею в виду глаза.

ЛЮДМИЛА (безнадежно). Все те же.

БОРИС. Вот уж не думал... (Прижимает ее к себе.) Впрочем, ничего еще не потеряно.

ЛЮДМИЛА. Ах, Боря, Боря, закружили вы меня, навсегда закружили!..

Растворяются в темноте.

ОЛЬГА (танцует с Александром). А в тебе что-то есть, Алик, как это я раньше не замечала?

АЛЕКСАНДР (ерничая). Никогда не поздно, невестушка, никогда не поздно, какие наши годы, одна живем.

ОЛЬГА. Все паясничаешь, а я серьезно.

АЛЕКСАНДР (целует ее). Можно и серьезно.

ОЛЬГА (с трудом отрывается от него). Тебя, Алька, только могила исправит.

АЛЕКСАНДР. Или ты.

ОЛЬГА. Попытаюсь.

АЛЕКСАНДР. Если бы ты раньше об этом подумала, все в моей дурацкой жизни сложилось бы, наверное, совсем иначе. Только разве Борька допустил бы! Так всегда было, с детства: если мне что-то когда-то светило – игрушка, заказ, женщина – все уплывало к нему. Главное, он даже к этому никаких усилий не прилагал, само так получалось. Как же – гений! Ему бы и Людка досталась, одно помешало, что – сестры. А вот теперь, когда моя очередь пришла, оказалось – поздно.

ОЛЬГА. Кто тебе сказал.

АЛЕКСАНДР (*отечески гладит ее по волосам*). Поздно, Оля, очень поздно, ничего уже не переиначишь. (*Надрывно*). Кавалеры меняют дам! Итак, господа, в три притопа, в два прихлопа, становитесь в ряд! (*Громко Борису.*) Если договоритесь, мотайте сразу в гостиницу. Рейс на Питер в семь утра!

Меняются партнерами. Кружась, уплывают в темноту. Издалека, стремительно нарастая, возникает гул, напоминающий полет космической ракеты. По мастерской начинают метаться цветные блики, поочередно выхватывая из темноты лица танцующих. Затем кружение цветowych пятен сливается в пеструю ленту вертящейся карусели. Карусель как бы движется прямо на нас. В седлах ее раскрашенных коней перед нами бок о бок – Борис и Людмила.

БОРИС. Помнишь, как я гудел когда-то? Неделями, по-черному, до зеленых чертей накачивался. Только в дурдоме, на привязи, и отходил. Из Ганушкина месяцами не вылезал, меня там за своего держали, вроде дополнения к персоналу, студентов на мне натаскивали. Когда рассказываю, самому страшно, а ведь на самом деле я только там и чувствовал себя в безопасности, хотя в первые две недели, пока делирий выветривался, меня в буйном держали. Кругом вой и вонь – не продохнешь, а мне хоть бы что: сердце как у младенца и на душе благодать. Потому, наверное, что я знал, чего от кого ждать. Все мысли, все эмоции наружу, никто ничего про себя не таит. Главное, сразу сориентироваться и можешь спать спокойно, у каждого свое место под солн-

цем и никто на твое не претендует. Поверишь, меня трясло от страха только в день выписки. Такое, наверное, бывало с гладиаторами, когда их на арену к зверям вытаскивали. Боюсь я людей, мать, больше всего на свете боюсь. Куда уж мне в американские растиньки подаваться! И скажи мне, подруга, по совести, что же это у нас за страна такая, где взрослый человек, в полном уме и здоровой памяти, дурдом добрым словом вспоминает?

ЛЮДМИЛА. Помню, с детства всем завидовала. Подругам, если лучше одевались или учились. Соседям, если лучше жили или дружнее. Знакомым, если выигрывали по займу или ездили на юг. Даже сестре своей завидовала, ее характеру, ее напору. Чужие успехи всегда примеривала на себя. Все прикидывала: как бы я на их месте распорядилась своим счастьем. И, конечно, получалось, что я бы распорядилась им намного лучше. Я и замуж выходила не по любви, а из зависти, мне хотелось доказать, что мое замужество будет самым удачным. Мне и Америка понадобилась, чтобы сестре нос утереть. Какая же я дура была, какая дура! Только там, за морем, когда у меня от барахла уже из ушей полезло, а желать было больше нечего, я вдруг поняла, что мне ничего не надо. Совсем ничего. Только бы падал вот этот снег за окном, дышал Алька рядом, тихонько играло радио, кипел чайник и кто-нибудь с утра пораньше приходил занимать трешку на опохмелку. Я больше никому не завидую, вы слышите, никому!

Их сменяет пара Александр – Ольга.

АЛЕКСАНДР. Жил ли я? Смотря что считать жизнью. Конечно, дышал, говорил, о чем-то думал. Но если честно, то скорее не жил, а все сорок своих лет по пустыне передвигался, только не как Моисей, а в одиночку. Я всегда, сколько себя помню, был ото всех отдельно. Словно чужой в чужом доме. Другие вместе, а я сам по себе, на отлете, вроде третий лишний. Сколь-

ко раз пытался втиснуться к ним, затеряться в них, расслабиться. Никогда не получалось: они инстинктивно выталкивали меня на обочину, как чужеродное тело. Я думал, что это только здесь так, что я просто не их породы, не ихнего корня человек, а стоит мне оказаться на другой стороне земли, все изменится, как по-щучьему велению. Но я и там оказался чужим среди чужих. И, выходит, нет мне на земле места. Даже в пустыне. И не только мне. Всем нам – из этой страны. Мы все – чужие. Даже самим себе.

ОЛЬГА. Уходит, уходит жизнь, как вода в песок! Не хочу больше ждать у моря погоды, лучше уж сразу в него головой, и будь что будет!

Наступает темнота, из которой медленно выявляется уже знакомая нам фигурка Э н е р а в джинсовом костюмчике. Она словно порхает по мастерской на невидимых крылышках.

ЭНВЕР (*вибрирующим тенорком*). «Нелюдимо наше море, день и ночь шумит оно. В роковом его просторе много бед погребено...»

Его снова перебивает ровный реактивный гул. Луч света выхватывает из темноты стоящих у дверей и готовых к выходу Бориса и Ольгу.

Они прощально машут вслед провожающим.

ОЛЬГА. Не забудьте разбудить Федора, ему к двенадцати на аэродром!

БОРИС. И куда только меня чёрт несет!..

Исчезают. На их месте вновь появляется Энвер.

ЭНВЕР (*густым басом*). «Славное море, священный Байкал, славный корабль – омулевая бочка. Эй, баргузин, пошевеливай вал, молодцу плыть недалеко...»

З а н а в е с

Сцена шестая

Обстановка первой картины. Утро. Александр с книжкой в руках лежит на тахте, держа перед собой включенный транзистор. Звучит меланхолический блюз. Людмила возится на кухне. За окном все так же струится снег.

АЛЕКСАНДР (читает). «Нас трое – некто, я и все. Я родился в Египте. Я открыл Северный полюс. Я плохо помню, как строил пирамиды Мексики и Египта, хотя сухой и горячий песок пустыни до сих пор несмываем на моих губах. Вырубленный мной для Александра Македонского, который тоже я, Пергамский фриз свеж в моей памяти. Пронзительно белел мрамор, из которого властно и упруго, как дельфины из моря, вырывалась напряженная плоть скульптур. Напряженная моим духом. Она взрывала упрямый камень. Множество рабов, исполнявших мою волю, казались нелепыми и чуть живыми среди яростных и нестерпимо белых титанов. Рабские влажные мосла и бедра, тонкие сухожилия и мышцы, черневшие под ультрамариновым, светящимся небом, казались вялыми. Боги специально недо-вылепили человека, чтобы я, в мраморе, мог довершить...» Красиво формулирует, собака!

Из-под тахты высовывается растрепанная голова **Х в а т а**.

ХВАТ. Братцы, кто последний, я за вами, душа горит!

АЛЕКСАНДР. Вылезай, Федя, тебе на аэродром пора, одиннадцатый час уже. Похмелись и сгруппируйся.

ХВАТ (на четвереньках выбираясь из укрытия). Я всегда говорил: Боря – это человек!

АЛЕКСАНДР. Стараюсь.

ХВАТ (с трудом поднимается на ноги, стоит, покачиваясь). Ты сказал: аэродром? Какой аэродром? Чего я на том аэродроме забыл?

АЛЕКСАНДР (в сторону Людмилы). Нацеди человеку, мать, иначе не вспомнит.

ХВАТ. Неужто и от вонючей кастрюльки памятью стал слабеть? Куда ты, удаль прежняя девалась, не узнаю Григория Грязного, увяданья золотом охвачен, отговорила рота золотая!

ЛЮДМИЛА (*выносит ему наполненный стакан и на тарелке – закуску*). Пей, Федя, там ведь не поднесут.

ХВАТ (*пьет*). На кристалл легла. (*Удовлетворенно трясет головой.*) Беспартийным бы такой кайф! (*Лениво закусывает.*) Земля встает на четыре копыта. Фиксирую. Пятнадцать ноль-ноль. Внуково. Рейс Москва – Вена – Париж. Орли. Министр. Бомонд. Метафизический сюрреализм. Школа. Федор Хват.

АЛЕКСАНДР. Молоток, Федя. Врубился в реальность.

ЛЮДМИЛА (*подавая Хвату дубленку и шапку*). Счастливо тебе, Федя, не поминай лихом. (*Плачет.*) Не забывай нас.

ХВАТ (*одеваясь с ее помощью*). Братцы, друзья мои, к вам обращаюсь я, неужто я забуду вашу хлеб-соль? Пролетая над столицей нашей родины, а также на турецком берегу и в Африке, неужто Федор Хват не вспомнит незлым тихим словом дом, где он провел три года незаметных и даже больше, если говорить по большому счету? Неужто не отблагодарит сторицей тех, кто в годину горьких испытаний протянул ему руку братской помощи? Выходит, не знаете вы Федора Хвата, друзья-однополчане, боевые спутники мои! Ждите писем, а также срочных международных и по прямому проводу. (*Обнимает и троекратно целует Александра.*) Бывай, старик, гора с горой, трое в одной лодке, не считая собаки, возьмемся за руки, друзья! (*То же самое проделывает с Людмилой.*) Держи, старуха, хвост пистолетом, прости-прощай и помни обо мне. Поехали! (*Прежде чем взять на себя дверь, окидывает ее сверху донизу и, плюнув себе на ладонь, оставляет на ней отпечаток своей пятерни.*) Для истории! (*Запевая, идет к выходу.*)

«На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы...»

Выходит.

ЛЮДМИЛА (*возвращаясь на кухню*). Едут, все едут! Куда? Зачем?

АЛЕКСАНДР (*снова заваливаясь на тахту*). Земля круглая: откуда поедешь, туда и вернешься. Как это у Окуджавы: «Мы начали прогулку с Арбатского двора, туда-то все, как видно, и вернется...» (*Раскрывает книгу наугад, читает.*) «В общем, я изводил себя. Даже в трамвай не садился нормально. Я давал ему отъехать, а потом мчался за ним: догоню – буду великим, не догоню – не буду. И все во имя взрослого будущего, к которому я готовился и которое постоянно занимало мое воображение. Увы, я не был беспечным мальчиком. В тех фрагментах моего фильма, который я посвящал своему будущему, я многое провидел. Те же события, те же места, мной были встречены уже знакомые мне люди. Но в моем мальчишеском кино будущее виделось грозным, ярким, значительным. В реальной же жизни, став настоящим, превратилось в пошлую карикатуру». Все будто про нас с Борькой и лучше не скажешь, превратилось наше детское кино в пошлую карикатуру. Зачем нам только и огород было городить!

С тихим скрипом отворяется дверь. На пороге **С в а т**. Он сомнамбулически движется по мастерской.

СВАТ. Упустил старуху. Можно сказать, из-под самого носа ушла. Такое мое сиротское счастье. У других, как у людей, у меня все через пень-колоду. Сколько раз так было уже: поблазнит судьба куском перед носом, а потом мимо рта пронесет. Невезучий ты, Федя, такой фарт сам в руки плыл, обмишурился, проворонил, как последний фраер. Козел ты, Федя, вонючий колхозный козел, тебе не уголовным розыском заниматься, а рогами хлев подпирать.

АЛЕКСАНДР. Что это вы так на себя, уважаемый?
СВАТ *(обреченно)*. Заслуживаю.

АЛЕКСАНДР. Вы – оптимист. В наше время, по-моему, никто ничего не заслуживает, кроме виселицы.

СВАТ. Я ее, можно сказать, как партия и правительство, окружил материнской заботой. Я из-под нее щепочки-соломинки подбирал, чтобы, неровен час, она не рассыпалась по дороге. Леденцов импортных, считай, целую коробочку скормил, все ублажить старался старую, одуванчики, они до сладкого, сами знаете, охочи, а она, как узнала, что сестрицу ее прибрали по назначению, так сразу и окачурилась, даже не пискнула напоследок.

АЛЕКСАНДР. Переживаете, будто мать родную схоронили.

СВАТ. Мать, она мать и есть: родила, выкормила и померла себе. Чего с нее больше? А тут совсем другое дело. Когда оформлял, верите, плакал! Вроде не бездыханный труп, а целую Академию наук в морг отправлял. Ведь она какой секрет с собой унесла, мы бы под ее патент со всего мира валюту лопатами гребли! Не только бойцов невидимого фронта, всю страну накормили бы наконец да еще обули-одежи впридачу. Я бы, может, по совокупности доктора, а то и членкора схлопотал бы. А теперь вот – возись снова с несунами и карманниками до самой пенсии!

ЛЮДМИЛА *(выходя из кухни со стаканом и закуской в руках)*. Выпей, Федя, полегчает. Какие ваши годы, у вас еще все впереди.

СВАТ *(пьет)*. В нашем деле какие нервы надо иметь! Как канаты! *(Закусывает.)* Не выпьешь лишний раз, с резьбы сорвешься. Вот и нынче перебрал я, по правде говоря: сутки на ногах, разве выдержишь... Плывет все кругом. *(Опускается на корточки.)* Глаз не сомкнул... Прикорнуть бы где часок-другой...

АЛЕКСАНДР. Чего проще! *(Кивает в сторону тахты.)* Укладывайтесь на первом этаже, у нас там место

обжитое, надежное. (*Легонько подталкивает его перед собой.*) Спите на здоровье, никто не потревожит.

Сват на карачках движется к тахте. Скрывается под ней и затихает.

ЛЮДМИЛА. Господи, как хорошо! Будто и не уезжали никуда. Москва. Снег за окном. Самогон варится. Федя в своем жанре. Скоро народ потянется. Как во сне, только бы не просыпаться!

АЛЕКСАНДР (*укладываясь на тахте*). Посмотрим, надолго ли тебя хватит? Ты и там в первые дни писала от восторга.

ЛЮДМИЛА. Начинается.

АЛЕКСАНДР. Тебе, как в том анекдоте, хорошо только в дороге.

ЛЮДМИЛА (*почти истерически*). Замолчи!

АЛЕКСАНДР. Действительно, будто никуда не уезжали.

ЛЮДМИЛА. Подонок! Я...

Звонок в дверь. Людмила спешит на звонок.

АЛЕКСАНДР (*читает*) «...Я совершил множество подвигов, не без моего участия выросло и распространилось несколько восхитительных религий. Не во сне, как Наполеон, а наяву я ездил на белом слоне и придумывал новую. Я создал ряд величественных и изящных теорий о макро- и микрокосмосе, не до конца, но всегда верно я объяснил природу человека, Вселенной и Бога. Изобрел и сконструировал множество полезных и прекрасных машин. Спасал людей от заблуждений, забот и болезней. Спроецировал и построил для них великолепные города, которые украсил необузданно-страстными и гармонически-изысканными изображениями. Словом, совершил столько всего возвышенного и нужного, что на перечисление только небольшой части моих трудов понадобилось бы в биллионы биллионов больше бумаги, чем на многовековую отчетность всех бюрократов вселенной. И после того, как я рисковал жизнью во

имя добра, красоты, не жалел себя во имя любви, немилосердная судьба бросила меня в XX век, провела меня по скучной равнине жизни, в жалкое время, вспоминать и разбираться в дерьме – мой сегодняшний долг. Я стал дегустатором отбросов. „Жизнь в говне“ – законное название этой книги...» Опять прямо про нас с Борькой!.. Сорвался, наивняк, за бугор жар-птицу ловить, только нет их нигде, птичек этих, на жратву перевели. Да разве кому втолкуешь, каждый думает, что для него лично одну, специально для него на развод оставили. Даже вон Протопопов с Белоусовой за ней подались, а ведь это все равно, что «Рабочий и колхозница» Мухиной сбежали бы в эмиграцию, национальное, можно сказать, достоинство. Этак скоро Мавзолей с Краснознаменным ансамблем песни и пляски в полном составе политического убежища попросят. А потом снова сюда. На гастроли. Конвергенция, бля, внутри канализации! Жизнь в говне!

Слышится возбужденный говор в прихожей. Затем входит Людмила.

ЛЮДМИЛА. К тебе.

АЛЕКСАНДР. Чего еще?

ЛЮДМИЛА. Бюст Ленина, чистой бронзы два пуда и презервативы с усиками. Японские. Набор: десять штук.

АЛЕКСАНДР. Гони. Бронза – это Уголовный кодекс, а усы мне одевать не на что.

ЛЮДМИЛА. Жалко ребят.

АЛЕКСАНДР. Перебьются.

ЛЮДМИЛА. Себя с похмелья не помнишь?

АЛЕКСАНДР (сдаваясь). Чего просят?

ЛЮДМИЛА. Как всегда: на бутылку.

АЛЕКСАНДР. Отоварь и гони. (Людмила выходит.) Вот теперь я по-настоящему дома! Цикл замкнулся: Москва – Нью-Йорк – Москва со всеми, как полагается, остановками. Спи спокойно, дорогой товарищ, да будет эта земля твоим последним пухом, а если сильно захочешь, тюремными нарами. Так сказать,

возвращение блудного сына к родным пенатам, скорбные глаза в туманной слезе на весь экран. «Вернулся я на родину, шумят березы с кленами». И так далее, в том же духе. Ко всему прочему, полный джентльменский набор российского кайфа: самогона хоть залейся, один пьет, другой отсыпается, третий на опохмелку соображает. Живи – не хочу! (*Слышится нарастающий гул реактивного самолета.*) Летите, голуби, летите, я посмотрю, где вы сядете! (*Лениво крутит рычажок транзистора.* Сквозь разноголосицу эфира пробивается голос диктора: «...Известный критик искусства Джон Рассел в своей статье, опубликованной в воскресном приложении к газете „Нью-Йорк таймс“, приходит к выводу, что скульптурный гений Эрнста Неизвестного не знает себе равных в современном художественном мире...»)
Нет, вы только послушайте этого козла вонючего! (*Возбужденно вскакивает.*) Вчера меня облизывал, а сегодня уже Неизвестному подмахивает! Хоть обратно пакуйся! (*Принимается лихорадочно собираться.*) Ну, старый пидар, я тебе заделаю козу, долго меня помнить будешь! (*Угасает так же внезапно, как и загорается.*) А, чёрт с ними со всеми! (*Валится на тахту.*) Пускай повесятя!

В мастерской, по обыкновению как бы из ничего, возникает фигурка Э н е р а. Он в стеганом зимнем халате и в татарском малахае.

АЛЕКСАНДР. Тебе еще чего?

ЭНБЕР. Мы с тетей Олей договорились, что я утром зайду еще раз стих повторить.

АЛЕКСАНДР. Нету ее.

ЭНБЕР. А придет?

АЛЕКСАНДР. Спроси чего-нибудь полегче.

ЭНБЕР. Я в школу опоздаю, у нас сегодня утренник.

АЛЕКСАНДР. Тогда валяй мне, я послушаю.

ЭНБЕР (*выходит на середину мастерской, сдерживает с себя малахай и читает в пространство перед собой*). «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом,

что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном? Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он, мятежный, просит бури, как будто в буре есть покой».

Вокруг него начинает медленно сгущаться затемнение. Фигурка Энвера принимается как бы парить над окружающим на невидимых крылышках. Мощное эхо, сопровождаемое реактивным гулом, многократно размножает следом за ним: «Покой... Покой... Покой...», пока его не перебивает знакомое оперное: «Не счесть алмазов в каменных пещерах...»

З а н а в е с

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

Главный редактор Андрей С е д ы х

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO. 519 Eight Avenue,
New York, N. Y. 10018

Старейшая русская газета за границей

Выходит ежедневно

Об условиях подписки справляться в редакции

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О КАРЛЕ И КЛАРЕ

КРОВЬ

Кто кавказский хребет перевалит служить,
Быть тому с той поры дворянином.

Случевский

Ходу тебе, продвижения нет
в мире равнинном.
Перевалил за Кавказский хребет –
стал дворянином.

Как хорошо государь рассудил:
боец не грубеет,
ежели крови своей не щадил,
кровь голубеет.

Стали бойцы за суровый поход
сталью из жести.
Входит война в генетический код
кодексом чести.

Стычки в горах распрямили твой взгляд,
рабское выжгли
(только вот жаль, что живъём из засад
все-то не вышли).

День посчитали нам за три денька
правильно, право,
и для потомства вошла в ДНК
русская слава.

Наша сивуха, пройдя змеевик
Военно-Грузинской,
облагородилась, стала навек
Божьей росинкой.

ОФИЦЕР

Перед собой кто смерти не видал,
Тот полного веселья не вкушал.

Пушкин

Стихотворствуй по-кавказски –
внахлѣст, с галопа, на скаку.
Не перечь своей закваске,
не потворствуй языку.

Возвращаясь из похода,
доставай свою тетрадь.
Офицерская порода,
кругом кирилловская рать.

Как казаки на биваке.
они расселись гомоня.
Что ж вас, буквы на бумаге,
так немного у меня?

Но чуть притронусь к поставцу я,
заулыбаются: добро!
И красуется гарцуя
вечное перо.

В ПОМПЕЕ

Во прахе и крови скользят его колена.

Лермонтов

Растут на стадионе маки
огромные, как пасть собаки,
оскаленная со зла.
Вот как Помпея проросла!

По макам ветер пробегает,
а страх мне спину прогибает
и, первого святого съев,
я думаю: зачем я Лев?

Я озираюсь воровато,
но мне с арены нет возврата,
и вызывает мой испуг
злорадство в римском господине

с дурманом черным в середине,
с кровавым венчиком вокруг.

УНИЖЕНИЕ ГЕНИЯ

Вручи мне Ювеналов бич!

Пушкин

Над белой бумагой потя,
перо изгрызая на треть,
всё мучаясь, как бы Фаддея
еще побольнее поддеть:
«Жена у тебя потаскушка
и хуже ты даже жид!»

Фаддею и слушать-то скушно,
с Фаддея что с гуся вода.
Фаддей Венедиктыч Булгарин
съел гуся, что дивно изжарен,
засим накропал без затей
статью «О прекрасном» Фаддей,
на чирика в клеточке дунул,
в уборной слегка повонял,
а там заодно и обдумал
он твой некролог, Ювенал.

СЕРДЦЕБИЕНИЕ

Меж топких берегов извилистой реки...
Полонский

Где леса верхушки глядят осовело,
когда опускаешь весло,
где двигалось плавно, но что-то заело,
застряло, ко дну приросло
(сквозь сосны горячее солнце сочилось,
торчали лучи наискось,
но смерклось, исчезли, знать, что-то случилось,
печальное что-то стряслось),
его сквозь себя пропускают колхозы,
пустые поля и дома
уткнуться где гнутся над омутом лозы,
где в омуте время и тьма.

ПОДРАЖАНИЕ

Как ты там смертника ни прихорашивай,
осенью он одинок.
Бьется на ленте солдатской оранжевой
жалкий его орден.

За гимнастерку ее беззащитную
жалко осину в лесу.
Что-то чужую я струнку пощипываю,
что-то чужое несу.
Ах, подражание! Вы не припомните,
это откуда, с кого?
А отражение дерева в омуте –
тоже, считай, воровство?
А отражение есть подражание,
в мрак погруженье ветвей.
Так подражает осине дрожание
красной аорты моей.

18 ВЕК

Восемнадцатый век, что свинья в парике.
Проплывает бардак золотой по реке,
а в атласной каюте Фелица
захотела пошевелиться.
Офицер, приглашенный для ловли блохи,
вдруг учуял, что силу теряют духи,
заглушавшие запахи тела,
завозилась мать, запыхтела.

Восемнадцатый век проплывает, проплыл,
лишь свои декорации кой-где забыл,
что разлезлись под натиском прущей
русской зелени дикорастущей.
Видны волглые избы, часовня, паром.
Все построено грубо, простым топором.
Накарябан в тетради гусиным пером
стих занозистый, сердце скребущий.

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О КАРЛЕ И КЛАРЕ

Кораллы

украва у Клары, скрылся, сббив усы
nach Osten. Что-то врал. Над ним смеялись.
Он русским продал трубку и часы
с кукушкой. Но часы тотчас сломались.
А в лиственных лесах дуплистых губ
не счесть и нашептаться довелось им,
что обрусел немецкий лесоруб,
запил, запел, топор за печь забросил.

Кларнет

украва у Карла, как-то смеху для,
она его тотчас куда-то дела,
но дева готская уберегла футляр,
его порою открывала дева.
Шли облака кудряво, кучево,
с востока, наступая неуклонно,
но снег не шел, не шел и ничего
не падало в коралловое лоно.

Mein Gott!

Вот густорозовый какой коловорот,
скороговорок вороватый табор,
фольклорных оговорок à la Freud,
любви, разлуки, музыки, метафор!

СОНЕТ В САМОЛЕТЕ

Отдельный страх, помноженный на сто.
Ревут турбины. Нежно пахнет рвота.
Бог знает, что... Уж Он-то знает, что
набито ночью в бочку самолёта.

Места заполнены, как карточки лото,
и каждый пассажир похож на что-то.
А, впрочем, ни на что – без коверкота
все, как начинка собственных пальто.

Яко пророк провидех и писах,
знамения явились в небесах.
Пока мы баиньки в вонючем полумраке,
летают боинги, как мусорные баки,
и облака грызутся, как собаки
на свалке, где кругом страх, страх, страх, страх.

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Джон в сафьяновы сапожки обут.
У него подбит гвоздями каблук.
Так топчет, что доскам каюк.
А у меня на душе кошки скребут.

Самодетельность танцует гопак.
Джон и Джейн одеты в красный кумач.
Если тошно, пойди да поплачь.
Я и рад бы – не выходит никак.

Я и сам бы эту душу скрёб, скрёб.
Я бы язву эту в кровь расчесал.
В такт прихлопывает топоту зал,
точно гвозди загоняет в гроб, в гроб.

* * *

Или еще такой сюжет:
я есть, но в то же время нет,
здоровья нет и нет монет,
покоя нет и воли нет,

нет сердца – есть неровный стук
да эти шалости пером,
когда они накатят вдруг,
как на пустой квартал погром,
и, как еврейка казаку,
мозг отдается языку,
совокупленье этих двух
взвивает звуков легкий пух
и бьются язычки огня
вокруг отсутствия меня.

ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ

Я говорю: ах, минута! –
т. е. я говорю: М, Н, Т –
скомканно, скрученно, гнуто
там, в тесноте, в темноте,
в мокрых, натруженных, красных
мышцах (поди перечисль!)
бульканьем, скрипом согласных
обозначается мысль.

Кабы я маг-семиотик
был, отрешился б от них.
Я бы себе самолетик
сделал из гласных одних:
А – как рогулька штурвала,
И – исхитрился, взлетел,
У – унесло, оторвало
от притяжения тел.

Бездны не чаю, но чую:
О – озаряет чело.
Гибелью обозначаю
все или ничего.

PRO DOMO SUA

Деревянный, лубяной
да последний, ледяной,
эй, домишки, как делишки
за железной стеной?

К лесу черному лицом
деревянный дом с крыльцом,
деревянный, с газом, с ванной,
с важной нежитью-жилецом.

К лесу черному спиной
бедный домик лубяной.
Ах, дух щаный, стол дощаный,
поговорки с глубиной!

Мое сердце в ледяном.
Ночью в нем светло как днем.
А убранства – лишь пространство,
холод, свет и метроном.

Ломкий лед галиматьи.
Тонкий звон со дна бадьи.
Выплывают ледяные
Лёшки Лосева ладьи.

1988

СТЕПНОЙ ЭТЮД

Еду я казахской степью. Столбы на дорогах, всё рыжее – столбы рыжие и орлы степные, что на них, тоже камнями рыжими сидят. Еду семь часов. Никого. Наконец встретил казаха. Поговорили, друг про друга основное выяснили, как зовут, откуда, кто я. «Неужели Москва больше Алма-Ата?.. Знаю, что столица страны, но неужели больше Алма-Ата?..» – и недоверчиво зацокал языком. В перерывах между удивлением о размерах Москвы казах вытаскивает все время тряпку, а в ней вяленое солнцем мясо, ножом тоненько срезает и ловко с ножа в рот переправляет. Я посмотрел, парень я небрезгливый, захотелось тоже попробовать. Пошел, вынес из автобуса водку, налил ему, он выпил, ноздрами хватанул со свистом воздух, помолчал, прислушиваясь к горячему процессу внутри себя, потом только и мне конинки отрезал. Жуем, смотрим друг на друга, на его лицо пар водочный опустился, капли выступили, глаза лаком покрылись и прищурились недоверчиво на мир. И тогда заговорили мы о политике. И вот он сказал:

– Скажи, ты белый человек?

Я посмотрел, вроде да.

– Белый, – говорю.

– А вот я какой?

Молчу, боюсь обидеть. Кто его знает, каким он хочет, чтоб его считали.

– А я желтый? Правильно?

Чувствую, ждет одобрения.

– Ну да, желтый ты, – соглашаюсь я.

– Желтый, совсем желтый я человек, – обрадовался он и для пущей убедительности зубы редкие оскалил.

– Так почему же вы, белые люди, приезжаете и говорите, что нам делать надо...

Было в его логике железо, но необработанное, руда, тоже, кстати, рыжая, как и всё здесь. Так что логика из него пёрла боком, коряво и малосвязанно, как и у всех темных и неграмотных людей. Закончил он свою трудную речь и уставил блестящие глаза-полоски на солнце, сушить, что ли, их. Подлил я ему за это время водочки, принял он и эту дозу, с хрустом обтерся ватыным, замасленным халатом, лак его полоски уже двойным слоем отполировал. Вскинул высоко голову: «Я хозяин страна,.. своя страна я хозяин...»

– Ты, ты, – успокоил я его.

А голова его еще гордее вскинулась, напряглась туго пергаментная шея:

– Придут китайцы – выгонят вас, они тоже желтые, как мы, они выгонят вас...

– Пусть приходят, – говорю, – пусть меня отсюда выгоняют, я им еще спасибо скажу, даже на их китайском, чтоб им приятней было...

– Вот сокол мой, мой птица, хороший охотник, летит куда хочет, ко мне потом прилетает... – дипломатично поменял он русло разговора. И вытянул откуда-то из тряпок сокола, глаза как стальные круглые пули.

– Куда, молодой, едешь, проехаться возьми...

Сели мы в мой автобус. Едем, он песню запел. Хорошая песня, душу ему рвет, а меня смех разбирает, чтоб сдержаться – спрашиваю: «О чем песня твоя?» Бровей у него нет, а то бы приподнялись, выражая изумление перед моим музыкальным невежеством:

– Так пою, о новых туфлях, которые выдали мне за очень хороший работа, пою, чтоб они носились долго, о халате пою, о лошади, чтоб ее нога зажила скорей...

Впереди густая пыль. Большое стадо баранов.

– Стой, стой, останови, моя слезть тут надо...

– О, много у тебя баранов, отец!

Головой закачал, языком зацокал:

– Молодой – глупый, а еще белый... Это бараны секретаря райком партии товарища Агадынова, мой он родственник, а я их в степи держу от глаза завистников охраняю их, от людей и волков... Пойдем в гости, что ли?

Не хотел я идти, заопасался, но проклятое желание всюду нос сунуть – победило. Два мальчика прибежали и собака здоровенная, такая здоровая, что больше на бутафорскую похожа. На мальчиках, как и на моем казахе, шапки теплые, лисьи, и халаты ватные.

– Будем кушать, барашек есть, они мне готовили...

Вкусно пахнет костер, играет своим огнем, как цыганка красной шалью, жир на ветки капает, водка моя допивается, бараны грустно блеют, закат край вишневого халата показал, а теперь край подтягивается в небо и исчезает.

– Пойдем, покажу...

Подходим к одной из палаток. Две девушки выходят, лица паранджой закрыты, пятятся плавно.

– Видишь, какие, красивые очень, жёны секретаря райкома товарища Агадынова. Первая жена с ним в городе живет, а эти здесь, чтоб русское начальство не ругалось. А товарищ Агадынов приезжает иногда сюда к женам молодым и на своих баранов посмотреть... Ты уж не едь, видишь, ночь быстро пришел... Спать будешь здесь, спи, ночь в степи плохо, наша ночь вас не любит.

Показал он на войлочную подстилку, тяжелое одеяло бросил, ночи в степи холодные. Я смотрел, смотрел на звезды, месяц, как кривой нож, покачивается, и уснул я от его качания. Снилось мне, что без крыльев, а просто так, летаю я в золотом небе, а потом вдруг падать стал, к земле стремительно приближаться. Утром опять костер, смотрю – блохи по моему войлоку прыгают. Стал я тоже прыгать.

– Не бойся, они на чужих не переходят...

Опять песню поет. Печальную, тянущую, как путь по степи.

– А сейчас что поёшь, о лошади снова?

– О тебе сейчас пою. О жизни твоей. Ты много узнал. Можешь товарищу Агадынову плохо сделать. Хотел я тебя ночью убить. Вот этим ножиком... – И нож показал, как месяц тот кривой, и тоже покачивается...

– Пожалел... Ворочался ты и маму звал... Почему все маму зовут... Едь теперь и живи. Только не скажи про товарища Агадынова. Он родственник мне, плохо ему – плохо мне, убить может. Я тебе жалел, ты меня теперь жалеяй...

И снова запел. Я ему портсигар оставил и уехал. Через пять часов приехал на космический аэродром Байконур, космодром, значит. Отсюда ракеты со спутниками запускают. Тут работа моя, в гараже работаю. Вечером ребята мне нового космонавта показали, того, что завтра полетит. В клубе музыка, все мы пели: «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы...»

Новая книга
Д. А. АНТОНОВ
НАДЕЖДА

Повесть о первой любви, – о русской литературе.
Издательство «Чеховград», 1988. Цена 16 нем. марок.
Заказы принимаются во всех книжных магазинах, а также на Фракфуртской книжной ярмарке и по адресу:
ФРГ, д-р Бройде: **Tschechowgrad Verlag**
Rückmühlenweg 2
6483 Bad Soden-Salmünster
Telefon: 0 60 56 / 29 82

Член редколлегии «Континента», известный немецкий журналист Карл-Густав Штрём недавно побывал в Москве в качестве корреспондента западногерманской газеты «Ди Вельт». Посетив Старый Арбат, он оказался свидетелем публичного выступления самиздатского поэта, тут же распространявшего свою печатную продукцию за соответствующую плату. Несколько стихотворений журналист приобрел и, вернувшись домой, переслал их нам для возможной публикации. При всем их профессиональном несовершенстве, они красноречиво свидетельствуют о тех, неподвластных официальной гласности, процессах, которые сегодня происходят в нашей стране.

Редакция

* * *

Не бойтесь, не бойтесь!

На площади!

Валом!

Страх – это то, что сделало нас скотами!

Страх – это то, что вновь погубит надежду!

Страх – это то, чем спасают свои миллионы

они! Грабившие нас

полвека!

Не бойтесь! На площади!

Под дубины!

Дубины гибче Свободы!

Металл не прочней Свободы!

Нет огня опасней того,

который в свободной груди!

Не бойтесь, не бойтесь!

На площади!

Валом!

1988

НЕКОТОРЫМ ПАРТИЙНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ

Что Вам снится в выкранной обители,
юности моей оскудомители?
Снится Бог Вам или новый Сталин?
Или те, что снова засвистали?

Где же Ваши прежние газеты?
Видно, проглотили туалеты
ордена, достоинство, улыбки
тех, кто обобрал страну до нитки?

Научили б, как пайка добиться?
Иль давить невинных по темницам?
Или как, прикрывшись партбилетом,
особняк иметь, чтоб пить в нем летом?

Не икается ли Вам икорочкой,
когда свежий ветер дует в форточку?
Как там Ваши сыновья и дочери,
что не знали ни нужды, ни очереди?

Что моя Вам ненависть поэта?
Сволочи, не думаю про это.
Темный пруд Отчизну отражает...
Это горе души воскрешает!

1988

БЛЮЗ

Л. И. Брежневу

Если бы Вы только знали!
Если бы Вы только знали,
Как мне противна Ваша рожа (извините, что не нашлось
других слов),
Вы бы вздрогнули так, что дрожали бы звезды
героя.

Я понимаю – Вы лишь гримаса тех лет.
Смешная и жуткая гримаса тех лет!
Я и обращаюсь к Вам, как к маске, потому что у тех
преступников,
которые скрывались за Вами, нет лиц!
Бедный-бедный Вы. Бедные-бедные мы!

Вы не умерли, Вы еще живы.
Вы не умерли, Вы еще живы!
Из-за высоких трибун смотрят на нас старческие глазки
Ваших соратников.
О, Боже! Как же ты убога, однопартийная система!

1988

ПРО ОСЛА, СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ И ЕЩЕ ПРО ЧТО-ТО

«Если меня спросят, что я делал
во время застоя, я отвечу –
строил социализм!»

(Бурные аплодисменты в зале)

*Из речи тов. Лигачева
на партийной конференции*

Скорее солнце выжжет глаз
упрямому ослу,
чем Лигачев избавит нас
от всех своих заслуг.

1988

Иосифу Бродскому

Все дальше смех, бывлые голоса... Все ближе гул
Вселенной, где пространства ткань еще не нарушалась
ни мыслью, ни грехом, ни музыкой, и жалость,
как чувств пример, не родилась. Все бросив, я шагнул

сюда, где что бы ни сказал – все будет верно
(иначе бы пришлось пропасть или смотреть назад),
где все не названо, и где любому шагу рад,
и опыта ничуть, и ничего не скверно.

Не слышу никого, а все – меня. Я вырван там, но здесь,
чтоб прорасти, храбрец узнает смерть. Все решено и вот
я умираю для непосвященных, но мой род,
еще об этом не подозревая, очнется здесь.

1988

БАГУЛЬНИК

Из банки, наполненной вешними сумерками,
вписавшись в гардины и в дождь за окном,
рогами оленьими ветви багульника
летели широко над узким столом.

Кончается день, нестерпим всякий шорох...
Темнеешь, багульник, и канет твой след.
Цветы растерял в бледно-розовых шторах,
вобравших из окон редющий свет.

Но ты не погаснешь, багульник божественный!
Включу электричество в старом доме.
Ты вновь загорись легко и торжественно
и будешь доступен лишь мне одному.

Приближусь к тебе, твой цветок бело-розовый
с лиловым оттенком так нежен и чист!
Он счастлив, как май! Он без тайной угрозы!
И держит в губах волокнистую кисть.

Из почек уж лезут молодые листочки,
салатовой рябью дополнив узор...
Ты весь в содроганьях, ты весь – не закончен!
Еще увяданья не близок раздор!

Не думай, живя, о кончине печальной.
Лишь только померкнет твой трепетный лик,
Я памятью вечной тебя увенчаю,
Весны и движенья пробужденный миг!

1985

* *
*

В новой кепке у пивной
ветеран стоит хмельной.
На груди два ордена –
крепкая породаина!

Я заезжий молодец:
«Выпьем водочки, отец?»
Ради воскресения
Наши угощения!

Смотрит прямо старый плут:
«Отчего же, коль дадут?»
И пошли мы к столикам...
Что нам алкоголикам?

Пить так пить, чтоб не одну!
Сталин выиграл войну!
Дернулись два ордена,
вспомнилось про Родину...

В грязный пол костыль воткнул:
«Сталин выиграл войну!
Не продайте, молодежь!
Мать и Родину даешь!»

Ковылять ему потом
в дом свой с низким потолком.
Пиджачок, два ордена...
Вот и жизнь вся пройдена.

Кепку новую в руке
сжал на тряске костыльке.
Разве первый раз здесь дед?
Всем мирянам – здрав-ствуй-те!

Тусклый зал, в окошках свет.
Звон стекла да скрип штиблет.
Я смотрю отцу вослед...
Было мне осмнадцать лет.

1986

ГОРДАЯ МОЯ УМНИЦА

Г. С.

Ветер гулял по комнате,
окна дышали вольницей.
Стал я поэтом, помните?
Все не могу опомниться.

Ямбы, хорей, анапесты...
Это поэзия? Полноте!
Ветер гулял по комнате,
весело рвал надписи!

И от ремесел в сторону,
вдоль по ночной тропиночке
гнал я лошадку вздорную
тоненькой хворостиночкой...

...выдалось утро раннее
хрипкое поминальное...
Над головой моей ржание:
«Что же ты? Мол, седлай меня!»

«Иноходью, мол, к терему!»
Только по мне ль эти шалости?
Ноги привыкли к терниям,
нет ни обиды, ни жалости...

Я хворостинкой сухонькой
вздерну лошадку вздорную.
Будто развею пух рукой –
не посмотрю в ее сторону!

Слышу – вдруг там аукнется...
ближе... и не опомниться!
Гордая моя спутница!
Умница моя, школьница.

1987

СЛОВАРЬ ОБИНЯКОВ

Судя по нумерации на сохранившихся листах, полная рукопись насчитывает около ста страниц и содержит не менее тысячи обиняков. Что касается четырех томов, упомянутых в набросках авторского предисловия, то сейчас трудно сказать, удалось ли автору завершить эту работу. Можно лишь утверждать, что таков был замысел: «Толковый словарь общеупотребительных публичных обиняков» в 4-х тт.

Материалы обнаружены там же, где «Радужная республика».

А. Турбин

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ГОЛОЕ. См. *Метод администрирования голого.*

АЖИОТАЖ НЕЗДОРОВЫЙ. Движение умов, возбужденное незрелым произведением искусства или незрелым гражданским деянием, то есть таким произведением или деянием, которое не является ритуальным по форме и магическим по содержанию.

АПОЛИТИЧНОСТЬ. Отсутствие всепоглощающего интереса к мистерии; проявляется в покашливании, позевывании, посматривании по сторонам, шуршании чем-то и перешептывании с соседями на немистериальные темы, например, о том, будут ли в буфете сосиски.
П р т в п л. Активная жизненная позиция, соблюдение тишины, отсутствие всякого интереса к сосискам.

БЕЗРАБОТИЦА, КОТОРОЙ НЕТ. Ритуальное дело-производство, совершаемое в течение 8 часов 12 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья: согласно мистериальным представлениям, обеспечивает посте-

пенное восхождение от благоденствия воинствующего (кто не работает, тот не ест) к благоденствию торжествующему (кто работает, тот ест). Ср. *Митинг протеста*.

БЕСПЛАТНОСТЬ. Таинство перевоплощения личного в общественное и обратно; та половина моих денег, которую я мог бы пропить, попадает с самого начала в более надежные руки и в надлежащий момент тратится на то, чтобы *бесплатно* (нареч.) излечить меня от алкоголизма.

БОГАТСТВА НЕВИДАННЫЕ. Складываются из *Ресурсов неисчерпаемых* (металл, который лежит под землей), *Резервов неиспользованных* (металл, который лежит под дождем) и *Инициативы неиссякаемой* (разнообразные проекты, направленные к прекращению дождя).

БУДУЩЕЕ ЛУЧШЕЕ, с и н. БУДУЩЕЕ СВЕТЛОЕ, СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА. Мистериальная «непреклонно-атеистическая»* концепция загробной жизни.

БЮРОКРАТ. Комический персонаж: мелкий служащий с претензиями не по чину. *Бюрократизм*, нерасторопность заважничавших служащих, неразбериха и упущения, способные вызвать *Трудности временные*. (Канонический пример: явная неповоротливость ответственного за вращение Земли вокруг своей оси и столь же очевидная расхлябанность, несогласованность действий между ответственными за вращение Земли вокруг Солнца и Солнца вокруг Земли, что в итоге привело к падению урожая цитрусовых.)

ВНИМАНИЕ К НУЖДАМ ПОВСЕДНЕВНЫМ НЕОСЛАБНОЕ. Любовное попечение об удобствах пуб-

* В угловые скобки заключены слова, прочитанные предположительно; чтение вообще затруднено, состояние рукописи неважное, похоже, что она побывала в переделках.

лики, порождающее бесчисленные трогательные усовершенствования, например, установление правила, что штучные товары отпускаются в порядке общей очереди.

ВОЗМУЩЕНИЕ ЗАКОННОЕ. Бушевание гражданских чувств по случаю событий в географически отдаленных местностях; не сопряжено с нарушением правил уличного движения.

ВОПРОС ПРОВОКАЦИОННЫЙ. Ставящий вопрошаемого в нелепое положение и вызывающий у него естественный позыв обратиться вопрошающего в небытие.

ВСЕ, КАК ОДИН (неправ. вм. о д и н, к а к в с е). См. *Единодушие*.

ВЫПОЛНЕНИЕ ДОСРОЧНОЕ. Укоренившееся за многие десятилетия обыкновение заканчивать весенний сев на два-три дня раньше, чем в предыдущем году.

ВЫСОКАЯ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ. Та версия и та оценка происходящего, которые размещаются в сознании выше иной версии и противоположной оценки и стремятся подавить их и уничтожить, но в итоге с ними уживаются и совмещаются.

ГОРДОСТЬ. 1. ЧЕЛОВЕКА НАШЕГО. Его собственное особое мнение, что ему и так хорошо. **2. ЗА ЧЕЛОВЕКА НАШЕГО.** Убеждение, что он являет собой средоточие и источник всех добродетелей, пока с него, мерзавца, глаз не спускаешь.

ГУМАНИЗМ АБСТРАКТНЫЙ. Любовь к человеку, еще не заполнившему анкеты; вообще неразборчивость в любви, возведенная в принцип, вплоть до откровенного призыва: «Возлюби врага своего». *П р т в п л.* Человечность подлинная, практика, построенная на строжайшей избирательности чувства, дополненной восприятием любого объекта, в том числе и объекта любви, как единства противоположностей; если враг не сдается, уничтожают друга.

ДЕМОКРАТИЯ ПРЕСЛОВУТАЯ. Обстановка нескончаемой и утомительной борьбы за свои права, недвусмысленно свидетельствующей об отсутствии таковых.

Ср. Народовластие истинное.

ДИНАСТИЯ СЛАВНАЯ. Формируется при таком порядке, когда не место, которое красит человека, а места, которые он красит, человек оставляет своим детям; при наследовании ими не столько тленного, каковы гардероб и реквизит, сколько вечного – ролей.

У п т р б. по отношению к Лучшим людям.

ДОВЕРИЕ БЕЗГРАНИЧНОЕ. Состояние публики, без которого немислимо эстетическое наслаждение; в приватной обстановке не отмечено, начинается с вешалки.

ДОКЛАД ИСТОРИЧЕСКИЙ. Центральный номер дивертисмента, *События всемирно-исторического*, вмонтированного в мистерию. (Неизменный шумный успех этого монолога объясняется тем, что текст несколько не забавный оглашается с самой забавной дикцией.)

ЕДИНОДУШИЕ. Самодеятельная, помимо капельдинеров, забота публики о ненарушении порядка. (Зритель и в одиночку не уверен в своем желании нарушить порядок, так как в душе считает себя не столько ограбленным, сколько подкупленным; среди других и вне дома склонен смотреть на себя как на участника, соисполнителя мистерии, обязанного поэтому со смирением, если не с гордостью, блюсти присущее ей благообразие.) *Единодушная (прил.) поддержка.*

ЗАКАЛКА ИДЕЙНАЯ. Система комплексной тренировки, вырабатывающей невосприимчивость к каким-либо идеям, *Стойкость идейную.*

ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ. Эксперимент по изучению сроков сохранности продуктов духа (принципы, предрассудки и т. п.) в данном сообществе и в голове отдельного члена его; продолжительность эксперимента над сообществом – до полувека и более, опти-

мальный срок для отдельного человека – 17 лет (см. *Срок исторически-короткий*). *Выдержать испытание временем (пройти проверку временем, быть подтвержденным временем)*, о судьбе упомянутых нематериальных субстанций, если они, наперекор превратностям судьбы сообщества и членов его, все-таки сохранились в том или ином виде (принципы в виде предрассудков, предрассудки в виде принципов и т. п.) и по-прежнему чтимы у людей, подвергшихся превратностям или подвергавших им других.

ИСТОРИЯ. Прошлое и наука о нем, смысл же ее в том, чтобы не пускать прошлое на самотек, а поддерживать его поучительность и воспитательную силу методом переигрывания проигранных сражений. *Опыт истории учит.*

КАК ИЗВЕСТНО. Необходимый аргумент *Логике неумолимой*: не отсылка к чему-либо, что было кому-либо известно ранее, а уверенный кивок, указывающий на местоположение истины в данный момент. *Все хорошо, что хорошо кончается, а все, как известно, кончилось хорошо, значит, и было хорошо, и все, что есть, к лучшему, поскольку будет, как известно, еще лучше.*

КРИТИКА. 1. **КОНСТРУКТИВНАЯ.** Рассуждения, клонящиеся к расширению штатов (в частности, рассуждения о сокращении штатов). 2. **ЛИТЕРАТУРНАЯ.** Исследования об ущербе, могущем быть нанесенным фабуле и слогу мистерии всякого рода отсебятиной. 3. **СОКРУШИТЕЛЬНАЯ.** Умение ответить на две тысячи слов тремя, но отборными словами.

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ. 1. (мед.) Отношение корифея к самому себе, род нарциссизма; являясь доминантой характерологического комплекса, обусловленного психопатическим статусом и нарастающими грубыми склеротическими изменениями, не поддается, однако, прижизненной диагностике и выявляется только патологоанатомическим исследованием. *В период культа личности, при жизни покойника.* 2. (соц.) Отношение публики

к самой себе, когда, лишенная всего, что составляло достояние и достоинство каждого, и утешенная только мыслью, что так составилось богатство бесценное, она не в силах допустить, что этот клад разграблен или изначально призрачен, и вынуждена верить, что он волшебным образом присвоен одной-единственной личностью, владеющей им от имени и для блага всех. *В период культа личности*, в любой период, когда личность как таковая не является предметом культа. Ср. *Любовь всенародная*.

КУЛЬТУРА. Область душевного; относится к сфере обслуживания персон и персонажей, расположившихся на подмостках и вблизи. К. призвана утешать их, ласкать чувства и врачевать душу уверениями, что, во-первых, происхождения они законного и очень почтенного, не самозванцы какие-нибудь, и впечатление производят самое отрадное; во-вторых, что совершающееся необходимо, а совершаемое пристойно, так что они там расположились неспроста и надолго. [и что он-де там не решетом воду носит и не ошметком щи хлебает, не лыком шит, кое-что таки смыслит кое в чем, и сам, между прочим, тоже, как люди, и насчет почитать чего интересенького, и насчет пописать на досуге, и поесть чего вкусенького, и песню задушевную послушать и подтянуть, и вообще.]*

ЛЕГЕНДА. Витаминизированный факт (или артефакт), готовый к употреблению.

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ. *В первых рядах и в ложах бенуара.*

ЛЮБОВЬ ВСЕНАРОДНАЯ. См. *Преданность беспредельная*.

МЕРЫ НАМЕЧЕННЫЕ. То же, что *Ошибки допущенные*, в разновременном толковании.

МЕТОД АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ГОЛОГО. Нехорош односторонностью, выражающейся в опромет-

* В квадратных скобках приводим дополнение, вписанное на полях неизвестной рукой.

чивой утопической недооценке значения пряника. Ср. *Экономическая реформа*.

МИТИНГ ПРОТЕСТА, *с и н.* **МИТИНГ СОЛИДАРНОСТИ**, **ПЕРЕКУР**. Отсутствие на рабочем месте в рабочее время; в противоположность забастовке имеет целью не увеличение зарплаты за ту же работу, а уменьшение работы за ту же зарплату.

МУДРОСТЬ. 1. **ГОСУДАРСТВЕННАЯ**. *Проявить государственную мудрость*, внезапно дать понять ничего не подозревающей публике, что дела плохи и с виноватого уже не взыщешь. 2. **КОЛЛЕКТИВНАЯ**. *Гениальность не хуже былой, но в складчину*.

НАПРЯЖЕННОСТЬ СОХРАНЯЮЩАЯСЯ, *с и н.* **РАЗРЯДКА НАМЕТИВШАЯСЯ**. Гордое непримиримое противостояние *Преимуществ величайших* и *Прибылей баснословных*, основной сюжетный мотив мистерии. Ср. *Угроза мнимая* и *Угроза непосредственная*.

НАРОДОВЛАСТИЕ ИСТИННОЕ. Окончательное снятие столь характерной для антимистерии противопоставленности публики и труппы; такое жизнеустройство, когда проситель, являясь в присутственное место, садится и по сю сторону стола, и по ту, уже в качестве столоначальника, чутко выслушивает себя, положительно реагирует и без волокиты накладывает на свое прошение желательную резолюцию, ощущая при этом, как болезненно опустевает его карман и как одновременно сладостно наполняется его же другой или тот же.

НАРУШЕНИЯ ЗАКОННОСТИ. Избыточная активность отдельных капельдинеров, озабоченных видимым недостатком внимания у публики, хотя о шиканье, неуместных выкриках и тухлых яйцах нет и речи.

НЕЗЫБЛЕМОСТЬ. Чудо, присутствие которого очевидно (есть же и *Основа незыблемая*, и *Прочность нерушимая*, и *Позиция неизменная*, и *Верность непоколебимая заветам священным*); купно с *Преображением* и будучи нераздельны, составляют двуединое кардинальное чудо; для мистерии оно служит *Источником неис-*

сякаемым, ее фабулу образуют его повседневные проявления – *Воплощение реальное, Свидетельство яркое, Демонстрация волнующая и Доказательство наглядное еще одно.*

НЕНАВИСТЬ ЗВЕРИНАЯ. Принадлежность демонических сил, тщетно стремящихся поколебать чудо Незыблемости и воспрепятствовать чуду Преображения посредством *Замыслов опасных, Расчетов коварных, Происков непрекращающихся, Сопротивления бешеного и Кампании неистовой.* См. *Темные силы.*

НЕТИПИЧНОЕ. Лишь одна сторона действительности, та, что доступна для непосредственного наблюдения.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ МИРОВАЯ. Которой мы нравимся. *П р т в п л. Круги определенные, которым не нравимся.*

ОТНОШЕНИЕ К КАДРАМ БЕРЕЖНОЕ, *с и н.*
ОБСТАНОВКА СПОКОЙНАЯ, ДЕЛОВАЯ. Когда актеры на главные роли имеют пожизненный ангажемент. *П р т в п л. Волонтаризм.*

ОТЩЕПЕНЕЦ. Лицо, усомнившееся в магической эффективности ритуальных действ, что свидетельствует о совершенной им ранее краже, а также неоднократном изнасиловании девиц и, как правило, отцеубийстве, причем предстоит еще выяснить, однократном ли.

ОЧЕРНЕНИЕ. 1. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. Несуразная попытка усмотреть нечто общее в *Недостатках отдельных*, которые являются отдельными по определению. **2. ПРОШЛОГО.** Недостойное уважение к своему же лютому страху, пережитому 20-30-40 лет назад.

ПАТРИОТИЗМ. Стремление, чтоб и у нас все было, как у людей; если же этого нет и ничего похожего, то стремление доказать, что то и дорого, что ничего похожего.

ПЛАНИРОВАНИЕ. Метод обретения земного рая путем нахождения математически точного соответствия

между количеством выплавленного чугуна и спасением души.

ПОДВИГ ТРУДОВОЙ совершить. Закрывать своим телом брешь в экономике.

ПОДЪЕМ. 1. ДАЛЬНЕЙШИЙ. Возобновляющиеся попытки выбраться из ямы, лужи и т. п. **2. НЕБЫВАЛЫЙ.** Нормальное состояние духа нормального индивидуума и коллектива.

ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛИТИКИ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ. Импорт хлеба при экспорте зрелищ.

ПОМОЩЬ БРАТСКАЯ. Спасение утопающего, который мнит себя ныряющим. *П р т в п л. Вмешательство бесцеремонное.*

ПРАВДА. 1. БОЛЬШАЯ. Общий вид величественного здания в лучах восходящего солнца. **2. МАЛЕНЬКИЕ,** ед. нет. Мелочное разглядывание величественного здания, суетное и неделикатное высматривание подробностей, таких как отвалившаяся местами штукатурка, решетки на окнах и будка у ворот. **3. ОКОПНАЯ.** Разговорчики, будто солдат понимает больше генерала*.

ПРЕДАННОСТЬ БЕСПРЕДЕЛЬНАЯ, – БЕЗЗАВЕТНАЯ. Естественное чувство, органическая добродетель и внутренняя опора всех тех, для кого сбылись, наконец, *Чаяния вековые* и «вроде бы» наступило *Время историческое* не быть рабами.

ПРЕДВИДЕНИЕ НАУЧНОЕ. Умение загодя определить свое отношение к любому рода новостям и новшества, с тем чтобы потом, когда они появляются, хранить невозмутимость, не усматривая в них ничего нового.

* «Чего никак не может быть, потому что если бы он больше понимал, то был бы уже сержантом, а то и старшиной, а генерал, который меньше понимает, был бы, допустим, полковник, но не генерал же». (Из военных мемуаров «Обратно и туда».) – *Сноска в рукописи.*

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕЛИЧАЙШИЕ. Заключаются в сочетании *Возможностей исполинских, Сплоченности тесной, Перспективы единственно правильной, Мер принятых, Мер своевременных, Мер конкретных, Мер действенных и Отклика в сердцах горячего.*

ПРЕОБРАЖЕНИЕ. Чудо; дает знать о себе в форме *Преобразования* (учреждения в учреждение), *Превращения* (пустыни в цветущий сад или наоборот) и *Переименования* (переулка в улицу, улицы в проспект, поселка в город и никогда наоборот, вследствие чего все предметы обнадеживающе укрупняются, и самых разнообразных природных объектов в золото – черное, белое, голубое, зеленое, мягкое и т. д., вследствие чего над золотом как таковым уже не надо трястись, а над всем остальным тем более). См. также *Реорганизация и Увековечение.*

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ. Уверенное владение наличными принципами и основанное на этом искусство в данной ситуации быстро выбрать подходящий; находчивость.

ПЬЯНСТВО. Покушение нанести обществу косвенные убытки, превышающие приносимую им же прямую выгоду.

РАЗБРОД. Уклонение от присутствия; запоздалое непонимание того, что антрактов больше не будет, хватит. Ср. *Шатания.*

РЕАЛИЗМ. Два направления в художественном творчестве; предмет изображения у одного – отверженные, у другого – самоотверженные.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ. Слияние Министерства Внешнего Вида и Министерства Внутреннего Содержания в единое Министерство Целостного Взгляда и разделение последнего на три новых в связи с необходимостью трезво учитывать существование таких явлений, как близорукость, дальновзоркость и слепота.

РУКОВОДЯЩАЯ РОЛЬ. Особое амплуа резонера-режиссера; предотвращает или прекращает любые

импровизации, поддерживая приличествующий мистерии монотонно-триумфальный тон.

СВОБОДА СЛОВА. 1. ТАК НАЗЫВАЕМАЯ. Возможность вразнобой выдвигать нецелесообразные предложения, выступать с несвоевременными требованиями, допускать неправильные высказывания, подавать неуместные реплики и задавать провокационные вопросы, не встречая *Отпора достойного*. 2. **ПОДЛИННАЯ.** Реализуется коллективно в форме *Осуждения гневного* или *Одобрения горячего*.

СИЛА НЕОБОРИМАЯ. Способность неопределенно долгое время умирать не умирая.

СЛУГИ. 1. НАРОДА. Общее наименование ряда типов (масок) мистерии; традиционное содержание роли слуги народа: рассказывает барину сказки. 2. **НАЕМНЫЕ.** Упоминаемые в тексте мистерии персонажи антимистерии; примечательны тем, что, сбрасывая маски, предстают в *Обличье подлинном*.

СМЕЛОСТЬ ТВОРЧЕСКАЯ. Порыв тренированного вдохновения, приводящий к созданию произведений, которыми как будто можно и не угодить, однако, поди ж ты, пришлось в самый раз.

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ (мед.). Закономерное привыкание ко всему хорошему при гордом равнодушии ко всему остальному, с возрастом усиливается, возвышаясь до восхищения тем, что есть, и неприязни к тому, чего нет; непривыкание аномально и в тяжелых случаях выливается в буйное поведение, разного рода *Вылазки*.

СТИМУЛЫ МОРАЛЬНЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ. Разнообразные и остроумные способы понудить зрителей восторгнуться и своим посильным участием придать необходимый масштаб сценам *Побед трудовых* и *Темпов бурных*, не нарушая, разумеется, правил внутреннего распорядка; вследствие застарелого опасения как-нибудь ненароком все-таки нарушить распорядок, публика не всегда соблазняется стимулами, однако неиз-

менно берет на себя *Энтузиазм невиданный* и соответствующие куски текста, *Слова любви и благодарности*. **ТОРЖЕСТВО ИДЕЙ.** Посрамление материи; умерщвление плоти.

УБЕЖДЕННОСТЬ НЕПОКОЛЕБИМАЯ. *Стойкость идейная*, осложненная представлением, что пальмы, растущие в присутственных местах, в один прекрасный день начнут плодоносить. Ср. *Романтика*, сумма двух представлений: (а) что всякое дело и приятнее для работника, и полезнее для дела начинать с конца, и (б) что умереть от старости – это из всех способов умереть наименее увлекательный.

УВЕКОВЕЧЕНИЕ. Наречение объектов длительного пользования именами корифеев текущего сезона.

УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ. Продиктованное высокоразвитой интуицией, основанной на опыте, предчувствие, что сегодня еще не конец, что продолжение следует и притом не исключено, что именно завтра выбросят сосиски.

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОЛНОЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ДУХОВНЫХ РАСТУЩИХ. См. *Хищения*.

ФАКТЫ НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ. Явления, о существовании или сущности которых не принято спорить.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ. Попытка выдать имевшее место за имевшее значение.

ФИЛОСОФИЯ. Наука, снимающая сливки с прочих и так понемногу избавляющаяся сама и избавляющая всех желающих от сковывающей зависимости от них.

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА. Таинство, совершаемое при закрытом занавесе в сопровождении громкой и радостной музыки, по преимуществу песен из кинокомедий.

ФУНДАМЕНТ НАУЧНЫЙ. Теория магии, окончательно ответившая на вопрос, откуда что берется, и потому способная расставлять в должном порядке причины и следствия: засуха – неурожай; пьянство – эконо-

мический застой; поставленные задачи – достигнутые успехи; имеющиеся отдельные упущения – предстоящие развернутые постановления.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ. соответств^е или несоответств^е средств цели средства
. призн^аются оправдан^ными.*

ЧУВСТВО ГОРДОСТИ (с чувством законной гордости), ЧУВСТВО РАДОСТИ (с чувством огромной радости), ЧУВСТВО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ (с чувством законного, или огромного, или понятного удовлетворения). Гордость, радость, удовлетворение, пребывающие вне отдельной личности и в индивидуальном переживании не ощущаемые.

ШАТАНИЯ. По фойе, курительной комнате и пр., вообще неритуальное времяпровождение; не свидетельствует о Заинтересованности глубокой и Чувстве ответственности высоком.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА. Либерманизация экономики; по мнению «галерки», заслуживает иного отношения к себе, не того, что есть, «не» брежневского, или требует для воплощения иного времени, «без»брежнего**.

ЯВЛЕНИЯ НЕДОПУСТИМЫЕ. Повседневность, пренебрегающая формулами долженствования; жизнь как она есть.

* Остальная часть текста не поддается прочтению.

** Начальное слово этого толкования написано четко, но совершенно загадочно по смыслу; очевидно, что-то совершенно забытое из того далекого, почти уже забытого времени. Если оно захочет вернуться, то окажется, пожалуй, что языка своего оно лишилось.

Насте Хвостовой 17 лет. Она делает еще только первые неуверенные шаги по той взрывоопасной территории, которая зовется поэзией. По этой публикации трудно еще судить, найдет ли она в себе достаточный запас таланта и мужества преодолеть гремучее пространство, отделяющее ее пока от состоявшейся поэтической судьбы, но в том, что данные для этого у нее есть, я уверен.

Владимир Максимов

✱ ✱

✱

Как хрупко бытие...
По скользкой паутинке
Шаги неровные, как голос
дребезжат...
И горькие слова,
Как маленькие льдинки,
Танцуют на весу
И в воздухе дрожат...
И, вязкая как ночь,
И, черная как пропасть,
Горит моя душа
И стынет кровь моя:
Ни счастья, ни удач
Я не желаю вовсе —
Я падаю с обрыва,
Цепляясь за края...



Откуда эта красная тишина губ,
Сожженный солнцем песок лба?
Не веришь? Я, может быть, скоро умру,
Так ничего и не сказав...
Вглядываясь в сонную пустоту зеркал,
Спрашивала: кто я здесь?
Мне в ответ – ржавый оскал –
Ты не нужна – ты уже есть!
Помятый дождь красит желтой краской лицо,
Толкотня, запах прилипшей одежды, дым...
Я падая поняла, что это только песок,
 Только дождь,
 Только звук –
 Страшные сны...



В синем небе
Желтая стрела дерева,
Летит, свистит,
Разрезает синее тельце
Белая острая тонкая
Игла самолета,
Летящего в сторону.
Наверное,
Мне хорошо
Падать в эту синюю чашку глаза –
Я стараюсь не замечать
Края...
Небо в серебряной пене!
(Как я могу ненавидеть?)

Слева
Кто-то постукивает
Сколько можно стучать?!
Воздух
Сгущается в желтый ожог –
Я вспоминаю
Дерево:
Длинный профиль его...
Когда я взлетела
И разбила лицо
О голубой потолок,
Вы не поверите – дерево побледнело!!
И было так тихо,
Что даже сама тишина
Стонала,
Пахла листьями мертвыми,
Белым стволом,
Из которого
Что-то все время текло...

* *
*

Я закричу,
Но каменный не рухнет свод,
Бумажный ангел глаз не приоткроет,
На дымном алтаре, там, где гуляет взад – вперед
Шуршащий ветер мысли непристойной,
Зеленый глаз, так медленно уничтожает страх
(Глодая душ зияющие звуки),
Рассыпется и превратится в прах,
И обогреет жаждущие руки.
Пустая ночь, как круглое окно извне,
Священный голос слабого рассудка,
И эти гвозди ржавые в стене –
Следы распятия... Жалобно и жутко

Холодный пол отбрасывает гулкие шаги,
И маленьким жуком я подползу к иконе:
Святая дева, голова в крови,
Младенца белого на черный пол уронит.

В.

* * *

И как трамвайное стекло мою руку лизало,
И как мимо меня скользили пустые фигуры,
И я видела, сквозь тонкую паутину деревьев,
свет...

Я буду... Слышишь? Я непременно буду.
Не сейчас, когда тупая беспомощность рук
Переплетается с пустотой и хламом,
Не сейчас, а той осенью,
Что так упоительно молчалива,
Я... Нет, – мой рот сотворит звук!
И мне всё будет казаться странно красивым,
И даже там, где меня никогда не будет,
Я вдруг возникну, в бледном отблеске глаз твоих –
Не небом, но чем-то безумно синим.

ХВОСТОВА Анастасия – родилась в 1971 году в Москве. В 1986 году выехала с родителями во Францию. Живет в Париже.

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

На складе более 3000 наименований книг

**Вышел из печати наш новый большой каталог 1985/86.
Высылаем бесплатно по первому требованию заказчика.**

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

Россия и действительность

Виктор Суворов

ЗАЧЕМ КОММУНИСТАМ ОРУЖИЕ?

Люди гибнут за металл...

1

В 1933 году германский генерал Гейнц Гудериан посетил советский паровозостроительный завод в Харькове. Гудериан свидетельствует, что, кроме паровозов, завод выпускал побочную продукцию – танки. Количество выпускаемых танков – 22 в день.

Для того чтобы оценить ПОБОЧНУЮ продукцию ОДНОГО советского завода В МИРНОЕ ВРЕМЯ, надо вспомнить, что в 1933 году Германия вообще танков не выпускала. В 1939 году Гитлер начал Вторую мировую войну, имея 3195 танков, т. е. меньше, чем Харьковский паровозный завод мог выпустить за полгода, работая в режиме мирного времени.

Для того чтобы оценить 22 танка в день, надо вспомнить, что Соединенные Штаты уже после начала Второй мировой войны в 1940 году имели ВСЕГО около 400 танков.

А теперь о качестве танков, которые Гудериан видел на Харьковском паровозном заводе. Это были танки, которые создал американский танковый гений Ж. В. Кристи. Достижений Кристи не оценил никто, кроме советских конструкторов. Американский танк был куплен и переправлен в Советский Союз по ложным документам, в которых он числился сельскохозяйственным трактором. В Советском Союзе «трактор» выпускался в огромных количествах под маркой БТ – Быстроходный танк. Первые БТ имели скорость 100 км в час. Через 60 лет каждый танкист позавидует такой скорости.

Форма корпусов танков БТ была проста и рациональна. Ни один танк мира того времени, включая и танки, производимые для армии США, не имели такой формы брони. Лучший

танк Второй мировой войны Т-34 – прямой потомок БТ. Форма его корпуса – это дальнейшее развитие идей великого американского танкового конструктора. После Т-34 принцип наклонного расположения лобовых броневых листов был использован на германской «Пантере», а потом и на всех остальных танках мира.

В 30-х годах практически все танки мира и выпускались по схеме: двигатель – на корме, трансмиссия – в носовой части. БТ в этом правиле был исключением: двигатель и трансмиссия – на корме. Через 25 лет весь мир поймет преимущество компоновки БТ.

Танки БТ постоянно совершенствовались. Их запас хода был доведен до 700 км. Через 50 лет – это все еще мечта для большинства танкистов. В 1936 году серийные танки БТ форсировали глубокие реки под водой по дну. В конце 80-х годов не все танки вероятных противников Советского Союза имеют такую способность. В 1938 году на танках БТ начали устанавливаться дизельные двигатели. Остальной мир начнет это делать через 10-20 лет. Наконец, танки БТ имели мощное по тем временам вооружение.

Сказав столько положительного о количестве и качестве советских танков, надо, справедливости ради, отметить совсем небольшой недостаток: эти танки было НЕВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА СОВЕТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ.

2

Основное качество танка БТ – скорость. Это качество было доминирующим над остальными качествами настолько, что даже вынесено в название танка – Быстроходный.

БТ – это танк-агрессор. По всем своим характеристикам БТ полностью похож на небольшого, но исключительно мобильного конного воина из несметных орд Чингиз-хана. Великий завоеватель мира побеждал всех своих врагов внезапным ударом колоссальных масс исключительно подвижных войск. Чингиз-хан уничтожал своих противников в основном не силой оружия, но глубоким стремительным маневром. Чингиз-хану нужны были не тяжелые неповоротливые рыцари, но орды легких, быстрых, подвижных войск, способных проходить огромные пространства, форсировать реки и выходить в глубокий тыл противника.

Вот именно такими и были танки БТ. Их было произведено больше, чем ВСЕХ типов во ВСЕХ странах мира на 1 сентября 1939 года. Подвижность, скорость и запас хода БТ были куплены за счет рациональной, но очень легкой и тонкой брони. БТ можно было использовать только в агрессивной войне, только в тылах противника, только в стремительной наступательной операции, когда орды танков внезапно ворвались на территорию противника и, обходя очаги сопротивления, устремились в глубину, где войск противника нет, но где находятся его города, мосты, заводы, аэродромы, порты, склады, командные пункты и узлы связи.

Потрясающие агрессивные характеристики танков БТ были достигнуты также за счет использования уникальной ходовой части. БТ на полевых дорогах действовал на гусеницах, но, попав на хорошие дороги, он сбрасывал тяжелые гусеницы и дальше несся вперед на колесах, как гоночный автомобиль. Но хорошо известно, что скорость противоречит проходимости: или – скоростной автомобиль, который ходит только по хорошим дорогам, или – тихоходный трактор, который ходит где угодно. Эту дилемму советские маршалы решили в пользу быстроходного автомобиля: танки БТ были совершенно беспомощны на советской территории. Когда Гитлер начал операцию «Барбаросса», практически все танки БТ были брошены. Даже на гусеницах их использовать вне дорог было почти невозможно. А на колесах они не использовались НИКОГДА. Потенциал великолепных танков БТ не был реализован, но его и НЕЛЬЗЯ БЫЛО РЕАЛИЗОВАТЬ НА СОВЕТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ. БТ создавался для действий только на иностранных территориях, причем только таких, где были хорошие дороги. Глянем на советских соседей. Тогда, как и сейчас, Турция, Иран, Афганистан, Китай, Монголия, Маньчжурия, Северная Корея хороших дорог не имели. Жуков использовал танки БТ в Монголии, где местность ровная как стол, но использовал их только на гусеницах и остался очень недоволен: гусеницы вне дорог часто слетали, а из-за относительно большого давления колеса вне дорог и даже на полевых дорогах проваливались в грунт, и танки буксовали.

На вопрос, где же можно было успешно реализовать потенциал танков БТ, есть только один ответ – в Центральной и Южной Европе. А после сброса гусениц танки БТ могли

успешно использовать только на территории Германии, Франции, Бельгии.

На вопрос, что является главным для танков БТ – колеса или гусеницы, советские учебники тех лет дают четкий ответ: колеса. Главное качество БТ – скорость, а она достигается на колесах. Гусеницы – это только средство попасть на чужую территорию, например, на гусеницах преодолеть Польшу, а попав на германские автострады, сбросить гусеницы и действовать на колесах. Гусеницы рассматривались как вспомогательное средство, которое в войне предполагалось использовать только однажды, а затем их сбросить и забыть о них. Точно так же парашютист использует парашют только для того, чтобы попасть на территорию противника. Там он парашют сбрасывает и действует в тылу, не обременяя себя тяжелым и больше не нужным грузом. Именно такое отношение было и к гусеницам танков. Советские дивизии и корпуса, вооруженные танками БТ, не имели в своем составе автомобилей, предназначенных для сбора и перевозки сброшенных гусеничных лент: танки БТ после сброса гусениц должны были завершить войну на колесах, уйдя по отличным дорогам в глубокий тыл противника.

3

Некоторые типы советских танков имели названия в честь коммунистических лидеров: КВ – Клим Ворошилов, ИС – Иосиф Сталин, но большинство типов советских танков получали названия, в которых содержался индекс «Т». Иногда этот индекс кроме «Т» содержал букву «О» (огнеметный), «Б» (быстроходный), «П» (плавающий). Кстати, Советский Союз был единственной страной мира, которая в массовых количествах производила плавающие танки. В оборонительной войне танку никуда плавать не надо, поэтому, когда Гитлер начал операцию «Барбаросса», советские плавающие танки пришлось бросить из-за непригодности в оборонительной войне, а их производство немедленно прекратить, как и производство БТ.

Но это отступление. Главное в другом. В 1938 году в Советском Союзе начаты интенсивные работы по созданию танка с совершенно необычным индексом А-20. Что есть «А»? Ни

один советский военный учебник на этот вопрос не отвечает. Возможно, после публикации моей книги коммунисты задним числом придумают некое толкование этого индекса, но пока для многих экспертов мира индекс остается нерасшифрованным. Я долго искал ответ на вопрос и нашел его на заводе № 183. Это все тот же локомотивный завод, который, как и раньше, кроме локомотивов, дает побочную продукцию. Не знаю, правильно ли объяснение, но ветераны говорят, что изначальный смысл индекса А – Автострадный. Объяснение лично мне кажется убедительным. Танк А-20 – это дальнейшее развитие семейства БТ. Если у БТ главная характеристика вынесена в название, почему у А-20 главная характеристика не может быть вынесена в название? Главное назначение А-20 – на гусеницах добраться до автострад, а там, сбросив гусеницы, превратиться в короля скорости.

А теперь вспомним, что в конце 80-х годов Советский Союз не имеет ни одного километра дороги, которую можно было бы определить термином – автострада. 50 лет назад автострад на советской территории и подавно не было. И ни одно сопредельное государство не имело в 1938 году автострад. А вот в следующем, 1939 году Сталин пактом Молотов – Риббентроп расколол Польшу и установил общие границы с государством, которое имело автострады. Это государство называлось Германия.

Говорят, что сталинские танки были не готовы к войне. Это не так. Они были не готовы к оборонительной войне на своей территории. Их просто готовили для войны на каких-то других территориях.

4

Количеству и качеству советских танков соответствовало количество и качество советских самолетов. Коммунистические фальсификаторы теперь говорят: да, было много самолетов, но это были плохие самолеты. Это были устаревшие самолеты, и их не надо принимать во внимание, давайте считать только новейшие советские самолеты: МИГ-3, ЯК-1, ПЕ-2, ИЛ-2 и другие, а те, что производились за несколько лет до войны, в расчет принимать не будем – старые.

А вот что думает по поводу «старья» британский летчик Альфред Прайс, который в своей жизни летал на сорока типах самолетов и провел в воздухе более 4000 часов. Его мнение об «устаревшем» советском истребителе: «Наиболее мощное вооружение среди серийных истребителей мира в сентябре 1939 года имел русский И-16 конструктора Поликарпова... По огневой мощи И-16 в два раза превосходил „Мессершмидт-109Е“ и почти в три раза „Спитфайр-1“. Среди всех предвоенных истребителей мира И-16 был уникален в том смысле, что только он один имел броневую защиту вокруг пилота. Те, кто думает, что русские были отсталыми крестьянами перед Второй мировой войной и двинулись потом вперед только под влиянием использования германского опыта, должны вспомнить о фактах»*.

К этому надо добавить, что в августе 1939 года советские истребители впервые в мире в качестве оружия использовали в боевой обстановке ракеты. Надо добавить, что советские конструкторы уже создавали единственный в мире самолет с бронированным корпусом – настоящий летающий танк ИЛ-2, который имел сверхмощное, по любым стандартам, вооружение, включая 8 реактивных снарядов.

Так в чем же дело? Отчего во время войны советская авиация с первого дня уступила господство в воздухе? Ответ простой: большую часть советских летчиков, включая летчиков-истребителей, НЕ УЧИЛИ ВЕДЕНИЮ ВОЗДУШНЫХ БОЕВ. Чему же их учили? Их учили наносить удары по наземным целям. Уставы советской истребительной и бомбардировочной авиации (БУИА-40 и БУБА-40) ориентировали советских летчиков на проведение одной грандиозной внезапной наступательной операции, в которой советская авиация одним ударом накроет всю авиацию противника на аэродромах и захватит господство в воздухе. Еще в 1929 году советский журнал «Война и революция» в фундаментальной статье «Начальный период войны» сделал вывод, который затем повторили советские авиационные уставы, включая уставы 1940 и 1941 годов: «Весьма выгодным представляется проявить инициативу и первыми напасть на врага. Проявивший инициативу нападением воздушного флота на аэродромы и ангары своего

* A. Price. World War II Fighter Conflict. London, Macdonald and Jane's, 1975, pp. 18-21.

врага может потом рассчитывать на господство в воздухе». Советские теоретики авиации имели в виду не какого-то вообще врага, а весьма определенного. Главный теоретик советской авиационной стратегии А. Н. Лапчинский свои книги иллюстрировал подробнейшими картами стандартных объектов бомбардировок, среди них Лейпцигский железнодорожный узел, Фридрихштрассе и Центральный вокзал Берлина и т. д. Лапчинский объяснял, как надо оборонять советскую территорию: «Решительное наступление на земле притягивает к себе, как магнит, неприятельские воздушные силы и служит лучшим средством обороны страны от воздушного противника... Воздушная оборона страны осуществляется не маневром из глубины, а маневром в глубину». Вот именно для этого вся советская авиация в 1941 году была сосредоточена у самых границ. Полевой аэродром 123-го истребительного авиационного полка, например, находился в двух километрах от германских границ. В боевой обстановке ради экономии топлива самолет взлетает в сторону противника. В 123-м авиационном полку, как и во многих других, набор высоты должен был осуществляться уже над германской территорией.

Советский Союз до войны и в ходе ее создал немало великолепных и в то же время удивительно простых самолетов. Но лучшие достижения советской авиации – не в области создания самолетов, которые уничтожают самолеты противника в воздухе, а в области создания самолетов, которые уничтожают самолеты и другие цели противника на земле. Высшее советское достижение в области авиационной техники того периода – это ИЛ-2, и он предназначался для поражения противника на земле. Аэродромы были его важнейшей целью. Создав этот самолет-агрессор, конструктор Ильюшин предусмотрел небольшую оборонительную деталь. В начальном варианте ИЛ-2 был двухместным: летчик ведет самолет и поражает цели, а за его спиной стрелок прикрывает заднюю полусферу от атак истребителей противника. Ильюшину позвонил лично Сталин и приказал стрелка с пулеметом убрать, ИЛ-2 выпускать одноместным. ИЛ-2 нужен был Сталину для ситуации, в которой ни один истребитель противника не успеет подняться в воздух...

После начала «Барбароссы» Сталин снова позвонил Ильюшину и приказал выпускать ИЛ-2 двухместным: в оборони-

тельной войне даже самолету-агрессору нужно иметь оборонительное вооружение.

5

1927 год – это год, когда Сталин окончательно и прочно занял место на самой вершине власти. С этого момента внимание Сталина сосредоточено не только на укреплении своей диктатуры, но и на проблемах всего коммунистического движения и мировой революции.

1927 год – это тот год, когда Сталин сделал окончательный вывод о неизбежности Второй мировой войны, о решительной борьбе с социал-демократическим пацифизмом, который тормозит начало войны, о поддержке рвущихся к власти фашистов, которых следует затем уничтожить.

1927 год – это начало индустриализации СССР. Сверхиндустриализации. Супериндустриализации. Индустриализация планировалась пятилетиями, и первая пятилетка началась именно в 1927 году. Зачем пятилетки были нужны, можно судить по такому факту. В начале первой пятилетки в Красной Армии было 92 танка, а в конце ее – более 4000. Но все же военный крен в первой пятилетке не так заметен. Главное внимание уделялось не производству вооружений, но созданию индустриальной базы, которая затем будет вооружения выпускать.

Вторая пятилетка – это продолжение развития индустриальной базы. Это создание коксовых батарей и мартеновских печей, гигантских электростанций и кислородных заводов, прокатных станов и блюмингов, шахт и рудников. Производство вооружений – пока не главное. Хотя и о нем не забывает товарищ Сталин: за первые две пятилетки было произведено 24.708 боевых самолетов.

А вот третья пятилетка, которая должна была завершиться в 1942 году, – это выпуск продукции. Военной продукции. В гигантских количествах при очень высоком качестве.

Индустриализация была куплена большой ценой. За индустриализацию Сталин платил жизненным уровнем населения, опустив его весьма низко. Сталин продал на внешнем рынке титанические запасы золота, платины, алмазов. Сталин за несколько лет продал то, что нация накопила за сотни лет.

Сталин ограбил церкви и монастыри, императорские хранилища и музеи. В ход пошли иконы и драгоценные книги. На экспорт были брошены картины великих мастеров Возрождения, коллекции бриллиантов, сокровища музеев и библиотек. Сталин гнал на экспорт лес и уголь, никель и марганец, нефть и хлопок, икру, пушнину, хлеб и многое-многое другое. Но этого было недостаточно. И тогда в 1930 году Сталин начал кровавую коллективизацию. Крестьян загоняли силой в колхозы, чтобы потом у них даром забирать хлеб. Весь хлеб. На коммунистическом жаргоне это называлось «перекачать средства из сельского хозяйства в тяжелую индустрию».

Результат коллективизации и последовавшего за ней голода – 10-16 миллионов убитых, растерзанных, погибших в лагерях.

Над страной во весь свой огромный рост поднялся призрак людоедства. А Сталин в эти страшные времена продавал за рубеж по 5 млн. тонн хлеба каждый год.

Для чего нужна коллективизация? Для индустриализации. А для чего нужна индустриализация? Поднимать жизненный уровень народа? Никак нет. До индустриализации и коллективизации жизнь во времена НЭПа была вполне сносной. Если жизненный уровень народа интересует товарища Сталина, то не надо ни индустриализации, ни коллективизации – надо сохранять НЭП.

Индустриализация и коллективизация никак не предназначались для поднятия жизненного уровня народа. Наоборот, этот уровень опустился на такую жуткую глубину, на которой он не был и во времена Чингиз-хана. Недавно Роберт Конквест выпустил страшную книгу о тех кровавых пятилетках с жуткими фотографиями детей-скелетов. Страшнее коммунистической Эфиопии и коммунистической Камбоджи времен Пол Пота.

Итак, индустриализация и коллективизация – это не для повышения жизненного уровня, а для того, чтобы производить оружие в титанических количествах. Зачем же коммунистам оружие? Защищать людей? Тоже нет. Если бы Сталин платил за автострадные танки, за парашютный шелк, за западную военную технологию не по пять миллионов тонн хлеба в год, а только по четыре, то миллионы детей остались бы живы. Во всех странах оружие служит для того, чтобы защитить население и прежде всего детей – будущее нации – от

страшных бедствий. В Советском Союзе дело обстояло наоборот: население, в том числе и детей, подвергли страшным бедствиям, чтобы получить оружие.

Вся Первая мировая война была веселым пикником в сравнении со сталинской индустриализацией. За четыре года войны погибло на первый взгляд много людей – 10 миллионов. Но если эти 10 миллионов разделить на все участвующие страны, то жертвы окажутся совсем небольшими. Россия, например, потеряла в Первой мировой войне всего только 2,3 млн. человек. А в МИРНОЕ время ради автострадных танков и самолетов-агрессоров Сталин истребил во много раз больше людей. **КОММУНИСТИЧЕСКИЙ МИР ОКАЗАЛСЯ ВО МНОГО РАЗ СТРАШНЕЕ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ.**

Наращивание советской военной мощи никак не диктовалось внешней угрозой, ибо началось ДО прихода Гитлера к власти. Уничтожение миллионов детей ради оружия проходило одновременно с гигантскими усилиями Сталина подавить западных пацифистов и возвысить фашистов.

Могут возразить, что Сталин пожертвовал миллионами людей, но создал оружие, чтобы защитить остальных людей. Нет, мы уже видели, и впереди еще не раз увидим, что создаваемое оружие для обороны своей территории и для защиты своих людей никак не подходило и его пришлось или применять не по назначению или вообще выбросить.

Если коммунисты создавали титанические арсеналы оружия не для защиты своей территории и своего населения, то тогда для чего? Товарищи коммунисты, вам слово.

ОТЧЕГО СТАЛИН НЕ ВЕРИЛ ЧЕРЧИЛЛЮ

1

А почему Сталин должен верить Черчиллю?

Кто такой – Черчилль? Коммунист? Большой друг Советского Союза? Ярый сторонник мировой коммунистической революции?

Получив письмо, содержащее не очень обычную информацию, мы с вами начинаем с вопроса о том, насколько серь-

езен источник информации. Думаю, Сталин тоже задал такой вопрос. Кто же такой Черчилль с точки зрения советских коммунистов? Черчилль – это самый первый политический лидер мира, который еще в 1918 году понял величайшую опасность коммунизма и сделал немало, чтобы помочь русскому народу избавиться от страшной заразы коммунизма. Этих усилий было недостаточно, но все же Черчилль сделал больше, чем все другие мировые лидеры вместе взятые. Черчилль – враг коммунистов и никогда этого не скрывал. Черчилль в 1918 году выступил с идеей сотрудничать с Германией в борьбе против советской коммунистической диктатуры. Черчилль активно и настойчиво боролся против советских коммунистов во времена, когда Гитлера вообще не было, а был только ефрейтор Адольф Шикльгрубер.

Ленин определил Черчилля – «величайший ненавистник Советской России» (ПСС, том 41, стр. 350).

Если ваш величайший враг и ненавистник присылает вам письмо с предупреждениями об опасностях, сильно ли вы ему верите?

2

Для того, чтобы понять отношение Сталина к письмам Черчилля, надо вспомнить политическую обстановку в Европе.

В дипломатической войне 30-х годов положение Германии было самым невыгодным. Находясь в центре Европы, она стояла и в центре всех конфликтов. Какая бы война ни началась в Европе, Германия почти неизбежно должна была стать ее участницей. Поэтому дипломатическая стратегия многих стран в 30-х годах сводилась к позиции: вы войдете с Германией, а я постараюсь остаться в стороне. Мюнхен-38 – это яркий образец такой философии.

Дипломатическую войну 30-х годов выиграли Сталин и Молотов. Пактом Молотова – Риббентропа Сталин дал зеленый свет Второй мировой войне, оставшись «нейтральным» наблюдателем и готовя один миллион парашютистов на случай «всяких неожиданностей».

Великобритания и Франция дипломатическую войну проиграли и теперь вынуждены вести настоящую войну.

Франция быстро выходит из войны. В чем же политический интерес Британии? Если смотреть на ситуацию из Кремля, то можно представить только одно политическое стремление Черчилля: найти громоотвод для германского блицкрига и отвести германский удар от Британии в любую другую сторону. Во второй половине 1940 года таким громоотводом мог быть только Советский Союз.

Проще выражаясь, Британии (по мнению Сталина, которое он открыто выразил 10 марта 1939 года) хочется столкнуть Советский Союз с Германией, а самой отойти в сторону от этой драки. Не знаю, в этом ли было намерение Черчилля, но именно в этом плане Сталин воспринимал любое действие британского правительства и дипломатии.

Адмирал флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов: «У Сталина, конечно, было вполне достаточно оснований считать, что Англия и Америка стремятся столкнуть нас с Германией лбами» (Накануне. М., Воениздат, 1966, стр. 321).

Получив любое письмо Черчилля, Сталин, не читая его, мог догадаться о содержании. Что нужно Черчиллю? Что его беспокоит? Безопасность коммунистического режима в Советском Союзе, или у Черчилля есть более важные проблемы? О чем может мечтать Черчилль в плане политическом? Только о том, как бы поменяться со Сталиным ролями: чтобы Сталин воевал с Гитлером, а Черчилль наблюдал драку со стороны.

В данной ситуации Черчилль – слишком заинтересованное лицо, чтобы Сталин мог верить его словам.

3

Чтобы понять отношение Сталина к письмам Черчилля, нужно вспомнить и стратегическую ситуацию в Европе. Главный принцип стратегии – концентрация. Концентрация мощи против слабости. В Первой мировой войне Германия не могла применить главный принцип стратегии, оттого что воевала на два фронта. Стремление быть сильным одновременно на двух фронтах вело к общей слабости, но попытки сконцентрировать усилия на одном фронте означали автоматически ослабление другого фронта, что противник немедленно использовал. Из-за наличия двух фронтов Германия была вынуждена

отказаться от использования принципа концентрации усилий и, следовательно, от стратегии сокрушения, заменив ее единственной альтернативой – стратегией истощения. Но ресурсы Германии ограничены, а ресурсы ее противников – неограничены. Поэтому война на истощение для Германии могла иметь только катастрофический конец.

Германский Генеральный штаб и сам Гитлер во Второй мировой войне отлично понимали, что война на два фронта – катастрофа. В 1939-40 годах Германия фактически имела постоянно не более одного фронта. Поэтому германский Генеральный штаб имел возможность применить принцип концентрации и блистательно его применял, концентрируя германскую военную мощь последовательно против одного, затем другого противника.

В чем главная задача германской стратегии? Не допустить войны на два фронта. Иметь только один фронт означает блистательные победы. Два фронта – это отказ от главного принципа стратегии, это переход от стратегии сокрушения к стратегии истощения, это провал блицкрига, это конец и катастрофа.

О чем может мечтать Черчилль в 1940 году в плане стратегическом? Только о том, чтобы война для Германии превратилась из войны на один фронт в войну на два фронта.

Сам Гитлер считал, что воевать на два фронта невозможно. На совещании высшего командного состава Германских вооруженных сил 23 ноября 1939 года Гитлер говорил о том, что против Советского Союза можно начать войну только после того, как будет завершена война на Западе.

А теперь представьте, что это вам в 1940 году кто-то сообщает, что Гитлер намерен отказаться от использования великого принципа стратегии и вместо концентрации готовит распыление сил. Кто-то вам настойчиво в ухо шепчет, что Гитлер преднамеренно хочет повторить ошибку Германии в Первой мировой войне. Каждый школьник знает, что два фронта для Германии – самоубийство. Вторая мировая война потом подтвердит это правило еще раз, причем для Гитлера лично война на два фронта будет означать самоубийство в самом прямом смысле.

Если бы вам в 1940 году, после падения Франции, кто-то сказал, что Гитлер готовится к самоубийственной войне на два фронта, вы бы поверили? Я бы – нет.

Если бы такое сообщила советская военная разведка, то я бы посоветовал Начальнику ГРУ генералу Голикову оставить свой пост, вернуться в академию и изучить еще раз причины поражения Германии в Первой мировой войне. Если бы новость о самоубийственной войне мне сообщил некий нейтральный человек со стороны, я бы ему ответил, что Гитлер — не идиот, это ты, дорогой друг, наверное идиот, если считаешь, что Гитлер добровольно начнет войну на два фронта.

Черчилль — самый заинтересованный в мире человек в том, чтобы Гитлер имел не один, а два фронта. Если Черчилль вам скажет секретно, что Гитлер готовится к войне на два фронта, как вы отнесетесь к его сообщению?

4

Кроме чисто стратегической и политической обстановки, надо принимать во внимание и атмосферу, в которой Черчилль писал свои послания, а Сталин их читал.

21 июня 1940 года пала Франция. Разбой германских подводных лодок на морских коммуникациях резко усиливается. Над островным государством Великобритании, связанным со всем миром теснейшими торговыми связями, нависла угроза морской блокады, острейшего торгового, индустриального, финансового кризисов. Хуже того, германская военная машина, которая в тот момент многим кажется непобедимой, уже интенсивно готовится к высадке на Британских островах.

В этой обстановке 25 июня Черчилль пишет письмо Сталину. 30 июня германскими вооруженными силами захвачен британский остров Гернси. В тысячелетней истории Британии совсем не много случаев, когда противник высаживается на Британских островах. Что последует за этим? Высадка в самой Англии? Гернси захвачен без сопротивления. Как долго будет сопротивляться Британия?

Именно на следующий день после захвата Германией Гернси Сталин получает послание Черчилля.

Давайте спросим себя: в чем интерес Черчилля? Ему хочется спасти коммунистическую диктатуру в Советском Союзе или Британскую империю? Я думаю, что именно британские интересы заставляют Черчилля писать письмо. Если мы с вами это понимаем, неужели Сталин этого не понимал?

Черчилль для Сталина – это не нейтральный наблюдатель, который из дружественных чувств указывает на опасность, а попавший в тяжелое положение человек, которому нужна помощь, нужны союзники в борьбе против страшного врага. Поэтому Сталин очень осторожно относится к письмам Черчилля.

Черчилль писал несколько писем Сталину. Но, по несчастью, все они приходили к Сталину именно в моменты, когда Черчилль сам находился в очень тяжелом положении. Вот самое известное письмо Черчилля из этой серии, полученное Сталиным 19 апреля 1941 года. Все советские и другие историки сходятся на мысли, что именно это письмо является главным предупреждением Сталину. Письмо обильно цитируется многими историками. Но давайте вначале обратим внимание не на текст письма, а на положение Черчилля. 12 апреля германская армия захватила Белград. 13 апреля Роммель подошел к границам Египта. 14 апреля Югославия сдается Германии. 16 апреля во время бомбардировки Лондона поврежден храм святого Павла. В апреле Греция – накануне сдачи и британские войска в Греции находятся в катастрофическом положении. Вопрос в том, удастся их эвакуировать или нет. В этой обстановке Сталин получает самое важное письмо Черчилля.

У Сталина могли существовать подозрения не только относительно мотивов Черчилля, но и относительно источников информации. Черчилль написал Сталину письмо в июне 1940 года. Но почему же тот же Черчилль не написал подобных писем правительству Франции и своим собственным войскам на континенте в мае того же года?

Черчилль пишет письмо Сталину в апреле 1941 года, а через месяц германские вооруженные силы проводят блистательную операцию по захвату Крита. Отчего британская разведка, – мог подумать Сталин, – так хорошо работает в интересах Советского Союза, но ничего не делает в интересах Великобритании?

5

Наконец, существует более серьезная причина почему Сталин не верил «предупреждениям» Черчилля: Черчилль Сталина о германском вторжении не предупреждал.

Коммунистическая пропаганда сделала очень много для того, чтобы укрепить миф о «предупреждениях» Черчилля. С этой целью Хрущев цитировал послание Черчилля Сталину от 18 апреля 1941 года. Выдающийся советский военный историк (и тончайший фальсификатор) В. Анфилов цитирует это послание Черчилля во всех своих книгах. Маршал Советского Союза Г. К. Жуков это послание приводит полностью. Генерал армии С. П. Иванов делает то же самое. Официальная «История Великой Отечественной войны» настойчиво вбивает нам в голову мысль о предупреждениях Черчилля и полностью цитирует его послание от 18 апреля. А кроме этого, послание Черчилля мы найдем в десятках и сотнях советских книг и статей.

Вот сообщение Черчилля:

«Я получил от заслуживающего доверия агента достоверную информацию о том, что немцы, после того как они решили, что Югославия находится в их сетях, то есть 20 марта, начали переброску в южную часть Польши трех бронетанковых дивизий из пяти находившихся в Румынии. В тот момент, когда они узнали о сербской революции, это передвижение было отменено. Ваше превосходительство легко оценит значение этих фактов».

В таком виде послание Черчилля публикуют все советские источники, настаивая и уверяя, что это и есть «предупреждение». Лично я никакого предупреждения не вижу.

Черчилль говорят про три танковых дивизии. По стандартам Черчилля – это очень много. По стандартам Сталина – не очень. Сам Сталин в это время тайно создает 63 танковых дивизии, каждая из которых по количеству и качеству танков сильнее германской дивизии. Получив сообщение про три германских дивизии, Сталин должен был догадаться про вторжение?

Если сообщение о трех танковых дивизиях мы считаем достаточным «предупреждением» о подготовке агрессии, в этом случае не надо обвинять Гитлера в агрессивности: германская разведка передала Гитлеру сведения о десятках советских танковых дивизиях, которые группировались у границ Германии и Румынии.

Черчилль предлагает Сталину самому «оценить значение этих фактов». Как же их можно оценить? Польша – это исторические ворота для всех агрессоров, идущих из Европы

на Россию. Германские танковые дивизии Гитлер хотел перебросить в Польшу, но передумал.

Румыния в сравнении с Польшей – очень плохой плацдарм для агрессии: германские войска в Румынии тяжелее снабжать, чем в Польше; при агрессии из Румынии путь к жизненным центрам России для агрессора гораздо длиннее и тяжелее, агрессору придется преодолеть множество преград, включая Днепр в его нижнем течении.

Если бы Сталин готовился к обороне и если бы он поверил «предупреждению» Черчилля, то он должен был вздохнуть с облегчением и ослабить свои военные приготовления. Вдобавок Черчилль сообщает причину, почему германские войска не перебрасываются в Польшу, а остаются в Румынии: у немцев проблемы в Югославии вообще и в Сербии в частности. Другими словами, Черчилль говорит, что германские танковые дивизии оставлены в Румынии совсем не для агрессии на восток против Советского Союза, а наоборот, из Румынии они направлены на юго-запад, т. е. повернуты к Сталину спиной.

В это время Британия вела исключительно интенсивную дипломатическую и военную борьбу во всем бассейне Средиземного моря, особенно в Греции и Югославии. Телеграмма Черчилля имеет исключительную важность, но ее никак нельзя рассматривать как предупреждение. В гораздо большей степени это приглашение Сталину: немцы хотели перебрасывать дивизии в Польшу, но передумали – тебе нечего бояться, тем более, что их дивизии в Румынии повернуты к тебе задом! Оцени эти факты и действуй!

В ходе войны Сталин, попав в критическую обстановку, сам посылал подобные послания Черчиллю и Рузвельту: Германия сосредоточила основные усилия против меня, повернувшись к вам спиной, самый для вас удобный момент! Ну, скорее же открывайте второй фронт! А потом настала вновь очередь западных союзников: открыв второй фронт и попав в тяжелое положение, западные лидеры в январе 1945 года обращались к Сталину с тем же посланием: не мог бы ты, Сталин, стукнуть посильнее!

Письма Черчилля мы не имеем права рассматривать как предупреждения: Черчилль написал свое первое большое письмо Сталину 25 июня 1940 года, когда плана «Барбаросса» еще не было! Письма Черчилля основаны не на знании германских планов, а на трезвом расчете. Черчилль просто об-

ращает внимание Сталина на европейскую ситуацию: сегодня у Британии проблемы с Гитлером, а завтра они неизбежно будут и у Советского Союза. Черчилль призывает Сталина к объединению против Гитлера, т. е. к вступлению Советского Союза в войну на стороне Великобритании и всей покоренной Европы.

Выдающийся британский военный историк Б. Х. Лидл-Харт провел блистательный анализ стратегической обстановки того момента с точки зрения Гитлера. По свидетельству генерала Йодля, на которое ссылается Лидл-Харт, Гитлер неоднократно говорил своим генералам, что у Британии есть единственная надежда: советское вторжение в Европу (В. Н. Liddell Hart. *History of the Second World War*. London, PAN, 1978, p. 151). Сам Черчилль 22 апреля 1941 года записал: «Советское правительство прекрасно знает... о том, что мы нуждаемся в его помощи» (L. Woodward. *British Foreign Policy in the Second World War*, p. 611). Какую же помощь ожидает Черчилль от Сталина? И как Сталин может ее оказать, кроме удара по Германии?

6

У Сталина достаточно оснований не верить Черчиллю. Но сам-то Сталин должен понимать, что после падения Великобритании он останется один на один с Германией. Понимает ли Сталин это? Конечно. И говорит об этом Черчиллю в ответе на послание от 25 июня 1940 года: «...политика Советского Союза – избежать войны с Германией, но Германия может напасть на Советский Союз весной 1941 года, в случае, если к этому времени Британия проиграет войну». (Цитирую по книге R. Goralski. *World War II Almanac: 1931-1945*. London, Hamish Hamilton, p. 124).

По сталинскому ответу выходит, что Сталин намерен жить в мире, терпеливо дожидаться падения Великобритании и, оставшись один на один с Гитлером, дожидаться германского вторжения.

Ах, какой глупый Сталин, возмущаются некоторые историки. А мы не будем возмущаться: это послание адресовано не Черчиллю, а Гитлеру! 13 июля 1940 года Молотов по приказу Сталина передает запись беседы Сталина с британским

послом Криппсом в руки германского посла графа фон Шуленбурга. Не правда ли, странный шаг: вести переговоры с Черчиллем (через посла Криппса) и тайно передавать секретные протоколы переговоров в руки Гитлера (через посла фон Шуленбурга)?

Кстати сказать, и тут Сталин лукавит. Гитлеру Сталин передает не оригинал меморандума, а тщательно отредактированную копию, которая сохраняет множество ненужных деталей в точности, но ключевые фразы полностью изменены. Я думаю, что в данном случае нужно говорить не о двух копиях одного меморандума, а о двух разных документах, в которых различия больше, чем сходства.

Если очистить сталинскую «копию» от дипломатической шелухи и посмотреть на меморандум в чистом виде, то этот документ говорит Гитлеру:

1. Адольф, воюй и не бойся за свой тыл, иди вперед и не оглядывайся назад, позади у тебя хороший друг Иосиф Сталин, который хочет только мира и ни при каких условиях на тебя не нападет.

2. Тут в Москве были переговоры с британским послом, не бойся, это переговоры не против тебя. Видишь, я тебе даже секретные протоколы беседы с Криппсом отправляю. А Черчилля я к чёртовой матери отослал! (На самом деле, не отослал.)

Можно ли верить сладким песням кремлевской сирены? Многие историки верят. А вот Гитлер не поверил и, подумав крепко над «копией» записи беседы Сталина и Криппса, 21 июля 1940 года отдает приказ начать разработку плана «Барбаросса». Другими словами, Гитлер решает воевать на два фронта. Это решение очень многим кажется непонятным и необъяснимым. Многие германские генералы и фельдмаршалы не поняли и не одобрили этого поистине самоубийственного решения. Но у Гитлера выбора уже не было. Он шел все дальше и дальше на запад, на север, на юг, а Сталин с топором стоял позади и пел сладкие песни о мире.

У Гитлера была непоправимая ошибка, но допустил он ее не 21 июля 1940 года, а 19 августа 1939 года. Дав согласие на подписание пакта Молотов – Риббентроп, Гитлер встал перед неизбежной войной против Запада, имея позади себя «нейтрального» Сталина. Именно с этого момента Гитлер имел два фронта. Решение начать «Барбароссу» на востоке, не дожи-

даясь победы на западе, – это не роковая ошибка, а только попытка Гитлера исправить ранее допущенную роковую ошибку. Но было уже слишком поздно. Война уже имела два фронта, и выиграть ее уже было невозможно. Даже захват Москвы не решал проблемы: позади Москвы лежало еще 10.000 километров бескрайней территории, гигантские индустриальные мощности, неисчерпаемые природные и огромные людские ресурсы. Начинать войну с Россией всегда легко, заканчивать – не очень. Воевать в Европейской части СССР Гитлеру, конечно, было легко: ограниченная территория, множество дорог высокого качества, а зима мягкая. Был ли готов Гитлер воевать в Сибири, на неограниченных бескрайних просторах, где действительно нет дорог, где действительно бывает грязь, где жестокость мороза близка к жестокости сталинского режима?

Сталин знал, что для Гитлера война на два фронта – самоубийство. Сталин считал, что Гитлер на самоубийство не пойдет и не начнет войну на востоке, не завершив ее на западе. Сталин терпеливо ждал последнего аккорда германо-британской войны: высадки германских танковых корпусов на Британских островах. Блестящую десантную операцию на Крите Сталин, да и не только он, расценивал как генеральную репетицию для высадки в Англии. Одновременно Сталин предпринимал все меры к тому, чтобы убедить Гитлера в своем миролюбии. Оттого советские зенитки не стреляли по германским самолетам, а советские газеты и ТАСС трубили о том, что войны между СССР и Германией не будет.

Если бы Сталину удалось убедить Гитлера в том, что СССР – нейтральная страна, то германские танковые корпуса были бы, несомненно, высажены на Британские острова. И тогда...

И тогда сложилась бы поистине небывалая ситуация. Польша, Чехословакия, Дания, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Югославия, Франция, Греция, Албания больше не имеют ни армий, ни правительств, ни парламентов, ни политических партий. Миллионы людей загнаны в нацистские концлагеря, и вся Европа ждет освобождения. А на европейском континенте только всего и осталось, что полк личной охраны Гитлера, охрана нацистских концлагерей, германские тыловые части, военные училища и ... пять советских воздушно-десантных корпусов, десятки тысяч быстроходных тан-

ков, созданных специально для действий на автострадах (кстати, автострад на советской территории нет), десятки тысяч самолетов, пилоты которых не обучены ведению воздушных боев, но обучены нанесению ударов по наземным целям; дивизии и целые армии НКВД; армии, укомплектованные советскими эками; сверхмощные формирования планерной авиации для быстрой высадки на территории противника; горные дивизии, обученные стремительным броскам к перевалам, через которые идет нефть – кровь войны.

Имел ли кто-нибудь в истории столь благоприятную ситуацию для «освобождения» Европы? А ведь эта ситуация не сложилась сама. Ее долго, упорно и настойчиво из маленьких кусочков, как тончайшую мозаику, складывал Сталин. Это Сталин помогал привести Гитлера к власти и сделать из Гитлера настоящий Ледокол Революции. Это Сталин толкал Ледокол Революции на Европу. Это Сталин требовал от французских и других коммунистов не мешать Ледоколу ломать Европу. Это Сталин снабжал Ледокол всем необходимым для победоносного движения вперед. Это Сталин закрывал глаза на все преступления нацистов и радовался (см. газету «Правда»), «когда мир сотрясается в своих основах, когда гибнут могущества и падали величия».

Но Гитлер разгадал замысел Сталина, вот почему Вторая мировая война закончилась катастрофически для Сталина: ему досталось только пол-Европы и кое-что в Азии.

7

И последний вопрос. Если Черчилль не предупреждал Сталина о подготовке к вторжению, зачем же коммунисты так цепко держатся за эту легенду? Чтобы показать советскому народу, что Черчилль был хорошим человеком? Или чтобы доказать, что лидерам Запада надо верить? Конечно, не для этого.

Легенда о «предупреждениях» Черчилля нужна коммунистам для того, чтобы оправдать свои агрессивные приготовления: да, говорят они, мы резали колючую проволоку на своих границах, но не от своей агрессивности... Это Черчилль нас предупредил...

ПОЧЕМУ СТАЛИН НЕ ВЕРИЛ РИХАРДУ ЗОРГЕ

1

Сталин очень серьезно готовился к войне. Особую заботу Сталин проявлял о советской военной разведке, которая в настоящее время известна под именем ГРУ. Достаточно прочитать список всех начальников ГРУ с момента создания этой организации до 1940 года, чтобы оценить всю глубину трогательной заботы Сталина о своих доблестных разведчиках. Вот этот список:

Аралов	–	арестован, провел несколько лет под следствием с применением «мер физического воздействия»
Стигга	–	ликвидирован
Никонов	–	ликвидирован
Берзин	–	ликвидирован
Уншлихт	–	ликвидирован
Урицкий	–	ликвидирован
Ежов	–	ликвидирован
Проскуров	–	ликвидирован

Разумеется, что при ликвидации лидера военной разведки ликвидации подлежали и его первые заместители, заместители, советники, начальники управлений и отделов. А при ликвидации начальников отделов тень неизменно ложилась на оперативных офицеров и на агентуру, которой они руководили. Поэтому уничтожение главы военной разведки минимум дважды означала и уничтожение всей военной разведки.

Говорят, что такая забота Сталина о своих военных разведчиках имела катастрофические последствия. Не верьте слухам. ГРУ перед Второй мировой войной, в ходе нее и после было и остается самой мощной, самой эффективной разведывательной организацией мира. ГРУ уступает по количеству, но резко превосходит по качеству добываемой секретной информации своего главного противника и соперника – советскую тайную полицию ЧК – КГБ. Постоянная, волна за волной, кровавая чистка советской военной разведки ни в коей мере не ослабляла ее мощи. Наоборот, на смену одному поколению приходило новое, более агрессивное. Смена поколений – вроде как смена зубов у акулы. Новые зубы появляются

целыми рядами, вытесняя предшествующий ряд, а за ним виднеются уже новые и новые ряды. Чем больше становится мерзкая тварь, тем больше зубов в ее отвратительной пасти, тем чаще они меняются, тем длиннее и острее они становятся.

В быстрой смене поколений разведчиков часто (очень часто) погибали и невинные (по коммунистическим стандартам) разведчики, но, как ни странно, советская акула от этого не становилась беззубой. Помните, как Гитлер истребил немало ярых фашистов в одной из самых массовых фашистских организаций – СА? Разве от этого режим Гитлера стал слабее?

Разница между Гитлером и Сталиным заключалась в том, что Сталин к войне готовился очень серьезно. Сталин устраивал ночи длинных ножей не только против своих коммунистических штурмовиков, но и против генералов, маршалов, конструкторов, разведчиков. Сталин считал, что получать от своей разведки портфели, набитые секретами, – очень важно, но еще важнее – не получить от своей разведки портфеля с бомбой. Он исходил не только из своего личного интереса, но и из государственного тоже. Устойчивость высшего государственного, политического и военного руководства в критических и сверхкритических ситуациях – это один из важнейших элементов готовности государства к войне.

Сталину никто в критической ситуации под стол не сунул бомбу, и это не случайность. Постоянным, целенаправленным террором против ГРУ Сталин не только добился очень высокого качества добываемой секретной информации, но и гарантировал высшее руководство страны от «всяких неожиданностей» в моменты кризисов.

Рихард Зорге – это шпион из того ряда зубов, которые Сталин профилактики ради повелел вырвать 29 июля 1938 г.

2

Советская военная разведка не столь глупа, чтобы публиковать самые интересные сообщения Зорге. Но даже анализ относительно небольшого количества опубликованных сообщений Зорге ставит нас в тупик. Не перечисляя много посланий (они очень похожи друг на друга) – вот только три весьма характерных.

Январь 1940: «С благодарностью принимаю ваши приветы и пожелания в отношении отдыха. Однако если я поеду в отпуск, это сразу сократит информацию».

Май 1940: «Само собой разумеется, что в связи с современным военным положением мы отодвигаем свои сроки возвращения домой. Еще раз заверяем вас, что сейчас не время ставить вопрос об этом».

Октябрь 1940: «Могу ли я рассчитывать вернуться домой после окончания войны?»

Не правда ли, странно: разведчик спрашивает в начале войны, позволят ли ему вернуться домой после нее! Кстати, после этого вопроса Зорге перечисляет свои многочисленные заслуги перед советской властью. Что за странная телеграмма? Каждый разведчик знает, что после войны ему разрешат вернуться домой. Зачем же лишний раз с таким вопросом выходить в эфир? Каждый выход совершенно секретной радиостанции с непонятным кодом в открытый эфир – это огромный риск для всей шпионской организации Зорге. Неужели агентурная радиостанция и высшей степени секретности коды созданы для того, чтобы Зорге задавал такие вопросы?

Еще более странной третья телеграмма звучит в сравнении с двумя первыми (повторяю, что таких телеграмм не две, а больше). ГРУ говорит Рихарду Зорге: приезжай в отпуск в любое время, забудь ты эту войну и кати сюда, отдохнешь! Зачем же спрашивать разрешения вернуться после войны, если ему настоятельно предлагают вернуться прямо сейчас, прямо во время войны?!

О Зорге в Советском Союзе написано множество книг и статей. И вот в некоторых звучит странная ему похвала: он был таким великим разведчиком, таким верным коммунистом, что даже свои личные деньги, добываемые нелегким трудом журналиста, тратил на свою нелегальную работу. Что за чепуха! Да неужели на Колыме эки больше золото не роют? Да неужели ГРУ настолько обеднело, чтобы так унижить своего нелегального резидента!

И уж совсем интересное сообщение сделал «Огонек» № 17, 1965 о том, что у Зорге были очень важные документы в руках, но передать их в Центр он не мог: Центр не присылал курьера. «Огонек» не говорит, почему же Центр не присылал курьера. И нас этот вопрос тоже озадачил.

А ларчик просто открывался.

В момент этих событий человек, завербовавший Рихарда Зорге, Ян Берзин, блистательный шеф советской военной разведки, после жесточайших пыток ликвидирован. Соломон Урицкий, другой шеф ГРУ, дававший лично указания Зорге, – ликвидирован. Советский нелегальный резидент Я. Горев, обеспечивший транзит Зорге из Германии, – сидит («Комсомольская правда», 8 окт. 1964). Тайная сотрудница Рихарда Зорге Айна Куусинен, жена заместителя начальника ГРУ, «Президента» «Финляндской Демократической республики», будущего члена Политбюро ЦК КПСС, – сидит. Жена Рихарда Зорге Екатерина Максимова – арестована, призналась в связях с врагами, ликвидирована. Нелегальный резидент ГРУ в Шанхае, бывший заместитель Зорге Карл Рамм – вызван в «отпуск» в Москву, ликвидирован. Теперь Зорге получил приказ – прибыть в отпуск. Знает ли он настоящую причину вызова? Знает. И советские коммунистические источники не скрывают: «Зорге отказался ехать в СССР», «Несомненно, Зорге догадывался, что его ждет в Москве». Публикаций на эту тему во времена «оттепели» было немало.

Итак, в Москве считают Рамзая врагом и вызывают на расстрел. Зорге на упорные вызовы отвечает: на расстрел не приеду, не хочу прерывать интересную работу.

А теперь задумаемся в слова советского историка-коммуниста: «отказался вернуться в СССР». Как называется на коммунистическом жаргоне этакий фрукт? Правильно: невозвращенец. В те времена был придуман даже более точный термин – злостный невозвращенец. Вот поэтому он и платит агентам из своего кармана: Центр прекратил его финансировать. Вот потому и курьеры к нему не спешат. Не посылать же нелегального курьера к злостному невозвращенцу!

Не желая возвращаться на скорый суд и лихую расправу, Зорге продолжает работать на коммунистов, но теперь уже не в роли секретного сотрудника (сокращенно – сексот), а скорее в роли энтузиаста-доносчика, который скрипит пером не денег ради, а удовольствия для. Расчет Рамзая точен: сейчас не поеду, а после войны разберутся, что я говорил только правду, простят и оценят. Центр тоже с ним до конца связи не теряет: принимает его телеграммы, но только, видимо, для того, чтобы в ответ сказать: вернись домой, вернись домой, вернись домой. На что Рамзай отвечает: очень занят, очень занят, очень занят...

Первый ответ на поставленный вопрос: Сталин не верил Рихарду Зорге потому, что Зорге – невозвращенец, минимум с парой высших приговоров. Один ему явно врубили в 38-м, по общему списку, со товарищи. А уж потом еще и за злостное невозвращенчество добавили. Сам товарищ Зорге не очень верит товарищу Сталину, оттого не возвращается. Как же товарищ Сталин может верить тому, кто Сталину не верит?

3

Кто-то сочинил легенду о том, что Рихард Зорге якобы сообщал в ГРУ какие-то важные сведения о германском вторжении, а ему не поверили.

Зорге – великий разведчик, но по поводу германского вторжения он ничего важного не сообщал в Москву. Более того, Зорге стал жертвой дезинформации и питал ГРУ ложными сведениями.

Вот его телеграмма от 11 апреля 1941 года: «Представитель (германского. – В. С.) Генерального штаба в Токио заявил, что сразу после окончания войны в Европе начнется война против Советского Союза».

Гитлер – тоже коварный мужик. Он готовит вторжение, распространяя ложь, очень похожую на правду. Гитлер знает, что подготовки к вторжению в Советский Союз уже скрыть невозможно. Поэтому Гитлер говорит секретно (так, чтобы все слышали): да, я хочу напасть на Сталина... после того как завершу войну на западе.

Если верить телеграмме Зорге от 11 апреля (и другим подобным телеграммам), то волноваться не надо. Война на западе продолжается, то затухая, то разгораясь с новой силой, а конец той войне не просматривается. Вот когда война на западе завершится, то тогда возможен перенос усилий германской военной машины на восток. Другими словами, Зорге говорит, что Гитлер намерен воевать только на одном фронте.

В ГРУ это понимают без Зорге. На основе глубокого изучения всех экономических, политических и военных аспектов сложившейся ситуации ГРУ сделало два вывода:

1. Германия не может выиграть войну на два фронта.
2. Поэтому Гитлер не начнет войну на востоке, не завершив ее на западе.

Первый вывод правильный. Второй – нет: иногда начинают войну без перспективы ее выиграть.

Еще до «предупреждений» Зорге новый начальник ГРУ генерал-лейтенант Ф. И. Голиков представил 20 марта 1941 года Сталину подробный доклад, который завершался выводом: «наиболее возможным сроком начала действий против СССР является момент после победы над Англией или после заключения с ней почетного для Германии мира».

А Сталин простую истину о том, что Гитлер не начнет войну на два фронта, знает без Голикова и без его доклада. Вот почему Сталин в ответ на письмо Черчилля от 25 июня 1940 года говорит, что Гитлер может начать войну против СССР в 1941 году, *при условии*, что к этому моменту Британия прекратит сопротивление.

Но Гитлер, которого Сталин пактом Молотов – Риббентроп загнал в стратегический тупик, вдруг понял, что терять ему нечего, все равно у Германии не один фронт, а два, и начал воевать на двух фронтах. Этого не ожидал ни Голиков, ни Сталин. Это самоубийственное решение, но другого у Гитлера уже не было. Сталин просто не мог себе представить, что, попав в стратегический тупик, Гитлер пойдет на самоубийственный шаг. Начальник ГРУ генерал Голиков этого тоже не предполагал. А Зорге (и некоторые другие) своими ложными телеграммами их только утверждали в этом мнении.

Мне возразят, что потом 15 июня Зорге правильно назовет дату германского вторжения – 22 июня. Очень хорошо. Но позвольте, какому же Рихарду Зорге верить – тому, который говорит, что Гитлер на два фронта воевать не будет, или тому, который говорит про 22 июня, т. е. что Гитлер на два фронта воевать будет. Сообщения Зорге взаимно исключают друг друга. Кроме того, сообщения Зорге так и остаются сообщениями. ГРУ не верит НИКАКИМ сообщениям и правильно делает. Нужны *сообщения с доказательствами*.

4

Зорге – великий разведчик XX века. И высшую степень отличия – звание Героя Советского Союза – ему посмертно присвоили не зря. Но величие Зорге лежит совсем в другой плоскости.

Главным объектом работы Зорге в Японии была не Германия, а Япония. Начальник ГРУ С. Урицкий лично ставит Р. Зорге задачу: «Смысл вашей работы в Токио – отвести возможность войны между Японией и СССР. Главный объект – германское посольство» («Огонёк», 1965, № 14, с. 23). Германское посольство – это только прикрытия, используя которое Зорге выполняет свою главную задачу. Обратим внимание на деталь: не предупредить о подготовке к вторжению, а отвести это вторжение, т. е. направить японскую агрессию в другое русло.

Хорошо известно, что осенью 1941 года Зорге сообщил Сталину о том, что Япония не вступит в войну против Советского Союза. Используя эту чрезвычайно важную информацию, Сталин снял с дальневосточных границ десятки советских дивизий, бросил их под Москву и тем изменил стратегическую ситуацию в свою пользу.

Менее известна причина, почему на этот раз Сталин поверил. А поверил он только потому, что Зорге представил не только сообщение, но и доказательства. Про доказательства советские историки предпочитают молчать, и это понятно: если Зорге говорит, что Япония не пойдет против Советского Союза, то доказать это можно, только указав на другого противника, против которого Япония готовит внезапный удар. Зорге указал точно, на кого Япония собирается нападать, и представил неопровержимые факты.

Коммунистическая пропаганда совершенно преднамеренно раздувает миф о «предупреждениях» Зорге перед германской агрессией. Делается это для того, чтобы отвлечь внимание от поистине потрясающих успехов Зорге в проникновении в высшие военно-политические сферы Японии. Деятельность Зорге никак не ограничивается тем, что он предупредил Сталина о том, что Япония не нападет на Советский Союз, и даже тем, что Зорге указал с доказательствами направление устремлений японского милитаризма. Его достижения в этой области гораздо выше. В соответствии с заданием ГРУ, Зорге не только предсказывал события, но в ряде случаев их направлял. В августе 1951 года делом Зорге занимался Конгресс США. В ходе слушания было неопровержимо доказано, что советская военная разведка в лице нелегальной резидентуры «Рамзай» сделала очень много для того, чтобы Япония начала агрессивную войну в Тихом океане, и для того, чтобы эту

агрессию направить против Соединенных Штатов Америки. (См. *Hearings on American Aspects of the Richard Sorge Spy Case. House of Representatives Eighty Second Congress. First Session. August 9, 22 and 23. Washington, 1951*).

Не Зорге создал «японский ледокол», но Зорге сделал многое для того, чтобы повернуть его в нужное Сталину направление. Когда у Зорге появились доказательства его сообщений, Сталин им вполне верил.

5

Разведка – самая неблагодарная в мире работа. Тот, кто ошибался, кто провалился, кого повесили, – тот знаменит. Как Зорге, например.

Но у Сталина, кроме неудачников, были военные разведчики поистине выдающиеся, которым светила удача, которые добились потрясающих результатов и при этом не стали знаменитыми, т. е. повешенными. Кто-то из советских разведчиков имел выход к настоящим секретам Гитлера. *Маршал Советского Союза А. А. Гречко* свидетельствует: «через 11 дней после принятия Гитлером окончательного плана войны против Советского Союза (18 декабря 1940 года) этот факт и основные данные решения германского командования стали известны нашим разведывательным органам» («ВИЖ», 1966, № 6, стр. 8).

Видимо, мы никогда не узнаем имя великого разведчика, совершившего этот подвиг. Не исключено, что это тот же резидент ГРУ, который в 1943 году добыл план операции «Цитадель». Но это только мое предположение: у Сталина, повторяю, военная разведка стояла на очень высоком уровне, и это мог сделать и кто-то другой.

В декабре 1940 года начальник ГРУ генерал-лейтенант Ф. И. Голиков доложил Сталину о том, что, *по подтвержденным сведениям*, Гитлер принял решение воевать на два фронта, т. е. напасть на Советский Союз, не дожидаясь завершения войны на западе.

Этот документ чрезвычайной важности был обсужден в начале января в очень тесном кругу высшего советского командования в присутствии Сталина. Сталин не поверил

документу и заявил, что любой документ можно подделать. Сталин потребовал от Голикова так построить работу советской военной разведки, чтобы в любой момент знать, действительно ли Гитлер готовится к войне или просто блефует. Голиков доложил, что такие меры он принял. ГРУ внимательно следит за целым рядом аспектов военных приготовлений Германии, по которым ГРУ точно определит момент, когда приготовления к вторжению начнутся. Пока никаких приготовлений нет. Сталин потребовал объяснить, как Голиков может это знать. На это Голиков ответил, что может это сообщить только одному Сталину лично и никому больше.

Впоследствии Голиков регулярно докладывал Сталину лично, сообщая каждый раз о том, что подготовка к вторжению пока не началась.

21 июня 1941 года состоялось заседание Политбюро. Голиков доложил о грандиозной концентрации германских войск на советских границах, об огромных запасах боеприпасов, о перегруппировке германской авиации, о германских перебежчиках и о многом-многом другом. Голикову были известны номера почти всех германских дивизий, имена их командиров, места их расположения. Было известно очень многое, включая название операции «Барбаросса», время ее начала и многие важнейшие секреты. После этого Голиков доложил, что подготовка к вторжению пока не начиналась, а без подготовки начинать войну невозможно. На заседании Политбюро Голикову был задан вопрос, ручается ли он за свои слова. Голиков ответил, что отвечает головой за свою информацию и если он ошибся, то Политбюро вправе сделать с ним именно то, что было сделано со всеми его предшественниками.

Через 10-12 часов после этого началась операция «Барбаросса». Что же сделал Сталин с Голиковым? Не бойтесь, ничего плохого. Уже 8 июля Сталин доверяет Голикову поездку в Великобританию и США и лично его инструктирует. После успешного визита Голиков командует армиями и фронтами, а в 1943 году Сталин назначает Голикова на важнейший пост заместителя наркома обороны (т. е. заместитель Сталина) по кадрам. К деликатному вопросу подбора и расстановки кадров Сталин допускал только самых проверенных людей. Берию, к примеру, не допускал.

Далее Голиков уже после смерти Сталина поднимается еще выше и становится Маршалом Советского Союза.

Понятно, что в своих мемуарах он ни словом не говорит о том, как он контролировал приготовления Германии к войне, как остался жив, почему после «Барбароссы» так стремительно пошел вверх.

Если вспомнить судьбу всех его предшественников, при которых не случилось ничего подобного германскому вторжению, и сравнить эти судьбы с судьбой Голикова, то недоумению не хватит границ.

Лично меня загадка Голикова мучала давно, и в Академии ГРУ я нашел для себя ответ. Затем, работая в центральном аппарате ГРУ, я нашел подтверждения найденному мной ответу.

Голиков докладывал Сталину, что Гитлер не готовится к войне против Советского Союза. Оказывается, Голиков докладывал Сталину правду. Гитлер действительно к войне против Советского Союза не готовился.

Голиков знал, что Сталин документам не верит (Голиков тоже не верил), поэтому, считал Голиков, надо найти какие-то ключевые индикаторы, которые безошибочно покажут момент начала приготовлений Гитлера к войне против Советского Союза. Голиков такие индикаторы нашел. Всем резидентам ГРУ в Европе было приказано следить за баранами, внедрить свою агентуру во все ключевые организации, прямо или косвенно связанные с «бараньей проблемой». В течение нескольких месяцев были собраны и тщательно обработаны сведения о количестве баранов в Европе, об основных центрах их выращивания, о скотобойных центрах. Голиков дважды в день получал сведения о ценах на баранье мясо в Европе.

Кроме того, советская разведка начала настоящую охоту за грязными тряпками и промасленной бумагой, которую солдаты оставляют в местах чистки оружия. В Европе германских войск было много. Войска располагались в полевых условиях. Каждый солдат минимум раз в день чистит свое оружие. Тряпки и бумагу, которая используется при чистке оружия, обычно сжигают или закапывают в землю. Но, конечно, это правило не везде полностью соблюдалось, поэтому ГРУ имело достаточно возможностей получить огромное количество грязных тряпок.

Грязные тряпки в довольно больших количествах переправлялись через границу. Чтобы не вызывать подозрений, какую-то железяку заворачивали в тряпку и разными путями

переправляли в СССР. В случае любых осложнений полиция обращает внимание на металлическую деталь (обычно это была совершенно безобидная железяка), но не на грязную тряпку, в которую она была завернута.

Кроме того, через границу легально и нелегально в гораздо больших количествах, чем обычно, переправлялись керосиновые лампы, керогазы, примусы, разного рода примитивные фонари и зажигалки.

Все это анализировалось сотнями советских экспертов и немедленно докладывалось Голикову, а Голиков информировал Сталина, что Гитлер подготовку к вторжению в СССР еще не начинал, а на всякие концентрации войск и на документы германского Генерального штаба внимания обращать не следует.

Голиков считал (совершенно обоснованно), что для войны против Советского Союза нужна очень серьезная подготовка. Важнейшим элементом готовности Германии к войне против Советского Союза являются бараньи тулупы. Их требуется огромное количество – не менее 6.000.000. Голиков знал, что в Германии нет ни одной дивизии, готовой воевать в СССР. Он тщательно следил за европейскими баранами. Он знал совершенно точно, что как только Гитлер действительно решит напасть на СССР, то он должен дать приказ на подготовку операции. Немедленно Генеральный штаб даст приказ промышленности начать производство миллионов тулупов. Этот момент неизбежно отразится на европейском рынке. Несмотря на войну, цены на баранье мясо должны дрогнуть и пойти вниз из-за одновременного уничтожения миллионов животных. В тот же момент цены на бараньи шкуры должны были резко пойти вверх.

Голиков считал, что для войны в СССР германская армия должна использовать новый сорт смазочного масла для своего оружия. Обычное германское ружейное масло застывало на морозе, части смерзались и оружие не действовало. Голиков ждал, когда в германской армии будет сменен сорт масла для чистки оружия. Советская экспертиза грязных тряпок показывала, что вермахт пользуется своим обычным маслом и нет никаких указаний на переход на новое масло. Советские эксперты следили и за германским моторным топливом. Обычное германское топливо на морозе разлагалось на несгораемые фракции. Голиков знал, что если Гитлер решится, не-

смотря ни на что, на самоубийственный шаг воевать на два фронта, то он (или его Генеральный штаб) должен отдать приказ сменить марку производимого жидкого топлива и начать массовое производство топлива, которое не разлагается на морозе. Именно образцы германского жидкого топлива советская разведка переправляла через границу в зажигалках, фонарях и других подобных предметах. Было еще множество аспектов, которые находились под тщательным контролем ГРУ и должны были стать предупреждающим сигналом.

Но Гитлер начал операцию «Барбаросса» без всякой подготовки!

Почему Гитлер так поступил, наверное, навсегда останется загадкой. Германская армия была создана для войны в Западной Европе, но Гитлер ничего не сделал для подготовки своей армии к войне в России.

Сталину не за что было наказывать Голикова. Голиков сделал все, что было в человеческих силах, и даже больше, чтобы вскрыть подготовку к вторжению, но такой подготовки не было. Была только концентрация огромного количества германских войск. Голиков же приказал принимать во внимание не все германские дивизии, а только те, которые готовы к вторжению, т. е. такие дивизии, каждая из которых на своих складах имеет по 15.000 бараньих тулупов. Таких готовых к войне дивизий во всем вермахте просто не было.

Не вина Голикова в том, что он не увидел приготовлений к вторжению. Серьезных приготовлений не было, поэтому он их и не увидел.

ИЗДАТЬ ТРУДЫ Д. М. ПАНИНА

С 1976 по 1980 г. ежеквартальный журнал «Выбор», созданный ассоциацией «Друзья Димитрия Панина», распространял его идеи и идеи его единомышленников: швейцарского журналиста Д. Пинто, французской писательницы С. Лабен, пастора Ж. Хофмана, польского писателя Ю. Мацкевича, русского журналиста В. Чернявского и других. Димитрий Панин изложил в этом журнале свою критику марксизма, способ проведения революции в умах, концепцию общества независимых, критику атеизма.

Параллельно выходит его философская работа «Теория густот», где сформулирован открытый им закон движения вещей.

В 1983 г. вышла его работа «Созидатели и разрушители».

С 1979 г. он работал над объяснением природы явлений классической и релятивистской механики и незадолго до смерти закончил последнюю, четвертую часть своей «Механики на квантовом уровне». Труд его увенчался открытием по конструкции легкого лазера, которое он не успел изложить на бумаге: остались лишь расчеты и краткие записи.

Димитрий Панин был всегда во всех ситуациях человеком мужественным, решительным, бескомпромиссным, глубоко верующим, настоящим рыцарем без страха и упрека. Увы, мир не прислушался к его свидетельству.

Благородство души Димитрия Панина отражалось и в его внешнем облике.

Остались рукописи социологических, философских, научных работ, наговоренные кассеты – мысли о России, ее писателях, религии. Наш общий долг донести их до читателя, и я призываю всех людей доброй воли помочь их изданию.

*Франсуа Росинье, председатель общества
«Друзья Димитрия Панина» (Тулон)*

Пожертвования на издание рукописей Димитрия Панина следует отправлять в нашу ассоциацию (Les Amis de Dimitri Panine – ADP) по адресу:

ADP, BP 79, 75762 Paris Cedex 16.

Восточноевропейский диалог

Барбара П о л я к

В МОСКВЕ ЛЕТОМ 1988 ГОДА

Путешествия

Поезда на Москву битком набиты поляками и их объемистым багажом. Обратные поезда тоже набиты поляками, но их багаж утрачивает свое разнообразие: каждый польский гражданин отоварен большой картонкой с советским цветным телевизором. Если возвращаешься московским составом, польское доминирование уже не так заметно. Советские граждане не везут коробок, их багаж – портфели и дорожные сумки – свидетельствуют о служебном характере поездки, хотя встречаются и семьи, едущие навесить родственников в Польшу. Атмосфера, в которой путешествуешь вместе с советскими гражданами, – решительно домашняя: едва усевшись по местам, мужчины снимают выходные костюмы и надевают старые удобные тренировочные, женщины переодеваются из туфель в тапочки и, хотя поезд выезжает посреди дня, укладывают детей спать. В конце каждого вагона под огромным котлом бушует огонь. Кипяток для чая есть постоянно. В одном купе царит полное самообслуживание: на полке под окном кипит самовар, лежат зеленые огурцы, укроп, хлеб и котлеты в кастрюльке.

Путешествия – один из элементов советской действительности. Конечно, приходится считаться с возможными опозданиями или ожиданием на пересадке, однако это никого не доводит до бессонницы. Если путешествуешь поездом, то известно, что надо запастись в дорогу едой; если самолетом – одеждой: климат очень неоднородный. В автомобиль же можно загрузить буквально все. Мне казалось, что в перевозке большого багажа на крыше «малыша» (польского «фиата». – Пер.) специализируются только поляки, но то, что я видела на крышах «москвичей», «жигулей» или старых «побед», идущих по Ленинградскому шоссе, приводило меня в обалдение, гранича

с цирковыми фокусами: комплект мебели для спальни (включая шкаф); байдарка, три велосипеда и клетка с курами; мотоцикл и детская кроватка; и ряд других комбинаций. Наша машина на этом фоне выглядела весьма скромно: дубовый книжный шкаф и два мешка с картошкой (купленной, кстати, по дороге: крестьяне продают у дороги картошку, как у нас – клубнику или яблоки).

В центре Москвы уже не видать людей с мешками и узлами. Закупки делаются в больших магазинах на новых окраинах города. Перед каждым таким магазином – огромная автостоянка, куда приезжают специальные автобусы и привозят людей иногда издалека, километров за 600. Они покупают колбасу, муку, сахар (когда он есть), крупу и белый хлеб. Через громкоговорители пассажиров информируют о том, где стоит их автобус, а то они запутаются: движение на стоянках не прекращается. Москвичи явно не любят приезжих, потому что, хоть они и живут поблизости от этих магазинов, толпы там такие, что москвичам приходится делать покупки в центре.

Отец Сергей

В половине двенадцатого утра мы с Ежи и Наташей выезжаем с Ярославского вокзала в Загорск. Это последний день празднования Тысячелетия Крещения Руси в Загорске – дальше торжества будут продолжаться в Киеве. Друзья предупреждали меня, что не так-то просто туда добраться, что частным автомобилем вообще не доехать, и мы решили ехать электричкой. Вагон полупустой. Рядом с нами сели три женщины, возвращаются с покупками: сумками и авоськами они заняли весь проход. Выглядят они цветуще: румяные толстушки с солнечными улыбками. Я с интересом наблюдаю за точнейшей синхронизацией: только поезд тронулся, как они машинным движением берутся за еду. Едят с аппетитом, всей душой отдаваясь делу: в одной руке колбаса, в другой – булка, на подлогах – шоколадные помадки, которыми они заедают остальное.

Наташа громко читает Ежи очередное разоблачение сталинизма из «Нового мира» – статью Селюнина «Истоки». Никто не обращает на нас внимания, никто не слушает, что

читает Наташа, перекрикивая стук колес, прибавляя свои комментарии.

Подъезжаем к Загорску – над городом золотом сияет Лавра. Немногие люди, вышедшие из электрички, пересаживаются на 4-й автобус, которым можно доехать до Лавры. Меня чуточку удивляет то, что на станции совершенно не ощущаешь атмосферы праздника, – может быть, я напрасно сравниваю это время с паломничествами Иоанна-Павла II в Польше.

Мы идем в другую сторону. Центр городка уже остался позади, идем по немощенной улице. Старые деревянные дома в садах, поставлены лицом к улице, сады тоже очень старые, заросшие. Дом отца Сергея – такой же, как все остальные. Яблони бросают густую тень, мы идем по тропинке между высокой, мягкой травой. На покосившейся лавке под окном рыжая кошка сердито поучает своих детей, а они и ухом не ведут. Нас уже заметили – на пороге нас ждет крупный, старый мужчина в грязноватой белой рубаше и мешковатых брюках. У него длинные седые волосы и редкая, длинная борода. Его лицо можно было бы почесть заурядным, но то, как он на нас, прибывших без предупреждения, глядит, каким широким, лишенным всякой искусственности жестом приглашает войти, – все это позволяет нам без опаски и волнения войти в дом, где, как меня предупреждали в Москве, живет этот «почти старец».

Через грязноватые сени мы входим в комнату. Погружаемся в прохладу и запах мяты, пучки которой свисают с гвоздей, вбитых в стенку. Места для них на стенке очень немного: с пола и до потолка висят картины – довольно большие акварели, в деревянных рамах, но не застекленные. Отец Сергей – сын художника Боткина, только теперь открываемого музеями и историками искусства. Ему 86 лет, и картины были в доме всегда, с тех пор, как он себя помнит. Они словно естественный пейзаж этого места: на них изображены сцены из деревенской жизни, лесные виды, луга, речушки, но прежде всего – деревянные сельские церкви. Я гляжу на них удивленно: видно, что эти церкви живут, к ним протоптаны тропинки, зелень не клубится дико, видны идущие в церковь люди, в большинстве молодые. Перед церквями стоят сани или телеги. Даже кладбище имеет жилой вид.

Отец Сергей – священник в маленькой деревянной церкви в десяти километрах от Загорска. С Лаврой он связан только

духовно, за всю жизнь считанное число раз участвовал в служении литургии в Лавре. «Это место не для меня, – говорит он, – это святое место, а я хвалю и славлю Бога в нашем маленьком храме. Может, дорога до Бога оттуда подальше, но я к ней привык, к этой немощенной тропинке».

Отец Сергей живет с дочерью и зятем. Дочь недавно кончила школу, ничем особенным не интересуется, хотя когда-то неплохо играла на пианино, которое стоит в самом темном углу комнаты, а на нем тарелки, и стаканы, и кадушка с огурцами. (Отец Сергей окончил Академию Художеств в Петрограде, изучал и музыковедение.) Рядом рокошет просторный холодильник. Муж Веры, тоже священник – отец Андрей, служит в Москве.

– Это богатый приход, – говорит он с гордостью, – поэтому мне не приходится во всем экономить.

Отец Андрей не слишком разговорчив. Я поглядываю на него украдкой: он выглядит точь-в-точь как отрицательный герой советских фильмов, высмеивающих церковь и духовенство, – толстый, потный, в грязной, распахивающейся на груди рясе, голые ноги лениво ищут под стулом стоптанные тапки. Мне хотелось бы выискать в нем что-нибудь милое, но не удастся. Когда я спрашиваю отца Сергия о сути конфликта с униатами, отец Андрей выходит. Потому ли, что не хочет услышать, что это один из самых трагических грехов Православной Церкви?

Да, Наташа заверяла меня в поезде, что в разговоре с отцом Сергием нет запретных тем, что он ответит на любой вопрос в высшей степени честно. И теперь он говорит, что этот конфликт – опровержение декларируемого православием экуменизма, что это было и остается также политическим делом, особенно сегодня, когда украинские греко-католики, как и другие народы, всё активней стремятся к самостоятельности.

Перед обедом все молятся, кладут поклоны. Слова молитвы поются медленно, сильными голосами. Мы сидим за круглым столом, покрытым клеенкой, на которой видны следы прежней еды. Таков этот дом – повседневная грязь и беспорядок, но не они приковывают внимание: важнее всего отец Сергей, картины, большая глиняная печь, вырастающая из кривого пола посреди комнаты и кончающаяся под потолком, а может, и на чердаке, выкрашенная в темно-

зеленый цвет с изящным, золотым растительным орнаментом.

– Жаль, что нет с вами детей, – говорит отец Сергей, – у меня тут кое-что особое, настоящий тульский пряник, который я получил от своего приятеля. Как съедем его, будем еще толще, – смеется он, глядя на своего хмурого зятя. С большим интересом отец Сергей рассматривает привезенный из Польши альбом об Иоанне-Павле II.

– Счастливые вы, что Папа Римский вас так любит и что вы его любите. У нас люди страшно жаждут близости к церковным иерархам, сейчас, когда столько епископов съехалось в Москву, хотят быть поближе, радуются, видя их на церковных дворах и в проезжающих машинах.

Я спрашиваю о самом важном для меня: можно ли на пороге второго тысячелетия говорить о ренессансе православия, тянутся ли люди к Богу, приходят ли в Церковь новые люди? Отец Сергей переворачивает страницы Библии, которую я привезла в подарок. Отвечает не сразу:

– Очень трудно, тяжело об этом говорить: еще живы люди, которые спокойно смотрели, как разрушали их храмы, как втаптывали в грязь святые иконы. Да, тогда погибала Православная Церковь, и с ней погибали духовенство и интеллигенция. Но почему они поверили, что Бога нет? У меня нет к ним претензий за то, что они не погибали на этом фронте так, как погибали на других фронтах, например, во время Отечественной войны. Тогда уже не было церковных генералов. Да, растоптали Бога и Его иконы, растоптали людей. Но Бог есть, и после всех этих битв, на вытоптанном поле, прорастает молодая трава – это не ренессанс, это жизнь, и в этом состоит победа. Когда я встречаю в церкви молодежь, я не спрашиваю, не пришли ли они сюда из-за того, что такая мода, – я знаю, что, раз придя, они дорогу не забудут. Не надо мучить людей расспросами – надо слушать их и отвечать на их вопросы. Мне жаль неверующих. Верить в Бога, служить ему – трудно, но насколько же трудней жить без Бога – страшно и безнадежно.

Отец Сергей пригласил меня в свою крохотную комнатку, где едва умещаются деревянная кровать, стол, табуретка. Полки с книгами по всем стенам, на двери на гвоздиках развешена скудная одежда. За стеклом киота иконы. Их десятка полтора, некоторые очень старые. Отец Сергей с поклоном берет одну из них и рассказывает, как он зимой 37-го года,

получив предостережение, бежал из Москвы, пробирался лесами в сторону Загорска и нашел эту икону на лесной поляне. Она стояла, до половины присыпанная снегом, к ней не вели никакие следы – казалось, ее выронил ангел, пролетавший над лесом.

– А об этой иконе мне рассказывал отец Павел Флоренский, дядя моей матери, – это была икона из его дома. Вот и думаю: если бы я ее не нашел, может, уже в живых меня не было бы? В те времена ведь не нужно было быть преступником, чтобы погибнуть, а этой иконой Бог наказал мне жить и служить Ему на земле. Что же другое я могу делать? Ничего, только жить и служить Богу.

Отголоски 1000-летия

Я не просила об этом специально, но все мои московские друзья собирали для меня газетные вырезки и информацию о юбилейных торжествах. Несмотря на их старания, у меня не собралось какой-то особо поразительной коллекции. Ежедневные газеты занимались этой темой сдержанно. Ночные телевизионные передачи, в которых показывали репортажи с торжеств, не фигурировали в газетных телепрограммах, но те, кого это интересовало, и так знали, что ночью надо их ожидать. Зато в период, предшествующий празднованию 1000-летия, самые главные толстые журналы уделили действительно много места интервью, статьям и очеркам о роли и месте Православной Церкви в истории и современности.

Больше всего текущей информации и интервью было, разумеется, в «Московских новостях», недоступных в продаже, но которые можно читать в витринах на Пушкинской площади. Там же – богатая фотовитрина, сменяемая раз в три дня, посвященная не только религиозным торжествам, – там были, например, уникальные снимки вывода советских войск из Афганистана. Витрины «Московских новостей» в любое время суток окружены густой толпой. Вообще вся Пушкинская площадь стала своеобразным московским Гайд-парком. Люди громко дискутируют, спорят, подписывают петиции, митингуют, сидят и прохаживаются, участвуют в событиях или только глазают. Пушкинская площадь живет самой подлинной жизнью, чего нельзя сказать о выдуманном, деко-

ративном Арбате. На Пушкинской площади я видела, как монахини из Польши раздавали репродукции иконы Ченстоховской Богоматери и Библию в присутствии молодых, добродушно улыбающихся, но бдительно поглядывающих милиционеров. К монахиням рвалось столько же народу, как к молодым людям, продававшим билеты на спектакль «Собачье дело». Обе акции продолжались не больше трех минут.

Ночные телепрограммы, посвященные Церкви и Тысячелетию Крещения Руси, удивляли и москвичей (кстати говоря, большинство публицистических программ, дискуссий и репортажей, во время которых звонят знакомым, не отрывая глаз от экрана и быстро говоря: «Переключитесь на ленинградскую программу», – или: «На третью», – были для меня поразительной неожиданностью. Не помню, чтобы в период самой большой открытости в наших телепередачах звучали такие острые формулировки по адресу власти, пропаганды, такая острая критика текущих политических или экономических решений). Однажды ночью показали уже знаменитый за границей документальный фильм «Храм». Когда мы смотрели замедленную съемку падения колокола с взрываемого храма Христа Спасителя (эти съемки делались тайком – оператор отсидел за них три года), когда колокол коснулся земли – все застонали. Такой же стон раздался на показе «Храма» на большом собрании в Центральном доме литераторов. В другую ночь я смотрела публицистическую программу, где показывали фрагменты кинорепортажей о поведении людей, оказавшихся перед лицом трудного выбора (очевидцы пожара на советском теплоходе в японском порту, искалеченные пленники из Пакистана, люди, потерявшие родных при крушении поезда с взрывчатыми веществами). Участвовать в передаче пригласили – как нравственный авторитет – преподавателя Московской Духовной Академии. Ему выпала самая важная, но и самая трудная роль. Надо признать, что он справился с ней безупречно, его комментарии были полны милосердия (это слово сейчас делает в СССР головокружительную карьеру) и смирения. Для моих московских друзей потрясение – видеть священников по телевизору; для меня – видеть священников с государственными орденами на груди за столами президиумов соответствующих торжественных заседаний. Мне говорят: «Слушай, о таких передачах еще год тому назад и подумать нельзя было, еще два месяца назад никто из нас не поверил

бы, если бы кто-нибудь начал обсуждать такую возможность».

В воскресенье работают магазины. В воскресенье делают всё, что накопилось дома недоделанного, ходят в парк или едут на дачу. Немногие идут в церковь. За целый месяц пребывания в России (в других республиках я не побывала) меня больше всего мучили воскресенья. Город ничем не отличается от других дней недели. Все-таки люди, идущие в воскресенье в костел или возвращающиеся из костела, — очень заметный элемент польского пейзажа. Я осознала это только там.

Церквей в Москве множество, но действующих очень мало. По случаю 1000-летия в столицу прибыли митрополиты со всех концов России. Субботние и воскресные богослужения, проводимые почтенными гостями, выглядят торжественно. Кроме торжественной литургии в Даниловском монастыре, на которую собрались толпы верующих и зрителей, я не видела толп во время богослужения. Даже в загорском Успенском монастыре не было толпы. Выделяются туристы — иначе одетые, с фотоаппаратами, женщины с непокрытой головой. Среди верующих самая большая группа — пожилые женщины, одетые в темное. Многие из них молятся. Но особенно бросаются в глаза те, что добровольно смотрят за порядком в церкви: подталкивают людей, указывают другое место для молитвы, сгоняют с разложенных по случаю торжества ковриков. Трудно сосредоточиться при их неустанной муштре. Моя знакомая несколько месяцев тому назад схоронила мать — глубоко верующую — и, хоть сама неверующая, устроила ей похороны по церковному обряду.

— Я тогда очень нуждалась в помощи. Думала, что в церкви найду хоть минутное утешение, но эти противные дежурные старухи всё испортили. На похоронах я даже не была печальна, была просто-напросто зла.

Тем, кто лишь время от времени заглядывает в церковь, присутствие «церковной службы порядка» может очень мешать; тем не менее, в каждом храме я видела людей разного возраста, погруженных в молитвенное созерцание и совершенно не обращающих внимания на «старух». Кто-то со смехом сказал мне об этих старухах, что «они, наверное, злоупотребляли опиумом для народа».

Перед Лаврой и Даниловским монастырем на лотках с церковными предметами больше всего металлических знач-

ков со св. Сергием Радонежским и св. Владимиром и юбилейными надписями. Значки очень похожи на миллионы других – с Лениным, космонавтами и спортсменами. Покупают их охотно и обдуманно: цены действительно коммерческие. Альбом «Загорск» стоит 100 рублей – его покупают только американцы и немцы. Нигде нельзя купить Библию, хотя, кроме даров, идущих из-за границы, издан ее специальный тираж в России – 100 тысяч экземпляров.

Я оказалась среди людей, которым удалось достать приглашение на вечер в ЦДЛ «О чем говорят века» с участием митрополита Волоколамского Питирима, преподавателя Духовной Академии протодиакона Валентина Асмуса и члена-корреспондента АН СССР, историка литературы Сергея Аверинцева. В заключение был показан «Храм» Дьяконова.

Зал набит битком, встречу ведет заведующая общественно-политическим отделом Союза писателей, в фиолетовом платье, дрожащая, как актриса перед выступлением. Митрополит, видя ее полную растерянность и рисующуюся на ее лице боль (словно у нее ботинки жмут), со свободой человека, поездившего по свету, берет ведение дискуссии на себя. Коробка для записок с вопросами наполняется через несколько минут. Во вступительном слове митрополит рассказал о роли Православной Церкви в современном государстве и о больших задачах, которые стоят перед ней ввиду новой внутренней политики. Вот небольшой образчик из нескольких десятков заданных вопросов:

«Действительно ли митрополит верит в Бога?» (Из зала раздается комментарий: «Это, наверно, писал член партии, который не верит в Ленина».)

«Возможна ли опека Церкви над больницами?»

«Будет ли опубликована история Церкви начиная со времен революции?»

«Каковы последствия сегодняшнего сближения Церкви и власти?»

«Будет ли опубликован список духовных лиц, замученных советской властью?»

«Не являются ли евреи в Церкви угрозой для нее?»

«Будет ли причислен к лику святых Патриарх Тихон?»

«Будет ли возвращен Церкви Соловецкий монастырь?»

«Существуют ли контакты с центрами духовной жизни на Западе?»

«Как представляет себе современная Церковь работу с молодежью?»

«Каково отношение Церкви к объединению „Память“?»

«Какого святого следует просить о помощи при болезни ближнего?» (смех в зале, но митрополит как раз к этому вопросу отнесся с величайшей серьезностью).

Ответы митрополита были столь же умны и блестящи, сколь увертливы и бессодержательны. Зал весьма бдительно слушал его ответы и не раз громко выражал неодобрение его софистике.

Валентин Асмус отвечал на вопросы богословского характера, с тем же терпением и серьезностью отвечая как на простейшие вопросы неверующих, так и на вопросы, свидетельствующие о глубоком знании, сомнениях и поисках. Мы слушали его напряженно и сосредоточенно.

Сергей Аверинцев был выбран членом-корреспондентом АН СССР накануне 1000-летия Крещения Руси. Будучи верующим, он в других обстоятельствах никогда не был бы избран в Академию, но надо было найти кого-то такого, кто, как он, не только автор многих научных и литературных трудов, но еще и полиглот, т. е. партнер для разговоров с distinguished гостями. Сергей Аверинцев подготовил выступление о необходимости духовности в истории народов, однако после нескольких вступительных фраз, ввиду позднего времени – встреча продолжалась уже больше трех часов, – ограничился первым публичным чтением своих стихов. Его слушали изумленно и внимательно. В Большом зале ЦДЛ имени Фадеева московские литераторы слушали стихи о Боге.

Разговоры

Олегу 23 года, он изучал физику в Московском университете, но его исключили за «неправильные» (еще два года тому назад) интересы. Олега интересует Бог. Он ни разу не говорил, но у меня сложилось впечатление, что он готовится к поступлению в Духовную Академию. Мы встретились дважды: первый раз на озере под Москвой, куда он приехал после работы (он работает лаборантом в институте) с друзьями поплавать. Тогда мы договорились вместе пойти на выставку «Тысячелетие Крещения Руси» в Музее изобразительных

искусств. Очередь за билетами была внушительная, мы отстояли свое, и внезапно нас впихнула за шнурок у входа билетерша, покрикивавшая: «Входите, ребята, без билетов, быстро, поглядите, какое все красивое, ребята».

Это было действительно внушительное собрание икон, богослужебных книг, документов, но как-то у нас этот осмотр не удался. Олег иногда останавливался, чтобы объяснить мне композицию иконы, отвечал на мои вопросы о православии.

– Самое главное – носить Бога в себе и иметь хорошего духовного наставника. Нам не нужен катехизис: богословское знание – результат веры, а не введение в нее. Когда веришь в Бога – все остальное становится простым и ясным. Видишь, тут иконы можно только разглядывать, они тут мертвы. Икона возникла в молитве и молитве должна служить. На нее не может падать слишком много света, с ней надо быть в храме, смотреть на нее сквозь дым и жечь перед ней свечи, ибо свет свечи – живой.

Когда я спрашивала Олега о современных старцах и он рассказывал об их необычайных достоинствах, к нам подошла молодая девушка, назвала всех семерых ныне живущих и каждого коротко описала. Потом я видела, как она громко спорила с мужчиной в потрепанной одежде о значении декоративных элементов на серебряном окладе старой Библии.

Мы вышли на знойную улицу, я хотела еще поговорить с Олегом, но он явно замкнулся, а когда на прощанье я хотела подарить ему «О подражании Христу» Фомы Кемпийского по-русски, он сказал несколько раздраженно: «Мне не нужна эта книга. Это хорошо для католиков, это у вас такая потребность всех обо всем поучать, а сами так мало от себя требуете».



Уршуля приехала в Москву, тоже по частному приглашению, неделей позже, чем я. Мы пошли вместе на Ваганьковское кладбище – я хотела пойти на могилу Трифонова. Рядом с кладбищем – большой базар с овощами, фруктами, плетеными изделиями. Мы ходили между лотками и разговаривали по-польски. Подбегает молодой парень и что-то кричит, тянет

к своему лотку – мы пытаемся отвязаться, потому что нет никакой охоты покупать дары природы по чудовищной цене. Парень, однако, не отстает, тянет нас почти силой, и тогда только мы разбираем, что он говорит по-украински, вставляя польские слова.

– У меня для вас вкуснейшие черешни, настоящие, украинские. Я католик, не православный, Смотрите, крестик ношу, православный крестик, но это так только. Нас власть ужасно преследует, – все это он выкрикивает лихорадочно, громко, люди на нас оглядываются, мы теперь выглядим в самом деле экзотично, потому что его возбуждение передается и нам – Уршуля вытаскивает образки, я снимаю с шеи крестик.

– Говорите мне Орест, это мое настоящее украинское имя, хоть по документам Олег. Мы униаты, смотрите, эти люди с другой стороны – тоже наши, и те, что плетут корзины, – тоже. Тут много украинцев, нас выселили в Запорожскую область, но у нас там своя подпольная Церковь, только это нелегально, – он выкрикивает все это так громко, что, если бы не новые времена, мы бы его наверняка на следующий день не увидели.

– Украинцев-католиков очень много, некоторые для виду отходят к православию, но мы ненавидим православие, они нас хотят непременно уничтожить. Мы их ненавидим, а я очень люблю поляков и умею читать по-польски, научился, читая «Край Рад» («Советский Союз» на польском языке. – Пер.), и теперь могу читать Библию по-польски.

Я вытаскиваю Библию по-польски, а Орест сыплет нам полную корзину черешни (6 рублей килограмм, корзина вмещала не меньше 5 кг) и вручает в подарок. Подходят еще родные и знакомые Ореста, мы раздаем образки и четки. Говорим по-польски и по-украински, идет сплошной фестиваль дружбы.

– Тут, на кладбище, лежит Владимир Высоцкий, он был святой, его убили, он тоже был украинец, – (мы не спорим), – его жена Мари́на Влади – тоже. А Ленин был чёрт, они все, – он делает широкий жест рукой, – черти. Но если человек носит в себе Бога, то не боится чёрта.

Восемь лет тому назад на выставке «Москва – Париж» я познакомилась с Сережей и Наташей – искусствоведами. После они пригласили меня к себе. У них трое детей, младшему, Жоржику, тогда было три года. В Гданьске в это время шел второй тур съезда «Солидарности», я во всех разговорах громким, уверенным голосом заявляла, что в победе нет сомнений. Сережа отвезил меня ночью домой: он поставил машину на краю сквера и сказал:

– Я знаю, что вы правы, что у вас сильная Церковь, сильные традиции, но не забудь, что без разрешения Кремля ничего вам не удастся. А такого разрешения вы не получите. Храни вас Бог.

Я позвонила им теперь и с некоторым страхом спросила, помнят ли они меня.

– Мы тебя ждали и молились за всех вас. Можешь приехать сейчас же?

Жоржик узнал меня во дворе и первым вбежал в квартиру, крича: «Тетя Варвара приехала!»

В кухне ждет стол, накрытый к ужину; перед едой вся семья, положив поклон, молится на икону, висящую в углу кухни над столом. Идет пост, специально для меня купили сосиски, и я ем, хоть и не хочется. Спрашиваю о перспективах перестройки, о новых возможностях развития Церкви. Сережа машет рукой: не о чем говорить! Уничтожили народ, уничтожили Церковь. То, что сейчас делается, – только новый виток. Уничтожили семью, а только в семье можно спасти человечество.

Наташа прерывает его: «Ты несправедлив. Нам дали шанс, и каждый может начать сначала. Нельзя так говорить, нельзя так думать. Ты живешь на острове, но в этом нашем страшном океане – целые архипелаги. Посмотри, наша дочка вышла замуж за хорошего, порядочного человека, верующего и умного. Он родился в этом городе. И их дети будут похожи на них. Как же ты можешь говорить, что все страшно и безнадежно?»

На прощанье они дарят мне пластинку с Литургией Чайковского.



Галя ждала меня на станции метро. Чтобы я ее узнала, она держала в руке репродукцию голубого альтмановского портрета Ахматовой. Галя – писательница (благодаря ей я попала в ЦДЛ), ее муж – журналист. На ужин пришла дочка с мужем – реставраторы икон. Катя рассказывает, как в школе на политзанятиях учительница сказала: «Кто крещен – встаньте». Встала только она (в классе их было сорок), потом за ней сорвался из-за парты Юра – который еще долго был в нее безнадежно влюблен, – чтобы она не стояла так одиноко под розгами взглядов (Юра в этом году уехал в Израиль).

Я спрашиваю про русский антисемитизм, про то, есть ли в Церкви антисемитский дух, и слышу в ответ, что еврейская проблема существует, но справедливей было бы говорить, что вина лежит по обе стороны. Мы соглашаемся, что это очень удобная почва для самых разных манипуляций.

Галя рассказывает о том, что во время войны видела ее тетка в Вильнюсе.

Шла ликвидация гетто. По улице гнали колонну женщин с маленькими детьми. Вдоль улиц молча стояли люди. Когда мрачное шествие дошло до Острой Браммы (до часовни Остробрамской Богоматери. – Пер.), одна из несчастных евреек крикнула: «Мария, еврейская мать, у тебя был сын, смилуйся, сотвори чудо, спаси наших детей».

– И знаешь, – говорит Галя, – случилось чудо. Поднялся страшный крик, страшный плач, стоявшие по краям улицы литовские женщины принялись втягивать в толпу детей, которых подавали матери, прятать их под пальто, под платки. И несколько десятков детей уцелело.



Я возвращаюсь домой последним поездом метро. Ночь, над городом прокатывается бурная летняя гроза. Завтра уезжаю в Варшаву. В свете молний, на фоне летящих, черных, разлохмаченных туч, тянется к небу стройный силуэт церкви Вознесения в Коломенском.

Перевод с польского Н. Горбаневской

Запад – Восток

Самюэль Б р ю с с е л ь

ГРАНИЦЫ ВОСТОКА

Понятие недостижимого, которое порой бросает вызов нашему разуму, более всего способно вызвать неодолимое влечение. Я имею в виду не столько географическое представление (есть ведь способы попасть в эти края, и билет, виза да купюры в кармане дают нам доступ к этим поездкам), сколько мысль, от которой ускользает образ мира, требующего от нас усилий познания, то есть желания понять и полюбить. В детстве я собирал нашивки с государственными флагами, которые можно было найти в пакетах кофе «Морис», и каждый раз, когда я нападал на эмблему «социалистической республики», мне было одновременно любопытно и грустно. Это определение, невозмутимо следовавшее за названием целого ряда стран, придавало им в моих глазах единообразие. Мне казалось, что они лишены всякого «неправдоподобия», сказок и легенд, что у них как будто отнято прошлое с того момента, как столько народов, неизбежно *различных*, от черноморского котла до искрящейся Балтики, собрались под одно знамя, сшитое из *лозунга*, смысла которого я не понимал, но который показался мне еще более устрашающим, когда я узнал, что за ним стоит программа счастья для всего человечества. Если человечество будет умиротворено, как можно верить в волка, призраков и разбойников? В мире *уравнивающим*, если не уравнительным, где будем мы искать нашего волшебного принца, какой доброй фее нашепчем перед сном наши желания, *какому святому помолимся?* Конечно, эти туманные соображения появились у меня позднее, а в те десять или одиннадцать лет, прикрепляя кнопками нашивки с флагами на кусок фанеры, где я нарисовал карту Европы, я ожидал объяснений. Но никакой ответ не удовлетворил бы меня тогда, ибо мой вопрос был безмерен...

В феврале 1982 г. я решил как-то вечером, читая «Дневники» Кафки, с которыми я вел тогда постоянный диалог, от-

правиться в Прагу. Так ли это было на самом деле? Я читал Кафку, это точно, и просто содрогался от приступов смеха, а с другой стороны, я испытывал странную ностальгию по этому Востоку, который традиционно противопоставляли Западу. Много раз в процессе чтения разных книг мне казалось, что я сам пережил описываемые ситуации, которые развивались на берегах Влтавы или Балтики, и это служило пищей для моей ностальгии. Что знал я о Праге, когда внезапно решил устремиться туда в первый раз? Ничего, кроме того, что она была родиной чешского еврея, говорившего и писавшего по-немецки, и что я воображал, будто этот город является сердцем Европы. За сутки я получил визу и на завтра отправился в путь с Восточного вокзала в Париже. Утром, проснувшись в купе, я увидел в щель между брезентовыми шторами на окне заснеженный балласт. Поезд покидал вокзал во Франкфурте, люди начинали поднимать свои полки, чтобы сделать в купе сидячие места. Я помню, что обратился тогда к немецкому контролеру с вопросом: «Когда мы прибудем на пограничный пост?», хотя листки с расписанием движения поезда и указания всех остановок до Праги и были розданы всем пассажирам. Мой тупоумный вопрос был способом выражения моего состояния средствами языка. Я хотел проверить, могу ли я еще «ускользнуть», но, с другой стороны, я знаю, что я ожидал его бесхитростного ответа, словно он мог осветить ту теневую массу, какой была для меня Германия. Германия, я видел ее теперь через призму стекла моего купе, прочно устроившись в международном поезде, – нейтральная территория, происхождение и назначение которой терялись, оставляя лишь чувство *перехода*, *переправы*. Из коридора или с платформ станций, где останавливался наш поезд, до меня доносились чешские и немецкие голоса, и, хотя я не понимал смысла этих речей, их тон был мне знаком, люди часто говорили очень тихо и отчетливо. Каждый раз, когда мы отъезжали от очередного вокзала, людская масса вскоре уменьшалась, становилась редкой, а затем вновь возвращался плоский пейзаж полей, над которыми нависала толща снега, местами протоптанного, твердого, потерявшего белизну. В Нюрнберге к поезду прицепили вагон-ресторан, с меню, написанным по-чешски и по-немецки, и с официантом-югославом, живущим в Германии, *гастарбайтером*. Поезд обрел уже право на чешское имя «Западни-экспресс», и вскоре появился маленький вокзал Хеба, где

пассажиров встретил военный гарнизон. Тот, кто в первый раз пересекает восточную границу, неизбежно охвачен острым чувством истории. Оно просто берет вас за горло волчьими клыками. Меня залила, до рвоты, смесь любви, христианской и первобытной, стыда, бешенства. «За одну минуту, – писал писатель-пророк Иозеф Рот, – мы поняли больше вещей об истине, чем все искатели истины во всем мире». Да, «за одну минуту», как он, я «порвал с целой традицией, с сознанием цивилизации».

Зачем рассказывать в деталях кучу бюрократических процедур, связанных с паспортом, визой, обменом денег? Все – вопрос привычки, и уже в следующий раз исполнение этих обязанностей почти укрепляет нас в уверенности в правильном ходе вещей. Прибыть «по назначению» – разве не тут находятся эти улицы и аллеи, по которым мы мечтали походить? Но надо еще выбраться из огромного современного здания вокзала, Главни Надрази. Я следую за толпой и за указанием на щите, с переводами мелкой готикой и кириллицей. Снаружи – почти полная тьма наступающего февральского вечера Центральной Европы. После того, как мы пересекли Пльзень, ночь стала совершенной. Редкие фонари, словно фосфоресцирующие булабочные головки, очерчивали кружки света на блестящих мостовых. «Вацлавске Намести» – я обвел карандашом то место на карте города, где я собирался провести ночь. Какой житель Праги не знает этой площади? Мне указали, на каком трамвае ехать. Улицы были такими темными, что проезжающий трамвай как бы накидывал на них сачок света, который, казалось, продержится еще немножко, голубой, мерцающий, после того, как пришельцы удалятся. Я видел вокруг себя не Ночь, а мрак, опустившийся на город, словно темная масса, которая нависала весь день над небесным сводом, упала одним махом. Нет, я не расшифровывал этот слепой пейзаж с редкими неоновыми вывесками. Там, откуда я прибыл, даже посреди чиста поля, бывает ли такая тьма, такая сильная и весомая тьма, что ее не рассеял бы и пожар? Но кто ее поймет и приручит, сказал я себе, тот заговорит вскоре на ее секретном языке и завоюет сердце братьев своих, людей.

Ступив ногой на землю, медленно спустился я вдоль проспекта. Свою первую ночь я проведу в гостинице «Дружба», вдохновившись этим названием. Переговоры со служащей в

холле, ожидание в кафетерии – и вот моя просьба о комнате удовлетворена. Я чувствовал себя наполненным всей любовью вселенной. «Ничего, – думал я, закрывая глаза, – я всех вас люблю». Эта ночь, одна, охватывает все ночи и все дни, которые я провел в городах Востока. Переход через границу и переход через тьму. А проснувшись, направляешься к окну и удивляешься своей принадлежности к этому миру, нашему миру.

Зачем я приехал сюда, а позднее в Констанцу или в Гдыню? И почему я вновь возвращался? Каждый раз я «атаковал» новую границу: Братислава, Тимишоара, Щецин, и повсюду я наткался на кратер обезлесенной пограничной зоны, где глаз тонет в бесконечности горизонта. Но сегодня я был в Праге и ходил по ее улицам в обществе Стеллы, которую встретил накануне в гостиничной кафетерии. Этим утром она пришла на свидание, она последовала за мной, едва меня увидя, и привела меня на те улицы, по которым мы проходили весь день. Строительство метро, совместное советско-чехословацкое мероприятие, местами открывает под ногами неожиданные пропасти. На мосту огромный стальной Христос, покрашенный золотой краской, раскрывает свои объятия, и под его высоко поднятым, ради эффекта перспективы, силуэтом, воды реки захватывают медленные обозы льда. В кармане моей куртки – блокнот. Несколько записей, сделанных сегодня, побудят меня отправиться завтра, в одиночку, к этим берегам, к этому старинному кладбищу, которого я не видел и где гранит могил принял форму растительности, и к дороге Алхимиков, Златой Уличке, прилегающей к замку. Там, на маленьком голубом домике, висит надпись по-чешски, свидетельство о пребывании в нем одного из обитателей города: *«Здесь жил Франц Кафка»*. Но, когда я толкнул дверь, я оказался попросту в лавке сувениров. Внутри было так мало места, так тесно, что я почти тотчас же попал к единственному, крошечному окошку, из которого открывался вид на весь город с высоты этого отрога. Это внезапное погружение в пространство превращало малюсенькую квартиру в маяк или сторожевую вышку. Я пошел в еврейскую общину и попросил встречи «с кем-нибудь», надеясь найти благосклонного слушателя для рассказа о моей неясной участи. А может быть, я надеялся на неожиданные слова, произнесенные старческим ртом, которые объяснили бы вдруг мое присутствие в этом

месте. Я помню ответ, который был дан мне с легкой усмешкой и без всякого удивления: «Знайте, что вы – не первый. Другие люди уже приходили сюда и не нашли того, чего искали». Я улыбнулся. У этого человека было доброе лицо.

Он пригласил меня прийти вечером на ужин в столовой еврейской общины. Там я повстречал Веру, даму лет шестидесяти, и ее дочь Хану, и мне пришлось напрячь все ресурсы моего немецкого, чтобы побеседовать с ними. По мере новых встреч все мои более или менее выстроенные планы улетучивались. Но я обрел что-то совсем иное со Стеллой, стариком из общины, Верой и Ханой, и даже с людьми, с которыми я обменялся всего несколькими словами. О, эти лица детей под фуражками милиционеров, лицо гостиничной служащей, погруженной в учебник итальянского языка. (Удача, которая дала мне возможность смягчить ее сердце посредством этого языка. Языка!) Иногда мне казалось, что я понимаю этот огромный резервуар, где копошится человечество. Произнося вслух слова, фразы, «билетэ на Братицлава просим», «Стелла не дому?», открываешь неизмеримое счастье быть понятым, обнаруживаешь значимость нескольких слов: из состояния сумасшедшего или экзальтированного переходишь на положение обычного гражданина, который стойко ждет, что ему скажут, когда отходит, например, следующий поезд на Братиславу. «Пожевав» другой язык и с опьянением отведав его трудностей и чуда быть понятым, самое скромное *общение*, установившееся в окошке кассы, на улице, на вокзале, внутренне празднуется как большая победа. Испытываешь головокружение от растворения в чужом языке, ибо это означает и растворение в *иной* действительности, *принадлежность* к этой действительности в качестве участника, пусть и минутного. Однако это минута достаточна, чтобы разрушить все отсеки амфитеатра, которыми нас хотели бы ограничить, и, когда попадаешь на арену, взгляд меняется. Позднее, поднимаясь по Дунаю на старом румынском пароходе, я увидел на подступах к порту Рени чаек, перелетавших с одного берега на другой, над сторожевыми вышками и пограничниками, которые охраняли советский берег, и это показалось мне счастливым предзнаменованием. Эта система, подумалось мне, хранит в себе, вопреки самой себе, огромное благо. Пустынные улицы, свободные от машин, миски, наполненные картофельным супом и кашей, неясного цвета ткань, защищающая от холода, из

которой равнодушно выкроены брюки и пальто, юбки и береты, – все это преподносит нам урок. Кто из нас, размышляя над этим, не вообразил бы человека, обнаженного словно червь? Краски времен года в унылом пейзаже кажутся нам более говорящими, а повседневное хождение по краю пропасти удерживает, как видно, от падения в нее.

Перевод с французского Галины Келлерман

БРЮССЕЛЬ Самюэль – род. в 1951 г. в Хайфе, Израиль. Эмигрировал во Францию в возрасте шести лет, живет в Париже. Поэт и эссеист, печатается во Франции, в Англии и в Италии.

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Алексей Мурженко

ГУЛАГ ПОСЛЕ СОЛЖЕНИЦЫНА

Скажите, может ли человека после 20 лет тюрем и лагерей удивить, поразить его воображение еще один лагерь, еще одна тюрьма.

Сколько тюремных ворот я прошел, в каких только стенах меня не запирали под замок; конвойные, собаки, начальники, от самых свирепых до сочувственно виляющих хвостом, подавали мне команды, лаiali, уговаривали, сердились, улыбались; зэки, союзники – и они ведь не на одно лицо, хоть все направлено на то, чтобы обезличить их, превратить в серую, покорную, рабскую массу.

Какое разнообразие режимов, традиций, порядков успел я освоить за долгие годы тюремных скитаний. И поэтому, когда я слез с этапного воронка у ворот лагеря для особо опасных рецидивистов № 328-54 г. Изяслава, сердце мое было спокойно, мысль не лихорадило – я думал, что здесь увижу все то же, что я видел уже тысячу раз.

Но, друзья мои, не спешите соглашаться с мудрым Екклезиастом, не слушайте никаких авторитетов, даже если то, что говорят они, похоже на истину: все суета сует и всяческая суета, говорит Екклезиаст, и раз так, то и нет ничего нового под солнцем. На срок, отмеренный для человеческой жизни, всегда найдется что-то, чего еще не было в этом мире, что удивит нас, что перевернет наше старое представление о мире, что заставит нас сбросить с плеч усталость, встряхнуть сонный разум, убаюканный суетой сует и мотивом жизни как дурной бесконечности.

Итак, с чего начать? Может быть, и начать вот с этих распахнутых ворот, воронка, из которого вытряхивает зэков разгневанный конвой (с чего бы им сердиться, ведь это их служба), рвущихся с поводка собак, небольшой толпы администрации лагеря, принимающей этап, и ощущения границы, проходящей вдоль высокой каменной стены с рогатками колючей

проволок на верху; границы между вот этой развалюхой-хаткой, с допотопным автомобилем-полуторкой (в наше время – и вот такие послевоенные домики с грязным двором), с двумя мальчишками с подвернутыми штанинами, которые держат велосипеды в руках и с привычным любопытством созерцают такой далекий для них и близкий мир неволи; видимой границы (есть и невидимая, нравственная) между волей и монастырем, в кельях которого разместились более тысячи человек, отвергнутых волей и обреченных стенам неволи, обреченных совершению епитимьи, молитвы покаяния, предписанной ГУЛАГом.

Очевидно весь мир уже знает (после Солженицына-то не знать – грех), что в Советском Союзе места заключения называются исправительно-трудовыми учреждениями; называя лагерь, тюрьмы исправительно-трудовыми, советские теоретики и законодатели пенитенциарной системы подчеркивают цель и смысл наказания – воспитание и перевоспитание заключенного.

И вот вас, входящих в ворота лагеря, встречают воспитатели, люди, чьим назначением является искоренение в вас всего асоциального, аморального, хулиганского и посев и взращивание в вашей душе, в вашем уме добра, чести, справедливости, культуры...

Как же нас встретили эти «воспитатели»? «Нет, ну ты посмотри на этих педерастов, ё. их мать; вас что, блядей, на пастбище травку щипать привезли – разбрелись как козлы, а ну собратсья вон в том углу двора», – это раздался голос воспитателя из толпы администрации. После тесного, душного, битком набитого воронка мы действительно разбрелись по дворику, разминая затекшие суставы, вдыхая свежий воздух.

– Резаный, – «воспитатель» окликнул эзка со шрамом через всю щеку, – ты опять, пидар, залетел сюда?

– Да, вот, вернулся – забыл тебя на четыре кости поставить!

Старший лейтенант почувствовал себя задетым: «Я тебя, сучня, поставлю, будешь у меня в изоляторе на фую стоять суток 45 и из жопы полкило геморроя будет вылазить»...

Я провел жизнь не в аристократических салонах, как понятно, и не в светских беседах, мое ухо привыкло к соленому анекдоту и к крепкому словцу (да матерное слово иной раз в мужской компании и не замечается). Но брань этого тощего,

со впалыми щеками, с белыми зрачками с/л, ДПНК (дежурного помощника начальника колонии), не укладывалась ни в какие представления. За что он нас материл? За то, что кто-то присел от усталости на узелок с вещами, за то, что кто-то пытался тайком закурить, кто-то замешкался с ответом, не понял команды и пошел не в ту сторону... просто оттого, что ему показалась смешной чья-то физиономия или фигура, и просто так, для поддержания в себе бодрости и трудового вдохновения.

Время от времени к брани с/л присоединяли свой мат и другие «воспитатели».

Ну и что ж, может быть, и рассуждать не стоит над этой сценой, может быть, и так все ясно. Вообще, в пространство, абстрактно рассуждать – может быть, вызвать скуку у читающего. Да ведь читатель и сам уже оценил поведение этого с/л, а вернее, всей администрации, потому что мат – ее необходимая речь. Это грубо, это унижает заключенных; впрочем, ведь и заключенные, уголовники, не скажут слова без мата – это всем известно. С кем поведешься, от того и наберешься... и т. д., и т. п. Что рассуждать? Попробуйте вообразите себя там в этих воротах, в толпе бесправных эков. Стоя среди них – нас сгрузили с двух воронок человек 40-50, – я вдруг физически ощутил, как меня обливают помоями, и в лицо хлещет мутная зловонная жижа, и со свистом, рассекая воздух, шлепают жирные комки грязи в лицо, по спинам облаиваемых арестантов. Я и раньше слышал ругань конвоя, надзирателей, офицеров, но там, казалось, был срыв, прорвавшаяся несдержанность, всплеск чувств, нервозность; здесь же это был обычный язык обращения с эка, это я уловил сразу, и эти потоки мутной зловонной брани – единственный язык, на котором с тобой обещают здесь, в этом лагере, говорить.

А теперь пусть проанализируют психологи, почему администрация избрала этот метод обращения с эка. Если он возник стихийно, почему она стала культивировать его? Не усвоила ли она, что это дает хороший психологический эффект, что этим матом она подавляет волю заключенного, оглушает его, сковывает и прижимает к земле.

Стоя в толпе, я соображал, что предпринять, если и меня он обругает: заявить протест, промолчать или обругать его на этаж выше? Протест отпадал, так как ничего, кроме насмешки и еще большей издевательской ругани, он не вы-

звал бы. Обругать – стать с ними на одну доску и, конечно, проиграть, отправиться с ходу в карцер на 15 суток. Я колебался: облаять Гитлера – такова была кличка с/л, как я потом узнал, – или промолчать, но мне не пришлось выбирать – меня Гитлер пропустил молча.

Но мат Гитлера не обошел меня. Месяца через четыре угодил я в ШИЗО, и здесь холод, голод измучили меня, и как-то ночью прихватило сердце. Я дополз до двери, стал стучать. Подошедшего надзирателя я попросил вызвать фельдшера. Тот промычал что-то неопределенное и ушел. На третий раз надзиратель сказал, что фельдшера нет, да и будить он его не станет, если бы и был. Я продолжал колотить в дверь. Таков лагерь. Если хочешь выжить, остаться живым, ты не должен останавливаться на полдороге. Через минут 40 я услышал, как хлопнула входная дверь ШИЗО и ко мне стали приближаться шаги. Я подумал, что это фельдшер, и придал своему лицу и позе соответствующий вид (еще одно правило: ты можешь быть смертельно болен, но если по твоему лицу, позе не видно, что ты умираешь, – не надейся на медпомощь).

Звякнула задвижка глазка и затем... на меня обрушился поток матерной брани. Он материл меня вдохновенно. Угрозы, оскорбления, трех-, нет, 20-этажный мат, казалось, вот-вот вырвет дверь и выметет меня из камеры. «Еще будешь шуметь, ё. твою мать, я тебя, фуеплет, в наручники закую на фуй и на решетку как гандон сушиться повешу»... Брань, говорят, на ворота не виснет. Ох, как виснет, виснет! И надо отвечать. А как? Культура, интеллигентность разве переселят, перекричат этот шакалиный лай. Прорвать, подавить, отбросить этот лай может только львиный рык. Конечно, я знал, что «оттянуть» вошедшего в раж мента, как говорят уголовники, вовсе не безопасно. Это еще 15 суток, а то и 45 и 60 ШИЗО, а часто это и личный враг, нажитый на весь срок. Тут риск. Но я пошел на риск. И зарычал как разъяренный зверь. «Заткнись, подонок, фуесос! Рваная осьмуха! Чтоб у тебя фуй на лбу вырос! Жаба изнасилованная...»

И откуда что берется у человека, какие, бывает, таланты дремлют в наших глубинах. Уголовный жаргон меток, а мат красочен, но я никогда их не употреблял, я не запоминал их специально, но они, оказывается, вошли в мою память, ибо это была ежеминутная музыка уголовного лагеря.

Рык мой привел в чувство Гитлера. Не знаю, что оказалось магическим, тут какая-то тайна человеческих отношений, человеческой психики, – может быть, я показался Гитлеру виртуозом мата, и он «зауважал» меня, может быть, понял, что если я решился на это – а он знал, что я верующий, политический и не сквернословлю, – то произошло что-то сверхъестественное, а может быть, дошло до него, что если заключенный просит врача, то ему нужен врач, а не мат.

Впрочем, все объясняется, может быть, более конкретными причинами: дверь была закрыта, ключей у Гитлера не было, и он, может быть, поленился идти за коридорным братом у него ключи, открывать камеру, а может быть, решил, что удовольствие – это сходу разрядить эмоции: побить, надеть наручники, обругать, а затянутая процедура – всего лишь лишняя возня.

«Хряк на кожаном ноже, бериевиц недоношенный», – достигнув самой высокой мощи и метафорической выразительности на этих словах, мой рык постепенно стал угасать; я ощутил, как нервное напряжение, в котором я находился уже, наверное, полтора-два часа, разрядилось, и (странным образом) не только душевно, но физически я почувствовал себя свободно, легко; сердечная боль не ощущалась, стало легко дышать, сознание прояснилось.

Когда я остановился, за дверью мгновение стояла глубокая тишина; затем Гитлер неразборчиво тихо выругался – видимо, чтобы оставить поле боя за собой, – и я услышал удаляющиеся шаги.

Впрочем, редко такой случай обходится без наказания – хоть сразу не побьют, зато потом напишут рапорт и накажут. Этому я был свидетель десятки раз.

Помню и такое. Было это в ШИЗО. Возвращались мы с работы, шмонали нас и отметали курево. Скучно сидеть зэку в изоляторе, холод, голод, четыре стены, и ни телу, ни душе нет ни уюта, ни развлечения. Тут и некурящий готов закурить, а что уже курящему. И на какие только хитрости не идет зэк, чтобы где-то раздобыть хоть на закуточку, чтобы хоть парой затяжек скрасить унылые часы. И разными путями раздобывают эту щепотку махорки, прячут ее то в шапку, то в ботинок, то в складки одежды, то в иные места запихивают, а все равно злобный мент, коль захочет, махорку отыщет. А потом и матом кроет.

Вот забрали щепотку махорки у такого несчастного, обругали и уже закрывали в камеру, когда один из надзирателей решил еще и угрозой добить зэка, с матерным сопровождением. Это взвинтило несчастного ограбленного, и он «послал подальше» наглого мучителя. Парень был здоровым, остались они возле камеры вдвоем, и мент побоялся тут же наброситься на него с кулаками, зато, закрыв дверь, сказал: «Принесу завтра еще 15 суток».

Зэк этот (мой земляк из Киева К.) уже отсидел 30 суток; чтобы вырваться из ШИЗО, делал норму (а это почти невозможно, но он выбивался из последних сил) – и тут вдруг еще 15 суток. Он решил, что эти 15 суток он норму уже не сможет давать, и это значило, что в общую зону его не выпустят и после 45 суток ШИЗО ему дадут год одиночки.

В порыве отчаяния, чтобы избежать голода, одиночки, он заглотил «якорь». «Якорь» – это надо, видимо, объяснить, – «якорь» делается из проволоки, и он похож на настоящий якорь морской или «кошку», которой вытаскивают упавшие в колодец ведра в деревнях, и обладает тем свойством, что проглотить его можно, а вытащить обратно – никак, только надо везти человека в больницу, и разрезать живот, и доставать якорь. Зэк с якорем, как корабль на приколе – он работать не может, и хочешь не хочешь, а вези его в больницу и «снимай с якоря». Способ этот зэковский – увильнуть от работы, спастись от преследования администрации – не новый: раньше глотали черенки ложек, домино, шахматные фигуры, штыри металлические. Но врачи сообразили вскоре, что домино, шахматы и даже штыри могут и сами выйти, а с ложкой зэк работоспособен, ложка может лежать в желудке, и ничего этому зэку не сделается. Пришлось зэкам делать и глотать «якорь» – он выйти не может ни вперед, ни через зад.

Вот так и получается: тебя матерят, а ты помалкивай – или, если уже не сдержался, глотай «якорь». К. проглотил не один якорь, и все изрядных размеров, его стало рвать, малейшее движение причиняло боль, и он лежал пластом на полу; и, поняв, что К. может не дожить до утра, администрация ночью на дрезине отправила его в центральную больницу на операцию. Этими мучениями и операцией он спасся от одиночки.

А если не заглотнешь, будет, как с Могилой. Пришел к нему начальник отряда и стал воспитывать. За что уж он его «воспитывал», я не прислушивался – это было снова же в

ШИЗО, Могила сидел в камере напротив, – слышно только, что материт он Могилу – как сам хочет. Не сдержался Могила и «выдал тягло» Чапаю – такая кликуха была у воспитателя, – выдал втрое. Вы думаете, Чапаев проявил широту натуры, соответствующей размаху, с которым он обливал матом зэка, и, добродушно ухмыльнувшись такому странному эффекту своей воспитательно-ругательной тирады, спокойно удалился? Увы, ничтожные, злобные, тупые воспитатели, надзиратели, администрация не способны подняться над мелочностью своей натуры, не способны увидеть ни юмора воспитания через мат, ни хотя бы равенства в неэтичности поведения, в грехе, заблуждении, в страстях обоих – жертвы и палача-воспитателя. Добродушного смеха не услышал я, а слышал лай рвущегося от ярости цепного пса: «Я тебя заморю, падло! Ты у меня не вылезешь из изолятора! Я сгною тебя к ё. матери. На мослэх будешь сидеть, фуиное рыло, и жопу паутиной затянет, сука...» И Чапаев доказал, что его метафоры – это реальность, это жизнь: довел он Могилу бесконечными карцерами до того, что тот стал как скелет и вместо ягодиц торчали две кости, да и паутиной затягивало то самое стыдливое место, ибо на 450 граммах хлеба в день и 250 г кипятку утром и вечеромправляешься раз в 7 – 10 дней.

Тут, может быть, уместно прервать на две минуты рассказ и посмотреть на феномен мата, грубости в жизни советских людей с дистанции общественного осмысливания. «Что с нами происходит!» – так воскликнул известный советский писатель В. Шукшин, когда его отлаяла санитарка в больнице. Расстроенный грубостью, совестливый писатель в одних тапочках и халате убежал из больницы. (И больница-то для писателей, для привилегированных.)

«А что собственно происходит?» – спросим и мы. Вот Достоевский, услышав, как два человека на улице изъяснялись всего одним русским словом – корневым словом мата, – отнесся к этому вполне филологически. Богат ты, русский язык, изобретателен в применении сокровенного слова мата, и настолько, что одним словом поговорили обо всем и разошлись в полном понимании.

Вот так, с юмором, отнестись к игре словом мата, вот так добродушно играть могли люди прошлого века. Видимо, люди стали другими, другой мат и другой смысл вкладывается издерганными, озверевшими участниками мато-игрищ. Мат – уже

не информативно-метафорическое средство «отражения действительности», он стал целенаправленным орудием, оружием воздействия на личность.

(Вам понятно, читатель, что я говорю с юмором. Приходится оговориться, ибо видите, как осложнилась проблема мата.)

Если считаете, что я гиперболизирую, что не все так драматично обстоит с матом, то я продолжу рассказ, чтобы вы убедились, что если я и сгущаю краски, то придерживаюсь гоголевского стиля – чистой правдивости и голой реальности. Какая драма может быть достоверней той, которая произошла с нами самими? Со мной случилось вот что.

Переводили меня менты из изолятора после 45 суток в одиночку (присудили мне тот год одиночки за то, что не выполнил я распоряжения мастера – не пошел на ленинский субботник). Повели они меня втроем в жилую камеру, и стал я собирать там свои вещи, чтобы часть из них сдать в каптерку, а часть, дозволенные, взять с собой в одиночную камеру.

Стал я собирать вещи и запихивать в мешок, а менты от нечего делать принялись поливать меня нецензурной бранью. Раздражаю их, что не сдох я в карцере, как они мне обещали, что я медленно поворачиваюсь, что есть у меня вещи и вообще хотел самолет украсть, да с жидами связался...

Терпел, терпел я, но чаша терпения, видимо, переполнилась, и выдал я более наглой и противной жирной морде: «Заткни грязную пасть, фуесос!» Удивительно! Казалось, эту толстую свиную тушу хватит сердечный удар. Морда его побагровела, глаза налились кровью и стали вылазить из орбит, дыхание перехватило. Я думал, он сейчас задохнется и лопнет. Он не лопнул, он взорвался: «Ах ты, падло», – задыхаясь, прохрипел он и, растопырив руки, всей тушей навалился на меня. Я сидел на кровати, собирал вещи, и он придавил меня к матрасу. Он стал душить меня, бить – он был в шинели, я в бушлате, и все ему не удавалось «вырубить» меня. Видя беспомощность толстомордого, один из двоих его напарников, бывший десантник, пришел ему на помощь. Он отработанными в армии приемами стал бить меня ладонью по ребрам – по селезенке, по печени, по почкам. Досталось мне изрядно – какое сопротивление может оказать доходяга трем мордоворотам после 45 суток мориловки, – и досталось бы больше, искалечили бы меня разгулявшиеся разбойники, да, на мое счастье, был в ка-

мере еще один зэк – остальные сокамерники были на работе, – и стал я кричать ему: «Витек, запомни, что они делают, сволочи, запомни, Витек, подтвердишь прокурору». Жалобы, гласности – как сейчас говорят – менты боялись (об этом отдельный разговор). И этот крик охладил разгоряченных молотобойцев. Они бросили меня душить, колотить и стали звать коридорного мента, наблюдавшего равнодушно всю сцену через открытую дверь камеры, чтобы он принес наручники.

Надели наручники. Отвели меня в одиночку. Но на этом драматическое действо не закончилось. Драм в ГУЛАГе, как и вообще в Советском Союзе, не любят, и усилия по сокрытию драм, их аннигиляции порождают мелодраму, фарс, комедию.

Часа через два ко мне пришел начальник отряда. Позвякивая волчком и посверкивая звездочками погон через стекло глазка, он сурово мне вычитывал: «Ты что ж это, ё. т. м., фуйней занимаешься? Оскорбляешь надзирателей, потом бросаешься их бить! Считаю, что тебе п-ец – минимум 3 года схлопотал по 183 статье, а ты не вытянешь и года одиночки, ногами вперед вынесут...»

Вот так, дорогой читатель! Ну скажите, что бы вы ответили или сделали, слушая такого воспитателя? Вы бы тоже, наверное, «послали бы его подальше», хотя бы и интеллигентным языком.

Чтобы уж не возвращаться к мату, необходимо взглянуть на это явление и иными глазами, глазами администрации.

Как-то разговорился я с надзирателем, бывшим в благодушном настроении, и в приливе человечности он разоткровенничался: «Вас же, сволочей, не отматеришь, так вы же нас с гомном смешаете. Я, когда пришел работать в лагерь, ходил месяца два как обосранный. Вы же не скажете слова без мата».

– Ну, дядь Вася, вот мы же с тобой сейчас культурно разговариваем. Что же, нельзя и всегда так?

– Ты как с луны свалился, таких, как ты, политических да верующих, тут раз-два да и обчелся. А этих мазуриков не учишь.

По лицу дяди Васи было видно, что это самое безнадежное предприятие в мире.

– Ну ладно, дядь Вася, но раз вы уж лаετε, оскорбляете зэков, почему же тогда наказываете, когда вам отвечают тем же?

Я как будто дернул дядю Васю за больной зуб. Он поморщился, махнул на меня рукой и хотел уже захлопнуть кормушку, через которую мы разговаривали, но впереди у дяди Васи была скучная ночь дежурства, и он передумал.

— Так кто я, а кто твой зэк, — продолжил он разговор. — Я на службе, я у людей не ворую, а он и украл, и убил, и изнасиловал. Да еще он меня и оскорблять будет. Да я ему ё. е. м...

— Ну вот, дядь Вась, ты уже и разгорячился. Но ведь это же несправедливо. Ты его матом, а он молчи, так? А если ответит тебе тем же — ты его в карцер, в одиночку, сапогом под ребра. А кто же тебя — в карцер, сапогом под ребро? Что-то я не встречал, чтобы вас хоть раз наказали за оскорбление заключенного.

— Так это мир должен перевернуться, — отпарировал дядя Вася.

— Вот то-то, дядь Вась. Вот если б он перевернулся, было б самый раз, было б хорошо. Было б справедливо. И тогда бы серьезно взялись бы за искоренение мата, и своего и зэков.

— Искоренение, справедливость! — дядя Вася презрительно выпятил губы и посмотрел на меня как на слабоумного. — Ты уже 20 отсидел и ничего не понял. Вот тебе, значит, еще два дали на раздумье. Вот, — дядя Вася похлопал себя по погонам, — у кого звездочек больше, у того и справедливость.

Ну да хватит, наверное, не будем задерживаться в воротах лагеря. Вот уже подали команду двигаться дальше. Что ж, запомним эту фразу дяди Васи о справедливости и пойдем вглубь, переступим порог лагеря, нас еще ждет очень и очень многое, что не раз удивит и заставит серьезно поразмыслить о человеке, мире, о прошлом и будущем ГУЛАГа и не только ГУЛАГа.

Распахнувшиеся ворота Изяславского лагеря открыли мне тюремный мир, вмещающий многое, чего я не знал до тех пор, содержащий элементы нового в советской исправительно-трудовой системе, открыли мне экспериментальную лабораторию коммунистического общества и прообраз мира, в котором мы можем оказаться после катастрофы.

МУРЖЕНКО Алексей — родился в 1942 году на ст. Лозовая, окончил Суворовское училище, поступил в Московский финансовый институт. В возрасте неполных 20 лет за участие в студенческом

кружке «Союз свободы разума» приговорен к шести годам лагеря особого режима. Выйдя на свободу по концу срока, принял участие в организованной его сокамерником Эдуардом Кузнецовым попытке угона самолета, приговорен к 14 годам особого режима. Снова отсидел от звонка до звонка и, выйдя на свободу, вскоре приговорен к двум годам лагеря за нарушение правил административного надзора – к этой отсидке и относится публикуемый очерк. Публицист, эссеист, автор книги «Образ счастливого человека, или Письма из лагеря особого режима» (Лондон, «Оверсиз», 1986).

РУССКАЯ МЫСЛЬ

Главный редактор

Ирина И л о в а й с к а я - А л ь б е р т и

LA PENSEE RUSSE

217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris, France

тел. 42 25 56 81, 42 25 57 94

телекс 64 98 13 Pensrus

**Крупнейшая русская еженедельная газета
в свободном мире**

**Информация о событиях в Советском Союзе, в
странах коммунистического лагеря, в странах
свободного и Третьего мира**

**Тексты авторов из СССР – самиздатские и напи-
санные специально для газеты**

**Аналитические статьи по политике и экономике,
литература, мемуары, статьи и заметки по лите-
ратуре и искусству**

Об условиях подписки справляться в редакции

К тысячелетию
Крещения Руси

Издательство
«Антиквариат»

Владимир
Максимов

СЕМЬ ДНЕЙ
ТВОРЕНИЯ

Обложка и рисунки
Виталия Стацинского

Издание четвертое

Заказы направлять по адресу:
E. Stein, 594 Chestnut Ridge Rd.,
Orange, Conn. 06477, USA.

Истоки

Яков А й з е н ш т а т

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЛЕ КОНСТАНТИНОВНЕ ТАРАСОВОЙ

Мне, московскому юристу, довелось близко познакомиться с Аллой Константиновной Тарасовой, актрисой Художественного театра, народной артисткой СССР. На протяжении ряда лет я часто бывал у нее дома, много беседовал с ней по разным поводам.

В сталинские годы А. К. Тарасова была награждена пятью Сталинскими премиями, трижды избиралась депутатом Верховного Совета СССР. Эта красивая женщина была непременным участником всех правительственных приемов, ее имя в те годы всегда можно было увидеть в перечне выдающихся деятелей советского искусства. Ее осаждали почитатели таланта. Девчонки, стремившиеся в театральные училища и на сцену, беспрерывно атаковали ее везде, где она появлялась, ловили по домашнему телефону, номер которого приходилось из-за этого периодически менять. Ее имя сияло и манило, она была олицетворением женщин счастливой судьбы, и многим казалось, что, будучи одним из лиц, обласканных Сталиным и его режимом, она платит взаимностью. Но это было не так. Я убедился в том, что это была женщина независимых взглядов, весьма критически относившаяся к Сталину и его режиму, женщина сложной судьбы, неутомимая труженица, перенесшая много горя.

Однако расскажу обо всем по порядку. Алла Константиновна трижды была замужем. Первый муж ее носил фамилию Кузьмин, являлся директором передвижных художественных выставок. От брака с ним у Аллы Константиновны был сын Алексей, имевший двойную фамилию Кузьмин-Тарасов. Вторым ее мужем был известный актер Художественного театра народный артист СССР Иван Михайлович Москвин, а третьим – генерал-майор авиации Пронин.

Мое знакомство с Аллой Константиновной началось в связи с судьбой ее сына Алексея. Он закончил Московский институт международных отношений, закончил его с грехом пополам. Алексей выпивал, вращался в кругу так называемой «золотой молодежи», куда входил и Василий Сталин. Чтобы Алексей оставался в числе студентов Института международных отношений, Алле Константиновне приходилось часто приезжать в институт с концертами. По окончании института о направлении Алексея на дипломатическую работу за границу не могло быть и речи. Он был принят в аспирантуру педагогического института на кафедру истории и ему дали тему диссертации, связанную с Болгарией и русско-турецкой войной 1877-1878 годов.

Его научный руководитель профессор Иосиниани не смог оказать ему помощь в подготовке диссертации. В это время я защитил диссертацию и выпустил книгу об истории и государственном строе Болгарии. У Алексея оказался друг, который хорошо знал меня. Он познакомил Алексея со мной, и я стал помогать ему в работе над его диссертацией. Я не написал за него ни одной строчки, а лишь помог ему составить план диссертации, научил работать над сбором архивных материалов.

Об этом узнала Алла Константиновна, и тогда она пригласила меня с женой, Алексея с женой и нашего общего друга с его девушкой на премьеру спектакля по пьесе Лавренева «Разлом» в филиале Художественного театра с тем, чтобы после спектакля мы пришли к ней в ее квартиру на улице Немировича-Данченко на поздний ужин.

По приходе первое, что произвело на нас впечатление, это красота и обаяние хозяйки. На улице была снежная зима, а в квартире стояли большие букеты свежей сирени, преподнесенные поклонниками ее таланта. На стенах висели портреты Аллы Константиновны. В это время ей было приблизительно лет 50, а на вид нельзя было дать больше 35.

За столом Алла Константиновна быстро создала непринужденную атмосферу. Она стала в лицах изображать проведенный ею накануне прием избирателей. В один из моментов этого ужина Алла Константиновна уединилась со мной в свой маленький кабинет и начала серьезный разговор. Она сказала: «Я узнала, что вы помогаете Алексею. Я вам безмерно благодарна. Ведь я не вечная. Помогать Алексею всегда не смогу. Я согласна оплачивать каждую вашу встречу с Алексеем по про-

фессорской ставке. Но я прошу вас проводить эти встречи не у вас дома, не в квартире Алексея на Можайском шоссе, а у меня, здесь, на улице Немировича-Данченко». Я сказал, что согласен и дальше помогать Алексею, но денег брать не буду. В это время я получил большой гонорар за книгу о Болгарии и в деньгах не нуждался.

Так начались наши еженедельные встречи с Алексеем в квартире А. К. Тарасовой на улице Немировича-Данченко. Обычно после моих занятий с Алексеем возвращалась из театра после спектакля Алла Константиновна и уговаривала меня оставаться у них ужинать. В этих ужинах принимали участие и мать Аллы – Леонила Николаевна, – и муж-генерал. Я стал в этом доме своим человеком. Бывал там иногда и днем. Сидя у постели Аллы Константиновны, когда она болела, я беседовал с ней. Иногда можно было слышать материнские замечания Леонилы Николаевны: «Алла, у тебя сегодня что-то голос не такой. Сделай упражнения». Алла Константиновна с исключительным почтением относилась к родителям. В квартире Аллы Константиновны жила не только ее мать, но и приживалка матери. Покойный отец Аллы Константиновны был киевским врачом, и перед началом каждого театрального сезона она ездила в Киев на его могилу.

У Алексея была дочь Алена. Свою внучку Алла Константиновна безумно любила. Горячо любила она и Алексея, но часто жаловалась мне, что его пьянство отняло у нее и у жены Алексея пуды здоровья, причинило им много горя. Эти две женщины часто ночи напролет ждали, когда Алексей возвратится домой, не зная, где он и что с ним. Жена Алексея не выдержала этого, и брак был расторгнут. Терпение же Аллы Константиновны, как матери, было безграничным.

Мои занятия с Алексеем успешно продвигались. Он поверил в свои силы. Когда что-то стало у него получаться, то ему уже хотелось продолжить начатое. На каждое воскресенье Алла Константиновна стала забирать Алексея к себе на дачу, чтобы пресечь встречи с «золотой молодежью», с собутыльниками Василия Сталина. Там на даче у Аллы Константиновны Алексея укусила собака, пришлось делать серию уколов против бешенства, а во время этих уколов пить спиртное категорически нельзя. Это нам помогло.

В конце концов Алексей подготовил диссертацию, получил звание кандидата исторических наук и стал препода-

давателем в одном из московских высших учебных заведений.

Муж Аллы Константиновны генерал-майор авиации Пронин относился к типу интеллигентных генералов, интересовался музыкой, искусством. В это время он писал диссертацию на тему «Воздушная армия в преследовании противника». Забавно было, что и он начал советоваться со мной по поводу построения своей диссертации.

Повседневно соприкасаясь с Аллой Константиновной, я убедился в том, каким изнуряющим и тяжким является актерский труд. Я видел ее вконец измученную после спектакля «Анна Каренина», когда она весь вечер находилась на сцене. Я видел ее обессиленную после творческого вечера в Центральном доме советской армии. Но самой страшной пыткой, по словам Аллы Константиновны, были кино съемки. Я помнил, как ослепительно красива была Алла Константиновна в роли Екатерины в фильме «Петр Первый», а она рассказывала, как в тяжелых зимних одеждах она и другие актеры мучались на съемках этого фильма под ослепительными и обжигающими лучами юпитеров при многократных «дублях» одного и того же эпизода. Условия съемок она называла изматывающими, издевательскими по отношению к актерам.

Антисталинские высказывания А. К. Тарасовой мне пришлось впервые услышать при обсуждении участи отца жены Алексея. Жена Алексея была преподавателем английского, ее отец – одним из конструкторов первого советского танка, и его арестовали «как врага народа». Алла Константиновна с гневом говорила о сталинских репрессиях, а ведь разговор у нас шел еще при жизни Сталина, и для такого разговора необходимо было мужество и взаимное доверие. Антисталинские разговоры велись и за поздними ужинами, когда заканчивались мои занятия с Алексеем, а Алла Константиновна возвращалась после спектакля из театра. И это тоже было при жизни Сталина. В них принимал участие и ее муж-генерал.

Разговор был подчас весьма конкретным. А. К. Тарасова во время правительственных приемов видела Сталина близко и высказывалась отрицательно даже о его внешнем облике. Она тяжело переживала не только то, что ее сын Алексей был связан с компанией Василия Сталина, которого она глубоко презирала. Она страдала из-за того, что в результате многократных Сталинских премий, многократного депутатства и

других актов внимания к ней со стороны Сталина, ее считали обласканной Сталиным и его режимом, а этот режим и сам Сталин был ей, интеллигентной русской женщине, подлинной патриотке, глубоко ненавистен и чужд.

Самым близким другом Аллы Константиновны был известный актер Художественного театра народный артист СССР Павел Владимирович Массальский. С ним она всем делилась и обо всем советовалась. Вообще же в круг знакомых этой семьи входили главным образом люди из театрального и авиационного миров. Наряду с Павлом Массальским, в доме часто бывали известнейшие авиаторы Владимир Константинович Коккинаки, Михаил Михайлович Громов и другие.

Характерно, что хорошее отношение ко мне Аллы Константиновны не изменилось и тогда, когда я оказался в опале. В 1952 году, когда расстреляли еврейских писателей, кому-то стало не по себе, что большая научная монография о Болгарии вышла под моей еврейской фамилией. Мне приписали ошибки. Я был вызван на секретариат ЦК КПСС, и на меня орал Маленков. Там были Сулов, Хрущев, Шкирятов и другие. Сталина на этом заседании не было. В результате я был снят с ответственной юридической работы. Семь месяцев я не мог устроиться на работу вообще. Мне предлагали работу лишь не выше, чем учетчиком в сапожной мастерской. В этот тяжелый для меня период жизни А. К. Тарасова начала оплачивать мои занятия с Алексеем. Кроме того, я занялся писанием разных диссертаций; написал для нуждающихся в этом две на звание кандидата экономических наук, две – юридических, одну – исторических. В это время Аллу Константиновну назначили директором Художественного театра. Ей не импонировала эта административная должность, но она добросовестно отнеслась к выполнению новых для нее обязанностей и стала советоваться со мной как с юристом по юридическим вопросам, связанным с ее директорской деятельностью.

Алексей продолжал общаться со мной и после защиты им диссертации, когда я уже был адвокатом Московской городской коллегии. Помню, я защищал в народном суде Краснопресненского района Москвы 17-летнего подростка, обвинявшегося в убийстве своей 17-летней возлюбленной. Алексей со своей новой женой пришел слушать мое выступление по этому интересному делу.

Последняя моя встреча с Аллой Константиновной Тарасовой произошла незадолго до ее смерти. Я вышел из помещения народного суда Киевского района Москвы, находившегося тогда в доме номер 25 арбатского переулочка Сивцев Вражек, где проводил очередное судебное дело. Алла Константиновна стояла около здания Кремлевской поликлиники, находящейся в этом же переулке, напротив здания суда. Алла Константиновна была уже тяжело больна.

Она умерла 5 апреля 1973 года от рака мозга, после операции, проведенной в госпитале имени Бурденко.

Если рак – действительно результат тяжелых жизненных переживаний, горя, душевных и физических мук, то мне и тому, кто прочитал эти воспоминания, может быть понятно, почему жизнь Аллы Константиновны оборвало именно столь страшное заболевание.

Эта одаренная актриса, красивая и обаятельная женщина, волею судьбы на протяжении многих лет была украшением режима, который был ей глубоко ненавистен. В этом была трагедия ее жизни, скрытая от всех тех, кто не знал близко этого хорошего человека, заслужившего добрую память.

Неожиданностью для тех, кто не знал близко Аллу Константиновну, неожиданностью для государственных и партийных инстанций была воля покойной отпевать ее в церкви. Отпевание состоялось в Москве, в Елоховском соборе. Согласно ее воле, похоронили Аллу Константиновну не на престижном Новодевичьем кладбище, где хоронят представителей советской элиты, где находятся могилы всех видных актеров и режиссеров Художественного театра и где было приготовлено место для нее, а на обычном московском кладбище, которое издавна называется Немецким.

Религия в нашей жизни

Иосиф Косинский

ПЕРЕВОДЯ ЧЕСТЕРТОНА

Готовясь переводить «Вечного человека»* Гилберта Кита Честертона (1874 – 1936) по предложению чикагского издательства «Славик Госпел Пресс» и прочитав впервые эту книгу удивительного английского писателя, я закрыл ее со смешанным чувством.

Читать Честертона, прослеживать извивы его диалектики, перемежаемые вспышками столь любимых им парадоксов, – занятие увлекательное, порой захватывающее, но и – приходится признать – изрядно утомительное. Как не раз отмечала критика, этому автору случается грешить «поистине неуёмным острословием»**, за которым подчас теряются и остроумная идея, и тонкое наблюдение.

Писатель отдает значительную дань моде своего времени – не случайно: ведь он был современником Бернарда Шоу, признанного мастера литературного парадокса; наряду с этим на его писательскую манеру оказали существенное влияние такие сложные и очень разные, но, безусловно, стопроцентно британские прозаики, как Оскар Уайльд и Льюис Кэрролл.

Во вступлении к недавнему московскому сборнику произведений Честертона А. Я. Ливергант замечает: «У романтиков Честертон перенял (и довел до совершенства) чисто эссеистский прием рассматривать привычное под непривычным углом зрения, изыскивать новый, совершенно неожиданный – и на первый взгляд сомнительный – подход, разом проясняющий ситуацию».

* G. K. Chesterton. The Everlasting Man. 1925.

** См., например, предисловие составителя (А. Я. Ливергант) к сборнику художественной публицистики Г. К. Честертона «Писатель в газете», вышедшему в 1984 г. в московском издательстве «Прогресс».

«Разом проясняющий»? О, нет! Книга Честертона недаром пестрит выражениями типа «иначе говоря», «иными словами», «похоже, что...»: он обстоятельно примеривается, прикидывает, как бы поточнее выразить ту или иную мысль, то или иное понятие либо ощущение, – и все это происходит на виду у читателя, на печатной странице. Такое многословие сплошь и рядом выглядит излишним и обременительным.

Вдобавок автор отвлекается на параллели и противопоставления, все время помнит (или то и дело вспоминает, – это, по существу, одно и то же) о своем долге прямо или скрыто полемизировать с маститыми современниками, с которыми он в чем-то принципиально не согласен, – с Уэллсом, Спенсером, Львом Толстым, или с современниками менее известными, чьи имена ничего не говорят русскому читателю: таковы, например, д-р Камминг, проповедовавший в честертоновские времена близкий «конец света», или г-жа Эдди – американка, считающаяся основательницей так называемой «христианской науки».

Вообще в книгу Честертона, трактующую, казалось бы, о категориях вневременных и вечных, то и дело вторгается тогдашняя «злоба дня» – тут и полемика с модным в начале нашего столетия дарвинизмом (теорией эволюции), и упоминание о древнеегипетском фараоне Тутанхамоне, чье сенсационно богатое захоронение было открыто в 20-е годы, и – тоже в те годы модная – проблема женской эмансипации, и болезненно дававший себя знать в Англии «закон о бродяжничестве». Все это причудливо перемежается и переплетается у Честертона с именами мифологических персонажей (богов древности), а также античных философов, шекспировских героев – со многими другими именами, географическими названиями, событиями разных эпох.

Легко себе представить, как сложно было переводить эту книгу, – если даже читается она с известным трудом. Пожалуй, существует только один английский писатель, еще более трудный для перевода, – это уже упомянутый Льюис Кэрролл.

Ко всему, и язык изменился за те полстолетия с лишним, что отделяют нас от выхода в свет «Вечного человека». При переводе невольно возникало искушение как-то облегчить и осовременить несколько уже старомодный язык писателя. В то же время Честертон, при всем его демократизме, употреблял выражения, уже не очень-то популярные и в первой по-

ловине нашего века, – такие, как «простонародие», «чернь». Эти выражения ему оставлены.

Читатель этой книги с некоторым удивлением отметит, что в плавном, хотя и эмоциональном, повествовании то и дело возникают разговорные интонации. Вероятно, вначале это был цикл лекций – чем отчасти объясняются также и многочисленные повторения, оговорки, случаи напоминания об уже сказанном ранее. Это обстоятельство усугубляется постоянными особенностями литературной манеры Честертона, о которых только что шла речь. Поэтому вопрос может быть поставлен и так: имело ли смысл предлагать русскому читателю полный текст «Вечного человека»? Не целесообразнее ли было ограничиться сокращенным переводом?

Все же, наверное, нет. Многообразны пути воздействия этой книги на читателя. Пусть порой, на первый взгляд, рассуждения, сопоставления, выпады Честертона «не относятся к теме» – но, как справедливо заметил С. С. Аверинцев, для писателя «любая тема – предлог, чтобы еще и еще раз поговорить о самом главном: о том, ради чего люди живут и остаются людьми, в чем основа, неотчуждаемое ядро человеческого достоинства. Идеализированное Средневековье и самодельная утопия на будущее, на скорую руку слепленный детективный сюжет и громогласные риторические периоды... – разнообразные способы подступиться к этому главному, сообщить ему наглядность... Неистощимый, но немного приедающийся поток фигур мысли и фигур речи, блёстки слова, как поблескивание детской игрушки, – и после всего этого шума одна или две фразы, которые входят в наше сердце. Всё ради них и только ради них».



Можно «принимать» или «не принимать» Честертонa – но если принимать, то полностью таким, каким он был. Аверинцев подчеркнуто упоминает – в числе его «странностей», – что писателю, во многом расхोdivшемуся с веком рационализма, было свойственно идеализировать Средневековье – эта идеализация сказывается во многих произведениях Честертонa, не оказался в этом смысле исключением и «Вечный человек». Все дело в том, что христианская вера в средние века была, по

его убеждению, наивнее, а значит – глубже и безусловнее, чем в наше время, когда богословие склонно вырождаться в «христианскую науку», а представление об исключительности христианства уступает место тоже как бы научному «сравнительному религиоведению».

Но ведь, с другой стороны, Средневековье, как мы знаем, было озаменовано и такими страшными «издержками» христианской веры, как представление о всепроникающем сатанизме, как пытки и костры не только для еретиков (это нашим современникам как-то легче понять), но и для «ведьм». Ну что ж, Честертон, как и его не менее проникательный польский современник Пшибышевский, считает, что, действительно, дьявол был в средние века особенно силен, что не случайно тогда получили такое распространение колдовство, черная магия, алхимия, что ведьмы не были всего лишь плодом фантазии просвещенной Церкви и темного обывателя, но во множестве существовали в действительности. «На мгновение меня охватило чувство гадливости, с каким, наверное, люди тащили ведьму на костер», – роняет Честертон в одном месте. В другом он дает понять, что речь идет о существах, не властных над собой: ими овладел дьявол, и они только еще более несчастны, если эта власть не является безраздельной, если в них сохранились остатки того или иного человеческого чувства, – действительно, может ли быть что-то более страшное, чем раздвоенные души?

«В традициях черной магии, – поясняет он, – некая постоянная вражда ко всему человеческому. Похоже, вся черная магия пронизана, к примеру, мистической ненавистью ко всему, что касается детей. Ненависть, испытываемую простым народом к ведьмам, легче будет понять, если припомнить, что самая распространенная порча, приписываемая им, выглядела так: они были способны насылать бесплодие... Опасность, грозящая со стороны сил зла в первую очередь детям, дает себя знать и в том, что в средние века чрезвычайно популярными были образы детей-мучеников. С другой стороны, у Чосера можно найти такую версию очень характерной английской легенды: самую гнусную из всех ведьм – темную женщину, чуждую всему человеческому, он изображает притаившейся за высокой оградой и самозабвенно слушающей пение маленького мальчика, звучащее как лепет ручья вдоль мрачной каменной улицы».

Бросая интеллектуальный вызов своему рационалистическому, механистическому веку, Честертон иронически относится к «обманчивой атмосфере всепознаваемости», воца-

рившейся в Европе, кажется, со времен Французской революции. Позитивистской науке он противопоставляет волшебную сказку, таящую представление о «скрытой пружине, благодаря которой действует весь таинственный мировой механизм». Несмотря на свою явно языческую подоплеку, народная сказка оказывается более проницательной во всем, что лежит за пределами плоской логики материализма:

«Допустим, кто-нибудь из сказочных персонажей произносит: „Сорви этот цветок – и принцесса, живущая в заморском замке, умрет“; мы не задумываемся над тем, почему при этих словах у нас обязательно что-то дрогнет в душе, в подсознании, и почему невозможное покажется нам почти неизбежным. Или мы читаем: „И в тот час, когда король задул свечу, его корабли пошли ко дну там, далеко, возле гебридских берегов“. Мы не знаем, отчего в нашем воображении реально предстает эта картина, прежде чем рассудок успеет ее отвергнуть, и отчего она находит отклик в глубине души. Самые глубинные струны нашей натуры, какая-то темная сущность зависимости огромных событий от мелких, какое-то смутное представление, что вещи, окружающие нас, могут передать нашу волю далеко за пределы нашей досягаемости, какое-то сакраментальное ощущение магической силы материальных объектов и еще многие другие неуловимые чувства – все это заключено в понятии, подобном понятию „внешней души“».

Еще одна область интересов, еще одна симпатия «несовременного» Честертона – Древний Рим. Едва ли не лучшие страницы книги – это те, где Рим противопоставляется Карфагену; но не только: какой бы стороны римской жизни и римского быта ни касался писатель – а особенно охотно и странно, в русле темы «Вечного человека», он рассуждает о римской мифологии, – мы встречаем у него действительно глубокие наблюдения и меткие замечания, обогащающие наше представление об античном мире. Он обращает наше внимание на такую, например, важную сторону мифологического культа античности:

«Если мифология вообще персонифицирует силы природы, то в латинских мифологических образах персонифицирована природа, преобразованная человеком. Таким образом, существовал бог зерна, но не травы, бог скота, но не диких лесных тварей; словом, культ этот был буквально аграрным культом, соответствуя тому, что мы называем сельским хозяйством».

Пронзительно грустные и верные слова он находит для изображения заката средиземноморской цивилизации, того ее равнодушия, безразличия к доброму и злему, той печальной всетерпимости и всеядности, которые не случайно принято считать уделом глубокой старости общественного строя:

«Всё теперь было добродетелью, всё было счастьем – и всё было гибелью, всё было хорошо и всё было плохо; в общем, всё было всем, и этим всё исчерпывалось, и так и было сформулировано. Мудрецы повсюду выродились в софистов, то есть в наемных краснобаев или загадывателей загадок. Это было одним из признаков, что мудрец начинает превращаться не только в софиста, но и в мага. Приобщиться к восточному оккультизму жаждали даже в лучших домах.

...Здесь не было надписи, подобной той, что появилась на стене вавилонского дворца и гласила: царь взвешен на весах и найден слишком ничтожным, а его царство отдано чужеземцу. Не приходили больше и радостные вести о новых походах и завоеваниях. Уже не оставалось кругом ни одной страны, которая могла бы выступить против Рима; но ему самому уже некуда было совершенствоваться. Он представлял собой воплощение силы, которое постепенно становилось воплощением слабости. Он был положительным явлением, которое оборачивалось отрицательным, отрицая себя.

...В цивилизации Средиземноморья слились многие цивилизации, она уже сделалась универсальной, блистая этой застывшей и бесплодной универсальностью. Суммарного потенциала многих народов оказалось недостаточно».

Недостаточно для чего? Для омоложения состарившегося в язычестве мира, «мировой души»:

«Та мифология и та философия, которые составляли душу язычества, были уже исчерпаны, буквально выпиты до дна. Хотя с распространением магии третья составляющая, которую мы называли демонизмом, становилась все активнее, ее активность была во всех случаях исключительно неконструктивной».

Итак, «восточный оккультизм» не был и не мог быть спасением – ни тогда, ни в дальнейшем. Отнюдь не случайно так много страниц этой книги посвящено развенчанию вообще всего (за единственным исключением!), что зародилось на Востоке и пришло оттуда. Азия представляется Честертону, в полном соответствии с общепринятым мнением начала века, сонным царством, застывшим, зацикленным на идее вечного круговорота. Великие азиатские вероучения: конфуцианство, буддизм, зороастризм – отрицаются Честертоном как не содержащие в себе надежды – они воплощают ту же безнадеж-

ную идею цикличности всего сущего: «азиатский мир – это колесо», Азия всецело обращена к прошлому.

Мы знаем, что это не совсем и не во всем так, – но, в сущности, это честертоновское осуждение – или, если угодно, сострадание – не является самоцелью. Ему потребовалось сказать об Азии и об азиатских вероучениях (точно так же, как он пространно говорил о Риме с его мифологией и его ущербным, бесславным, но неизбежным закатом) лишь для того, чтобы подвести читателя к главной идее книги – к тезису об исключительности, уникальности и спасительности христианства.



Пора сказать о том, во имя чего предпринят здесь, в Соединенных Штатах, нелегкий труд по переводу и изданию этой книги Честертона.

Прежде всего, «Вечный человек» – одно из важнейших, значительнейших произведений выдающегося английского писателя. Притом едва ли можно надеяться, что в обозримом будущем «Вечного человека» опубликуют в русском переводе в СССР. Как-никак это религиозное эссе, вдобавок вышедшее из-под пера безоговорочно верующего христианина, – а ко всему, что касается религии, там по-прежнему относятся в лучшем случае настороженно.

Мнение самого Честертона о книге выглядело так:

«Я здесь расхожусь во взглядах не с честными и подлинными учеными, а со всепроникающим и безликим общественным мнением, формируемым некоторыми незрелыми и несовершенными исследованиями. Этому общественному мнению мы обязаны тем, что сделалась модной ложная трактовка всей истории человечества, в том числе расхожее представление, будто человек развился из обезьяны и таким же путем цивилизованный человек развился из варвара, так что на любой стадии развитие идет от варварства к цивилизации».

Несмотря на расшаркивание автора перед «честными и подлинными учеными» (к которым он, как видно из книги, причисляет Дарвина, неповинного-де в вульгаризации его теории), в этом отрывке – а можно было бы привести и ряд других, подобных ему, – содержатся по крайней мере две «ерети-

ческие» мысли, неприемлемые для материалистической науки и тем самым для атеистического государства: мысль о том, что теория эволюции всего живого является ложной, и отрицание понятия «прогресса» как тоже ложного.

Вот вполне достаточное основание для запрета этой книги в той части мира, где господствующим – и единственно допустимым – мировоззрением является, выразимся так, оптимистический материализм.

Но дело не только в этом. Книга Честертона – неприкрытая апология Христа и христианства, тем более нежелательная и неприемлемая для власть имущих атеистов, что автор местами поднимается до подлинно вдохновенной апологетики, до неотразимо действующей прямой проповеди, западающей в душу.

«Жизнь Иисуса была стремительной и целенаправленной, как удар молнии, – говорит нам, убеждает нас Честертон. – Она была в первую очередь драматичной и воплощала в себе прежде всего предназначение. Конечно, это было бы невозможно, если бы Иисус без конца бродил по свету, занимаясь только проповедованием истины. Даже когда Он переходил с места на место, появляясь то здесь, то там, назвать это скитанием значило бы забыть, что это была Его миссия. (...) Это было странствие с четким направлением и целью, подобно путешествию Ясона за золотым руном или походу Геракла за золотыми яблоками Гесперид. То золото, которое искал Иисус, было смертью. Он собирался сделать и многое другое, и всё это было столь же четким и predetermined, можно даже сказать – столь же объективным и материальным. Но с начала до конца над всем доминировало одно: Он пришел в мир, чтобы умереть. (...) Мы привыкли ощущать, что вся Его жизнь была чем-то вроде романа со Смертью, истории о стремлении к полному самопожертвованию. С того момента, когда вошла звезда, озарившая небосклон точно фейерверком в честь Его дня рождения, и вплоть до момента, когда солнце затмилось, как погребальный факел, – действие разворачивалось стремительно, с драматической скоростью и в драматическом направлении, и закончилось актом, который невозможно передать никакими словами.

Таким образом, история Христа – это история послания, стремительного почти как военный марш; нечто вроде пути главного действующего лица к подвигу и на верную смерть. Это история, начинающаяся в райской Галилее, среди пасторальной и дышащей миром равнины, действительно чем-то напоминающей Эдем, и постепенно вступающая в холмистый, гористый край, всё выше, выше, ближе к грозным тучам и звёздам. Всё ближе к Голгофе».

В лице Г. К. Честертона мы встречаемся с проповедником одновременно убежденным и на редкость эрудированным, и вся его книга – одна сплошная проповедь, если не пропаганда. Автор – глубоко верующий человек, стремящийся не просто приобщить слушателя или читателя к своей вере, но и обратить в нее.

Ради этого он пользуется порой неожиданными поворотами мысли, прибегает к рискованным диалектическим приемам, которые могли бы показаться даже кощунственными, если бы сам писатель не предупреждал нас:

«Особенность этой книги, как она задумана автором, – сродни приему, именуемому „приведением к нелепости“. Дается понять, что, принимая тезис рационалиста, мы неизбежно придем к даже более иррациональным выводам, чем наши собственные суждения, – но, чтобы в этом убедиться, мы должны на время принять этот тезис».

К тому же ведь и события, о которых ведется речь, – необычны, исключительны, как исключителен и изначально парадоксален сам догмат Троицы:

«Всему мировому порядку противоречила мысль, что Создатель может присутствовать при земных событиях, последовавших вскоре за вечерними приемами и ужинами в доме Горация; что Он будет беседовать с мытарями и чиновниками, вмешиваться в будничную жизнь Римской империи и что это явление будет безусловно подтверждено всей последующей историей».

В то же время – разве менее странен и уникален весь окружающий нас мир, разве он не сверхъестествен, не представляет собой великое чудо? Непостижим сам Божий промысел! – именно этим ощущением, этой идеей пронизана вся многостраничная и многогранная честертоновская проповедь; это и делает ее столь убедительной и неотразимой.

* *

*

В заключение – несколько слов критики.

Горячий и безусловный приверженец христианской доктрины Троицы, Честертон, не приемлет идеи монотеизма в ее чистом виде, в иудаистской интерпретации. По тем же причи-

нам, уделяя немало внимания исламу, он трактует его как бы несколько пренебрежительно, свысока, усиленно подчеркивая «вторичность» этого вероучения.

События нашего времени заставляют отнестись к исламу иначе. Если вера движет сердцами сотен миллионов, если она оказывается – таких случаев, таких примеров очень и очень немало – сильнее всех материальных факторов земной жизни, – едва ли можно говорить о ней лишь как об «агрессивном» миросозерцании, вдобавок – не чисто восточном и не чисто западном, а каком-то «промежуточном». Все эти определения и неубедительны, да и вообще мало что способны объяснить. Что же касается «вторичности» ислама, то ведь тот же упрек в известном смысле можно отнести и к христианству.

Но, кажется, мы уж слишком многого хотим от Честертона. Так или иначе, мы должны быть благодарны ему за эту великолепную, исключительно содержательную и в целом стройную и убедительную книгу, которая впервые становится достоянием также и русского читателя. Можно пожалеть лишь о том, что этого не произошло ранее.

Нью-Йорк

Михаил Федотов

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Роман о людях, мечущихся по свету, чуждых
любым политическим режимам и ищущих Бога,
правды и любви.

POB 6997 Jerusalem, Israel
400 страниц

Искусство

Иннеса Левкова - Ламм

ДЕКОНСТРУКЦИЯ КАК МЕТАФОРА

Искусство XX века, как ни в одном предыдущем столетии пережило существенные изменения стилей, поисков авангардных представлений, связанных с развитием философии, науки, переменами в социальной и политической жизни, расширением средств массовой информации и, наконец, восприятием космоса как сферы более доступной человеку. Обращение к вербальным образам, характерное для концептуального искусства, а также перформансы, хэппенинги, ленд-арт, видео-арт отчетливо показали, что эксперименты в области новых форм изображения подошли к критической развязке и традиционное «окно в мир» не является самодостаточным для последующих изобретений авангардных идей. Новаиии западной изобразительной культуры в той или иной степени адаптировались отечественным альтернативным искусством, хотя чаще этот процесс проходил в индивидуалистическом подходе к проблемам творчества, в отличие от общих тенденций того или иного стиля в Америке или Европе, выдвигавших своих лидеров. Лишь в 70-е годы появились единомышленники по стилю, а не, как ранее, по своей непримиримости официальным канонам культуры. Вместе с тем нельзя не отметить, что в лабораториях художников 60-х годов происходили рациональные эксперименты в преодолении традиционных техник и расширении возможностей работы с материалами, по крайней мере в не менее широких диапазонах, чем это было доступно русскому авангарду. Шестидесятиникам (некоторые из них начали работать еще в середине 50-х годов) пришлось преодолеть самый сложный рубеж в истории советского искусства послесталинского периода. И их роль прежде всего заключена в раскрепощении изобразительного образа, в деструкции устоявшихся основ соцреализма, представившего, хотя бы внешне, монолит отечественной культуры.

Нынешнее время оказалось более благосклонным к отечественному искусству не только в том, что творческая элита,

как прежде в авангардную пору (до 1932 г.), смогла объединяться в неформальные группы или выставлять неприемлемые до сих пор официозом произведения, но и вниманием Запада – активизацией экспозиций, публикаций в профессионально-художественных изданиях, конференций и встреч, освещающих задачи отечественного искусства. За последние два года западная пресса опубликовала больше материалов о советской изокультуре, чем за три прошедших десятилетия. Однако в этой статье я не буду касаться вопросов сфокусированного интереса, ибо он, с одной стороны, понятен и ясен, но, тем не менее, с другой, носит еще весьма расплывчатый характер и далек от существенных проблем, переживаемых ныне современными художниками. Здесь можно выразить только надежду, что начавшийся процесс будет иметь продолжение и углубление, а самое главное – не будет саботироваться теми, кто обладает властью над советской культурой.

Одним из главных критериев отечественного искусства второй половины 80-х годов является деконструкция парадигм, хотя ее истоки можно найти еще в работах художников предыдущих десятилетий, к примеру, в соц-арте, но не только в нем. Усилия осмыслить авторитетные объекты культуры, отказываясь от чего-то и дополняя новым опытом, связывается не только с прочтением работ Шестова, Хайдеггера, Бульмана, а также Жака Дерриды, наиболее популярного в наше время философа в мире искусства. Применительно к русскому искусству связи с его постулатами отчетливо очертились после публикации «Архитектура и философия. Интервью с Ж. Дерридой» на русском языке¹. «Архитектурная метафора» прочно вошла в словарь изокультуры, тем более, что для этого была уже благодатная почва. Еще в 1924 г., когда конструктивизм находился в апофеозе славы, Клемент Редько в картине «Восстание» указал, что в угаре авангардно-утопических преобразований происходит замена религиозных идей политическими. Его жест заключался в трансформации функционального символа: на месте традиционного Спаса в силах оказался Ленин. Столь откровенная работа была вскоре «забыта» и всплыла на поверхность в относительно безопасное время в коллекции Г. Д. Костаки, став доступной для размышления отечественным художникам.

Рациональное выражение диалектики парадигм нашло свое выражение в композициях Э. Булатова². В этом смысле

любопытно рассмотреть его картину «Брежнев в Крыму» (1981-85), композиционный строй которой оживляет в нашей памяти работу Ф. Шурпина «Утро нашей родины» (1946-48). В контексте сравнений – образ вождя из символа «утро» (а в контексте ретроспективы Шурпина, рисовавшего мать с младенцем – символ Богородицы) превращается в «осень патриарха» (Маркес). Не меньшее значение в работе Булатова отводится живописной структуре палитры, акцентирующей призрачный характер невечного существования героя. Однако на «трассе» эволюции парадигм мы не можем обойти другую композицию Булатова «Советский космос» (1977), в которой он использует широко распространенный плакат с портретом Брежнева на фоне герба Советского Союза. Незначительное «смещение» символического ряда внутри композиции и живопись в духе китча сдвигают акценты «готовой модели». Парадный портрет в ореоле величия и силы власти, написанный в мажорных интерпретациях, воспринимается не в меньшей степени пародией, чем проститутка «Олимпия» Эдуарда Мане на «Венеру Урбино» Тициана. Скандальное сходство Брежнева с образом Спаса через параллелизм и противоречие контрастно изменяет функцию парадигмы и расширяет пространство ее звучания. «Архе» (начало) руководит всей работой с образом и указывает, как ее можно понять в качестве средства идеологической иерархии. По сути, язык искусства использует символ как образ, зависимый от взгляда художника или той точки в пространстве, которую он ему (образу) отводит.

В отличие от Булатова, в картинах которого эпицентр образа находится на самом заметном месте магистрали и подходы к ней не нуждаются в «обходных» путях, в композициях Комара/Меламида сооружен некий «лабиринт» и для выхода из него зрителю нужны необходимые усилия. К примеру, семипанельная красно-серая композиция «Алтарь Зевса» (1987) – с некоторым количеством фигуративных символов, почти замурованных в абстрактные фактуры, – далека от традиционно-мифического представления владыки земли и неба, чья почтенная фигура олицетворяет авторитет и закон. Но символический ряд заставляет нас вспомнить войну богов и титанов, в результате которой изменилась жизнь на земле, или же перевоплощение Зевса в быка (миф, послуживший сюжетом одноименной картины Тициана). Одновременно конфигурация «Алтаря» приводит к мысли о том, что перед нами пародия

дия на известную усыпальницу в стиле конструктивизма. То есть в терминах Дерриды, архитектура выступает как метафора, а архитектоника – как причина происходящих в ней ситуаций. Обоснование архитектурной конструкции будет «ниткой», помогающей выбраться нам из этого лабиринта.

Если для Комара/Меламида архитектурная комбинация панелей, как и ее «интерьерный» символический ряд, являются ключом композиций³, то у Ивана Чуйкова воспоминание пережитого, увиденного и мистифицированного складывается в модульную систему, послушную механическим изменениям. В многопанельной композиции (23 панели) «Фрагменты» (1987) изобразительные цитаты заключены в равномерные квадраты, заполняющие решетку пространства. Как пишет Е. Барабанов: «Соединение фрагмента и структуры оказывается еще одним слоем, позволяющим приблизиться к прояснению соотношений детерминированного и непредсказуемого»⁴. Однако встает вопрос – как прояснить? Как подойти к прояснению? Способны ли эти фрагменты указать нам дороги к зданию идеи или сюжета, или мы, утопая в этих структурах, подобно путешествию в пустыне по следам пробежавшего животного, должны найти путь выхода к цели? Или они сами по себе символизируют эти «соотношения» с помощью определенного метода, который, не являясь «путем», наводит нас на мысль, что мы оказались в некоем капкане?

Проблема определенности события легла в основу лейтмотива инсталляции И. Кабакова «Десять персонажей» (1982-88)⁵. Реконструкция образа советской «коммуналки» с длинным коридором, анфиладой комнат, похожих на небольшие камеры, общими туалетом и кухней, где в записи (на магнитную пленку) раздаются бессвязные диалоги жильцов, – не только ностальгия детства художника, но и мистификация постутопического общества, где он живет. В мрачном, едва освещенном помещении (наполненном объектами, выполненными автором в течение последних десяти лет) мы не видим ни одного персонажа. Однако вся обстановка общежития наполнена их душами. Ощущение призрака приходит онтологически из интерьеров комнат, мелких деталей и, наконец, из рассказов Кабакова, сопровождающих каждое помещение. Души-персонажи художника, сколь они ни различны по характеру, приклеены друг к другу в скучном банальном пространстве, в котором время течет от замкнутости к освобождению.

Оно (освобождение) приходит при помощи минорной фантазии, как, например, у «Человека, улетевшего в космос из своей квартиры». Эта комната напоминает не только дизайн Эль Лисицкого для выставки 1928 г. «Пресса» в Кёльне⁶, но и макет советского павильона К. Рождественского на выставке в Париже в 1961 г., выполненный в духе конструктивизма. В середине интерьера к верхним углам стен, обклеенных советскими политическими плакатами вперемешку с личными рисунками и проектами, прикреплена на канатах самодельная катапульта, с помощью которой персонаж совершает побег в космос, пробивая в потолке огромную дыру и признавая тем самым, что он не может идентифицировать себя с образами этой «окружающей среды». Стилистика монтажа других интерьеров с рефлексам «мерц» Швиттерса или работ Аракавы и Бойса, использованием поп-арта, советской массовой культуры – во всех комнатах разная и обслуживает интригу сюжета⁷. Разновидность апроприированной стилистики подчеркивает вариации судеб персонажей и их характеры. Вместе с тем изобразительные образы – лишь одна из концептуальных координат, на пересечении которых появляются души Кабакова. Другие – вербальные и звуковые образы и их конвергенция – одна из основополагающих задач художника. В поле ее действия открывается аура «необыкновенно странных происшествий», происходящих с героями «минорного рая». Однако персонажи Кабакова, чем бы они ни занимались – «Человек, описывающий свою жизнь через персонажи», «Человек, который никогда ничего не выбрасывал», «Бездарный художник» или другие, – как ни парадоксально, следуют обжитым путем, и в их действиях и моделях можно усмотреть генетику пробразов, известных по различным языковым конструкциям. Впрочем, эти конструкции либо ограничены ярко выраженной географией или областью действия, либо, если они заимствованы из другой культуры, приспособлены к ней.

В противоположность Кабакову Л. Ламм не ограничивает зону события специфическими для нее условиями или параметрами. В работе «Проект Прокрустова Ложа» (1988), мифицируя процесс создания социума со времени знаменитого разбойника из мифов античной Греции до наших дней компьютерной эры, он во главу угла ставит проблему стандартизации модели, независимо от принципов ее осуществления – «обрезания» или «вытягивания», с одной стороны, и стрем-

ления к «равенству» и «братству» или других форм унификации, связанных со стандартным мышлением, – с другой. Сравнивая различные структуры культурологического языка периодов пирамид, храмов Посейдона и Парфенона или конструктивизма, в основе которых лежит идеальная геометрическая форма, позволяющая рассматривать их (структуры) как эволюцию единого процесса, – он подвергает сомнению непримиримость техники и природы, но не без большой доли иронии предлагает принять их «сожительство» как существующий фактор. Здесь само «осмысление» структуры, противопоставленное позиции модернистов – «ощущению», проецируется с разных точек зрения, не сходящихся в одном центре, провоцирует множество дополнительных аналогий или аллюзий, заключенных вместе с тем в одной модульной схеме. Если вернуться к творчеству Э. Булатова, к примеру, его работе «Живу – вижу» (1984), то нельзя не заметить, что картина вызвана навязчивой идеей и действует как массовый гипноз. В квадрате, рассматриваемом нами как символ ощущений ясно-видца-идеалиста, граница двух миров – духовного и материального – сдвигается к порогу реального видения. Тусклые серые оттенки композиции напоминают телеэкран. Его прозаическое представление, отдаление происхождения от контекста и содержание сцены умертвляют сюжет. Но зритель находится под влиянием сюжета, ему необходимо проникнуть в непрерывное знакомое течение неопределенных сенсаций, в преодолении серой мглы – понять разницу между устройством и реальным миром, между фикцией и информацией, между прошлым и настоящим и, наконец, провести демаркационную линию между временем и местонахождением, между рамой квадрата и точкой схода, где в ее расплывающейся глубине вырастают едва уловимые очертания колокольни Ивана Великого и Кремлевской башни. Таким образом «психическая эволюция», которую футуристы провозглашали в авангарде искусства, из будущей «преображенной чувственности» поворачивается к прошлому, примеряя его к реальности настоящего дня. Композиция становится продуктом нескольких этапов творческого обживания реальности и ориентации на те факторы и опыт общественно-духовной жизни, которые одинаково влияют и на художника и на зрителя. Как, например, в работе Булатова – архитектура квадрата или его образный язык столь же детерминированы, как и башни крем-

левского зодчества, и находятся в одном логическом пространстве.

Одним из других таких примеров может быть картина А. Косолапова «Человек Мальборо» (1987). Композиция представляет комбинацию двух пропагандных моделей – фоном скульптуре Э. Азгура «Владимир Ильич с девочкой» (1957) служит этикетка сигарет Мальборо. На первый взгляд может показаться – передний и задний планы не могут найти внутреннего касания и сбалансированности. Однако связи и равновесие структурных схем, олицетворяющих содержание той или иной рекламы, осуществляется на уровне несокрушимой силы воздействия идеологического товара, независимо от того, обслуживает он политику или коммерцию. Лаконизм Косолапова находится в прямой зависимости от его почти сейсмического ощущения «скрытого эпиграфа» (в терминах Дерриды), получаемого им как приказ от любой фундаментальной системы. Именно поэтому он с такой легкостью оперирует эстетической символикой, как, например, в композиции «Малевич – Мальборо» (1987), заменяя геометрическое красно-белое поле Мальборо легендарным именем Малевич. В контексте этих рассуждений едва ли можно согласиться с высказыванием Эдуарда Штейнберга, что «язык геометрии (в котором он видит продолжение дела Малевича. – И. Л.-Л.) способен вызвать трагическую немоту»⁸. Функциональный язык (как мы можем убедиться на выше приведенных примерах, хотя они далеко не полностью исчерпывают его функциональность) сам по себе обладает вполне различным многоголосьем, не услышать которое способен только глухонемой. Так, к примеру, в интерпретации Леонида Сокова «черный квадрат» – море с золотой рыбкой – «Золотая рыбка» (1988), – как и другие геоформы, похоронившие некогда различные границы видимого мира и теперь выталкивающие на поверхность этот неусвоенный продукт. Драматический материал банальной повседневности действительно изменил душу и психику художника, хотя не в тех утопических категориях, о которых мечтали авангардисты. «Революция всегда стоит на распылении всех экономических выводов предыдущего. Искусство всегда идет неразрывно (с революцией. – И. Л.-Л.), ибо в нем живет та же энергия, с той же единою бесконечною целью», – писал Малевич⁹. Однако в начале века все высказывания авангардистов были навеяны новыми открытиями Эйнштейна,

Миньковского, Циолковского и др. Земля по сравнению с космосом представлялась маленькой его частицей. Все взгляды были устремлены в космос и сопровождались верой в вечный прогресс. В постутопической практике постмодернизма подобные рассуждения представляются сверхнаивными. «Мы более не увлекаемся передачей будущего, опасений и мегаломаниакальных представлений России 1920-х годов, – говорит Кабаков, – но мы передаем состояние, в котором мы живем сегодня, которое нас так расстраивает, отбирает надежду и наводит ужас, хотя, может быть, не такой отчаянный»¹⁰. Впрочем, и ранние работы Кабакова не исключают его рефлексий к банальной жизни, хотя и рассчитаны на элитарное мышление. Но они уступают в остроте социального контекста, к примеру, таким работам, как «Литта Лионозовская» (1963) О. Рабина – прямому противопоставлению «маленькой пирушки» (выраженной функцией творчества, через символ переднего плана композиции – Мадонны Леонардо да Винчи) и «маленькой утопии» (почти до основания разрушенной, но сохранившей при этом, как «маленькую надежду», свой язык). Уже эта картина, как и другие работы Рабина, вытекающие из контекста русского кубо-футуризма с использованием элементарных предметов обихода (газета, афиша, цитата, обои и пр.) подчеркивала объем языковой культуры как зоны выживания, хотя ее границы, как и сама атмосфера жизни, сливались почти в единую полосу.

Советское общество, где беспристрастие или любое рациональное мышление, не соответствующее власти государственной машины, переходило в область санкции, породило особый вид рассеянной многоволновой культуры. Идеи соц-арта, рожденные в Москве в начале 1970-х годов, к середине 80-х казались исчерпанными и требовали более широкого осмысления изобразительной архитектоники культуры, выходящей за рамки ее национального звучания. В этом нас убеждает появление в начале 80-х годов движения апт-арта со свойственными ему тенденциями апеллировать к социальной символике и рефлексам на интернациональное искусство. Но пришло время перестройки, и соцартная тема снова всколыхнула столичную интеллигенцию.

Одним из таких примеров могут быть композиции Гриши Брускина, имя которого мало о чем говорило до сказочной истории на московском аукционе Сотби. Впрочем, здесь не так

все случайно, так как работа «Фундаментальный лексикон» (1986), принеся ему известность, аккумулирует находки ряда коллег Брускина и тем самым знаменует более широкое признание современного русского искусства. К использованию социалистических символов Брускин приходит в 1982 г., имея за плечами неудачный опыт рядом с художниками «карнавального стиля» 1970-х годов. Неприятие его работ касалось не столько формальной стороны проблемы, сколько тематической – желанием художника возродить традиции еврейского искусства. В 80-е годы он расширяет творческий интерес фундаментальной структурой социализма. В работах «Партнер», «Партнер 2» (1982), все еще сохраняющих, как и прежние работы, формальную стилизацию, он пока довольно робко поднимает вопрос подлинности и неподлинности любой фундаментальной системы (в данном случае социалистической и иудаистской), проводя параллели в образах героев-близнецов, одетых соответственно в ритуальные одежды и оказавшихся, как «неграмотный слепой» с плаката А. Рудакова (1929), на краю обрыва. Эволюция Брускина от «Партнеров» к «Фундаментальному лексикону» и другим работам – «Логии» (1987) или «Алефбет» (1988) проходила на фоне его отхода от приемов, характерных для мистификаций «карнавального стиля», и сближения с группой московских концептуалистов – художники Дмитрий Пригов, Ростислав Лебедев, Александр Юликов, Борис Орлов и поэт Лев Рубинштейн. Пародируя советскую парковую скульптуру, заимствованную из культуры античной Греции, в композициях «Шаг», «Памятники» (1983), «Памятники 3» (1984) он, с одной стороны, более смело внедряется в структуру контекста, используя, подобно Ростиславу Лебедеву, в серии «Карты, колода № 1» (1981) концептуальные связи изображаемых образов. В руки белых стилизованных героев-монументов, представляющих в терминах Беккета или Бланшо «ничто», Брускин вкладывает яркие осязаемые предметы: виолончель, голубя мира, мяч, цветы и т. д., являющиеся по сути к ним (героям) «подписями», способными, как в карточных играх Лебедева, без усилий меняться местами, выравнивая тем самым масштабы ситуаций и иерархию героев. Вместе с тем, с другой стороны, в отличие от одного из основных принципов соц-арта, преследующего аутентичность формы образа, Брускин, иронизируя над эстетикой соц-

реализма, избирает путь деформации модели, усматривая в нем возможность создания новой героической эстетики. «Сейчас, – говорит художник, – меня интересует двойная рефлексия, после деэстетизации возникает обратный процесс, и это то, что меня интересует, – включить девальвированную эстетику, отрефлексировав ее, в эстетический ряд»¹¹. Его стратегия наиболее очевидно прослеживается в многопанельных композициях «Логии» и «Алефбет», которые строятся по одинаковому принципу: фон, полностью записанный нечитаемым текстом (в «Фундаментальном лексиконе» тот же композиционный принцип, но текст – цитата с вариациями из «Как закалялась сталь» Н. Островского – помещен в верхней части панели), модель (в случае «Логии» белая фигура) и аксессуар-символ на переднем плане. Обращая внимание на полизначность символического ряда, дислокация которого может менять иллюзии внутри каждой панели¹², Брускин связывает знаки: портреты, надписи, геральдику с конкретными историческими событиями и фактами (в «Логиях»), замещающими один другой и повторяет тем самым прием визуальной поэзии Д. Пригова, к примеру, «Нас вырастил Сталин на верность народу...» (1977), где «Сталин» перечеркнуто и заменено на «партия». Однако у Пригова эта тактика работы с вербальными образами находит развитие, как, например, в его серии «Газеты» (1987). В них «ключевые слова», типа «гласность», выделены в пространстве текстов, как ведущее колесо колесницы Джаггернаута. Иными словами, согласно аксиоме Мишеля Фуко, речь не может быть отделена от стиля речи, и она является самодостаточной изобразительной темой. Как, впрочем, мы здесь видим продолжение «описаний» не только самого Пригова, но и онтологических картин, к примеру, «Иду», «Слава КПСС» (1975) Булатова или «Кухонных серий» (1978) Кабакова. Брускин подходит к языковому лабиринту культуры, как бы не замечая ее «лабиринтности» и «пуская зрителя (или самого себя. – И. Л.-Л.) по ложному пути» (объяснение Брускина). Двузначность или полизначность его символического ряда, которым он заряжает пространство композиций, дешифруется ясностью полиграфии фона, будь то реконструкция почерка советских стенгазет – либо производственных стендов или ажурной филигрании иудаистских писаний, и заставляет нас усомниться – не имеем ли мы дело с иллюстрацией текста.

Напротив, Светлана Копыстьянская не проводит границы между вербальными и изобразительными образами, вплетая в ткань живописных ландшафтов густой литературный текст, формирующий актуальные образы композиции, как, например, в картине «Пейзаж» (1987). Панорама городских пейзажей строится по этому же принципу, но к тому же из плоскости холста она вырывает отдельные полосы и наклеивает их для того, чтобы более выпукло изобразить урбанистические конструкции – «Ландшафт 5» (1987). Другой вид композиций Копыстьянской – «текст – объект». На поверхности предметов, имеющих геометрическую форму, написаны целые рассказы (тексты автор заимствует из литературы), линия сюжета которых теряется в оригинальной форме конструкции. Этими композициями художница бросает ироничный вызов «подавляющей роли литературы в формировании русского искусства»¹³. Здесь уместно напомнить, что одним из главных усилий русского альтернативного искусства 1950-1960 гг. была оппозиция литературности произведений соцреализма, зачастую попросту раздутой иллюстрации, отражающей идеологию и психологию власть имущего слоя общества. Однако в работах таких скульпторов, как Л. Берлин, Э. Неизвестный, Д. Сидур, И. Шелковский, или художников, как Л. Мастеркова, В. Немухин, Л. Нусберг, М. Чернихов, О. Целков, форма противопоставления носила модернистский характер. Несколько позже Д. Плавинский внес в плоть живописной структуры тексты, написанные древней кириллицей. Они (тексты), как и архаические знаки Филонова, вводили в плоскостной слой композиции дополнительные параметры времени и звуковой волны, приходящей из прошлого в настоящее. Копыстьянская в определенном смысле унаследовала опыт Плавинского, но приняла противоречие между временем и пространством как должное, рассматривая текст как конструктивную метафору композиции. С одной стороны, она, в отличие от Плавинского, освобождается от авторитета шрифтовой определенности. С другой – ее реконструкции литературных писаний, не являясь целью изображения, становятся архитектурным звеном сюжета. Впрочем, и в этом подходе художницы к искусству можно обнаружить еще одни корни – серию композиций Александра Юликова «Иллюстрации к стихам О. Мандельштама» (1981), где геометрические

формы, разделяющие плоскость квадрата, записаны текстом. Однако здесь не столько противопоставление «литературности» изобразительного языка или формальности «иллюстрации», а скорее демифологизация эстетики живописи, в терминах Малевича, «заложенной внутри нашего организма». Это еще одна попытка освободиться от авторитета, чтобы за пределами его границ открыть для себя возможность другой живописной картины.

В отличие от Копыстьянской, Римма и Валерий Герловины смотрят на литературу как на источник визуальной игры. Язык активизированных в композициях культур расценивается художниками как код, способный с течением времени развиваться, соединяя различные формы эстетики в бесконечное множество смысловых вариаций. В их серии «Фотемов» (1987 – она была сделана в содружестве с американским фотографом М. Бергашем) в архитектурный комплекс сюжета встроены теософские символы, герои легенд, философские параллели, манипуляции со словами, фразами и жестами. Превращая элементы структурологических схем образов в мешанину, они, во-первых, превращают их в живой организм, экстравагантный и динамичный, во-вторых, соединяют взаимосвязанные части с учетом баланса, который важно сохранить в любом живом организме. Движения человеческой фигуры, которая здесь может быть воспринята как конструкция композиции, предполагают возможную деконструкцию зафиксированного образа, как, например, «бесконечный» в облике дразнящей нас женщины. Закройте ее рот (уберите язык с частью слова) и вы увидите «конец» (здесь «бесконечный» составлено из английских слова *end* (конец) и суффикса *less* (обозначающего отсутствие качества).

Игорь Копыстьянский, как и Герловины, соединяет в композиции изобразительный язык разных культур, хотя его «интерьеры», «диптихи» и «конструкции» включают написанные копии, как с картин известных, так и неизвестных художников. Вместе с тем апроприация в его работах стала не только указанием на разочарование в искусстве, она вызвана и биографическими причинами, в силу которых «присвоение» чужих произведений носит в его случае индивидуальный характер. Архитектурные комбинации «Компактных выставок» (1987) «выросли от недостатка пространства».

Впрочем, в работах Копыстьянского много общего с работами, к примеру, Кабакова или Косолапова, о которых мы писали выше.

Риторическое обращение к прошлому этих и других художников, как бы оно ни казалось направленным вдоль и поперек его пространства, в действительности обозначается как имитация. Знакомая модель изнутри подвергается полному разоблачению, открывая тем самым путь к конструированию новых понятий и новых обозначений, согласующихся с опытом и практикой мастера.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Беседа», № 4, 1986.

² «Континент», № 50, 1986, стр. 322-323.

³ Имеются в виду работы Комара/Меламида, показанные на выставке в галерее Рональда Фельдмана в Нью-Йорке, 1987 г.

⁴ Е. Барабанов. Московский авангард. Взгляд из 1988 г. Каталог выставки «Живу – вижу» в Бернском музее искусства, 1988, стр. 19.

⁵ Инсталляция И. Кабакова «Десять персонажей в галерее Рональда Фельдмана», Нью-Йорк. 1988 г.

⁶ М. Тупицына. «Флеш Арт», № 142, 1988, стр. 116.

⁷ Более подробно см. мою статью «Илья Кабаков». – «Контемпорания», № 4, 1988.

⁸ Каталог выставки «Живу – вижу», стр. 26.

⁹ К. Малевич. От Сезанна до Супрематизма. Изд. ОИИ Наркомпроса, стр. 16.

¹⁰ «Флеш Арт», № 137, 1987, стр. 83.

¹¹ Из беседы автора с Брускиным в Нью-Йорке, сентябрь 1988 г.

¹² Более подробно см. мою статью «Гриша Брускин». – «Контемпорания», № 5, 1988.

¹³ Из беседы автора с С. Копыстьянской на выставке в галерее Филис Каинд в Нью-Йорке, ноябрь 1988 г.

ЛЕВКОВА-ЛАММ Иннеса – родилась в 1939 г. в Москве. В 1963 г. закончила ЛИКИ. Автор статей по русскому, советскому, западному искусству. В России публиковалась в журналах «Дружба народов», «Литературное обозрение», «В мире книг», «Советский Союз», еженедельнике «Литературная Россия» и др. изданиях. В 1982 г. эмигрировала с мужем, художником Леонидом Ламмом, и дочерью Ольгой (ныне художницей) в США, живет и работает в Нью-Йорке.

Куратор выставки в галерее Барук-колледжа «Русское и советское политическое искусство. 1900-1986 гг.» (Нью-Йорк), художественный критик журнала по искусству «Контемпорария» (на английском и итальянском языках). Публикации в журналах «Континент», «Стрелец», «Третья волна», альманахе «Панорама», газетах «Новое русское слово», «Русская мысль» и ряде каталогов по современному русскому искусству.

П О В Е С Т И Д. А. А Н Т О Н О В А :

Издательство «Чеховград»

ЧЕХОВСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ – повесть о российской интеллигенции, 1981

ВОССТАНИЕ – памяти Пастернака, Высоцкого, Галича

ЗАПАДНЯ – о шовинизме, национализме

БЕДНЫЕ ЛЮДИ – о восприятии Достоевского, Тютчева, А. К. Толстого

ВОЛЯ – повесть о Сопротивлении, биография Л. Трэппера

ЛИБЕРТИ – английское издание «Воли», документы, фото

ПОЧЕМУ УБИВАЮТ... немецкий перевод «Воли»

1988 – повесть о Тысячелетии Крещения, о восприятии Бунина, Булгакова

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – повесть о военном разведчике. Приложения, фото

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО – о сталинщине

В БАДЕНВАЙЛЕР С ТОГО СВЕТА – повесть о славистике

ЧЕХОВГРАД – повесть о Чеховском симпозиуме. Приложения

СЕГОДНЯ – повесть о Катастрофе

ВОЗВРАЩЕНИЕ – о Вере, фанатизме, культуре полемики

АГЕНТЫ И ПЕРЕСТРОЙКА – повесть

ПАМЯТЬ – повесть о язычниках и Православии

НАДЕЖДА – повесть о судьбах русской литературы, 1981

Э. Бройде. ЧЕХОВ. Монография

Э. Бройде – К проблематике Чеховских университетов. Статьи

Аннотации в каталогах Нейманиса,
книги можно заказывать во всех книжных магазинах и по адресу:

Dr. Broide
Rückmühlenweg 2 · D-6483 Bad Soden-Salmünster
West Germany

Литература и время

Наталья Кузнецова

МАГНИТНАЯ СТРЕЛКА ИСКРЕННОСТИ

К 35-летию статьи В. Померанцева

Понятие искренности в искусстве существует, сколько живет оно само. Это, прежде всего, честность художника перед самим собою – при изображении всего, что его заботит, тяготит, тревожит, вызывает протест и боль: за судьбу общества, поколения, страны, в конечном итоге – всего мира. При определенном уровне профессионализма, писательского мастерства искренность непременно передается читателю, ощущается им благодарно и вызывает ответное чувство – доверие. Так автор и читатель становятся соучастниками одного и того же процесса – решения (или, по крайней мере, попытки решения) наболевшей проблемы, говорить о которой настало время, а молчать – становится безнравственным, если не преступным.

Нетрудно понять, какими же были антиподами искренность писателя и «метод социалистического реализма», предписывающий ему «изображать жизнь в развитии» (критика говорила иначе – «в зародыше»), т. е. не такую, как ее видит автор сегодня, а какой она должна быть и вот уже скоро – завтра, послезавтра – будет. Эта предустановленная утопия, которую при Сталине писатели признавали на словах, а на деле все-таки пытались преодолеть, была мучительной преградой для многих честных и талантливых людей, не могших высказаться во всю силу своего дара. Естественно, что при первых же робких проблесках «оттепели» должен был грянуть публицистический разговор об искренности как обязательном условии литературы.

Случилось первому начать его – да тут же и закончить – писателю не из «ведущих», Владимиру Померанцеву, статьей с таким вот простодушно-беззащитным названием: «Об искренности в литературе», появившейся в последнем за

1953 год, 12-м номере «Нового мира». Со смелостью, воистину безоглядной, автор назвал искренность художника едва ли не первым слагаемым в сумме, составляющей понятие таланта. Доселе считалось – что «партийность». И хотя, на взгляд любого мыслящего читателя, статья не содержала особых открытий, брошенный Померанцевым упрек советской литературе – в неискренности, «деланности», в составляющей ее основу напыщенной лжи – вызвал такую бешеную ярость, такой накал благородного возмущения, что стало ясно: задело, пожалуй, самое больное место. С Померанцевым не согласился никто, ни один журнал, ни одна газета не поддержали дискуссии, предложенной «Новым миром», а через год его редактору А. Т. Твардовскому, напечатавшему еще несколько «преждевременных» статей, пришлось уйти. В августе 1954-го принято было решение ЦК (оформленное как решение секретариата Союза писателей), где взрывчатые выступления В. Померанцева, Ф. Абрамова, В. Лившица и М. Щеглова осуждались как «очернительские».

С тех пор само слово «искренность» автоматически вычеркивалось из всех статей и рецензий, даже если стояло в безобидном контексте, однако ж оно было произнесено – и не забыто. Как обиходный термин оно, разумеется, не могло утвердиться в критике, но все же нет-нет, да поминалось – только другими словами и приемлемыми эвфемизмами. Говорилось, к примеру, что произведение имярек «написано по долгу (или по зову) сердца», и редакторы и цензоры это пропускali, хоть и чувствуя здесь неудобное противопоставление произнесенной «указке партии» или «соцзаказу», покуда живой (тогда) классик М. А. Шолохов не снял это неудобство, сконструировав компромиссную формулу: «Мы пишем по указке сердца, а сердца наши принадлежат партии».

Дело, однако, сложнее слова. И не напрасно Померанцев связал воедино искренность и талант. При некоторых благоприятных, не столь накаленных, обстоятельствах термин «искренность» мог бы и утвердиться в партийно-официальном лексиконе в качестве похвалы (как позднее приняли же на партийное вооружение «нравственность» – только, разумеется, «нашу», советскую), и это бы мало что изменило. Писать, будучи честным перед самим собой, всегда нелегко – и не становится легче даже при полной отмене цензурных запретов. Неизжитая инерция берет свое – и, скажем, такому писателю,

как Владимир Тендряков, не стремившемуся обойти острые углы и большие проблемы, даже напротив, занятому исключительно ими, долго не давала вырасти в большого писателя, на что он мог претендовать по природному таланту.

Первый его роман, «Среди лесов», предложенный «Новому миру», – произведение водянистое, скучное и справедливо забытое, – Твардовский отклонил, но сказал при этом, что все последующие вещи этого автора он непременно будет печатать. Он добавил еще, что Тендряков сам своей силы не знает, это «великан, которому что травинку выдернуть, что дерево с корнем». И одно время казалось, прогноз Твардовского начинает сбываться. Он, правда, не смог напечатать «Ухабы», так как уже не был редактором – и еще не был, до 1958 года, – и рассказ появился в «Нашем современнике», но известно, что оценил его Твардовский очень высоко. Если б не гремевший тогда роман Дудинцева, «Ухабы» сделали бы Тендрякова самым популярным писателем в России – и, пожалуй, до самой его смерти они оставались непревзойденной вершиной его творчества.

Случилось так, что автора поразила, уязвила до глубины души незатейливая, на первый взгляд, история: пострадавшего при аварии парня несут несколько верст по грязной размокшей дороге четверо, среди них – Княжев, директор машинно-тракторной станции. В больничке, куда приносят умирающего, не могут сделать сложной операции, нужно везти в районный центр, нужен – трактор. И тот же Княжев, севший уже в свое служебное кресло, всем на удивление, трактора не дает. Тот же самый, кто нес, запыхиваясь, обрывая руки... Как это совместить? Как объяснить эти чудеса «двойного сознания» и то, что бумажка, инструкция вышестоящего «товарища Зундышева», оказывается ценнее и весомее человеческой жизни? И не на весах палача, но в душе обыкновенного, даже скорее доброго малого? Автор ответа не знал. Он просто предлагал читателю подумать вместе с ним, отчего происходит такое в нашей жизни, откуда на нашем светлом пути взялись они, эти самые, мягко скажем, «ухабы».

Между тем, это и была высшая искренность писателя – искренность, состоящая в том, что автор не стыдится признаться читателю в своем незнании готового ответа, он лишь задает вопрос, который мучит его, и призывает читателя вместе с ним отыскать решение. Существует афоризм: «Хороший

писатель задает вопросы, плохой – на них отвечает». Увы, слишком часто после этого в произведениях плодovitого автора прочитывался готовый заранее ответ, а это и есть одна из форм неискренности – «деланность» или заданность, когда автор не ищет ответа в процессе писания, а подстраивает картины жизни к заранее известному ему решению.

В повести «Не ко двору» Тендряков заранее осуждает темного, ограниченного мужика Ряшкина, который видится ему скрытым «кулаком» (оценим саму фамилию Ряшкин: «ряшка» – это рыло, морда), и заранее симпатизирует его молодому зятю, комсомольцу Федору Соловейко (опять же оценим фамилию: что-то певчее, залиристо-веселое, свободное слышится в ней). Между этими двумя людьми, состоящими в принципиальном конфликте, между отцом и мужем, а по автору – между двумя враждующими психологиями индивидуализма и коллективизма, – мечется истерзанная душа Стеши, переживающей трагедию раздвоенности и в конце концов бегущей из родного дома. За что же осуждает Тендряков своего Ряшкина? За то, что у него земли мало и он держится за нее с упорством погибающего? За то, что, не покладая рук, трудится на своем клочке и призывает дочь и зятя беречь и копить добро? А Федя Соловейко, пришедшийся «не ко двору», чем так симпатичен автору? Своей «открытой» душой, т. е. готовностью все пустить по ветру, увести жену «к людям», с такой же легкостью относящимся и к нажитому не ими добру, и к земле, забывшей хозяина? Да, трагедия подсмотрена, описан темный быт сегодняшнего крестьянина, цепляющегося за землю и упускающего многие духовные блага цивилизации (как то: книги, клуб, танцы, кино и прочее в этом роде), но какой жестокой к человеку и какой поверхностной оказывается схема решения: Ряшкин – отживающий мир, Соловейко – наше светлое будущее.

Нетрудно догадаться, как это покорило «крестьянскую» душу Твардовского, который, быть может, с этой повести и стал понемногу разочаровываться в Тендрякове. Он знал или предвидел, что рано или поздно придется сказать хоть часть правды о «великой» коллективизации, которая была «переломом крестьянского хребта», но скажут об этом – другие, не Тендряков (и сказали – Белов, Абрамов, Можаяев, Шукшин). Тендрякова же он перестал печатать и буквально выжил из журнала.

В своей программной, почти сенсационной вещи – «Кончина» – Тендряков, казалось бы, двинулся дальше. Здесь он – быть может, впервые в советской литературе – даже изобразил положительного кулака, т. е. бывшего кулака, а ныне калеку с переломанным хребтом (какая прямая, но и наивная символика!), – и, с самыми благими побуждениями, показал, что и такой человек может вклиниться в социалистическое хозяйство, быть полезным колхозу. Истина эта, наверно, и не нуждается в доказательствах, но все дело не в ней, а в том, как автор решает застарелую (и доселе не решенную ни одним составом правительства) проблему колхозов. Все дело, оказывается, в председателе. Хороший попадется – утонет колхоз в молочной реке посреди кисельных берегов, плохой – значит, будет терпеть нужду, голод и тоску смертную. Оставим вопрос о роли личности, где Тендряков уже явно на позициях сталинистского толка. Что значит – хороший председатель? Любопытно, эту ситуацию предвосхитил все тот же Померанцев, рассказывая эпизод из своей юридической практики – о некоей «бой-бабе», которая действовала и кормила людей средствами недозволенными: наладила, скажем, подсудное самогоноварение и самогоном расплачивалась с людьми, нужными колхозу. Она была – хороший председатель или плохой? Здесь Тендряков ушел бы от ответа, а ведь это и есть самая больная проблема сегодняшнего сельского хозяйства – что успешно хозяйствовать на земле возможно лишь вопреки закону.

Трудно сказать, был ли искренним Тендряков, «разоблачая» религию (в «Чудотворной»), пощипывая диссидентов и отщепенцев. Можно ведь и в этом случае быть интересным и большим писателем (пример Толстого или Достоевского, хоть и непомерно велик, говорит за это), вся беда, что, казалось, Тендряков остался не писателем жизни, а писателем проблем, лишь иллюстрируемых более или менее живо схваченными персонажами. Притом таких проблем, которым он знает ответ заранее.

Что ж, мог и Твардовский ошибаться в своем первом прогнозе. Но посмертные публикации Владимира Федоровича Тендрякова показывают, что нет, не ошибся Твардовский.

В рассказе «Пара гнедых»* большую партию «кулаков» с семьями зимой в сильный мороз перевозят на подводах на

* «Новый мир», 1988, № 3. Рассказ автобиографичен.

300 километров в глубь Сибири. Дети кричат и плачут от голода и холода. И вот один из мужиков-«кулаков», не выдержав крика младенца, сосущего пустую грудь матери, выхватил ребенка из рук жены и разбил ему голову о дерево. Как мог так поступить родной отец? – ужаснется читатель и еще раз задумается над тем, чем была «коллективизация», о которой отец Володи Тендрякова говорит: «Что-то здесь не продумано...»

А ведь он, отец Володи, один из тех, кто первым отказался воевать за царя; он был в Гражданскую комиссаром четырехста шестнадцатого револьвера, он слушал Ленина на Финляндском вокзале в Петрограде, видел его на броневике; у него на шее рубец от колчаковского осколка, у него именнные серебряные часы с надписью на крышке: *«За проявленную храбрость в боях с контрреволюцией»*.

И вот этот человек, т. е. *сама революция*, говорит: «Нет, что-то здесь не продумано...»

Другой рассказ из этого же цикла, «Хлеб для собаки», – о страшном голоде 33-го года, в разгар которого в Москве собирается съезд колхозников-ударников. На нем Сталин произнесет слова, ставшие на много лет крылатыми: «Сделаем колхозы большевистскими, сделаем колхозников – зажиточными!»

А в это время на железнодорожной станции, в березовом скверике, прямо на утоптаных дорожках, на уцелевшей (не съеденной) пыльной травке валялись и «подыхали» те, кого не считали людьми, – не колхозники, враги, кулаки, «куркули» – раскулаченные мужики из-под Тулы, Воронежа, Курска, Орла, со всей Украины.

«Куркули даже внешне не похожи на людей» – или скелеты, обтянутые морщинистой, шуршащей кожей, или студенисто разбухшие, раздутые так, что, кажется, вот-вот лопнут. Они грызут кору на деревьях, они запихивают в рот пристанционный мусор, от них идет трупный кислый смрад... «Походили на людей только те, кто успел помереть».

Им никто не пытается помочь – есть непреодолимая черта между людьми и врагами. Взрослые обходят скверик стороной, мальчишки (и среди них Володя Тендряков) наблюдают из-за заборчика – «ничто не могло задушить нашего зверюшечьего любопытства». Местный милиционер Вася Душой любопытствует по должности: «Как там? Никто не вы-

полз?» – его забота, чтоб умирающие не расползлись из скверика ни на перрон, ни на пути. Начальника станции, «красную шапочку», гложет забота иного рода: «Что же вырастет из таких детей? Любуются смертью! Что за мир станет жить после нас? Что за мир?» Месяц спустя он сам себе ответит на этот вопрос – пулей в висок... Вот цена катарсиса – собственная жизнь за муки и смерть ближних.

Маленького Володю Тендрякова тоже поначалу не тревожит, что в привокзальном березнячке умирают среди бела дня люди, – это *враги*. Это про них недавно сказал великий писатель Горький: «Если враг не сдается, его уничтожают». Они не сдавались. Что ж... за то и попали в скверик. Но не забудем, что он – маленький Володя – будущий *писатель*. И он все-таки дает «врагу» кусок хлеба, и это видит его отец, тот, который – сама революция.

«Шагнул на меня, положил на мое плечо тяжелую руку и спросил:

– Ты дал ему хлеба?

– Дал.

Я люблю отца и горжусь им. И всегда боюсь его молчания. Сейчас вот помолчит и скажет: «Я всю жизнь воюю с врагами, а ты их подкармливаешь. Не предатель ли ты, Володька?»

Но отец тихо спросил: „Почему этому? Почему не другому?“»

Еще далеко отцу до понимания, что человечность и милосердие – закон, всеобщее и последнее оправдание жизни, но что-то уже дрогнуло в душе отца, и он вынужден оправдываться перед сыном: «У страны не хватает на всех-то. Чайной ложкой море не вычерпаешь, сынок». Так, оказывается, эти несчастные *вовсе не враги*, их просто принесли в жертву *завтрашнему изобилию*. Но что за дьявольская арифметика, что за безумный счет такой?! Почему выбраны умирать *эти*?! И каким будущим изобилием могут окупиться эти жизни без вины виноватых сограждан?

В очерке «На блаженном острове Коммунизма», опубликованном посмертно, Тендряков пишет: «Глупость легко перерастает в аморальность: Черчилль, узнав от Сталина, что коллективизация в СССР достигнута ценой уничтожения и ссылки десяти миллионов – шутка сказать! – «маленьких людей», не ужасается и не осуждает, а благостно оправдывает:

„Несомненно, родится поколение, которому будут неведомы их страдания, но оно, конечно, будет иметь больше еды и будет благословлять имя Сталина“».

Заметим, что в равной степени можно здесь говорить и о перерастании аморальности в глупость, об элементарной исторической ошибке мудрого сэра Уинстона: нет у последующих поколений «больше еды», и не благословляют они, а проклинаят имя Сталина. Крестьянская мораль, исполненная природной, земной трезвости, всегда противилась этому дьявольскому «кредитованию» будущего благополучия кровью безвинно умирающих сегодня, восставала – скрытно или явно, с обрезам в руках, – против «сверхчеловеков», «крестоносцев духа», взявших себе право решать, кому завтра пожинать плоды, а кому нынче лечь в землю навозом. В последний период своего творчества Тендряков исповедовал именно эту мораль – и какой же большой шаг сделал он от комсомольского «обличения» Ряшкина и ряшкиных! Между тем, этот шаг можно было предвидеть – если б знать, что описанное в рассказе «Хлеб для собаки» пережито автором самолично. Этот ранящий опыт он уже не мог заживить в душе, рано или поздно такой опыт должен был прорваться – и заставить Тендрякова взвалить на плечо новую ношу.

Любопытно, не этого ли нового Тендрякова углядел Никита Хрущев, герой уже упоминавшегося очерка «На блаженном острове Коммунизма», где описывается одна из памятных нам встреч правительства с интеллигенцией?*

* На первой из встреч Хрущев во время обеда стремительно заложил за воротник и... покати́л «вдоль по Питерской» со всей русской удалью.

Сначала он просто перебивал выступавших, мимоходом изрекая сентенции: «Украина – это вам не жук на палочке!». И острил так, что краснел даже вечно бледный до зелени, привыкший ко всему Молотов. Потом огрел Мариэтту Шагинян, сказав ей: «А хлеб и сало русское едите!». Престарелая писательница строптиво ответила: «Я не привыкла, чтоб меня попрекали куском хлеба!», и демонстративно покинула гостеприимный стол, села в пустой автобус.

«Что это за старая ворона?» – поинтересовался Никита Хрущев.

Потом обрушился на Маргариту Алигер, повинную только в том, что вместе с другими участвовала в выпуске альманаха «Литературная Москва»: «Вы идеологический диверсант! Отрыжка капиталистического Запада!»

шиеся приглашения деятели искусства и литературы, оттирая друг друга, протискиваются поближе к «Хозяину» – здесь и тучный, обливающийся потом Софронов, и осанистый Соболев, бывший дворянин, выпускник кадетского корпуса, а ныне «беспартийный большевик», оттесняющий беспородного Грибачёва, и бывший князь Михалков, несравненный «Дядя Стёпа», он же автор гимна, – словом, «вся королевская рать», столпы отечественной культуры. Тендряков – стоит в стороне, всматриваясь в эту умильную, почти пасхальную картинку «единения», и вдруг...

«Вдруг через головы толкущихся я встретился с направленным прямо на меня – могу поручиться! – взглядом Хрущева. Он только что подпевал Майбороде: «Чому я не сокил, чому нэ летаю...» – только что добродушно улыбался, и лицо его, чуточку разомлевшее от жары, право же, выражало удовольствие. Сейчас я через головы видел уже совсем иное лицо – не размякшее, не отдыхающее, а собранное, напряженное, недоброе. Оно даже казалось изрытым от усталости, а взгляд, направленный на меня, – подозрительно-недоверчивый, почти угрожающий. Так могут смотреть только на врага.

Он никогда не видел меня раньше, знать не знал меня в лицо, не имел никаких оснований считать меня врагом. Но тем не менее».

Отдадим должное прозорливости наших вождей – спинным ли мозгом, гипоталамусом ли, они чувствуют чужое, враждебное им, таящее опасность. В данном же случае – среди взглядов умиленных, восторженных, раболепных показался враждебным, чужим, опасным – взгляд любопытствующий, наблюдающий. Взгляд человека, пытающегося что-то понять. Взгляд писателя.

Всего лишь несколько секунд продолжалась эта «дуэль», и Хрущев, уже добродушно улыбаясь, разговаривал с кем-то рядом, но Тендряков в эти несколько секунд многое понял в главе государства: улыбается, шутит, подпевает, вид отдыхающего человека, а внутри напряжен, настороженно-собирает, полон подозрительности. И Тендряков пожалел его: «А трудно же, оказывается, тебе, Никита Сергеевич. Так играют не от хорошей жизни». Отсюда уже не так далеко до понимания, почему слепая Фемида именно Хрущеву предоставила расправиться со Сталиным. *«Судьей палача стал человек, которого Сталин считал шутом».*

В новом Тендрякове поражает его уникальное зрение: он видит и событие, и то, что сделало событие неизбежным, и то, что породило самое неизбежность. Представим себе, как трудно, имея такое зрение, не высказаться при жизни!

Почему Тендряков держал свои произведения «в столе», не пускал в Самиздат, не пересылал на Запад?

Думаю, на этот вопрос мог бы ответить писатель Владимир Крупин, близкий к Тендрякову в его последние годы. В письме ко мне 1977 года, когда издавался на Западе «Верный Руслан» Г. Владимова, Крупин писал с горечью: «Я думаю, что это тоже не выход. Людям, издающим Г. Н., чужды наши боли, а тираж до России не доходит...» Не скажу, что Крупин оказался совсем неправ, а в то время это послужило причиной нашей размолвки: одни выбирали «западный вариант», другие – «восточный». Среди вторых бытовало мнение, что свою лепту в общий литературный процесс вносит не только то, что напечатано, но и то, что в столе, о чем известно только близкому окружению. Я это мнение не разделяла и не разделяю сейчас. Впрочем, сейчас время и «западникам», и «восточникам» примириться...

Искренность писателя не есть однажды и навсегда достигнутое состояние души. К искренности необходимо стремиться всю жизнь, пока длится творчество, через ошибки и заблуждения, шаг за шагом. Именно так происходило с Александром Твардовским, без сомнения, искренне славившим «отца народов», а затем с той же степенью беспощадной к себе искренности включавшим эти стихи в позднейшие сборники, выходившие в иные, «оттепельные» годы, – как вехи развития своего миропонимания. Более того, о своих тогдашних чувствах он горько поведал в поэме «За далью – даль», после того, как

...к позору всех людей
Вождь умер собственною смертью.

А ведь это так можно понять, что и к позору самого Твардовского...

Упрекал он себя и в том, что на долгие годы забыл – или старался забыть – о друге, судьба которого в «годы культа» сложилась трагично, забыл о крестьянской женщине, которая «в Москву шла за песнями», о мужике, о собственном отце Трифоне Твардовском, раскулаченном и согнанном с родной

Смоленщины. Последняя его поэма, которую называли «кулацкой», и была возвращением к этому больному для него, оставившему след на всей его жизни, «семейному» эпизоду.

Вспомним, что именно Твардовский был тем редактором, кто отважился напечатать статью В. Померанцева. По-видимому, проблема искренности занимала его глубоко. И так как в истории нашей литературы нельзя отделить Твардовского-редактора от Твардовского-поэта, вспомним слова Василия Шукшина, что его побудили писать о деревне не очерки Валентина Овечкина, Ефима Дороша или Георгия Радова, а стихи Есенина и Твардовского. Думаю, что и вся «деревенская» проза, лучшие произведения которой печатались в «Новом мире», повела свое происхождение от этих стихов и поэм.

Впрочем, не только «деревенская». Твардовскому принадлежит и одна из лучших книг о войне – «Василий Тёркин» (книга про бойца), о которой справедливо заметил Солженицын, что в ней автор, «не имея возможности сказать всю правду, останавливался в миллиметре от лжи». Несколько теплее и более восторженно говорил о «Тёркине» Бунин, да и поныне трудно найти бывшего фронтовика, для которого бы эта книга не осталась неизменно любимым чтением. Поистине, нужно было быть поэтом высочайшей искренности, чтобы при тех условиях, при заведомой необходимости создать «нечто оптимистическое» о страшнейшей из войн, «нечто жизнеутверждающее», – именно это и написать, и одновременно не сфальшивить, не слухавить, не оскорбить зубоскальством «русского труженика-солдата». Описать все его тяготы, страх смерти или увечья, и преодоление этого страха, и тысячи, тысячи мелочей фронтового быта столь верно, что тут действительно «ни убавить, ни прибавить».

Не говоря о других стихах, где тема войны выражена и резче, и трагичней – как, скажем, классическое «Я убит подо Ржевом», – «Василий Тёркин» как подлинная энциклопедия солдатской жизни оставит имя Твардовского в литературе надолго. Недаром строчки из «Тёркина» стали пословицами, поговорками, летучими выражениями, эпитафиями ко многим нашим военным книгам. Не имея задачи, да и компетенции, разбирать поэзию Твардовского, хочу сказать лишь о том, что самоупреки поэта, будто забыл он русского мужика, не столь уж основательны. Судить хотя бы по одному «Тёркину» – не забывал никогда. О том же говорит и вся его нелегкая жизнь,

трудный даже для него самого характер. Заблуждался, впадал в ошибки и в иллюзии своего времени, пытался себя убедить в том, во что поверить невозможно, но неизменно выходил с честью из всех кренов и соблазнов века. Точно бы в душе его всегда была некая магнитная стрелка, которая может указывать лишь одно направление, но не два и не десять.

Недавно два веселых критика, выступая по радио «Свобода», обогатили нас новым термином – «литературная литература». Насколько можно было понять, это такая литература, которая «служит сама себе»; главная ценность ее и цель – поиски новых форм, новых эстетических открытий. Вопросами этического плана, духовностью, нравственностью и прочими мерихлюндиями она себя не обременяет (хотя, заметим в скобках, никто так не ангажируется в политике и столько не говорит о ней, как именно наезжающие на Запад чистопородные эстеты). Симпатии наших критиков явно на стороне такой литературы, литературу же общественного звучания (употребим этот затрепанный, но всё же не умерший термин) они с достаточной долей презрения называли «той же идеологией, только с обратным знаком». Упомянуты были имена В. Гроссмана и В. Дудинцева, но, верно, лишь по недостатку эфирного времени; в этот же ряд естественно напрашиваются и Юрий Домбровский, и Борис Пастернак, и Даниил Гранин, и Александр Твардовский, и новый Тендряков, да и Анна Ахматова со своим «Реквиемом». То же, наверное, приложимо и ко многим авторам, избравшим «западный вариант». Что за беда, если этот «обратный знак» слишком дорого оплачен теми, чьи произведения только сейчас, в эпоху «гласности», смогли прийти открыто к российскому читателю, если за этот знак изрядко поломано хребтов – арестовывали и авторов, и рукописи, лишали куска хлеба, травили и прорабатывали, изгоняли из отечества? За все приходится платить. Авторы, многие из которых удостоились публикации на родине лишь посмертно, платят и по сей день – шлейф снобистского презрения тянется за их многострадальной литературой. Кажется, ко всему они были готовы, но такого – не ожидали...

Я, однако, не могу не разочаровать наших бойких критиков: никакого «обратного знака» в литературе не существует. Магнитная стрелка искренности указывает одно направление, но не два и не десять.

Литературный архив

Людмила К у р и л о в а

ВСТРЕЧИ С Н. К. ЗЕРОВЫМ

Воспоминания в письмах к Юрию Шевелеву

...А получили ли Вы «Вибране», М.* Зерова? Тех его книг, которые называете Вы (в своей библиотеке), я, к сожалению, не имею. Хотя очень хотела бы их иметь. Но у меня есть «Камена» с дарственной надписью автора. Есть подаренный им томик Ахматовой «Белая стая», переплетенный в красивый ситец с турецким рисунком, и тоже с надписью, сделанный мне подарок в сентябре 1930 г., ко дню именин. З-в был большой книголюб и эстет; ни у кого я не видала такой упорядоченной и красивой библиотеки, как у него. Все книги он отдавал в переплет своему постоянному переплетчику. Материал для переплетов З. выбирал всегда сам. У него был необыкновенный вкус. Помню, что в один из моих приездов в Киев З. пригласил меня пойти с ним в магазины и выбрать материалы для переплетов. Я поразилась, как умело и тонко он отбирал рисунки ситца, сатина, цветной коленкор, а в другом (хозяйственном) магазине – имитацию кожи – дерматин. Хотя он просил моего совета и одобрения, и я не была пассивной спутницей, а тоже участвовала в выборе, но я сразу поняла и почувствовала, что З. прекрасно мог обойтись и без моих советов: настолько умело, удачно, уверенно и красиво он сделал свой выбор, не пожалев и порядочной суммы денег. Хотя при этом добавил: «Котику зимнее пальто сшили, Соня тоже одета хорошо, а я смогу проходить еще один сезон и в старом пальто. Зато книги будут в полном порядке». Итак, я возвращаюсь к теме, интересующей Вас, и дорогой мне по воспоминаниям. Прежде всего – о датах русских стихов. Ведь наше знакомство, как я Вам уже писала, состоялось в 1927 году, в ав-

* Автор обычно называет Зерова по-русски: Николай Константинович. Здесь М., т. е. Микола. – Р е д.

густе, в доме отдыха научных работников Украины, в Буюрнусе (южный берег Крыма) над Гурзуфом. Стихи, которые присылал мне в своих исключительно интересных и содержательных письмах З., были и на русском, и на украинском языках. Письма не сохранились. Стихи тоже сохранились не все. Но даты тех, которые я Вам отправила, таковы:

«Склоняясь к блеклым чернилам»... – 1927.

«От ранних дней моих»... – 1928.

«Прозрачный хрупкий лед». – 1928.

«У старой мельницы». – 1928.

«О, да! Мне памятни раздумья»... – 1929.

«В поисках новых цветов»... – 1930.

«Как разгорелась ты»... – 1931-1932.

«О, Буюрнус»... – 1927-1933.

«Для вас, задумчиво-медлительной»... – 1934.

«Года идут и полагают грани»... – 1935.

«Джерела Качі». – 1927.

«На віддаленні»./Над синьоводою гірською Тебердою...

– 1928.

В Буюрнусе З. бывал, главным образом, в обществе знакомого Вам Викт. Плат. Петрова, киевлянина, с которым он жил в одной комнате, киевлянина же Захаржевского Валер. Петр. (доцента-хирурга и поэта, ныне члена Союза писателей) и в моем. Захаржевский скоро уехал – его срок кончался в первой декаде августа, – и осталось наше т р и о. К нему часто присоединялась еще моя харьковская приятельница Ефимова Зинаида Сергеевна, специалист по зарубежной литературе (ныне кандидат филол. наук, доцент Харьковского библиотечного ин-та), которую я познакомила с Зеровым и Петровым. За табльдотом сидели мы все вместе, было интересно и приятно, молодо и весело. Петров отличался разными чудачествами, особенно же любил щеголять изобретенными им афоризмами-парадоксами. Некоторые из них были удачны, остроумны, над другими мы все дружески подсмеивались. З. тогда же сочинил такую эпиграмму:

Виктор Петров непонятен,
В мыслях туманен своих.
Был бы он солнцем без пятен,
Если б немножко притих.

Вторую эпиграмму на него же придумали мы с З. вместе – по поводу двух маленьких происшествий с Петровым. Он очень любил кофе, о котором говорил, что он «должен быть крепким, горячим и сладким, как поцелуй», и которым однажды (когда ему подали такой кофе, какой он хотел) П. сильно обжегся. Второй случай произошел с ним же, когда он, споря со всеми нами, утверждавшими, что крымская земля иногда тверда, как камень, что ее надо хорошо удобрять и распушивать, и только тогда она приносит великолепные плоды, цветы, виноград, что работа на этой земле тяжела, что очень трудно, хотя и совершенно необходимо пользоваться киркой, – П. сказал, что все это чепуха, наши выдумки «городских жителей», и что вот, мол, он сам готов показать нам, как легко и просто работать киркой, распушивая землю. В это время как раз закладывались новые клумбы к осенним посадкам многолетних трав и цветов, рабочие ушли на обед, а мы все, поймав П. на очередном парадоксе, попросили его показать нам на деле, как это у него получится. Он взялся за кирку, размахнулся – и на втором ударе, не рассчитав, слишком высоко поднял ее и довольно основательно поранил себе лоб. Ранку сейчас же перевязали, смазав йодом, заклеили пластырем, и П. стал ходить «с заплаткой» на лбу. Мы вдвоем с Н. К. отметили эти два маленьких происшествия такую эпиграммой:

Виктор Петров невозможен:
Все парадоксом губя,
Сделался неосторожен, –
Ранил киркою себя.
Но за такие повадки
Был справедлив к нему Рок:
Кофе горячим и сладким,
Больно язык он обжег.

Петров не обиделся, не рассердился, наоборот: чувствовал себя «героем дня».

Когда говорили об удобствах и неудобствах очков (и П., и З. носили их постоянно, я тогда еще – только изредка), П. доказывал, что «каждый культурный человек должен носить их» и «носить, не снимая, постоянно», я – помню, – смеясь, спросила его: «А когда вы целуетесь, то очки снимаете?» – на что он не ответил прямо, но сказал мне: «Ваш вопрос очень хорош и любопытен, я помещу его в свой роман». И, действи-

тельно, прислав мне потом свой роман «Дівчинка з ведмедиком», сообщил, что мой коварный вопрос об очках и поцелуях вложен им в уста героини (читая роман, я нашла его). Дружба З. и П. со временем стала казаться мне вероломною – со стороны П.: позже я узнала, что он равнодушен к жене З., Софье Федоровне, интересной, красивой женщине. Наша же дружба с Ник. Конст. была так хороша, что и теперь, на склоне лет, я вспоминаю о ней с глубочайшим чувством признательности, благодарности и нежности. Между нами не было никогда интимной близости. Но было очень много доверия, родственности мыслей, чувств, вкусов, очень большая открытость, привязанность, настоящая человеческая теплота. Я до сих пор неутешно скорблю об утрате его писем ко мне – они были исключительны. Летом 1928 года, когда я отдыхала в Теберде, З. писал мне туда е ж е д н е в н о. Домой, в Харьков, он стеснялся писать мне так часто. Но здесь я была о д н а , Н. П. был занят в Харькове. З-в тоже был в Киеве о д и н . Жена его, с Котиком и няней, отдыхала на даче под Киевом, куда он наезжал на субботу и воскресенье. Там же отдыхал и Петров. Как я поняла вскоре, там же начался и роман Софьи Федоровны и Петрова. Роман оказался серьезным. Мне сказал о нем впервые (через год) один научный работник, Корнилович (бывший губернатор или помощник губернатора в царской Польше, а после революции – работник архива в Киеве). Но я и сама, познакомившись с женой Н. К., бывая в Киеве и в доме Зеровых, увидела и поняла многое, о чем он сам не хотел сказать мне прямо. Женился З. по любви. Он тогда только что окончил классическое отд. Киевского ун-та, С. Ф. была медицинской сестрой (шла Первая мировая война 1914-1918 года). Познакомились они случайно, в столовой; понравились друг другу, она стала его женой. Кажется, в 1924-м году родился сын, Константин, звали его «Котик». Мальчик был удачный; умненький, живой, красивый – лицом походил на мать. Я с большим удовольствием играла с ним, четырехлетним, «в блошки», в «путешествия», рассказывала ему сказки. И мальчик тоже рассказывал мне сказки и читал детские стихи. З-в довольно часто приезжал в Харьков, познакомился и подружился – на почве любви к классической филологии и общих интересов – с Николаем Петр., раза два оставался у нас. Я тоже ездила в Киев, мы виделись довольно часто; один раз я даже воспользовалась любезным

приглашением Зеровых и остановилась у них в доме. Вышло не совсем удобно, так как жена с мальчиком и няней утром уехала на дачу, и мы с Н. К. были в квартире одни. Но ничего, что могло бы испортить нашу светлую дружбу, не случилось. Хотя я и помню всё, до мельчайших подробностей, так, как будто это было только вчера...

Так шли годы. Встречи наши и переписка продолжались все время (с 1927-го по 1934-й год) с различными интервалами. Ник. Конст. знал о том, что жена ему изменяет, и очень страдал. Но рвать отношения с нею не хотел из-за сына, которого любил необычайно. Ко мне он относился не только дружески. Он был всегда подчеркнуто внимателен ко мне, часто – и обо всём – писал, дарил мне книги, дорогие конфеты и цветы, при встрече и прощанье всегда целовал руку, а в письмах писал в конце: «Руки целую обе». У меня сохранились его фотографии с теплыми надписями. Его внимание, доброта, теплота и нежность не оставляли во мне никакого сомнения в том, что он любит меня. Один раз у нас даже был разговор на эту тему, хотя и завуалированный. Мы сидели вдвоем на диване в его кабинете в Киеве. Был почти летний вечер, хотя было уже начало сентября. В квартире никого, кроме нас, не было. В открытое окно врывается легкий ветерок, голубели сумерки, чудесный аромат шел от красных и белых роз на столе. В столовую были открыты двери, там горела лампа над обеденным столом, но здесь, в кабинете, З. не захотел зажигать огня и спросил у меня об этом. Я не возражала. Тогда он сказал, что хочет прочесть мне «стихи со значением». «Ваши?» – спросила я. – «Нет, Фета. Но их надо понять так, как будто они мои». – «Читайте». И он стал, взяв обе мои руки в свои, читать: «Я тебе ничего не скажу / И тебя не встревожу ничуть / И о том, что я молча твержу, / Не решусь ни за что намекнуть. / Целый день спят ночные цветы, / Но лишь солнце за рошу зайдет, / Раскрываются тихо листья, / И я слышу, как сердце цветет. / И в больную усталую грудь / Веет влагой ночной... я дрожу. / Я тебя не встревожу ничуть, / Я тебе ничего не скажу». Когда он кончил, мы долго молчали. Потом, наконец, он спросил меня: «Вы меня поняли?» – «Кажется, да», – ответила я. «Так мне ничего и не говорить вам?» – снова спросил он. «Да, лучше ничего не говорить». – «Вы любите Николая Петровича?» – «Да. Но ведь и вы любите Софью Федоровну». – «Я очень любил ее, – сказал он с дрожью в голосе, – но она теперь любит

другого». – «И все же не будем больше говорить об этом. Ведь у вас есть еще Костик. Котик ваш», – добавила я. «Да, Котик. Его я люблю больше всего на свете». – «Ну, вот и хорошо. И кончим об этом». – «Хорошо. Кончим». Он глубоко вздохнул, молча и быстро, чуть-чуть прикасаясь губами, поцеловал обе мои руки, порывисто встал и вышел на балкон. Я молчала и не двигалась, мне было нелегко. Когда, через десять минут, он вернулся в комнату, то сел подальше от меня, в уголок дивана, и сказал: «Теперь я буду читать вам другие стихи». – «Пожалуйста, я очень люблю всё, что вы читаете, а также – к а к вы читаете». И мы переключились на другой, отвлеченно-поэтический лад, и я тоже читала ему Гумилева и Мандельштама, Ахматову и Есенина. И больше на тему об отношениях между нами в таком плане мы никогда уже не говорили.

...Теперь возвращаюсь к рассказу о Зерове. Вот у кого была редкая, блестящая память! На своем (теперь уже довольно длинном) жизненном пути я встретила двух человек, поразивших меня своей эрудицией и памятью, – это – Зерова и Александра Ивановича Белецкого. Булаховский тоже был блестящ, но, главным образом, в области лингвистики. Оба они, Зеров и Белецкий, владели самой точной и, пожалуй, самой редкой памятью. Еще из университетских лекций помню, что психологи почти всех стран мира сходятся – в общем – в том, что существует ч е т ы р е вида человеческой памяти. *Первая* память – самая плохая: человек медленно запоминает и быстро забывает. *Вторая* память лучше: человек запоминает медленно, но помнит долго. *Третья* память, как считают, самая распространенная: человек быстро запоминает и столь же быстро забывает. Наконец, *четвертый* вид памяти – самый редкий и самый лучший: человек очень быстро запоминает и очень долго помнит.

Вот у Белецкого и Зерова была именно такая блестящая память, – по крайней мере, в области филологии я не встречала людей с лучшей памятью... У меня в юности была неплохая память, но все же, как я теперь понимаю, это был скорее всего *третий вид памяти*, когда запоминаешь легко и свободно, очень быстро, но помнишь, в общем, не так уж долго, не так прочно. Только на стихи у меня была, может быть, наилучшая память, потому что очень многое из того, что я знала и лю-

била в юности, я помню наизусть до сих пор. Зеров же был и в этой области совершенно непревзойденным и непобедимым. Хорошо запомнился мне один случай, о котором расскажу подробно. В один из своих приездов в Харьков, Зеров, после прочитанной накануне блестящей лекции «К вопросу об украинской литературе», названной так скромно, но по существу поразительной по широте, глубине, искренности и оригинальности охвата (тогда я, кажется, впервые поняла по-настоящему, *насколько одарен и талантлив* этот человек), был приглашен на следующий день Николаем Петровичем к нам. Помню, что делалось в вечер его лекций в харьковском Доме ученых. В зал не было никакой возможности войти – столько было народу. Открыли левые двери в маленькую гостиную перед залом, открыли правые двери в коридор и на площадку, – и везде, везде сидели, стояли, толпились люди, сидели на подоконниках, на столах, на ручках кресел, толпились на лестничной площадке – так хотели слышать Зерова. После лекции было много вопросов, много записок – он отвечал на все быстро, четко, блестяще.

Потом его окружили, звали к себе, а он благодарил и отказывался. Впрочем, помню, что в тот приезд (так он сказал) он был у Шамрая и Хвылевого. Был также в университете. Принимали его везде тепло. Я бы сказала: не только тепло, но горячо, восхищенно. Были в публике, конечно, и недоброжелатели Зерова. Среди вопросов были и трудные, и коварные. Было, помню, несколько записок явно провокационного характера. Но на все, на все эти «подвохи» Ник. Конст. реагировал выдержанно и спокойно, отвечал умно, тактично, с редкой находчивостью, быстрым пониманием подтекста (или завуалированности), иногда очень остроумно. Словом, все его «недруги» потерпели полное фиаско, а сам З-в поднялся после своей лекции на недостижимую высоту и как научный работник, профессор, и как гражданин, и как человек. И вот Ник. Конст. нашел в своем очень загруженном расписании дня время и для нас – и пришел, как обещал, точно в 12 дня. Я сварила для него хороший черный кофе, настоящий «мокко», который он любил и который в те далекие времена был у нас редкостью.

После легкого завтрака и кофе, во время которого Зеров разговаривал главным образом с Николаем Петровичем (я хозяйничала и все время бегала на кухню), З-в посмотрел

книги Николая и мои и одобрил их, потом обошел квартиру и посмотрел во все окна, отозвавшись очень своеобразно о виде из каждого окна. Похвалил расположение комнат и то, что окна выходят на восток, юг и запад – и нет ни одного окна на север, погладил нашего коричневого доберман-пинчера, любимую нашу собаку Ласку, которая (вопреки своему обыкновению) сразу «признала доброго человека» в нашем госте, а затем предложил нам пойти всем вместе в парк, на что мы, конечно, охотно согласились. Пока я убирала со стола и быстренько мыла посуду, мужчины сидели в кабинете у Н. П., смотрели книги, вели свой мужской разговор. Николай сидел за своим письменным столом, Зеров – напротив, на диване; Ласка лежала у его ног на паркете, иногда З. гладил ее по голове, и она милостиво разрешала ему это. (Недаром говорят, что дети и животные, особенно собаки, «чувствуют хороших людей».)

Потом мы пошли в парк, взяли с собой, конечно, и Ласку. Это был незабываемый день. Стояла чудесная «пушкинская» золотая осень – было начало октября, – еще совсем теплая, тихая, солнечная. День был голубой и прозрачный, деревья стояли еще в листве, трава была зеленой, на клумбах пышно цвели разноцветные звезды астр. Народу в парке было мало. Но мы всё же ушли с центральных праздничных аллей вглубь парка, направо; сначала в аллеи кленов и каштанов – самых красивых деревьев осенью, – уже тронутых золотом и пурпуром увядания, но еще прекрасных в своей умирающей красоте, а потом уже – в густые молодые посадки, ведущие к лесопарку, к маленькому озерцу и большой зеленой полянке возле него. Здесь мы и уселись все на стволе недавно срубленного дерева, только Ласка, счастливая от этого приволья, полнейшей свободы и присутствия обоих хозяев, бегала в полном собачьем восторге, то исчезая, то вновь появляясь возле нас. Оба Николай, мой и не мой, оживленно разговаривали. О чем? Сейчас я уже не помню. Может быть, об одах, эподах, сатирах и посланиях Горация или об «Энеиде» Вергилия, может быть, о Сапфической или Алкеевой строфе. Но беседа лилась легко, непринужденно. Потом заговорили о современной русской поэзии, о символистах, акмеистах и, наконец, начали шуточный спор: кто больше помнит стихов. Николай Петрович, не желая терпеть поражения, сразу от этой игры отказался. Посоветовал и Зерову: «Вы лучше с ней не связывайтесь, проиграете – она (это я) знает дьявольски много стихов на

память, просто устанете слушать»... – «А вот посмотрим, кто знает больше, – сказал задорно Зеров, – посмотрим». – «Ну, так держим пари», – дерзко отозвалась я. «Хорошо, но только à discretion, иначе не интересно». – «Идет», – не унималась я. «Смотри, ты рискуешь», – предупредил меня муж. «Риск – благородное дело», – отвечала я. Мы подали, как полагается при заключении настоящего пари, друг другу руки, Николай Петр. «перебил», и Зеров сказал ему: «Вы и свидетель в нашем споре, и арбитр». Договорились так: читаем по очереди; длинных стихов не читаем (это предложил Перегинец); если кто забудет текст, это стихотворение не зачитывается вовсе; если лишь мелкая неточность – зачитывается; если мы оба знаем одни и те же стихи, то тот, кто, согласно очередности, начал его, читает стихотворение до половины, кончает же его другой; Николай Петрович в своей записной книжке ведет на каждого чтеца «лицевой счет», затем он же подведет итог. И мы начали наше соревнование, сначала шутя и улыбаясь, а потом серьезно и увлеченно. Читали Блока, Бунина, Брюсова, Бальмонта, Гумилева, Ахматову, Соллогуба, Цветаеву, Есенина, Багрицкого, Мандельштама и других.

После 20 стихотворений, прочитанных каждым из нас, Ник. Петр. предложил сделать перерыв. Мужчины ушли пить пиво в киоске, я гуляла и играла с Лаской. Нашла несколько поздних ромашек и два колокольчика. Когда мужчины вернулись, Зеров, увидя в моих руках скромный букетик, с ходу начал: «*Пушкин. Цветы последние милей / Роскошных первенцев полей, / Они унылые мечтанья / Живее пробуждают в нас*», – а я закончила: «*Так иногда разлуки час / Живее самого свиданья*». – «В заключительных строках есть разночтения, – добавил Зеров: – Живее с л а д к о г о свиданья, – именно так в последних изданиях». – «Ведь это более логично», – заметил Н. П. «Ну, как сказать», – отозвался Зеров. «Вероятно, бывает по-разному», – вставила реплику и я, а втайне была очень смущена: ведь я не знала этого словесного варианта, существенно меняющего смысл концовки, а Зеров з н а л. Во втором отделении нашего «соревнования» мы перешли на поэтов XIX века. Читали Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Майкова, Плещеева, Апухтина, Надсона, Лохвицкую, Щепкину-Куперник и др. Когда дошли до 40 стихотворений на каждого из нас, Ник. Петр. предложил, за поздним временем (солнце уже близилось к закату), считать наш спор закон-

ченным «вничью», на что мы оба согласились. Все мы немного устали, даже веселая неутомимая Ласка прилегла в траве. Кроме того, все проголодались. Решили ради такого дня «попировать» и пошли пообедать в ресторан «Динамо», благо, он был совсем близко. В зал с собакой нас не пустили, мы устроились на террасе. Меню не помню, помню только, что обед был вкусный и вино хорошее. Настроение было у всех нас самое отличное, говорили о поэтах и только что прочитанных стихах; я призналась, что не знаю на память ни одного стихотворения Иннокентия Анненского (хотя читала их в сборнике), а Зеров **з н а л н а п а м я т ь**. Он тоже признался, что не помнит ни одного стихотворения М. Кузмина наизусть (я читала кое-что из его сборника «Александрийские стихи») и жалеет об этом. Н. Петр. сказал, что он получил огромное удовольствие, слушая нас, назвал наиболее понравившиеся ему вещи. Тут же добавил, что интересно было бы все же выяснить, **к т о** же из нас знает больше наизусть. Зеров, вообще очень скромный, но теперь немного возбужденный нашим поэтическим состязанием и вином, сказал просто: «Конечно, я. Ведь я знаю еще больше украинских стихов, знаю и греческие и латинские, немножко французских и немецких». Я молчала. Ведь «немножко французских и немецких» я помнила только из моего школьного репертуара, украинских знала позорно мало, римских и греческих поэтов знала только в переводах и наизусть не помнила. Мне стало совершенно ясно, **к а к** мне далеко до Зерова.

Увидев, что я погрустнела, Зеров сказал, что все же у меня отличная память и очень хороший поэтический вкус, что он впервые в жизни встретил женщину, так любящую поэзию, знающую и понимающую ее. Затем добавил: «Вот, например, моя жена к стихам совершенно равнодушна». – «А к вашим?» – спросил Ник. Петр. – «А к моим относится часто скептически, – редко-редко когда похвалит. Впрочем, и хвалить-то, действительно, не за что». – «Ну, это уже смирение паче гордости, – возразила я, – у вас очень хорошие стихи». – «Ими интересуются и будут их читать разве после моей смерти», – сказал Зер. с некоторой горечью. Ник. Петр. постарался переменить тему, и хорошее настроение снова вернулось к нам. Я накормила Ласку, положив остатки нашего пиршества на траву возле террасы, мужчины заказали еще лимонад и чай с лимоном. Возвращались из парка мы уже в сумерках. Ник. Петр.

сел на трамвай (хотя до дома научных работников на ул. Дзержинского была только одна остановка), чтобы забежать домой за портфелем и не опоздать на лекцию: у него были вечерние часы. Зеров же и я с Лаской пошли пешком. Он проводил меня домой и поднялся даже на пятый этаж, но, хотя я и предлагала ему, в квартиру больше не вошел. На площадке никого, кроме нас, не было. Зеров попросил у меня один колокольчик из моего скромного осеннего букетика. И когда я дала ему лучший, более крупный и еще яркий, вынул из пиджачного кармана записную книжку, поцеловал цветок и положил его в книжку со словами: «Это будет память об одном из самых счастливых дней в моей жизни. — И добавил грустно: — А их у меня так мало». Затем он поцеловал обе мои руки с тыловой части и в ладони, сказав: «Думайте обо мне хоть изредка, ведь я думаю о вас постоянно», — погладил на прощанье Ласку и быстро, не оглядываясь, спустился с лестницы.

* *
*

20. 7. 1967.

...После памятной встречи в Харькове, длительной прогулки в парке и стихотворного соревнования мы встречались еще не один раз. Зеров приезжал в Харьков еще и еще, я тоже бывала в Киеве. Тем его лекций я теперь уже не помню точно. Кажется, одна из них была скромно названа «К вопросу о современной украинской литературе» («До питань сучасної української літератури»), но под этим сдержанным заголовком было затронуто столько вопросов, рассмотрены произведения стольких авторов, столько было интереснейших сравнений, анализов, цитат наизусть, такое было поднято богатство материалов самого высокого качества, такие неожиданные и серьезные выводы и обобщения были сделаны, что слушатели (а в их числе и я) только диву давались, пораженные этой невиданной эрудицией и редким, буквально захватывающим мастерством изложения. Очень хорошо отвечал З. и на записки и на каверзные вопросы, которые присылали ему во время лекций анонимные слушатели. Ответы Зерова никогда не были ни грубыми, ни резкими, но всегда полноценными, иногда

уличающими в невежестве, незнании материала, – часто были шутливыми, остроумными настолько, что вызывали аплодисменты. Украинские читатели уже знали работы Зерова «Нове українське письменство», хорошо была принята и его книга «Від Куліша до Вінниченко». Но споры вокруг имени Зерова разгорались постоянно. Мне кажется, что они особенно сильно распространились после напечатания в одной из харьковских газет писателем Хвильовым, одним «мечтателем» (такова была его кличка в Харькове) из самой одаренной украинской молодежи, обширной статьи, в которой он достаточно резко ставил вопрос, что нужнее для украинской литературы – Европа или же «Просвіта», группировавшая тогда вокруг себя поэтов и писателей. Хвильовый упрекал «просвітян» в узости интересов и кругозора, в недостаточной образованности, в плохом знании национальной и мировой культуры, в пренебрежении к общепризнанным авторитетам античной и всеобщей литературы, даже в малограмотности, плохом знании родного языка, его законов и грамматики и т. д., а в конце статьи делал вывод, что Украине не мешает поучиться и у Европы, и у мировой литературы, чтобы достичь украинским писателям того уровня, на котором стоят, например, Зеров и Рыльский, и которых он, Хвильовый, считает безусловно «европейцами» в самом полном и светлом значении этого слова, вместе с тем патриотически дорожащими идеалами и национальной культурой своей родины. Как известно, в результате поднявшейся (после этой статьи) травли, Хвильовый застрелился. Вся общественность была очень взволнована его самоубийством. Я была на похоронах Хвильового. Не забуду той атмосферы официальной сдержанности, которая царила вокруг. Тычина, который сказал краткое слово у гроба, закончил его такими словами: «Хай буде пухом тобі земля, на якій ти жив і помилявся». Предсмертное письмо Хвильового было конфисковано, его не опубликовали. Позже застрелился Скрыпник, нарком просвещения. И до сих пор я не знаю, почему это случилось, но ходили слухи, что ему угрожал арест тоже за его якобы склонность к «европеизации».

Наша переписка и встречи с Ник. Конст. продолжались. Как бесконечно жаль мне этих утраченных продолговатых листков (он писал на обычных полулистах бумаги для пишущей машинки, сложенных пополам), полных творческой мысли, всегда содержательных, описывающих его текущую

работу, очередное литературное увлечение, пересыпанных цитатами, стихами, всегда тонких, сдержанных, но вместе с тем милых, ласковых и нежных! В Киеве у Зерова была приятельница, его бывшая студентка и поклонница, Кошешая, Людмила Васильевна. По окончании вуза она стала преподавать украинскую литературу в одной из киевских школ, но и тогда продолжала общаться со своим любимым учителем. Помню, что в одном из писем – к дню моих именин – Зеров написал мне: «У меня есть две приятельницы Людмилы, одна живет в Киеве, другая в Харькове. Одна из них, киевлянка, очень привязана ко мне, и я, стараясь не быть жестоким, отношусь к ней доброжелательно, но в глубине души остаюсь холодным и равнодушным. Эта женщина, по существу неглупая и неплохая, совершенно не в моем вкусе, несмотря на то, что я нравлюсь ей все больше и больше. Я бываю у нее, хотя больше для того, чтобы возбудить ревность Сони, дать ей реванш. Но эту киевскую Людмилу я не люблю и не полюблю никогда. А в Харькове есть другая Людмила. И здесь наши отношения обратно-пропорциональны. Для меня она бесконечно дорога – и как мой лучший друг, и как женщина. Я очень привязан к ней, нет, это не слово... но то слово, которое так хочется сказать ей, которое часто почти готово сорваться с моих губ, должно быть, никогда не скажется. Потому что она, эта женщина – полностью в моем вкусе, – равнодушна ко мне. Не желая тоже быть жестокой, она и приветлива, и доброжелательна, но это совсем не то, что нужно мне. Она не любит и никогда не полюбит меня, потому что она любит другого. Значит, так тому и быть»... Эти строки не могли не запомниться мне...

Я никогда не встречалась с женщиной, носившей одинаковое имя со мною. Хотя она была старше меня, но ее (вероятно, еще по традиции студенческих лет) Зеров называл «Люсей», т. е. уменьшительным именем, в то время, как меня – пусть более молодую, но замужнюю женщину – он звал всегда по имени и отчеству, а если не хотел быть очень официальным, то обращался без имени: «дорогая», «моя хорошая», «моя добрая», «милый друг», «дорогая моя, далекая», «далекая и близкая» и т. п. И все же, хотя я никогда не видела Людмилу Кошевую, я знала о ней многое по рассказам Зерова. Как ни далек он был от «дон-жуанства», но, конечно, ему была приятна ее безграничная привязанность. В трудную минуту Зеров

мог быть уверенным в ее понимании и сочувствии, – кроме того, общность литературных интересов непрерывно питала это давнее знакомство. Она бывала и в доме у Зеровых, но между ею и женой Зерова была такая глубокая антипатия, что ее трудно было скрыть. Поэтому она чаще и охотнее виделась с Зеровым у себя. Замуж Кошечкина не вышла, была одиночка, жила с сестрами, имела отдельную комнату. Как я понимала из некоторых сдержанных и по-мужски благородных рассказов о ней Зерова, она одно время надеялась, что Зеров, разведясь с Софьей Федоровной, женится на ней, но он не только не мог и не хотел этого, но был бесконечно далек даже от подобной мысли. Он, конечно, знал о неверности жены, безмерно страдал от этого, но хотел сохранить семью – ради сына. Котика он любил страстно. Почти в каждом письме ко мне писал он о нем хоть коротко, хоть несколько слов. Мальчик, действительно, был чудесный. С большими темно-карими красивыми глазами матери, но общим складом лица, напоминавшим отцовское, умом и характером он был вылитый «маленький Зеров». Мне доставляло большое удовольствие беседовать с ним, слушать его недетские рассуждения и вполне детские шутки, играть с ним в «блошки», при чем он неизменно обыгрывал меня, рассказывать ему различные мальчишеские истории, до которых он был большой охотник. Сам он знал массу сказок, стихов, очень быстро научился читать, прекрасно и образно обо всем рассказывал, память с ранних лет имел блестящую, отцовскую.

У него был очень приятный, звонкий и чистый голос, манера смотреть в глаза собеседнику совершенно прямо (что вообще редко бывает у детей, обычная живость которых не дает им этой возможности сосредоточиться), а вместе с тем – какая-то милая и скромная застенчивость, совершенно вас покоряющая. У меня с Котиком были очень приятельские отношения. Никогда не дарила я ему дорогих игрушек, но всегда то, что я ему приносила: переводные картинки, цветные мелкий или карандаши, плавающих за магнитной палочкой оловянных гусей и уток, альбомчики для самостоятельного раскрашивания и т. п. пустяковые вещи – неизменно занимали его внимание и пользовались большим успехом. Котик хорошо знал меня, всегда узнавал при встречах, называл «тетей Людой», радовался, когда я, приезжая в Киев, навещала их. Софья Федоровна, которая отлично знала и о нашей

дружбе с ее мужем, и о нашей переписке (ведь я писала ему всегда по домашнему адресу и никогда «до востребования» (как просили иногда некоторые другие мои женатые знакомые), тоже с самого начала нашего знакомства отнеслась ко мне доброжелательно и как будто искренне. Она мне тоже понравилась. Кроме ее несомненно очень привлекательной внешности, было в ней что-то с в о е: не было ни трафарета, ни серости. Она не ревновала меня к Ник. Конст., чувствуя, очевидно, своим женским чутьем мою полную безопасность. Но я уверена, что все-таки *всей сущности* наших отношений и нашей дружбы она не знала. И это, вероятно, было хорошо.

Знал о нашей дружбе и большой приятель Зерова – Рыльский (они были на «ты»), с которым я познакомилась как-то летом в доме Николая Константиновича (жена и сын с няней были на даче). Рыльский подшучивал над одной картиной, висевшей на стене, говорил, что она напоминает ему те, что висят обычно в пивных. Зеров не обиделся, заявив, что когда у него будет столько денег, сколько у Рыльского, он приобретёт самые лучшие оригиналы. Картина была вовсе не так плоха, и я вступила в разговор, защищая и ее, и Зерова. Позже Рыльский сказал мне, что ему очень это понравилось, как и наше первое знакомство, что Зерову очень повезло в отыскании такого друга-женщины, как я, и что он очень одобряет нашу дружбу и даже немного ей завидует. «У мене, наприклад, з жіночою дружбаю – завжди багато помилок, а у вас обох – я бачу і чую – такий вірний тон». Не раз я встречалась с Рыльским и тогда уже, когда Зерова не было. И он всегда относился ко мне исключительно. У меня сохранилась его книжечка «Велика година» (1943), на которой авторская надпись «...з сердечною приязню», записка на листе из блокнота с типографским штампом «Академик Максим Тадеевич РИЛЬСЬКИЙ», несколько сборничков стихов без надписей – подарки его и Зерова.

Мы часто бродили втроем по Киеву, при чем оба поэта старались показать мне все самое примечательное, блистали знаниями исторических данных о Киеве, а также знаниями по вопросам архитектуры. Зеров, мне кажется, был с и л ь - н е е, хотя Рыльский умел говорить п о э т и ч н е е. Помню, что мы бывали в Софиевском соборе, в Андреевском, во Владимирском, в Лавре, на могиле Кочубея и Искры, у Золотых ворот, на Владимирской горке, которая мне особенно

навивалась, – сидели подолгу у памятника Владимиру, любовались Днепром и далями. Говорили обо всем, но больше всего о литературе, и, конечно, читали стихи...

Вспоминаю, что Зеров в каждое свое письмо мне что-нибудь вкладывал. Это была травинка или красивый листок каштана, клена, дуба, березки, первый подснежник или фиалка, какой-нибудь другой цветок. Бывали часто и фотографии-открытки с видами Киева. К счастью, они сохранились. Недавно я собрала их вместе, налицо оказалось 30 видов Киева. На обороте каждой открытки – собственноручная надпись рукою Зерова, поясняющая изображение. Например: «Набережная (Подол). Слева – гавань, посередине – Днепр, слева рукава Десны (т. н. Десенка)». Или: «Голосеево. Дорога в Преображение и в Китаев». Или: «Вид с Владимирской горки (верхняя беседка). Виден Труханов остров, Слободка, откосы Царского сада и площадка Купеческого собрания». (В те годы, как видно, еще были сохранены старые городские названия.) Но, вместе с тем, Зеров видел и ценил в Киеве и новостройки. Так, например, на одной из открыток им сделана такая надпись: «Подол с Владимирской горки. За полоской воды (снято в разлив, урочище Наталка и новая электрическая станция).

Но ярче всего говорит об этом прекрасный зеровский сонет, написанный на обороте одной из этих фотографических видов Киева. Он вошел в его книгу: «ВИБРАНЕ» под заголовком «Будівниківі». – Привожу его здесь:

Ще прийде він, не архітект – поет,
Старих будівників твердий нащадок, –
У камінь білих сходів і площадок
Оздобить кожний прияр і бексет.

Зламає будівельний трафарет,
Безстильних років соромітний спадок,
Злетить над городом на крилах гадок
І вроду-бранку визволить з тенет.

Сади нагоряни, луги відлегли –
В бетоні, склі і ясножовтій цеглі –
Простелить творчости нової тло;

Огнями ночі процвітуть перлисто...
І скажуть: ми – не прадідне село,
Ми – днів прийдешніх величає місто.

1930

Этот сонет о Киеве – тонок и прекрасен, кроме того, он просто поражает теперь, как некое «предвидение».

Как-то я отдыхала в доме отдыха научных работников под Киевом, в Преображении. Зеров навещал меня там через каждые два-три дня. Утром он работал дома, а приезжал уже обычно под вечер, после обеда, часов в 5-6. Это тоже были прекрасные часы. Дом отдыха помещался в зданиях бывшего монастыря. На входе тогда еще сохранились изображения святых. Монахов давно не было, но один старенький иеромонах, «отец Матвей», работал при доме отдыха чернорабочим. Он носил воду, пилил и рубил для кухни дрова, подметал двор, везде убирал, – за это его кормили. Жил он в сарайчике у входа на кладбище. Там была им уже приготовлена для себя могила и стоял даже крест с надписью: «Иеромонах Матвей (фамилии уже не помню), родился в таком-то году, умер в...» – было оставлено свободное место для надлежащей даты смерти. Помню, что меня это просто потрясло. Я была еще молода, полна сил, здоровья, жизни и надежд, о смерти не думалось еще. Но Зеров, помню, сказал: «Какое красивое место выбрал себе старик!» (Место действительно было замечательное – среди молодых зеленых кленов и с плакучей ивой у изголовья, – в самом отдаленном уголке кладбища.) И добавил: «Я бы, пожалуй, тоже не отказался от такого места». Но я, расстроенная до глубины души, рассердилась и сказала: «Нет, вам поставят дорогой мраморный памятник, сделанный каким-нибудь известным скульптором». – «Кто знает? – задумчиво и грустно ответил Зеров, – может быть, это будет безымянная и забытая всеми могила».

Я часто вспоминаю теперь эти пророческие слова. Ведь место последнего успокоения Зерова неизвестно и по сей день...

В те дни мы много гуляли по вечерам в Голосеевском лесу, сидели на чудесных полянках, на пенечках, на бревнах спиленного сухостоя, иногда просто на зеленой траве-мураве, среди множества цветов. Зеров знал название каждого поле-

вого цветка и экзаменовал меня, но я, конечно, «с треском проваливалась», т. к. умела различать только ромашки, полевые маки и васильки. Он собирал для меня очень красивые букеты полевых цветов, но я почему-то ставила их не у себя в комнате, а в общей столовой. Может быть, это был недостаток чуткости, обычный в молодости, а может быть, — некоторая защита от любопытствующих посторонних. Но кое-что помнится. Когда я уезжала из Преображения, отец Матвей, с которым и Зеров и я были в самых добрых отношениях, постоянно общались и беседовали на самые различные темы (особенно после того, как он показал нам свою могилу), внес в автобус, отвозивший в Киев «отдохнувших», и мой чемоданчик, а вместе с ним — букет чудесных чайных роз. Я сразу узнала их. Они были срезаны в заброшенном монастырском саду. В то время никто не занимался этим садом, он был безнадзорным. Никто не смотрел за ним, дорожки поросли травой, кусты прекрасных роз дичали, носить из колодца ведрами воду никому ни из обслуживающего персонала, ни тем более из отдыхающих не хотелось. В один из своих приездов в Преображение Зеров первый, бродя со мною и отцом Матвеем по этому гибнущему прекрасному саду, обратил внимание на плачевное состояние розовых кустов. На другой же день рано утром о. Матвей расчистил площадку розария, обрезал сухие ветки, разрыхлил землю под кустами, полил их обильно. Зеров стал привозить ему из города какие-то таинственные бумажные мешочки, оказавшиеся химическими удобрениями, порошки от зеленой тли, подарил старику большие садовые ножницы — и каждый раз наведывался в розарий и беседовал со стариком. Теперь о. Матвей стал и садовником, и хозяином сада. Он привел его в порядок, вычистил дорожки, даже сделал собственноручно из старых досок две скамеечки. За розами он ухаживал особенно тщательно; они на наших глазах стали зеленеть, поправляться, покрылись обильными бутонами и теперь цвели роскошно и пышно. Мне вся эта история с садом и розами ужасно нравилась. Я тоже стала рано вставать и иногда помогала старику в поливке цветов. Нравилась мне очень и роль Зерова в этом деле. Еще с одной новой — до сих пор неизвестной мне — стороны открылся для меня этот разносторонний и привлекательный человек...

И вот теперь в моих руках были эти чудные розы. «Это не от меня, а по заказу профессора, — пояснил мне отец Матвей. —

Хороший он человек, этот профессор, такой хороший, я его уже много лет знаю. Может, он и не верующий, но к людям относится как истинный христианин, дай ему Бог здоровья». — «А труд ведь был ваш», — сказала я, — и стала доставать из сумки портмоне, чтобы дать старику денег. Но он остановил меня: «Не трудитесь, пожалуйста, я ничего не возьму, — остановил он мой жест, — мне человеческое отношение всех денег дороже, да и их я уже довольно от профессора получил. Ну, счастливый вам путь, и Христос с вами!» — напутствовал меня на прощание отец Матвей. Я была очень тронута и сердечно благодарила старика, крепко пожав его рабочие, натруженные руки.

В Киеве, выйдя из автобуса, я направилась, как было условлено, на квартиру к Зеровым. Он уже ждал меня. Поезд мой на Харьков уходил утром, в гостиницу попасть было невозможно. Я решила снова (раньше тоже бывало так) воспользоваться любезным приглашением его и его жены и провести эту ночь у них. Но оказалось, что Софья Петровна поспешила на дачу, и Николай Константинович был дома один. Несмотря на некоторое неудобство сложившейся ситуации, я провела прекрасный вечер под этой гостеприимной кровлей.

На столе стоял другой букет роз, городских, алых, поставили в вазу и «преображенские» розы, и комната наполнилась чудесным их ароматом. Зеров угостил меня ужином, вина не пили, был чудесный, заваренный по особому, «зеровскому» рецепту, душистый и крепкий чай.

Потом было рассматривание книг, фотографий, художественных репродукций, задушевная и теплая беседа; конечно, были стихи. Было много искренности, хорошей и большой откровенности, нежности. А позднею ночью — спокойный и чистый сон в разных комнатах: он — в кабинете, на диване, я — в спальне, на постели Софьи Петровны.

Утро выдалось чудесное — ясное, солнечное, нежаркое. Розы на круглом столе благоухали. Мы пили чай за круглым столом, чувствуя, что эта ночь, проведенная под одной крышей, чистая и светлая, как-то еще больше сблизила нас, подарила нам хорошую и настоящую дружбу, дружбу-нежность. И мы приняли ее как большой и радостный дар Судьбы...

В дальнейшем эта Судьба оказалась жестокой. Началась большая травля Зерова, особенно после процесса СБУ, на

котором Рыльский и брат Зерова Михаил были в числе обвиняемых, Николай же Константинович был допрошен в качестве свидетеля. Максим Рыльский и Михаил Зеров были оправданы, к Николаю же Зерову стали относиться все хуже и хуже. Не нравилась его тематика, независимость его литературных суждений, даже его популярность. Критика была безжалостной, несправедливой. Он, забывавшийся всегда в работе, любивший ее, перестал печататься. В результате этого был назван «саботажником». Пришлось печататься под чужими именами. Большая статья о Шевченко, написанная Зеровым, была напечатана и подписана Михаилом Новицким. (Позже, к сожалению, Новицкий присвоил себе авторство этой статьи и даже помещал ее в списке своих научных работ. Но я собственными глазами видела черновики этой статьи, написанные рукой Зерова.) Перевод пушкинского «Бориса Годунова», сделанный Зеровым и напечатанный в пятитомнике переводов Пушкина, был подписан Б. Петрушевским.

Словом, печалей у Зерова было множество – и творческих, и личных, счастливая семейная жизнь была давно сломана, оставалась единственная радость жизни – сын. Котик рос, развивался, умнел. Когда я видела его в последний раз (это было, кажется, в 1933-м году), это был красивый мальчик лет 9-ти, уже школьник. Учился он хорошо, знал очень много, гораздо больше своих сверстников, умел играть в шашки и шахматы, любил книги. Отца он обожал. А Зеров души в нем не чаял. И вот этот прелестный мальчик, единственная радость и надежда Зерова, осенью 1934 года заболел очень тяжелой формой скарлатины и буквально «сгорел» в течение нескольких дней. Всё было брошено для спасения этой маленькой жизни: вызваны лучшие профессора, использованы все возможные средства, все процедуры и лекарства. Но все оказалось напрасным. Ребенка поместили в детскую клинику, так как ухаживавшая за ним мать заразилась от него и тоже была отвезена в больницу.

Она болела тяжело, но выжила. Котик умер, не дожив, кажется, нескольких дней до своего десятилетия. Матери не сразу сообщили о гибели сына: она сама была почти в бессознательном состоянии. Николай Константинович в полном одиночестве встретил страшное горе, «самое страшное горе в моей жизни», как он написал мне потом в лаконическом письме из нескольких строк. Он сам и хоронил сына. Жене он

сообщил о случившемся запиской в больницу, когда уже появилась надежда на ее выздоровление.

После смерти сына Николай Константинович стал писать мне значительно реже, чем прежде, и короче. Я, понимая его состояние, старалась тоже не докучать ему, посылая лишь изредка несколько самых теплых, самых искренних и сердечных строк. Безвременная смерть этого чудного мальчика, к которому я тоже привязалась не только как к сыну моего большого друга, но уже и ради его самого, потрясла и меня. Зеров прислал мне несколько стихотворений, посвященных памяти Котика на украинском языке. Это были сонеты: «То був щасливий десятилітній сон», «Тут теплий Олексій», дистих «Сон», а также одно стихотворение на русском языке. Выше-названные стихи опубликованы в последней книге Зерова «Вибране», но русское стихотворение не опубликовано. Приведу его здесь:

Немеет сердце, скорбью налитое...
Дождь за окном. И ветер. И шумит вода.
Ушло из жизни самое святое.
Любимое. Родное. Навсегда.

Вопросов детских где очарованье?
Где звонкий голос, что баюкал слух?
Где теплое и сонное дыханье?
Нет ничего. Он отлетел, как дух.

Кто счастье прежнего теперь оценит?
Вот ранец. Маленькие башмачки.
Он *никогда* их больше не наденет,
А ножки были резвы и легки.

Потерей сына страшно заплатила
Судьба неверной и моей жене:
Ее, больную, весть почти убила, –
Так для чего же жить теперь и мне?

Все смыто шквалом. Холмик невысокий
Перед глазами. Дождь стучит в окно.
Глухая ночь. Я – мертвый, одинокий.
Как страшно. Пусто. Холодно. Темно...

Конечно, эти стихи нельзя опубликовывать при жизни жены Зерова. Или вместо предпоследней строфы надо поставить четыре строки многоточий...

Мне кажется, что это было предпоследнее стихотворение, которое мне прислал Н.К. Последним было «Года идут и полагают грани, / И вдаль и врозь уводят нас»... и т. д.

Наступила весна 1935-го года. Она была чудесной. Последнее письмо Зерова ко мне было полно описанием этой весны. Казалось, он начал немного приходить в себя после страшного потрясения. В нем уже не было той безысходности, отчаяния, как в предыдущих его письмах, но оставалась глубокая скорбь, щемящая душу печаль, смешанная с покорностью жестокой Судьбе. Заканчивалось письмо словами, которых он избегал до сих пор после случившегося, но обычными для прежних его писем – теплыми, ласковыми, нежными...

Я не успела ответить на это письмо. В конце апреля Зеров был репрессирован. (Случилось это в Москве, вернее – под Москвой, где он тогда жил.) На этом наши отношения оборвались. Знаю, что его привозили в Киев, потом отправили через Ленинград на Соловецкие острова. В это время он переписывался только с женой и изредка с отцом. В 1937-м году он был еще жив. В юбилейные дни Пушкина читал там, на Соловках, лекции о нем. Прочел их, кажется, всего 5. Работал в библиотеке лагеря для заключенных. В свободные часы продолжал заниматься литературной работой, переводами. Жена поддерживала его посылками, письмами, деньгами. Но здоровье начало постепенно изменять, он старел, седел, слабел. И погиб.

У меня сохранились с авторскими надписями его книги: «Антология», «Камена», в 2-х экземплярах, второй – без надписи и 4-6 фотографий. Надписи на них такие:

1. «Людмиле Антоновне – от верного друга. Киев, 12. VII. 28».

2. «Дорогой Людмиле Антоновне от одного из киевских друзей-прикрепленных. Мик. Зеров. 4. IX. 1930».

3. «Людмиле Антоновне Куриловой на добрую память об одном вечере и одном утре. 4. IX. 1931».

Имелся в виду вечер, проведенный наедине в его доме, моя ночь за стеной, на постели его жены, и утро, в которое была допущена первая и последняя наша интимная нежность: с моего разрешения он поцеловал меня в глаза.

Большого между нами никогда и ничего не было. Да и это был единственный поцелуй.

Четвертая фотография – без надписи. Есть еще фото Зерова с женой и сыном, на обороте которой мальчик написал печатными буквами (иначе он тогда еще не умел) «Котя Зеров». На маленькой, пятой, фото написано только рукой Зерова: «Весна 1933 года». Шестую, любительскую, фотографию (но, кажется, по времени фотографирования последнюю) подарила мне уже после смерти Зерова его жена.

Еще есть рукописи некоторых стихов (оригиналы), 30 открыток-фотографий Киева с надписями на обороте, подаренные им книги. Вот и всё.

Моя исповедь Вам, дорогой друг мой, на этом заканчивается.

Всегда Ваша

Людмила Курилова

КРАТКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Известие о том, что Зверев распрощался с жизнью, не дожив и до пятидесяти лет, потрясло меня глубоко. Мой Николай тоже был в ссылке, осужденный на восемь лет, но он был жив, писал мне, я писала ему, высылала посылки и, конечно, страдая и болея, ждала его живого. А тут к скорби о Зерове прибавился еще страх, что мой муж может не возвратиться, может умереть в ссылке. Как невыразимо тяжелы были эти годы...

Софья Федоровна Зерова, получив официальное извещение о смерти мужа, тоже потрясшее ее, должна была думать о том, как ей жить дальше. У меня была работа в высших школах и достаточный заработок, а у нее не было никакой определенной специальности, к тому же, жен репрессированных брали на работу неохотно. Трудно ей было, труднее, чем мне, голодно, холодно. Виктор Петров поддержал ее в эти тяжелые дни; он любил ее, окружил заботой, вниманием, хотел оформить их отношения в ЗАГСе. Она долго колебалась, не решаясь, но через некоторое время согласилась на его предложение. Но при этом она поставила условие, что сохранит

фамилию Зерова. Ведь он был ее первой любовью, мужем, отцом ее ребенка. Петров согласился на это, они оформили свой брак.

Мне было искренне жаль Софью Федоровну. Я понимала ее сложное, трудное положение, разделяла вполне ее сомнения и страдания. И когда она, зарегистрировавшись в ЗАГСе с Петровым, сохранила все-таки фамилию Зерова, я в глубине души простила ей все, что надо было простить. И поэтому я никогда, ни словом не обмолвилась о том, что мне были известны ее давние отношения с Петровым, и стала просто дружить с ними обоими. А после смерти Петрова я еще ближе сошлась с ней. Кроме несомненно красивой внешности, она была умна, довольно образована, тактична, хорошо знала польский язык и немного французский, любила читать, хорошо ориентировалась в людях, понимала их. Мы поддерживали непрерывную связь. Когда я приезжала в Киев, я стала заезжать не к своим родственникам, а к ней. И Софья Федоровна стала наезжать во Львов и жить тогда у меня. Мой муж, Николай Петрович Перегинец, возвратившись после восьмилетней ссылки полуинвалидом, все-таки дальше работал научно и заведывал кафедрой украинского языка в львовском педагогическом институте. Но после возвращения во Львов в 1946 году он прожил со мной всего немногим больше года. Умер он 6 июня 1947 года, и не во Львове, а в Станиславе, как тогда назывался сегодняшний Ивано-Франковск, во время государственных экзаменов в местном учительском институте, куда его командировали из львовского педагогического института председателем государственной комиссии. Я перевезла на самолете его почившее тело во Львов, гроб стоял несколько часов в актовом зале педагогического института, вокруг плакали сотрудники и студенты, любившие его, было много венков и цветов, оркестр играл траурные марши. Похоронили моего мужа на Лычаковском кладбище, я поставила ему памятник.

И вот, когда Зерова и я остались вдовами, мы особенно сблизились. Она часто писала мне, я часто звонила ей, и мы долго говорили по междугороднему телефону. Когда, спустя несколько лет, я во второй раз вышла замуж, Зерова специально приезжала ко мне, чтобы познакомиться с моим мужем. Меня она не раз возила из Киева в Ирпень, где позна-

комила с известным писателем и переводчиком Григорием Порфирьевичем Кочуром и его женой, очень пришедшимися мне по сердцу.

Самую теплую память о Зеровой я храню и после ее смерти.

Львов, 1987

**ПРИМЕЧАНИЕ ЮРИЯ ШЕВЕЛЕВА
К ПУБЛИКАЦИИ УКРАИНСКОГО ПЕРЕВОДА
В ЖУРНАЛЕ «СУЧАСНІСТЬ»**

Автор этих воспоминаний живет во Львове. Людмила Антоновна Курилова, человек украинского рода, но русской культуры (хотя не чужая и украинской), до войны жила в Харькове, где преподавала в педагогическом институте. Свои воспоминания о встречах с Зеровым Людмила Антоновна пересылала мне в письмах. Хотя с самого начала она не возражала в принципе против их публикации, она предостерегала, что этого нельзя делать, пока жива жена Зерова Софья Федоровна. Теперь этот запрет отпал, и автор дала согласие на печатание. Написанные ярко, тонко и богатые фактами, эти воспоминания очерчивают, тактично и интеллигентно, эпизоды интимной жизни и литературной деятельности Николая Константиновича и дают многое для понимания его характера и его отношений с эпохой.

Редактор решил сохранить в неприкосновенности эпистолярную форму этих воспоминаний (особенно явную в начале, с его вопросом, адресованным автору этих строк, адресату ее писем). Сохраняем и некоторые неточности, в общем мелкие и заметные без труда. Они объясняются расстоянием во времени (более тридцати лет между событиями и написанием) и ударением больше на характере Зерова и его личной жизни, меньше – на его деятельности (хотя и о ней немало).

ФАЗИЛИУ ИСКАНДЕРУ – 60 ЛЕТ

Нас познакомил теперь уже покойный Алексей Ласурия, отличный поэт и замечательный человек, тогдашний секретарь абхазского отделения Союза писателей Грузии. Это случилось где-то в середине пятидесятых годов. С тех пор литературная судьба Фазиля Искандера разворачивалась у меня на глазах. Он начинал как поэт со своим, ни на кого не похожим, голосом. Первым его заметил и благословил публикацией в «Новом мире» Александр Твардовский. И никогда потом, насколько мне известно, не пожалел об этом.

И хотя Искандер давно отошел от поэзии, его стихотворные книги «Горные тропы», «Доброта земли», «Зеленый дождь» и «Молодость моря» все равно останутся весомой составной современной русской поэзии.

Уже в его стихах – ярких, насыщенных размашистой образностью и обобщающей широтой – угадывался будущий прозаический эпос. И он – этот эпос – в конце концов возник с первых же рассказов поэта, складываясь, наподобие мозаики, в огромное и поражающее воображение полотно: «Созвездие Козлотура», «Запретный плод», «Колчерукий», «Дерево детства», органически растворяются затем в «Дяде Сандро из Чегема».

С возрастом в чтении, как правило, все более тяготеешь к классике. Уже не у современников ищешь ответов на те «проклятые вопросы» жизни, которыми мучался в молодости. Но все же, наверное, у каждого из нас остаются две-три книги наших спутников по эпохе, к каким мы не устаем возвращаться снова и снова. Для меня это в первую очередь «Архипелаг ГУЛАГ», «Верный Руслан», «Привычное дело» и, конечно же, «Дядя Сандро из Чегема». Не побоюсь сказать, великая книга!

В свое время большой армянский писатель Грант Матевосян в беседе с Аллой Марченко, опубликованной в 12-м номере «Вопросов литературы» за 1980 год, высказал замечательную мысль: «На все большие вопросы современности можно ответить, не покидая Цмекута (родины писателя. – В. М.)».

Убежден, что вряд ли в нашей отечественной литературе найдется сегодня писатель, к которому более, чем к Фазилю Искандеру, можно отнести эти слова.

Дай тебе Бог, дорогой Фазиль, здоровья, сил и еще долгих лет. Шестьдесят для выходца из Абхазии – еще молодость!

Владимир Максимов

Колонка редактора

МАРОДЕРСТВУЮЩИЕ ШАЛУНЫ

Нет, что ни говори, великое дело – эпиграф! Но из тех, что употреблялись в последнее время по обе стороны границы нашей пишущей братией, мне особенно по душе пришелся тот, который поставил к своей статье «Кое-что о профессионализме» в сорок восьмом номере «Огонька» за прошлый год известный перестроечный критик С. Рассадин: «Чаадаев действительно прав, говоря об этих господах: „Какие они все шалуны!“» С этой (да еще подкрепленной чаадаевским авторитетом!) фразой Герцена наперевес сей тираноборец бросился в бой с вашим покорным слугой, не погнушавшись при этом откровенным литературным подлогом. В своем критическом опусе он обвинил меня ни много, ни мало в том, будто я, публикуя повесть «Жив человек» в «Октябре», в угоду Кочетову перелицевал ее из антисталинской в просталинскую, хотя на самом деле она была и осталась ни той, ни другой, а просто обыкновенной повестью. И факт этот хорошо известен не только С. Рассадину, читавшему рукопись одним из первых, но и десяткам других ныне здравствующих и весьма уважаемых людей в наших литературных кругах опять-таки по обе стороны границы.

Возникает закономерный вопрос: с какой целью, не стесняясь подлогом, советский официальный критик в советском официальном журнале обвиняет политического эмигранта (да еще с помощью Герцена) в просоветской лояльности? Согласитесь, это уже нечто новенькое в методике советской пропаганды.

К целям этих резвых шалунов я еще вернусь, но предварительно мне хотелось бы познакомить наших читателей еще с рядом их далеко не безобидных шалостей.

Вот, к примеру, из того же «Огонька» воспоминания Виктора Конецкого о его парижских встречах с Виктором Некрасовым:

«— Что Аксенов?

— А ну их всех в...

— А твой шеф Максимов?

– Максимов? Я с ним в разрыве. И плохого, на радость тебе, о нем говорить не буду, хотя ни одного французского слова так и не впитал в свою башку. А «Континент» закатывается. Да и Владимов подсел – хороший журнал в ФРГ делал. Хочешь, дам его телефон во Франкфурте? Позвони. Жоре сейчас плохо, боссы из НТС ему под дых дали – в дерьме на тротуаре кукует».

Заметьте, как много полезных сведений можно сообщить через печать в соответствующие инстанции или «туда, куда следует» от имени ничего не подозревающего покойника с хорошей репутацией: 1) эмигранты ссорятся; 2) «Континент» закатывается (правда, если судить по советской печати, то он «закатывается» уже со дня своего основания); 3) Максимов – прохиндей и не в состоянии поддерживать контактов с иноязычной средой; 4) Владимов «в дерьме на тротуаре кукует». Вот так они и орудуют, один – прикрываясь Александром Герценом, другие – Виктором Некрасовым. Так сказать, художественный стук от имени именитых теней. Мертвые сраму не имут!

Но если рассадины и концы, принадлежащие к поколению, еще не забывшему о понятиях чести и совести, пока нуждаются в оправдательных ссылках на авторитеты, то новая поросль интеллектуальных мародеров уже не утруждает себя никакими этическими сомнениями.

Недавно одна из этой публики, а именно Татьяна Толстая, в разговоре со студентами Барнард-колледжа при Колумбийском университете, защищая дорогого ее любвеобильному сердцу Горбачева, ответила без излишних обиняков: «При чем тут хороший или плохой? Горбачев – политик. У политиков нравственности не существует. Поэтому я просто не хочу поднимать вопрос: плох он или хорош. Он может убить кого-нибудь ради процветания страны. И если он это сделает, я скажу, что правильно сделал» («Новое русское слово» от 3. 12. 88. Юлия Троль. «В Америку с привычным клише»).

Вот и всё, и все, как говорится, дела. Конечно, для политика нравственности не существует (хотя и эту банальность оставим на совести нашей воительницы). Конечно, для процветания страны ему и замочить кого-нибудь не грех. Ну, а как по части нравственности у нынешних писательниц? Оказывается, и они не прочь благословить мокрое дело, поскольку «для процветания». Интересно, а если ради этой заманчивой

цели Горбачеву взбредет в голову пришить самое госпожу Толстую? Или ее отца с матерью (коли они у нее живы)? Или, чего доброго, ее ребенка (коли он у нее есть)? Ведь на что только не подвигнешься для этого самого процветания!

И спрашивается, кто будет определять, что «для процветания», а что против? Сам Горбачев, Толстая или, может быть, я? Если вспомнить новейшую историю, то все советские вожди, начиная с Ленина, искренне полагали, что стараются «для процветания». Гитлер, между прочим, тоже. Чем все это кончилось, теперь общеизвестно.

Но читатель, я думаю, догадывается, что в данном случае сия витийствующая матрона имеет в виду кого угодно, кроме себя. Кого же? Разумеется, «врагов перестройки», то есть тех, кто мешает таким, как она, безнаказанно пудрить мозги своим зарубежным слушателям о небывалом расцвете свободы и демократии в Советском Союзе и заодно прибарахляться за их счет на иссыхающем от бескультурия (по ее же определению из тех же откровений в «Новом русском слове») Западе.

«Враги перестройки» с каждым днем все более и более звучит, как «враги народа»*. Ату их! Ошельмовать не удастся, так и замочить не грех. Было это уже, было, господа хорошие! И шельмовали. И замачивали. И какие люди в этом посоучаствовать не погнушались! Что называется, богатыри – не вы. Не нынешним толстым чета. Третий Толстой с Эренбургом почву готовили, а великий Сикейрос с Сергеем Эфроном – мужем не менее великой Цветаевой – мочили. И если бы только они одни! И все для «процветания», все во имя «счастья». Прямо скажем, не многие из тех вернулись с поля. Что

* От редакции: Когда номер уже сдавался в печать, мы получили «Московские новости» от 12. 3. 89, в которых народный артист РСФСР Зиновий Гердт предлагает называть представителей так называемых антиперестроечных сил контрреволюционерами. Как видите, дорогие читатели, все возвращается на круги своя, только новые Вышинские вызревают теперь не в недрах карательного аппарата, а в среде нашей человеколюбивой либеральной интеллигенции. Ну-с, с кого начнем, уважаемый народный артист? И кто будет определять, с кого именно? А если решат, паче чаяния, для пущей наглядности, прямо с Вас? Или, что еще нагляднее, с представителя наших славных органов Егора Яковлева, редактирующего эту достопочтенную газетку? «Гнев народа» в рядах завсегдатаев ЦДЛ, ВТО и Дома кино уже явно готов поддержать столь неотложную инициативу.

будет с их нынешними последователями, предсказывать не берусь. Поживем – увидим. Но в одном убежден, позора им не миновать. Хотя, говорят, стыд не дым – глаза не ест. Детей их жалко.

Так все-таки во имя чего, ради какой цели эта публика так надрывается? Думаю, все обстоит гораздо прозаичнее, чем это может показаться на первый взгляд. Отсидевшись в трудные времена по тихим углам, она – эта публика – с милостивого разрешения властей предержащих ворвалась, сбивая друг друга с ног, на разминированное другими поле брани и принялась безнаказанно мародерствовать на нем по праву мнимых победителей. Но, к ее досаде, оставшиеся в живых саперы с этого поля самым фактом своего существования делают для нее душевный комфорт несколько неполным. Даже, можно сказать, ущербным. И, более того, как бы незаконным.

Избавиться от этого дискомфорта, по мнению этой публики, можно двумя способами. Первый: приспособить выживших, опустить их до себя и таким образом уравниаться с ними (что, к сожалению, им во многих случаях удалось!). Второй: уничтожить морально, что они и пытаются осуществить, а не получится, то и физически, к чему они уже, судя по их заявлениям, готовят почву.

Не отстают от них и их эмигрантские поделельники. Холуйски кликушествуя на страницах эмигрантской печати и свободно курсируя между Москвой и западными столицами, они кокетливо посмеиваются над теми, кто якобы называет их в русском Зарубежье «рукой Москвы». Прямо скажем, эта роль им явно не по чину. Какая уж там «рука Москвы»! Заурядные шалуны на побегушках у советской пропаганды. Тем не менее, цели у них те же, что и у их отечественных коллег.

Что ж, пусть попробуют. Только при этом помнят поучительное библейское: «Поднявши меч...». Я лично во всех случаях буду отвечать соответствующим образом.

И если говорить откровенно, то какие они уж там шалуны! Мародеры. И этим все сказано.

Наша почта

По просьбе нашего читателя из Варшавы публикуем его письмо, адресованное члену редколлегии «Континента» Роберту Конквесту. – Р е д.

Многоуважаемый г-н Конквест!

Наконец мне удалось заполучить Вашу книгу «Большой террор», которую я прочел с огромным вниманием. Так сложилось, что мне пришлось очень близко соприкоснуться с некоторыми описываемыми Вами фактами, которые мне бы хотелось восполнить имеющимися у меня информациями.

Но перед тем, как перейти к их изложению, я считаю необходимым выяснить, как это случилось, что я, поляк и гражданин ПНР, был в СССР и столкнулся там с тем, о чем хочу Вам рассказать.

Я, Валенты Белевич, родился в Москве в мае 1926 года в семье польских коммунистов-политэмигрантов, нелегально прибывших в СССР в 1924 году. Отец мой, Юзеф Белевич, несколько раз был в ссылке (Рыбинск, Нижний Новгород) за «оппозиционную деятельность», а в 1933 г. был арестован по обвинению в троцкизме и принадлежности к рабочей оппозиции. Вначале он был сослан в Тобольск на 3 года. По истечении этого срока он вновь был арестован и после суда отправлен в Ухта-Печорские лагеря, где погиб в августе 1943 года.

Моя мать, Александра Шафранская, была арестована 13 сентября 1937 г. и осуждена на 10 лет ИТЛ за «шпионаж в пользу Польши». Срок свой отбывала в лагере под Карагандой.

Вечером, в день ареста мамы, я со своей младшей сестрой был забран в Даниловский детприемник. Утром следующего дня в спальню, где я находился, вошел 17-18-летний парень с рыжей шевелюрой, широкоплечий, чувствующий там себя хозяином. Он начал от расспроса фамилий всех привезенных этой ночью детей. В случае польской фамилии, как это было у меня, он спрашивал: «поляк?» и при положительном ответе говорил: «в мою спальню».

Насколько я помню, в эту ночь привезли (я здесь имею в виду только мальчиков, так как девочки находились в другом корпусе и встречались мы с ними только во время прогулок) из поляков только меня и другого мальчика – Романа Бортновского. Таким образом мы оказались в одной спальне с этим парнем, которым оказался сын М. Тухачевского Юрий Вагнер. Он нам объяснил, что фамилия его по матери, но не скрывал, что он сын М. Тухачевского. В этой же спальне уже был Ольгерд Путна, сын комкора В. Путны. Чувствовалось, что они знакомы давно, т. е. еще до детприемника. В эту же ночь был привезен в детприемник мой ровесник Юрий Пятаков, сын Г. Пятакова, и его родная сестра Рада, старше нас на четыре года. Вы в своей книге на стр. 300-301 (Флоренция, Ed. Аугога, 1974) пишете, что «главными заложниками Сталина против Пятакова были его жена и ребенок, в то время десяти лет от роду». Наверняка была еще и дочь. 19 сентября 1937 г. меня с большой группой детей, среди которых находились и дети Пятакова, вывезли в детгородок (детдом), в с. Княгинино, Горьковской области. Там я с Юрием Пятаковым учился в одном, четвертом, классе и сидели мы на одной парте. Рада Пятакова была тогда в восьмом классе (я имею в виду учебный год 1937-38). Из Даниловского детприемника привезли нас туда 28 детей – 14 девочек и 14 мальчиков. Среди нас была Дина Левина, вероятно – дочь доктора Л. Левина. До ареста родителей они жили на Кузнецком мосту, кажется, дом 12.

В 1938 г. я был переведен в детдом в г. Семенове той же Горьковской области и с этого момента с детьми Пятакова больше никогда не встречался. Уже будучи в Варшаве, я случайно узнал, что Рада Пятакова погибла в Ленинграде во время блокады. О судьбе Юрия мне ничего не известно.

Случайно мне стало известно, куда из Даниловского детприемника попали Юрий Вагнер (Тухачевский) и Ольгерд Путна. В 1939 г. приятельнице мамы, политэмигрантке из Румынии (не арестованной, хотя и исключенной из партии), удалось взять меня и сестру под опеку. В связи с этим меня в марте 1939 г. из детдома в г. Семенове перевезли в Москву, опять же в уже опустевший Даниловский детприемник, где я провел одну ночь перед передачей меня приятельнице мамы. Находился я в том же корпусе, что и в первый раз. Случайно я наткнулся на незапертую комнату, где хранилась картотека

детей, которые прошли через этот детприемник в связи с арестом родителей. Из любопытства я стал просматривать карточки знакомых мне детей. На карточках Ю. Вагнера и О. Путны было написано: «Отправлены в колонию малолетних преступников» (я совершенно точно помню эту формулировку).

В конце шестидесятых годов, уже живя и работая в Польше, я в Москве встретился с сыном маршала Блюхера, который (сын) в то время был, если я не ошибаюсь, начальником управления внешних сношений Министерства цветных металлов (на пл. Ногина в Москве). У меня был его служебный телефон, и я ему позвонил. Я сказал ему, что я – иностранец, нахожусь в Москве в служебной командировке, но хотел бы с ним увидеться по сугубо личному делу. Сможет ли он меня принять? Он согласился на встречу, которая состоялась на следующий день. Разговаривали мы с глазу на глаз. В начале нашего разговора я проинформировал его, кто я и что я и почему я стремился с ним встретиться: я стараюсь разыскать Юрия Вагнера и предполагаю, что он, как сын тоже расстрелянного и реабилитированного маршала, может иметь какие-либо сведения о его судьбе. К сожалению, ему ничего не было о нем известно, но Ольгерда Путну он, как оказалось, очень хорошо знал до 1937 года, так как они жили на одной лестничной клетке. Но о дальнейшей его судьбе он также ничего сказать не может.

Это, пожалуй, все, что я хотел Вам сообщить и что в какой-то мере связано с Вашей замечательной книгой.

Мне кажется, что я должен закончить рассказ о своей судьбе.

После своего освобождения из лагеря в 1947 году маме удалось в 1948 году вернуться в Польшу – по этому вопросу была договоренность между ЦК ПРП и ЦК ВКП(б). Мне удалось приехать в Польшу только спустя шесть лет, в 1954 году. Я начал работать в 1941 году, в армию во время войны не попал. С 1943 по 1948 г. я был в комсомоле. До выезда из СССР в 1954 г. я работал на московском автозаводе им. Сталина. Работая, окончил среднюю школу (в Москве) и электротехнический факультет Варшавской вечерней инженерной школы – в 1958 году. В 1961 г. я вступил в партию, в которой был до марта 1984 года, когда я отдал партбилет. С лета 1985 года я не работаю.

Буду очень доволен, если переданная мной информация будет Вам в чем-либо полезна.

С глубоким уважением

В. Белевич

19 ноября 1988 г.

Уважаемый Владимир Емельянович!

Уже не первый год, получив «Континент», я первым делом читаю «Колонку редактора», дабы приобщиться к Вашей манере саркастической полемики. Соглашаясь во многом с Вами, я не могу, однако, не задать и Вам пару вопросов.

Вот уже десять лет на страницах печати свободного мира мелькает имя Ивана Демьянюка, обвиненного в совершении военных преступлений сперва спецслужбами СССР, затем правосудием США, сотрудничающим с этими спецслужбами, и наконец осужденного в Израиле судом первой инстанции к смертной казни.

Одно только участие в этом деле способных на все ревнителей правосудия из КГБ ставит это дело в разряд весьма сомнительных от начала и до конца. Разбирательство этого дела в США и суд в Израиле прошли с рядом нарушений законности, что вполне понятно, когда следствие и суд заинтересованы не в выяснении истины, а в проведении показательного процесса.

Приведу здесь отклик на процесс в Израиле американского юриста Уильяма Уолфа, опубликованный 21 июня в газете «Феникс газет»:

«Как юрист, как еврей и как правозащитник, питающий глубокую и неизменную любовь к Израилю, я не могу больше молчать о процессе Ивана Демьянюка. Возможно ли, чтобы разум и справедливость уступили дорогу предрассудкам и жажде мести в среде нации, где такие действия должны быть немыслимы? Возможно ли, чтобы кошмарный сон любого цивилизованного общества – казнь невинного человека – стал реальностью в Израиле?»

...Длившийся десять лет процесс против Демьянюка в США и Израиле, где следовало ожидать скрупулезного соблюдения законности, был потрясюще порочным.

Хотя процедура депортации подозреваемого военного преступника из Соединенных Штатов равнозначна осужде-

нию его как нациста (и смертному приговору, в случае депортации в СССР), ни одна из юридических процедурных гарантий не применена к Демьянюку. Ни суда присяжных. Ни абсолютного права против самоизобличения; ни презумпции невиновности; ни требования доказательства «без тени сомнения»; ни права на государственного защитника

Плюс ко всему, министерство юстиции США не предоставило защите оправдывающего свидетельства, что более чем 50 бывших узников Трешлинка, знавших «Ивана Грозного из Трешлинка», не уличили Ивана Демьянюка как этого Ивана. Один такой узник провел в лагере 11 месяцев и заявил, что знал «Ивана Грозного» «очень хорошо» и видел его «каждый день».

Это и другие свидетельства невиновности Демьянюка министерство юстиции США не предоставило подсудимому и израильским властям, фактически исключив возможность полноценной защиты...

Единственным веским доказательством обвинения было на процессе удостоверение личности из лагеря Трешлинка. Как ни парадоксально, но полного доступа к этой решающей улике защита не имела. Эксперты защиты подозревали советскую надпись на обратной стороне фотографии, поскольку в двух отверстиях, сделанных сшивающими скрепками на фотографии, проступали советские архивные чернила, но экспертам не было разрешено отделить фото от удостоверения для исследования обратной стороны. Такая надпись разоблачила бы документ как фальшивку, а не как захваченный у немцев оригинал. Советские власти инструктировали израильтян не допускать отделения фотографии от удостоверения для такой экспертизы, и израильский суд подчинился.

Имеются и другие расхождения: удостоверение утверждает, что удостоверяемое лицо на четыре вершка ниже Ивана Демьянюка; подпись, приписываемая Ивану Демьянюку, — явная подделка, не признанная подлинной даже обвинением; а контуры чернильной печати, частично на фото и частично на удостоверении, не совпадают. Может ли кто-либо, кто знает эти факты, поверить, что Иван Демьянюк — ожидающий в настоящий момент смертной казни — был судим с соблюдением всех норм законности?»

Эти выдержки из статьи Уильяма Уолфа очень убедительно свидетельствуют о наличии «тени сомнений» в приговоре Ивану Демьянюку. Лично я не сомневаюсь, что Демья-

нюк невиновен, на что у меня есть свои личные доказательства. В лагере на Колыме я находился в одной зоне с Яном Мюллером, бывшим оператором газовой камеры. К сожалению, я не помню, в каком именно нацистском лагере он исполнял свою функцию. Но, как показывает ряд свидетелей, Иван Грозный из Треблинки владел немецким языком, которого И. Демьянюк не знал и не знает.

Дело И. Демьянюка раскрывает модель, с помощью которой советская мафия достигает своих целей в своей коварной, подрывной работе на Западе. Ярость советских органов, направленная на «преступников против человечности», — это маневр для разжигания вражды в стане своих потенциальных противников. Что касается преступлений против человечности, то трудно сказать, кто кого превзошел в этом искусстве: нацисты или большевики. На происки Кремля Западу надлежало бы ответить словами Ивана Крылова:

Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?

Как ни странно, но приговор И. Демьянюку обходят молчанием те, кого он прямо или косвенно касается. А касается он всех россиян. Цитирую Ваши золотые слова: «...молчание... — тоже форма соучастия». На наших глазах спецслужбы СССР организовали провокацию, разжигают национальную вражду в свободном мире. И что же? В защиту Демьянюка и справедливости слышатся голоса евреев, американцев, немцев, французов, но увы, мало голосов российской эмиграции.

Почему бы по поводу этой провокации и вообще по поводу советских свидетельств на Западе не выступить Интернационалу Сопротивления? Или, на худой конец, не посвятить этому вопросу одну «Колонку редактора» в редактируемом Вами журнале?

Ведь процесс И. Демьянюка по идее его устроителей имеет своей целью разжечь национальную вражду, приклеить ярлык военных преступников не только украинской эмиграции, но и всей послевоенной эмиграции вообще.

Почему же мы молчим? Почему допускаем, чтобы на наших глазах — не в террористическом государстве, а в свободном мире — совершалось глумление над правосудием, разжигалась недостойная человечества вражда. Почему не протестует пресса российской эмиграции?

Редакторы в таких случаях говорят: «Мы печатаем то, что нам присылают». Однако я писал – писал я и в «Континент», – но не получил ответа. Почему? Какая кара грозит любому российскому изданию, выступи оно в защиту законности, против провокации, вдохновленной советскими спецслужбами?

Мне кажется, что ответ на этот вопрос поможет выяснить столь широко дискутируемую проблему, кто виновен в успехе кровавых вакханалий «кавказского горца»: подобранная им холуйская чернь или рабская психология закрепощенных им народов?

В свое время я назвал «Континент» форумом демократической мысли зарубежья, чем вызвал негодование в среде, почитающей палачей, соперничавших с «кавказским горцем». Может ли случиться, что их негодование будет оправдано?

С искренним уважением,

Святослав Караванский

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»

от Рахлиной Марлены Давидовны,
жительницы г. Харькова, УССР

Многоуважаемая редакция «Континента»!

Я надеюсь, что Вы вспомните мое имя, т. к. дважды печатали мои подборки стихов (по-моему, в №№ 30-м и 36-м – я их так и не видела и только по ряду косвенных признаков представляю их содержание).

Я посылаю Вам подборку моих стихов и очень прошу напечатать их, выбрав снова то, что Вам больше подойдет.

Не скрою, что мне сейчас гораздо важнее было бы напечататься у себя на Родине, но, несмотря на то, что это как будто бы и возможно сейчас, у меня это почему-то не получается.

Чтобы Вы лучше поняли мою ситуацию, несколько слов о себе.

Я писала стихи с тех пор, как я себя помню – и, вопреки шутейной формуле А. Межирова «До тридцати – поэтом быть почетно, и срам крошечный – после тридцати» – пишу их до сих пор (мне в этом году исполнится 63 года).

При этом мне никогда не приходило в голову – попытаться напечататься, т. к. с 36 г. «вместе с гибелью и крахом идеалов моих родителей», т. н. «старых большевиков», вместе с крахом и гибелью их судьбы, ко мне пришло чувство отверженности. Очень рано, с 11–12-летнего возраста, я знала, что все мы (моя семья) – отщепенцы.

В годы моей учебы, в Харьковском Университете, в Харьковском отделении Союза писателей, к моим стихам вроде бы относились достаточно серьезно, но это отношение не успело реализоваться, т. к. в 46-м г. был арестован по политическому обвинению мой близкий друг, и я начала ездить к нему на свидания.

В годы нашей «первой перестройки» я все никак не могла отрешиться от приставшего, наверное, навсегда ко мне чувства отверженности, но один писатель, мой учитель, сам занялся моими издательскими делами, и, в результате, мои книжечки, в самом деле, вышли: одна – в 65-м («Дом для людей»), а вторая – в 68-м году («Маятник»). Первая была встречена, даже Москвой, приветливо, вторая – грубо обругана в харьковском журнале «Прапор», то ли потому что наступили другие времена, то ли по причине моих новых провинностей (скорей всего, по обоим этим причинам). С тех самых пор я и «вылетела из советской литературы», как впоследствии мне объяснили в ходе соответствующей беседы соответствующие люди.

Но я была более или менее спокойна, потому что, во-первых, в таком положении были многие, а во-вторых, потому что неведомым мне вначале образом мои стихи попали к Вам, кроме того их начала петь одна советская исполнительница, популярная среди интеллигенции, к которой тексты стихов попали тоже неведомо как, так что она сначала даже не называла моей фамилии, не зная, что я есть я. Все это создавало у меня иллюзию, что меня знают и помнят.

Но вот началась наша перестройка. Кто не печатался – всех (!) напечатали... А меня – нет.

Я, конечно, посылала свои стихи в те журналы, которые ото всей души уважаю. Посылала их «самотеком» (чего мало-мальски уважающие себя люди не делают, но я иначе не умею). И всегда (!) получала довольно стереотипные ответы, примерно такие: «Ваши стихи не просто профессиональные, но самобытные, честные, искренние» или: «Подборка Ваших

стихов – редкий случай в «самотеке», стихи прочувствованные, искренние, пронзительные...» ну, и т. п., но... «поймите нас правильно... мы выбираем из лучшего – лучшее... конкурс...» и даже так: «если можете – не огорчайтесь».

Для меня же драма состоит совсем не в «огорчении», а в том, что все у нас в стране как будто бы пришло в движение, каждый что-то делает, и только я не то что стою на месте, а даже отброшена в далекое прошлое свое. А стихи, как на грех, все пишутся...

И вот я прошу Вас: напечатайте их, а может быть, напишите о них (если, конечно, найдете нужным).

Теперь остается объяснить, почему я с такой просьбой обращаюсь именно к Вам. Ответ будет лаконичным: потому что именно Вы меня по доброй воле заметили. (В наше издательство «Прапор», которое тоже вроде бы в свое время меня заметило, мне, после некоторых бесед и некоторых инцидентов, лучше не обращаться). Мне не так давно (сравнительно) объяснили, что Вы – враги и недоброжелатели своей Родины. Я этому не верю.

Я уже писала выше, что по условиям моей очень провинциальной жизни, здоровья и возраста я эмигрантских журналов почти не знаю. Но вопрос принципиальный: из моего стихотворения «Анатолию Корягину» Вы увидите, что я считаю советскую интеллигенцию и ту часть нашей эмиграции, которая работает для своей Родины, – единым организмом.

Мы можем быть в чем-то не согласны, но это не только естественно, а даже хорошо. Кто чего хочет для своей Родины – об этом можно спорить. Но для меня несомненно, что каждый из нас для Родины хочет – Добра!

Я написала все, что хотела. Если будете меня печатать, выбирать стихи, понятно, будете Вы. Но не можете ли Вы при этом напечатать 3 стихотворения, программные: 1) «Одна любовь», 2) Молитва («Стоит старый дуб...»), 3) «Вранье! Мы все же победим!»?

(А может быть, Вы их уже печатали, а я не знаю?)

Всегда благодарная Вам

Рахлина Марлена Давидовна

От редакции: Стихи Марлены Рахлиной будут напечатаны в следующем номере.

РЕЦЕНЗИЯ НА РЕЦЕНЗИЮ

Рецензия И. Бирмана на книгу Б. Д. Бруцкуса («Континент» № 57) не вызывает возражений в части оценки самой книги. Но ее хочется дополнить и сделать кое-какие замечания – тем более, что И. Бирман недоиспользовал шести страниц, отведенных ему редакцией.

Несостоятельность социалистических идей была давно ясна серьезным экономистам («ученейший дурачок Спенсер» [Ленин]). Октябрьский переворот «заставил экономистов серьезно задуматься над социализмом как положительной системой» (13)*.

В 1922 г. в Иене была издана книга Л. фон Мизеса «Обобщественное хозяйство. Исследования социализма», которая неоднократно дополнялась и переиздавалась. Мне известно английское издание 1951 г. с дополнениями, в том числе относящимися ко Второй мировой войне. Кроме того, в библиотеке Еврейского университета в Иерусалиме есть переработанное издание 1932 г. и французский перевод 1938 г., а в книге «Фридман и Хайек о свободе» указаны английский перевод 1936 г. и французский 1952 г.

Б. Д. Бруцкус, кроме работы, напечатанной в рецензированной книге, издал еще ряд статей о советской экономике. В 1935 г. в Англии был издан перевод немецкой книги Бруцкуса «Экономическое планирование в Советской России» с предисловием Ф. Хайека (нобелевского лауреата по экономике за 1974 год), где, в частности, сказано: «я не колеблюсь отнести его труды, представленные в настоящей книге, к наилучшим образцам актуальной научной литературы о России сегодняшнего дня» (186). Первую часть этой книги составляет рецензированная книга.

Книги Л. Мизеса и Б. Бруцкуса в середине 30-х гг. «вызывали дискуссии об экономических проблемах социализма» (185). Редкая работа по теории планового хозяйства обходилась без ссылок на Бруцкуса: на него опирались, с ним полемизировали (Э. О. Бруцкус, рукопись).

И. Бирман напрасно обошел молчанием предисловие, комментарии и послесловие. Там есть ценные сведения о взглядах и общественной деятельности Бруцкуса: организация

* Здесь и далее страница рецензированной книги.

массового протеста немецкой интеллигенции против бессудного расстрела 48 экономистов и ареста многих других (в том числе Чаянова, Кондратьева, Макарова); выступления против истребления крестьян («раскулачивания»). Там же документы: реакция Ленина на «Экономист», высказывания советских экономистов и лидеров о положении дел и т. д.

Мелкие замечания: инициалы Бруцкуса в сноске должны быть не В. Д., а Б. Д.; фамилия пишется не Бруцкас, а Бруцкус; первая цитата со страницы не 28, а 26.

Название рецензии «Еще один забытый пророк», казалось бы, обязывает по меньшей мере поблагодарить тех, кто извлек имя пророка из забвения...

Виктор Каган

Иерусалим

Уважаемая редакция!

В 57-м номере журнала «Континент» в разделе «Наша почта» опубликовано письмо за подписью О. Сурковой, в котором автор продолжает полемику с С. Чертоком о творчестве С. Эйзенштейна.

Не будучи специалистом в области киноискусства и его истории, я не беру на себя смелость высказаться о существовании полемики: является ли работа С. Чертока плагиатом или нет.

С большой озабоченностью (как читатель и доброжелатель журнала «Континент») считаю, однако, своим долгом выразить мое мнение по поводу формы, в которой написано письмо О. Сурковой. Своим «пафосом» и «аргументацией» (*qui brille par son absence**) оно напомнило мне лучшие «перлы журналистики» времен «ждановщины».

Мне думается, что «Континент» (один из журналов, наиболее уважаемых и читаемых не только русскоязычными читателями, но и передовой, мыслящей интеллигенцией Запада) должен быть доступен для выражения различных политических, литературных и художественных взглядов на те или иные проявления общественной жизни в прошлом и настоящем.

* ...которая блистает своим отсутствием (франц.). – Ред.

Вопрос состоит в том, следует ли допускать на страницы журнала выразителей и последователей всех течений и форм: от «староплощадников» до «новождановцев»?

Проф. Л. С. Франк

Убберген, 28. 10. 1988

Издательством «Поиски» переиздана книга
незаслуженно забытого
крупнейшего российского ученого-экономиста

Б.Д.Бруцкуса

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Теоретические мысли по поводу русского опыта

С предисловием, комментариями и послесловием

В.Сорокина и Д.Штурман,

статьей лауреата Нобелевской премии
по экономике **Ф.А.Хайека**

В начале 1920-х гг., когда на Западе голословно рассуждали о «великом социалистическом эксперименте», закрывая глаза на трагическую подсоветскую действительность, Б.Д.Бруцкус, проследив первые шаги советской государственной экономики, осветил ее фундаментальные черты и предсказал дальнейшую судьбу страны и народа, попавших в тоталитарную ловушку. В течение истекших десятилетий его прогнозы подтверждались неоднократно — и не только на примере СССР.

Сегодня, когда советское руководство пытается (в который раз!) заставить подвластную ему экономику стать по-рыночному продуктивной, меняя и перестраивая только формы ее монопартократической централизации, эта старая, но не устаревшая книга приобрела новую актуальность.

Заказы направляйте по адресам:

**Victor Sorokine — 5, bd. de la Gare,
94470 Boissy-St.-Léger, FRANCE, и S. Tictin, Greenspan Str., 12/6,
Misrahk Talpiot 422, Jerusalem 93802, ISRAEL.**

Критика и библиография

СКВОЗЬ ДЫМ ЛЕГЕНД

Одним из эпитафий к этой книге взята строка Конституции: «Измена Родине – тягчайшее преступление». Карается это преступление, как известно, самым суровым наказанием, вплоть до расстрела. А что такое измена Родине, может сказать каждый советский человек: это нанесение существенного урона Отечеству – предательство, переход на сторону врага, или шпионаж.

На страницах книги очерков по истории Красной Армии, написанной историками и публицистами Виталием Рапопортом и Юрием Алексеевым, речь идет не о тех, кто переходил на сторону врага, обратив оружие против своих же соотечественников, а о тех, кто занимал ключевые посты в Красной Армии, – о видных ее командирах и военачальниках, – и тем не менее нанес по армии сокрушительнейший удар. Этот удар нанесен ей был в мирное время, на собственной территории, без боев, без тяжелых сражений, без какого-либо сопротивления с ее стороны.

События, о которых рассказывается в этой книге, теперь уже достаточно известны: это уничтожение верхушки Красной Армии в тридцатые годы, накануне Второй мировой войны. «Вы стреляете не в нас, а в Красную Армию!» – таковы были последние слова маршала Тухачевского перед расстрелом.

Это были действительно выстрелы по Красной Армии. Почти поголовное уничтожение ее верхушки, случись это в военное время, означало бы для страны неминуемое поражение. Мы знаем теперь и цену, которую заплатили народ и армия за это преступление: «Германия, – как отмечается в конце книги, – бросила на алтарь войны 8,6% населения, мы – 23%, почти четверть нации». Целиком и полностью ответственность за тягчайшее преступление перед народом, перед страной, перед человечеством лежит не только на сталинском

Виталий Рапопорт и Юрий Алексеев. «Измена Родине». Очерки по истории Красной Армии. London, OPI, 1988.

режиме, как убедительно показывают авторы очерков, но и на всей советской системе, которую Сталин и его режим олицетворяли.

Было бы непростительным легкомыслием, близорукостью и слепотой упрощать роль Сталина в советской истории, как это делается сейчас, в пору развенчаний. «Неверно, — как утверждают Рапопорт и Алексеев, — изображать Сталина только своевольным тираном. Он был, спору нет, беспринципным и чудовищно безнравственным человеком, хитрым и коварным интриганом, кровожадным и бездушным тираном, шедшим на все ради власти». Он, говорят далее историки, «поставил Россию на край пропасти никак не со зла, не в силу злого умысла». Более того: как подчеркивается на страницах книги, «он искренне желал видеть Россию процветающей, а население благоденствующим». Однако, раскрутив маховик гигантских репрессий, он сам не в силах был его остановить. Сталин — типичнейшее порождение системы, он ее плоть и кровь. Это — сквозная мысль книги...

Имя комкора Филиппа Кузьмича Миронова, в числе имен многих других полководцев и военачальников, было начисто вычеркнуто из анналов истории. На него был наложен особенно жесткий запрет. И есть на это свои особенные причины.

Дело в том, что в гибели этого храброго воина, талантливого командира и человека беспримерной честности (его называли «львом революции») далеко не последнюю роль сыграл Ленин.

Когда советским правительством было отдано распоряжение о так называемом «расказачивании», видя жесточайшие расправы красных, по сути, геноцид в отношении казачества, его истребление, Миронов неоднократно обращается к Ленину, к Троцкому, к Свердлову, к Калинин с требованием немедленно остановить бессмысленное кровопролитие. Он пишет в своих длинейших телеграммах к представителям правительства: «Я стоял и стою не за келейное строительство народной жизни, а строительство гласное, в котором народ принимал бы живое участие... Политическое состояние страны властно требует созыва народного представительства... Не называйте этого представительства ни земским собором, ни учредительным собранием, но созовите. Народ стонет».

Эта телеграмма, направленная Ленину, осталась без ответа. Когда же под натиском войск Деникина красные оставили

Дон, Донбасс и Царицын, Миронов выдвинул идею создания казачьего корпуса. На этот раз его вызвали в Москву. Ему удалось встретиться с Лениным. После встречи Ленин заметил: «Такие люди нам нужны. Необходимо умело использовать их». И действительно, таких людей, как Миронов, использовали — пока в них нуждались, — замечают очеркисты. Однако казни, разбои, грабежи продолжались. Снова и снова Миронов стучится к Ленину, выговаривает ему в телеграммах и письмах жестокую правду: «Как назвать эти деяния красных? Вся деятельность коммунистической партии, возглавляемой Вами, направлена на истребление казачества, на истребление человечества... Не могу согласиться, не могу допустить, чтобы на все эти ужасы Вы смотрели поверхностно, и чтобы это делалось с Вашего одобрения. Не могу далее молчать, нет сил выносить народные страдания во имя чего-то абстрактного, отдаленного».

Ленин это письмо получил, о чем свидетельствуют оставленные его рукой пометки: «важно», «очень важно», «очень хорошо». Но и не предпринял ничего для того, чтобы остановить геноцид. Самого правдоискателя Миронова постигла жестокая участь: его арестовали, а 2 апреля 1921 года пристрелили, выведя на прогулку в каменный мешок внутреннего двора Бутырской тюрьмы. Случилось это при Ленине, если не по его указке, то во всяком случае — при его попустительстве.

Уделив столько внимания лишь одному эпизоду в истории Красной Армии, мы рискуем сместить центр книги очерков Рапопорта и Алексеева: в ней судьба Миронова занимает лишь одну главу. Однако она до чрезвычайности важна: разбушевавшаяся стихия переустройства не подчинялась, как видим, даже вождю революции.

Проследившая этапы политической чехарды, в результате которой Сталин расчистил себе путь к кормилу власти в партии и государстве, убрал своих оппонентов, мнимых и реальных соперников, а также подорвал мощь Красной Армии, самой сильной в мире, Рапопорт и Алексеев задаются и таким вопросом: почему полководцы, имевшие в руках могучую силу, которая смела бы с лица земли силы НКВД, не воспользовались этой силой, покорно, безропотно пошли на смерть?

Ответов на этот вопрос несколько. Главный ответ: они безгранично верили Сталину. Никто из них не отважился бы

пойти против Сталина. Ведь даже Троцкий будучи уже в изгнании, писал своему сыну, что «не может выкинуть лозунг: „Долой Сталина!“». Не менее важно и то обстоятельство, что сильные на полях сражений военачальники беспомощными оказались на полях иных сражений – политических. Кроме того: расправа над ними происходила при мощной поддержке общественности и народа. «Широкая общественность, – как пишут авторы очерков, – не поднялась даже до понимания практической невыгоды репрессий. Презрев элементарные чувства справедливости и сострадания, она витийствовала, глумилась над открытыми могилами и пускалась в кощунственный пляс на тризне своих лучших защитников».

Кровавым похмельем для всей страны была Великая Отечественная война: по сути, большевики бросили под ноги немецкому фашизму растоптанную и поруганную армию. Приводя множество документов и свидетельств, Рапопорт и Алексеев показывают, что и накануне войны, и во время войны советские руководители, в том числе и видные военачальники, проявили себя как скверные политики и плохие стратеги. Миф о внезапности нападения фашистской Германии на Советский Союз – это ложь! – утверждают историки: «Скрытно подготовить и бросить в бой многомиллионную армию невозможно. Предупреждений было достаточно. Сталин предпочел их игнорировать. В нормальных условиях за одно это его следовало отдать под трибунал. Бок о бок с ним на скамье подсудимых должны были бы по справедливости воссесть многие, в первую голову – нарком обороны Семен Тимошенко, начальник Генштаба Георгий Жуков и начальник Разведуправления Филипп Голиков».

Советскими специалистами по Красной Армии умышленно искажалась ее история, перекраивались события как Гражданской войны, так и Великой Отечественной, безмерно превозносились роль одних командиров и военачальников и замалчивалась роль других. Однако столкновения с правдой истории не выдерживают образы многих легендарных полководцев. Остается от них лишь дым легенд. В тридцатые годы, выиграв под прикрытием Сталина сражение за командные посты в армии, Ворошилов и Буденный, а также другие бездарные вояки, приписали себе победы, добытые в братоубийственной гражданской войне действительно талантливыми военными. Имена последних сейчас известны: ими называют

площади и улицы. В очерках, однако, не делается попытка обелить жертвы репрессий. Придерживаясь объективного взгляда на историю Красной Армии, В. Рапопорт и Ю. Алексеев воссоздают и такие неприглядные эпизоды гражданской войны, как подавление восстаний тамбовских крестьян или усмирение кронштадтского мятежа, в которых особой жестокостью отличился Тухачевский. Напоминают они и о том, что Блюхера, Дыбенко, Каширина, Горячева, Алксниса, видных полководцев, которые на первом процессе по делу вчерашних своих товарищей по оружию, Тухачевского, Якира и проч., выступали в качестве судей, – постигла та же участь: обвинение в измене Родине, суд, расстрел.

О таланте полководцев авторы очерков судят с позиций искусства ведения войны, превосходства одних методов организации армии над другими, целесообразности и уместности военных доктрин – тех качеств, которые могли бы сыграть решающую роль в Великой Отечественной войне. По своей мощи, в том числе технической оснащенности, Красная Армия, как явствует из многочисленных данных, в тридцатые годы значительно превосходила армию Германии. Сталин и его сподвижники подрывали ее силы и тем самым обрекли народ на неслыханные жертвы. Советский режим, таким образом, совершил тягчайшее, может быть, самое страшное преступление.

Н. Т.

О БЕЗОБИДНЫХ ПРИШЕЛЬЦАХ И КРОВОЖАДНЫХ ДИКАРЯХ

Одна из постоянных тем советских журналистов, аккредитованных в Соединенных Штатах: до какой же степени американцы не знают ничего о Советском Союзе – о давней и недавней истории, о традициях, просто о повседневной жизни. Как-то советскому репортеру даже удалось отыскать таких американцев, которые полагали, будто значительную часть нашей

Лоренс Ферлингетти. Избранное. Москва, «Молодая гвардия», 1988.

планеты, скрывающуюся под аббревиатурой *USSR*, населяют существа, похожие на героя фильма Стивена Спилберга «ЕТ».

Конечно, это грустно. Хотя персонаж Спилберга – милое и безобидное существо, а не какой-нибудь кровожадный монстр, грустно, что корреспонденту – где-то в американской глубинке – встретились люди, подобным образом представляющие себе соседей своих по планете.

Но вот передо мной лежит книжечка, только что вышедшая в Москве, в издательстве «Молодая гвардия», и если судить по ней, то не случайные люди с улицы, а даже советские специалисты по Америке имеют какое-то очень приблизительное представление об изучаемой ими стране. Книжка – сборник стихов сан-францисского поэта Лоренса Ферлингетти; составитель ее и автор предисловия кандидат филологических наук Алякринский.

Я вовсе не знаток Ферлингетти и не берусь судить ни о качестве переводов, ни о том, насколько удачно составлена книжка, хотя, на мой дилетантский вкус, выбор произведений для первой на русском языке книги не самый лучший, переводы же, кроме одного, выполненного Андреем Сергеевым, по-моему, относятся скорее к риторике, чем к поэзии. Но, повторяю, я не специалист. Я бы хотел обратить внимание лишь на ту вспомогательную информацию, включенную в книгу, которая, предположительно, должна облегчить русским читателям общение с Ферлингетти.

Крошечный сборничек стихов снабжен десятистраничным предисловием; кроме того, на каждой третьей странице читателю предлагаются комментарии, касающиеся как фактов истории, так и реалий американской жизни. Само по себе это, по-моему, хорошо. Хорошо, однако, до тех пор, пока мы уверены, что информация, сообщаемая всем этим аппаратом, – достоверна.

Откроем книгу.

«Сан-Андреасский разлом, – говорится в примечаниях, – овраг, трещина на территории Сан-Франциско, образовавшаяся после землетрясения 1906 года».

То, что автор комментария фамильярно называет «оврагом», – на самом деле огромной протяженности граница между двумя тектоническими пластами (перемещение которых друг относительно друга действительно вызывает землетрясение). Сан-Франциско стоит на этом разломе самым краешком. На

территории Калифорнии ученые выделяют несколько подобных разломов, один из которых и явился причиной землетрясения 1906 года.

«„Сейфвей“, – сообщают примечания, – известная фирма, владеющая сетью универмагов».

Однако «Сейфвей» это вовсе не универмаг, а супермаркет, или, как подобные магазины называют в Союзе – универсам.

Еще один комментарий я опробовал уже на многих своих знакомых, и с неизменным эффектом – гомерический хохот.

«Барбекю – традиционное американское блюдо – зажаренная на костре туша».

Барбекю, он же гриль, – приспособление для жарки мяса, птицы или рыбы на раскаленных углях. Внизу размещаются угли, над ними металлическая решетка – на эту решетку вы кладете то, что собираетесь зажарить. Можно, кстати, пристроить над углями шампуры и приготовить, сами понимаете, шашлык – этим блюдом серьезно увлекаются новые американцы из бывших советских жителей.

Не знаю, как в общеамериканском масштабе, но здесь, в Калифорнии, у каждого на заднем дворе стоит эта жаровенка, барбекю, в любом супермаркете вы найдете их – долларов от 20 до 60, в зависимости от размера, – кроме того, практически в любом парке, на полянках, удобных для пикников, под старыми раскидистыми деревьями, во всяких там гротах, лощинах и на берегах искусственных и естественных речушек расставлены эти самые барбекю – для всех желающих, пользуйтесь! Бесплатно, разумеется.

Правда, не только туши животных, но и туши птиц – курицы, индейки – разделявают перед жаркой, разрезают на порции. Иначе они не прожарятся. И костер, о котором сообщается в примечаниях, конечно, тоже тут ни при чем.

Или вот читаем в предисловии:

«Как-то „Сан-Франциско икзаминер“ – крупнейшая газета литературной столицы Калифорнии – назвала Ферлингетти „поэтом-лауреатом Сан-Франциско“. Если бы муниципалитет города и впрямь утвердил такой титул и объявил конкурс на его соискание, едва ли кто-нибудь смог составить Ферлингетти конкуренцию. Впрочем, думается, поэт наверняка бы отказался принять от властей подобный знак признания».

Я процитировал этот пассаж совсем не потому, что «Сан-Франциско икзаминер», рекомендованная О. Алякринским как крупнейшая газета Сан-Франциско и одна из крупнейших в Соединенных Штатах, – на самом деле всего лишь обыкновенная вечерняя газета, и раза в три-четыре, думаю, отстает по тиражу от самой влиятельной газеты города – «Сан-Франциско кроникл». Тут интересен, так сказать, подход к теме. Риторический прием, использованный журналистом, кандидат наук Алякринский, пристраивает к своим идеологическим нуждам: и премию Ферлингетти никто не присуждал, и такой премии нет вообще в природе, но читателям надо внушить, что Ферлингетти эту премию, конечно, бы не взял, ибо ему не нужны «знаки признания властей». Словно речь идет о коллаборационизме, о сотрудинчестве с врагом.

В подтексте подобных построений лежит примитивная идея о том, что у них там, на Западе, идет классовая война, а у нас, мол, царит классовый мир. И поэтому Евтушенко и Вознесенский могут принимать государственные премии из рук никем не избранных председателей и секретарей – эти секретари им классовые друзья, а вот Ферлингетти, «думается» Алякринскому, не стал бы принимать премию, если бы ее присудил выбранный им же и его соседями городской совет – в совете, понятно, сидят классовые враги.

Не знаю, верит ли сам-то специалист по Америке в то, что он пишет, но информация, предлагаемая им публике, деликатно выражаясь, не очень достоверна.

Недавно, в интервью газете «Нью-Йорк таймс» новый главный советский специалист по загранице Александр Яковлев рассказал, как он столкнулся однажды с американкой, которая полагала будто жены в Советском Союзе все общие. «Кто сказал вам это?» – спросил Яковлев. «Наш священник», – ответила женщина.

Ладно, священник, кто он с марксистской точки зрения такой? Обскурант. И нечего прибавить. Но вот когда ученый, кандидат наук, буквально на нескольких страницах ухитряется сообщить столько всякого удивительного, у него, наверное, стоит спросить: зачем он рассказывает публике подобные небывлицы?

И если какие-то детишки из глухого американского города воображают себе советских жителей зелененькими умильными существами, неужели в отместку – кому? –

за это нужно внедрять в сознание советских людей образ американцев – пожирающих, на манер дикарей, туши, зажаренные на костре?

Михаил Лемхин

«КНИГА О КНИГЕ ВЕРЫ»

«Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всем обстоятельствам жизни... Сия книга называется Евангелием, – и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие», – писал незадолго до смерти А. С. Пушкин.

К сожалению, сегодня большинству из нас эти слова покажутся преувеличением. «Погрузиться духом в Евангелие» нам не под силу.

Две тысячи лет отделяют нас от времен евангелистов, и современный человек, впервые открывая эту книгу, сталкивается с целым рядом трудностей. Текст кажется тяжелым для восприятия, нам порой непонятны многие обороты речи, а порой и сам ход мысли, не говоря уж о том, что необходима достаточная база по истории древнего мира. Без комментариев, пояснений современному человеку не обойтись. Они должны открыть Евангелие, дать к нему ключ.

Изучение Нового Завета стало целой наукой. Сотни толкователей – богословов, историков, филологов, – проделали огромную работу по разбору и сопоставлению текстов, уточнению их смыслов. Они кропотливо исследовали каждую главу и каждый стих Евангелия. Хотя большинство исследователей не ставили перед собой цели составить целостную картину жизни Христа, в центре их внимания оставались образы евангелистов.

Прот. Александр Мень (А. Боголюбов). Сын Человеческий. Издание третье, переработанное и дополненное. Foyer Oriental Chrétien. Bruxelles.

Опыт первой биографии Христа был предпринят известным русским проповедником, архиепископом Иннокентием Херсонским, его очерки вышли в 1828 году под названием «Последние дни земной жизни Иисуса Христа». Яркую картину создал нехристианский автор Эрнест Ренан, французский историк и мыслитель, книга которого «Жизнь Христа» появилась в 1863 году. Потом стали выходить другие биографии Христа, написанные и священниками, и профессиональными литераторами, среди которых были как верующие, так и люди, проповедующие атеистическое мировоззрение. «Есть нечто трогательное, – писал известный историк Адольф Гарнан, – в этом стремлении всех и каждого подойти к этому Иисусу Христу со стороны своей личности и своих интересов и найти в Нем самого себя или получить хотя бы некоторую долю в Нем».

Книга священника прот. Александра Меня (Андрея Боголюбова) – еще одна попытка воссоздать образ Христа.

«Для чего написаны эти страницы? Нужны ли они, если об основателе христианства было уже столько сказано?» – эти вопросы автор задает прежде всего себе самому... Вот как он отвечает на них: «Личность Христа неисчерпаема. Она превосходит все обычные мерки. Вот почему каждая эпоха и каждый человек могут находить в Нем новое и близкое им. Об этом в частности свидетельствуют и история искусств. Если мы сравним фреску в катакомбах Рима или древнерусскую икону с изображением Христа у Эль-Греко или модерниста Шагала, то увидим, как по-разному преломляется Его образ на протяжении веков».

Автор стремится к тому, чтобы на основании Евангелия, лучших комментариев к нему, а также других источников рассказать о Христе, не ставя при этом исследовательских целей. И свою книгу он предназначает прежде всего тем, кто прочел Евангелие впервые или вообще не знаком с ним.

Главная задача книги – увидеть Христа таким, каким Его видели современники. «Евангелие – книга веры, пишет А. Боголюбов, – что не мешает ему быть историческим документом. Путь Христов проходил среди людей определенного времени, к ним в первую очередь обращено Его слово».

Святой Иоанн Златоуст рекомендовал читать Евангелие, представляя себе конкретную обстановку, служившую фоном священных событий. А. Боголюбов следует этому совету,

уделяя важное место историческому аспекту. Книга строится по принципу исторического синтеза. От событий внешних, описания Иудеи первого века, автор идет к темам христианского мировоззрения. Именно это сочетание историзма с религиозными идеями и делает книгу, с одной стороны, увлекательной и в то же время мудрой, мудрость которой не подавляет, а, наоборот, помогает понять. Наверное, рассказать о Христе «просто» под силу только священнику. А. Боголюбов рассказывает очень доступно, при этом нисколько не упрощая Евангелия.

В предисловии автор адресует свою книгу в том числе и людям неверующим.

Сегодня на основании исторических исследований и открытий археологов ученые располагают более подробными сведениями об Иудее I в. Используя эти сведения, А. Боголюбов приближает и неверующего читателя не только к эпохе, но и к самому Образу Христа как исторической личности, подчеркивая христианские идеи гуманности, доброты, любви, терпимости. И сегодня, «сквозь рев и грохот технической эры, столь могущественной и столь одновременно нищей и столь бессильной, Евангельские заповеди звучат как никогда актуально».

Цитируя Новый Завет, А. Боголюбов отказывается от общеупотребительного синодального перевода. Решение это очень удачно, поскольку старый перевод прошлого века зачастую непонятен современному читателю. В книге использован новый перевод, осуществленный в Париже под редакцией архиепископа Кассиана, поэтому Христос в ней говорит современным языком, что позволяет нам яснее увидеть картину евангельской жизни.

Особого внимания заслуживают приложения, которые заинтересуют и людей, хорошо знакомых с Евангелием. В них автор приводит новые сведения по происхождению Евангелий, иконографии Христа. Даже «искушенному» читателю захватывающим покажется рассказ о загадке Туринской плащаницы.

Безусловно, что «если мы хотим знать правду о Христе, – как говорит Александр Мень, священник и известный церковный писатель, – то должны искать ее прежде всего в Евангелии». Однако и его книга приближает читателя к Евангелию, помогает его раскрыть.

Ольга Миронова

ЭКСПОРТНЫЙ ВАРИАНТ ПЕРЕСТРОЙКИ

Имя академика Абеля Аганбегяна широко известно в Советском Союзе и за его пределами. Многие считают его главным советником Горбачева по экономическим вопросам. Недавно издательство Университета штата Индиана выпустило его новую книгу на английском языке. Называется она «Экономические задачи перестройки». Уместно будет вспомнить, что Аганбегян был активным участником и глашатаем экономических реформ 1965 года (Косыгинской) и 1977 года. Интересно проследить, как изменились его взгляды за прошедшие 20 лет.

Прежде всего, его новая книга – для западного читателя. Она написана по заказу издателя новой серии книг о Советском Союзе. В своем предисловии английский издатель разъясняет цели серии, которую он назвал «Второй мир»: дать возможность советским авторам самим объяснить и описать различные аспекты жизни советского общества, как они их видят. Таким образом, считает издатель, можно будет покончить с предубеждением против советского образа жизни, царящим на Западе.

Мне думается, подобная цель была бы успешнее осуществлена, если бы книгу заказали авторам, не занимающим высокого официального положения, таким, например, как Шмелев или Селюнин. Аганбегян является членом президиума Академии наук СССР, возглавляет крупный экономический журнал, то есть фактически входит в состав высшего правящего слоя. В работе над книгой ему помогали сотрудники главных экономических институтов. Иными словами, мы имеем все основания рассматривать данный труд как официальную экономическую программу перестройки – в ее экспортном варианте.

В книге много графиков и таблиц. Все они показывают одно и то же: как неуклонно снижались экономические показатели в период от 1966 до 1985 года и как круто они пошли (или пойдут) вверх после прихода к власти «молодого, энергичного лидера, университетски образованного, глубоко понимающего экономические проблемы страны» (стр. 3). В соответствии с давно установившейся практикой, автор делает

Abel Aganbegyan. The Economic Challenge of Perestroika. Bloomington: Indiana University Press, 1988.

вид, что терминология рыночной экономики применима и к экономике плановой. Описывая процессы, происходящие в промышленности и сельском хозяйстве, он использует слова «прибыль, ценообразование, проценты на кредиты, капиталовложения, капитальные затраты» (да-да, в самой антикапиталистической стране продолжает фигурировать и обращаться какой-то мистический советский капитал). И, конечно, академик Аганбегян берет все свои цифровые данные из отчетов Центрального статистического управления. Хотя в 1965 году, давая интервью журналу «Знание – сила», сам признавал, что цифры этой организации – дутые.

Ключевым моментом оказывается отношение автора к рынку. Аганбегян признает необходимость увеличения числа кооперативов, сообщает, что за последнее время было выдано более 200 тысяч разрешений на индивидуальную трудовую деятельность. Но тут же спешит объяснить западному читателю, что в СССР такая деятельность не может быть главным источником вашего заработка (стр. 28). Пожалуйста, шейте костюмы для заказчиков, ремонтируйте квартиры, учите иностранным языкам – но все это в свободное от основной работы время. Или после того, как выйдете на пенсию. Не разрешается также создавать предприятие, которое будет нанимать работников за плату. Это эксплуатация, а она в Советском Союзе – вне закона. Поэтому частные кафе, ремонтные мастерские и прочее должно существовать только в форме кооперативов. Ибо в кооперативе все равны, все сообща владеют собственностью, делят доходы, выбирают руководителей.

Автор признаёт, что рыночная экономика, даже в ее кооперативном варианте, встречает серьезные трудности. Мастерские по ремонту автомобилей не знают, где доставать запчасти и инструмент. В чем же проблема? В отсутствии свободного рынка? Отнюдь нет. Просто «министерства и заводы еще не уделяют достаточно внимания проблемам кооперативных ремонтников» (стр. 28). Аганбегян сообщает, что в конце 1920-х годов в Москве было 3000 частных кафе. Население сегодняшней Москвы выросло в 4 раза, а таких кафе всего 118 (стр. 28). Почему? Потому что, опять же, соответствующие власти не справляются, не помогают снимать помещения, доставать продукты. О том, что частным кафе не разрешается покупать продукты в государственных магазинах, а только на рынке – втридорога, – не говорится.

Академик Аганбегян сурово критикует экономистку Попкову. Она опубликовала в «Новом мире» статью, утверждающую, что только нормальная рыночная экономика может обеспечить население продуктами питания и предметами первой необходимости. Аганбегян называет ее взгляды «примитивными и запутанными... противоречащими не только теории (очевидно, марксистской. – И. Е.), но и практике» (стр. 125).

Можно с определенностью сказать, 23 года назад, борясь с пороками «хрущевского волюнтаризма», Абель Аганбегян – тогда еще член-корреспондент Академии наук – был гораздо смелее, чем теперь, когда он выступает против последствий «брежневского застоя». Уже упоминавшееся выше интервью, данное им журналу «Знание – сила», ходило в Самиздате и вызывало такой же интерес, как 20 лет спустя – знаменитый доклад академика Заславской. Например, Аганбегян признавал тогда, что в малых и средних городах 25–30% трудоспособного населения не может найти работу. В книге «Экономические задачи перестройки» он уже утверждает, что безработицы в СССР нет, не было и быть не может (стр. 20). Тогда он признавал, что страна несет непосильные расходы на оборону, что из каждых 100 работающих 30–40 заняты в военной промышленности. Теперь он говорит, что огромный экономический потенциал Советского Союза позволит ему выдержать новый раунд гонки вооружений, если она будет навязана империалистическими кругами Запада.

Экономическому аспекту военной политики СССР посвящена отдельная глава. Мне кажется, что в этой главе и содержится главный пропагандистский заряд, ради которого писалась книга «Экономические задачи перестройки». Со всей необходимой наукообразностью в ней доказывается, что Советскому Союзу по силам даже создание космической противоракетной защиты в ближайшие годы – если, конечно, его к этому вынудят. Примечательно, что именно эта глава (стр. 203–216) написана с участием сотрудников «Института по изучению США и Канады» и «Института международных отношений». Стратегическая оборонная инициатива американцев, знаменитая СОИ – вот что тревожит сегодня советских стратегов сильнее всего прочего. Новая книга Аганбегяна явится важным элементом кампании, ведущейся против разработки космических противоракетных систем. Западные противники СОИ смогут ссылаться на цифры, приводимые советским ака-

демиком. «Американская администрация, – будут говорить они, – дезинформирует нас. Советский Союз нельзя довести до банкротства, вынуждая его к технологическому состязанию с нами. Вот вам цифры. Они показывают, что космическая защита бесполезна во всех смыслах».

Академик Аганбегян обладает искусством дозировать умеренный критицизм с оптимистическими рецептами всевозможных улучшений. Вот, например, что он писал в «Литературной газете» одиннадцать лет назад, когда шла очередная экономическая реформа (ЛГ 4.5.77): «План должен быть подкреплён стимулирующей системой экономических рычагов таким образом, чтобы выгодное государству всегда было выгодно и любому предприятию, и каждому работнику». Можно ли что-то возразить против этой замечательной формулы? Нет, нельзя. А как ее осуществить? Это уже не дело академика. Его дело – указать путь. Тот же прием используется сплошь и рядом и в его книге «Экономические задачи перестройки». «При новой экономической системе предприятие должно быть поставлено в такие условия, при которых и всему коллективу, и каждому отдельному работнику было бы выгодно работать с полной отдачей... Наличие экономической заинтересованности будет мощным стимулом к улучшению качества работы» (стр. 158). Не является ли это почти дословным повторением той же прописной истины, которая была высказана в статье в «Литературной газете»? Но почему то, что не сработало в период «брежневского застоя», должно сработать в период «горбачевской перестройки»?

Авторы предисловий к научным книгам обычно стараются подчеркнуть достоинства предлагаемого читателю труда. Примечательно, что автор предисловия к книге академика Аганбегяна, экономист Алек Ноув, высказывается очень критично. Он перечисляет множество скрытых в ней противоречий, вскрывает многочисленные умолчания о настоящих трудностях. Так, например, показатель «валовой продукции» всеми как бы осужден и больше не является определяющим. Но велика ли разница, если на его место приходит показатель «ускорения»? И в каких единицах будет измеряться это ускорение? Все в тех же тоннах выпущенной продукции? Но тогда предприятия по-прежнему будут искусственно утяжелять конструкции. В суммарной стоимости изделий? Но тогда каждый завод будет гнать в первую очередь то, что подороже. «Такой же порочный круг, – пи-

шет Алек Ноув, – сохранится и в отношении рабочих. Без улучшения дисциплины и повышения трезвости, качество их труда не улучшится. Но зачем работать интенсивнее, думают многие из них, когда на заработанные деньги все равно нечего купить?»

Печально, что ученый такого масштаба, как академик Аганбегян, проявлявший когда-то известную независимость ума, превратился в простого глашатая официальной линии в сфере экономики. Печально, что именно его советские руководители избрали на роль главного советника. Но есть и еще один аспект его книги, который внушает тревогу. Аспект этот – теоретический, историко-философский.

Мы видим, что термины «социализм» и «капитализм» продолжают использоваться в их старом значении не только советскими авторами, но и западными издателями и комментаторами. Между тем, термины эти исторически устарели и обесмыслились. Во многих странах Западной Европы у власти находятся социалистические партии, они ведут широкую национализацию предприятий и целых отраслей промышленности. Но до тех пор, пока национализированные предприятия должны выходить со своей продукцией на внутренний и внешний рынок, экономическая структура общества не меняется: она остается рыночной. В Советском Союзе реформы могут зайти очень далеко, но до тех пор, пока рынок предается анафеме, пока права собственника – индивидуального или коллективного – не гарантированы, общество остается «антирыночным». Не капитализм против социализма, а рыночная экономика против плановой, антирыночной – вот суть существующего на сегодня коренного различия.

Рыночная экономика несет изобилие, но необходимым условием ее является свобода, а неизбежной опасностью – кризисные срывы. Плановая экономика более стабильна, но это стабильность лежащего на земле человека – ему просто некуда падать. Как обрести изобилие рынка, не дав при этом человеку свободы покупать и продавать свой труд и продукты своего труда, – вот неразрешимая задача, к которой советские реформисты возвращаются снова и снова вот уже 70 лет. Книга академика Аганбегяна «Экономические задачи перестройки» показывает, что формулировка задачи остается прежней. А это значит, что и разрешение ее в ближайшем будущем остается таким же сомнительным.

Игорь Ефимов

В ПОИСКАХ САМИХ СЕБЯ...

Последняя волна эмиграции евреев из Советского Союза началась примерно двадцать лет назад. За эти годы проблеме выезда евреев были посвящены многочисленные статьи в западной прессе, в которых делался упор на глобальные вопросы эмиграции, притом нередко подчеркивалось нежелание евреев ехать на историческую родину и оставлялись в стороне проблемы интеграции новоприбывающих на Запад и, в частности, в Израиль. Авторы этих статей прежде всего интересовались еврейской эмиграцией на фоне политических взаимоотношений между СССР и странами Запада, явно отодвигая на второй план чисто человеческие проблемы, связанные с переездом из одной страны в другую, тем более из одного мира в другой.

Но спустя двадцать лет после отъезда первых эмигрантов пришло время представить судьбы людей, которые решились сдвинуться с насиженных мест и начать жизнь в новых, непривычных для них условиях, к которым их никак не подготовили десятилетия пребывания в Советском Союзе. Для демографов двадцать лет считается необходимым промежутком между двумя поколениями. Если применить это правило к еврейской эмиграции, то следует заметить, что прошедшие годы не только дали рождение новому поколению, но полностью переплестили бывших советских граждан. На наших глазах произошел процесс их отхода от старого мира. Но стали ли они частью нового, к которому так стремились приобщиться?

На эти вопросы частично отвечает книга Полины Клейнер «Репатрианты». Само название книги уточняет идею автора, считающего, что ее герои вернулись к себе на родину, причем для большинства из них речь идет о выбранной родине, так как этим людям пришлось сделать выбор, притом многократный. Они *выбирали* выезд из Советского Союза, а потом *выбирали* переезд именно в Израиль, а не в какую-либо иную страну. Поставив в центре книги евреев, эмигрировавших в Израиль, автор не избегает спорного вопроса о тех, кто сделал другой *выбор* и не захотел поселиться в стране своих предков. Хотя эти люди и не являются главными персонажами книги

(ведь не скажешь, что они «репатрианты»), но о них часто упоминается, причем без какой-либо озлобленности.

Книга Полины Клейнер состоит из тридцати повествований выходцев из России, поэтому ее можно причислить к документальному жанру. Но судьбы многих из этих людей могут показаться столь необычными, что рассказы их скорее похожи на увлекательные романы.

Всем своим «соавторам» Полина Клейнер задавала одни и те же вопросы. Она просила рассказать о причинах выезда из России, о первых впечатлениях об Израиле и наконец подытожить прошедшие годы, оценить их роль в жизни данного человека.

Сборник таких свидетельств заставляет нас поставить вопрос о роли автора, тем более, что Полина Клейнер сознательно уходит на второй план, не позволяя себе выражать личное мнение. Но мнимое отдаление лишь придает силу представленным фактам, а также чувствам и мыслям каждого отдельного человека. Подбор «соавторов» тоже не случаен, так как каждая судьба, даже самая необычная, становится символом, представляя и другие, нерассказанные судьбы.

Что объединяет рассказчиков, представленных на страницах книги «Репатрианты»? Несомненно, сознание того, что все они евреи. Это неоспоримо даже для тех, кто происходит из так называемых ассимилированных семей. Почти в каждой исповеди, как лейтмотив, повторяются слова, подчеркивающие эту специфическую черту, которая и стала главной причиной исхода.

Приведем несколько выдержек из книги: «В Израиль мы едем по национальным соображениям», «В Израиль я приехала по национальным мотивам», «Сюда я приехал по религиозным и национальным мотивам». Такого рода высказывания можно было бы повторять без конца. О чем могут свидетельствовать такие слова? Не только о живучести чувства национальной приверженности, но и о тяжелом бремени, которое этим людям пришлось нести в Советском Союзе, где, по неписанным законам, они считались гражданами второго сорта.

Но, несмотря на многолетние страдания и унижения, многие из них были и остались людьми, верными русской культуре и русскому языку. Для некоторых расставание с русской природой стало своего рода погребальной церемонией. Вот что

пишет Полина Клейнер о художнике Владимире Рутштейне: «Глядя на богатую палитру красок и настроений, я поверила в предчувствия: должно быть, где-то в подсознании художника таилось опасение, что со всем этим ему когда-нибудь придется расстаться... Это как „плачи“, только, по-моему, не по „уходящей России“ — она, в конечном счете, никуда не денется, — а плач по самом себе».

Если большинство рассказчиков сходятся в анализе причин выезда, то они часто расходятся в описании самого Израиля, а также интеграции в израильское общество. Тут диапазон мнений намного шире. В общем, следует сказать, что большинство довольны своим личным положением, хотя все отмечают бюрократизм работников израильской системы абсорбции, а многие подчеркивают недоброжелательное отношение к новоприбывшим со стороны старожилов.

Некоторые так и не смогли перешагнуть через неприязненность окружающей среды и врасти в израильское общество. Типичным примером такого положения можно посчитать Нину Яковлевну из главы «Я ее уже где-то встречала». Нина Яковлевна представляет собой как бы собирательный образ, хотя и отличается индивидуальным характером. Автор книги отмечает: «Потом, уже в автобусе, перебирая в памяти детали нашей беседы, я поняла: нигде я ее не встречала. Просто в ней, в ее манере общения отпечатаны следы двух знакомых мне жизней: старой — хлебосольной, фрондирующей, открытой, и новой — уже более замкнутой и зыбкой».

Почему Нина Яковлевна отрицательно относится к Израилю? Она сама это объясняет, методически составляя список своих разочарований. Все они основаны на двух-трех причинах, последствия которых влияют на многочисленные аспекты жизни. Нина Яковлевна отмечает «полное отсутствие ответственности, деловую неаккуратность и необязательность. То, что в СССР казалось следствием советского строя (расхлябанность и невежество), здесь оказалось почти нормой». И она добавляет: «Я не представляла себе, что окажусь на Востоке, Восток — для меня — воплощение грязи, бескультурия, невоспитанности, отсутствия навыков социального общения, бесцеремонности».

Но, несмотря на столь отрицательное отношение к ее новому дому, Нина Яковлевна не хочет жить в какой-либо другой стране. Она передает разговор с молодым студентом,

которого она встретила во время своей поездки во Францию: «Почему вы живете в Израиле? – Я еврейка и потому живу в еврейском государстве. – А что вам больше нравится, Израиль или Франция? – Франция! – Но тогда объясните, почему же вы выбрали Израиль? – Не хочу быть апатридом».

В противовес Нине Яковлевне можно привести другой женский портрет, символизирующий полное перевоплощение русской еврейки в молодую израильскую женщину (из главы «Психолог»). «Молодая, подтянутая, стройная, она вызывала к себе симпатию почти всех слушателей. Смуглое, удлиненной формы лицо, загадочно-неопределенная улыбка, смеющиеся серые глаза. Израильский акцент. Некоторые слова и выражения звучали просто не по-русски. „Молодец, – подумала я – израильтянка, а так усвоила чужой язык“. А потом я узнала, что она из России и, конечно, удивилась, как она за одиннадцать лет в Израиле сумела настолько овладеть ивритом, что он вытеснил русский. Впрочем, не удивительно, ведь она думает на иврите».

Мирра, так зовут молодую женщину, представляет собой тех евреев, чей переезд надо рассматривать не только в узких рамках материального положения. Для нее, как и для многих, приезд в Израиль принес настоящее духовное возрождение, основанное на приближении к религиозной жизни. Интерес к религии и, более того, глубокая вера, объединяет почти всех «соавторов» книги «Репатрианты». Одни приехали в Израиль уже верующими людьми, другие приобщились к религии, будучи в Израиле, но для большинства вера отцов стала важной частью их духовного мира. Поэтому многие из них могли бы посчитать своими следующие слова Мирры: «В религии я нашла упорядоченность, четкие ответы на то, как человек должен жить среди людей и в своей семье...».

Глава «Психолог», как и некоторые другие главы, ценны именно тем, что показывают суть нового поколения, образовавшегося за 20 лет репатриации евреев из СССР.

Книга Полины Клейнер важна и нужна. Благодаря своему замыслу и исполнению, она является интересным вкладом в историю вrastания русского еврейства в израильское общество.

Ада Шлаен

Коротко о книгах

Лия ВЛАДИМИРОВА

СТИХОТВОРЕНИЯ

Израиль, 1988

Последнее двадцатилетие опять ввело в литературу понятия «шестидесятые», «семидесятые». Но кончились шестидесятые, а литература семидесятых ушла в самиздат, затем за границу. Лия Владимировна не занималась политикой, не входила в круги диссидентов, но знала, что в России писатель, как преступник, – вне закона. Потому что искусство всегда нарушение косных догматов, и именно эстетическая самоценность, а не социальная направленность потрясает устои.

Моя тарусская Россия,
Моя владимирская ширь,
Моя возлюбленная Лия,
И Руфь, и нежная Эсфирь!

И блещет двуединым светом
Крыло у каждого плеча,
И две судьбы, как два завета,
В меня вошли кровотока.

Так пишет о своей судьбе, уходе из России Лия Владимировна, чей голос уже 15 лет звучит на Западе. Любители поэзии не раз встречали ее сборник: «Связь времен» (1975), «Пора предчувствий» (1978), «Снег и песок» (1982), а сейчас четвертая книга – «Стихотворения».

Владимирова пишет о себе и в себе. Весь ее мир в бездне бесконечного белого света, он же – в неисчислимых зернах песка:

Я проснулась – бело.
Я не верю сама:
Так сегодня светло,
Будто снова зима.

Здесь до самого неба песок
И до самого лета – полынь.

И, хотя много стихотворений у Лии Владимировой об апельсиновых рощах, которые она видит из окон своего дома в Натании, о Иеру-

салиме, Тивериадском озере, – пишет она все-таки о России. О снежных зимах, о нежной весне, о цветастой осени. В Израиле она все еще:

...внимательно и немо
Смотрю, как над Долиной Пастухов
Встает заря на небе Вифлиема.

Не дожидаясь, когда Россия откроет памятник жертвам сталинского режима, поэт в своих стихах «Соль-минорная симфония» становится зодчим.

То не скорбная страна
Пробуждается на час,
То последняя вина
Надвигается на нас.

.....

И кадит, кадит, кадит
Над пожарищами дым...
Слышишь, колокол гудит
Не по мертвым, по живым.

Стихи Лии Владимировой – об одиночестве, о безграничной содержательности молчания. Но именно вопреки обступающему одиночеству, неодолимой бездомности – неожиданное рождение венка сонетов – «Пятнадцать сонетов», в них «зреет в темноте души зерно», в них воспоминания детства, когда мир воспринимался так:

И пахли лесом мытые полы,
И очень юной мамой пахло мыло,
Она меня в тазу, как в море, мыла,
Его просторы не были малы.

С каждым новым стихотворением книги чувствуется, что поэт устает от своего пребывания «вне» пространства. Появляется грустная, утомленная женщина, которая понимает, что, как ни чудесен ее снежный мир, его больше нет, а может, никогда и не было... Уходит в прошлое «снежный век», остаются строфы, строфы, перекликающиеся с пушкинскими:

И может быть, тревожный, как земляне,
Какой-то обитатель звезд ночных
Послание пишет к пушкинской Татьяне
При свете наших лампочек земных.

Потому что, когда человек способен творить, он как бы снова и снова возвращается к жизни:

Как хорошо усталому присесть
В лесу на полусгнившую корягу
И все, что в этом старом мире есть,
Переводить не тitchься на бумагу.

Мара Фельдман

Д. А. АНТОНОВ

НАДЕЖДА

Чеховград, 1988

Автор книги определяет ее содержание словами: «...повесть о первой любви, о русской литературе – надежде на Духовное возрождение России. Попытка выявить источник „силы торможения“, противостоящей гласности, перестройке, в год Тысячелетия Крещения Руси».

Главный персонаж книги, Федор Константинович Морозов, «второволновик», проживает с родителями в Италии, но тоска по родине одолевает его. Эту тоску увеличивают встречи с туристами из СССР, желание переменить образ жизни, повидать родные края и близких людей, покинутых там... Совершив некий приключенческий трюк, он с поддельным паспортом переезжает в Швейцарию, затем в Финляндию и в качестве туриста появляется в Москве. Встречи с родными, друзьями и недругами грозят ему разоблачением, и он возвращается в Финляндию, куда постепенно переезжает и его семья. Там он обособивается как будто навсегда и оттуда следит за явлениями советской действительности «перестроечного» периода.

В книге много места и внимания посвящено проблемам секса во всех его разновидностях: супружеской любви, внебрачных связей, прелюбодеяния, насильничества, развращения малолетних... Отвратительные половые извращения связаны с общим нравственным вырождением и беспринципностью, столь характерными для «органов».

Страшно становится – до чего может человек дойти, отрешившись от Бога, религии, Церкви. Сознание тревожит вопрос: только ли в коммунистическом, советском царстве возможно такое вырожде-

ние? К сожалению, приходится констатировать, что — не только... Дьявольская сексофилия присуща была человеческому роду с незапамятных времен. Перечислим только некоторые ее формы: фаллические культы, Содом и Гоморра, дионисийские оргии, циники, лжегностики, либертинизм древней Александрии... Много сексуальной распущенности было среди таких сектантов, как богумилы, катарены, альбигойцы или, например, франкисты...

Пышно расцвел сексуальный либертинизм в эпоху Просвещения, дождавшись своей апологии позднее в учении Фрейда (1856–1939). Обо всем этом пространно написано в исследовании профессора психологии Ратибора Юрьевича в его книге «Современные лики Сатаны» (по-англ. в изд-ве «Ихтис-букс», США, 1985). В современную секуляризованную эпоху, которую автор называет «деофобической» (богоборческой, богоненавистнической), почти все содействует развращению: педагоги высказываются в пользу свободной любви; некоторые священники одобряют внебрачные половые связи; кинопромышленность «продает» секс как ходкий товар; книжные магазины и газетно-сигаретные киоски продают порнографию; суды вчерашнюю бульварщину рассматривают как литературу; магазины, в которых продаются видеокассеты, выставляют альбомы со всякого рода «обнаженностями»; ночные клубы выставляют программы, от которых приличного человека предыдущих поколений стошнило бы; телевизионные станции состязаются в показе фильмов, дергающих нервы и возбуждающих похоть; гомосексуалисты и лесбиянки в уличных демонстрациях добиваются своих «прав»; современный язык все более загрязняется грубыми и неприличными словами... и т. п. и т. д. Из современного словоупотребления выпали такие слова, как честь, благородность, патриотизм, грех...

Что же касается сатаны, то на днях я прочитал в «Новом Русском Слове» о том, что в Соединенных Штатах существует официально «церковь Сатаны». В статье Е. Манина подробно описывается содержание телевизионной передачи, посвященной этой гадкой культовой организации, насчитывающей более 16.000 (шестнадцать тысяч) официальных членов. В ней имеется особая иерархия (с первосвященником!), свои «служения», свои «воспитательные» методы. Видеоинтервью было взято у свободных сатанистов и у тех, кто сидит в тюрьме за культовые садистические истязания такого порядка, что мне претит повторять эти страшные описания. Не последнюю роль в этом поистине сатанинском времяпрепровождении играет так наз. «музыка тяжелого металла»...

Невольно напрашивается на уста перифраз изречения великого Достоевского: «Где правит бал сатана, там все возможно!»

Игумен Геннадий (Эйкалович)

«ЭТОТ ЮМОР РАСКРЫВАЕТ МИРИАДЫ ИСТИН»

Рональд Рейган

Д. ШТУРМАН и С. ТИКТИН

**СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В ЗЕРКАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНЕКДОТА**

**Издание второе,
исправленное и дополненное**

ВЫШЛО В СВЕТ

В книге 543 стр. Она содержит около 1750 анекдотов с 1918 по 1987 гг. включительно, разбитых по 44-м тематическим разделам, и иллюстрирована 45-ю рисунками. Каждый раздел имеет аналитическое вступление. Имеется также общее введение. В начале книги помещена переписка президента США Рональда Рейгана по поводу анекдотов из коллекции авторов книги.

Заказы следует посылать по адресу:

**S. Tictin
Greenspan Str. 12/6
Misrakh Talpiot 422
Jerusalem 93802
Israel**

ПАНОРАМА

крупнейшее независимое еженедельное издание
на русском языке

Издается с 1980 года в Лос-Анджелесе

Главный редактор А. П о л о в е ц

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ ГАЗЕТЫ

Глобус. Обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни.

Публицистика. В числе постоянных авторов газеты – обозреватель телевизионных программ ABC, бывший руководитель Информационной службы правительства США Б. Хершензон, известные журналисты русского зарубежья Т. Шуман (Лос-Анджелес), П. Вайль, А. Генис, С. Довлатов, В. Козловский, Б. Парамонов, М. Поповский, Григорий Рыскин (Нью-Йорк), М. Лемхин (Сан-Франциско), Д. Савицкий (Париж), Е. Фиштейн («Европейская хроника»), З. Копелиович (Израиль) и др.

Литература. В «Панораме» впервые публиковались отдельные произведения Василия Аксенова, Юза Алешковского, Эдуарда Лимонова, Саши Соколова, Льва Халифа, А. и Л. Шаргородских и ряда других писателей и журналистов, живущих в США и других странах.

Голливуд. Рецензии на новые фильмы и театральные постановки, интервью с работниками театра и кино, обзоры событий в кинемире США и других стран.

Юмор. В этом разделе публикуются произведения авторов, пишущих на русском языке, а также переводы юмористических и сатирических произведений с других языков.

«Панорама» имеет постоянные представительства
в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

ALMANAC, P. O. Box 480264, Los Angeles, Ca 90048, USA

Прошу подписать меня на газету «Альманах-ПАНОРАМА»
на срок 12 мес. ☐ на срок 6 мес. ☐

Газету прошу направлять по адресу:

По страницам журналов

СТРАДАЮЩАЯ ПАМЯТЬ

Виктор Астафьев. «Зрячий посох». Повесть.
«Москва», №№ 1, 2, 3, 1988.

Виктор Астафьев – большой современный русский писатель. К сожалению, издавна к нему прицепленный ярлык «деревенщика» неоправданно сужает рамки его писательского диапазона и искажает авторский облик. Если и есть в нем «деревенщицкое», то это ностальгия по старой русской деревне, ее корням и традициям. Но даже и об этом он пишет без привычной дидактической занудности: «Ведь и веревку, чтобы удавиться, надо было вытрепать из конопли, соткать ее на сводедельном станке... оттого и давились редко, и жили долго – некогда было умирать крестьянину».

Определяющими же началами астафьевского творчества стали его поистине физиологическая любовь к своему народу и непреходящая боль за то состояние, в которое он ныне ввергнут. Боль эта от произведения к произведению возрастает крещендо и тут, в «Зрячем посохе», переходит в мучительное, беспомощное стенание: «Я очень люблю свою родину, Россию, но не в нынешнем ее облике – в гражданской глухоте и полураспаде, наверно я уже и не люблю, больше жалею, как старую, неизлечимо больную, немощную мать... И все чаще... тянет меня забыться, ужаться, унести куда-нибудь от этого гама, от напыщенных, из ума выживших дряхлых вождей».

Имя Виктора Астафьева стало известно в начале 60-х годов, когда появилась его повесть «Кража» и сразу же вслед за ней цикл повестей «Последний поклон», повести «Царь-рыба», «Пастух и пастушка» и, наконец, нашумевший, но в астафьевском творчестве не лучший роман «Печальный детектив». Безвестному периферийщику Астафьеву было куда труднее пробиваться в литературу, чем его столичным собратьям. В «Зрячем посохе» рассказано и об этом, и о бесплодном обивании издательских порогов, и о высокомерии столичных критиков, которые вроде бы на него глядели, но в упор не видели. Все это было вдвойне тяжелее переносить ему, человеку, сполна хлебнувшему горя, голода, страданий, контуженному на фронте, больному.

В этих обстоятельствах встреча и затем внезапно вспыхнувшая горячая дружба Астафьева с известным критиком и литературоведом

Александром Макаровым стала закономерно-оправданным чудом, вдруг осветившим дорогу истинному бескомпромиссному таланту, которому «кричать не надо, но за которого говорит его уединенный, тяжкий труд». «Зрячий посох», единственная у Астафьева книга особого воспоминательно-публицистического жанра, как раз и написана в память безвременно умершего друга.

Макаров был критиком и совестливым, и думающим, однако по велению эпохи, в которую жил, и властей, по милости которых кормился, – был деятелем совершенно конформистским. Кстати сказать, именно это противоречие делало его глубоко несчастным и до времени свело в могилу. Однако в письмах к Астафьеву он оставался самим собой, говорил, что думал, и оставался сердечно щедрым и открытым. Именно там он и дал писателю сокровенный совет: «Зачем Вам, такому русскому художнику, впутываться в быстротекущий поток преходящей литературы?.. Ведь именно Вы удивительно умеете сказать человеку о том, что им безвозвратно утеряно».

Сейчас советскими издательствами уже выпущены тома сочинений Александра Макарова, однако в литературе он по-настоящему останется, пожалуй, лишь благодаря своим письмам к Астафьеву, которые почти целиком представлены в повести «Зрячий посох». Очень она особая, эта книга! Горбачевская гласность катапультно выбросила на поверхность заложенный в народном сознании ужас перед содеянным за 70 лет советской власти. Редакции журналов и газет полны кричащих, буквально раздирающих писем, а литература... молчит. Именно литература, которой сейчас, что называется, и карты в руки.

К чести Виктора Астафьева надо сказать, что его «Зрячий посох», вещь во многом по-настоящему обличительная, создавалась еще в «застойные», брежневские годы, с 78-го по 82-й, и пять лет пролежала в писательском столе, чая, а может, уже и не чая пришествия иных, лучших времен. И они наступили. В 87-м в Красноярск, где живет писатель, срочно прилетел редактор журнала «Москва», сделал несколько пустяшных поправок и немедленно отправил рукопись в набор.

Перед нами по сути дела авторская исповедь. Воспоминательная интонация сделала ее по-герценовски раскованной и жанрово вольготной: раздумья мешаются здесь с картинками бытия, пейзажные зарисовки с публицистическими высказываниями, элегическая печаль – с сатирической едкостью. Здесь все, как и сам автор говорит, «выписано кровью и замешано на личном опыте», все сделано так, чтобы по-настоящему «растревожить, если не ушибить нутро».

Художник он наблюдательный и пластичный, кладущий краску так, что она «корчится и кричит», Астафьев дает впечатляющие образы сотворенного и той бездны, которая сотворенное поглощает. Новорожденное сочинение видится им, к примеру, «красной, голой... обваренной зверушкой с криво завязанным крупным пупком». Конечная же человеческая юдоль – крематорий – «не могилой, не щелью, не ровиком, а именно пустой, без стен, без дна ямой, ведущей в преисподнюю».

Зададимся вопросом, существуют ли границы дозволенного для обыкновенного советского писателя? Безусловно существуют. Однако в исключительных случаях и при особой глубинной дароносной силе автора может вдруг получиться так, что он не только готов перешагнуть границы дозволенного, но и перешагивает их. Так получилось в «Зрячем посохе» Астафьева. Он пишет: «Мы помогаем властям и церкви околпачивать народ – и оттого двурушничество искусства, его зависимость достигли... неслыханной развязности и наглого самодовольства». Пишет он в открытую и о народном бесправии, и о браконьерском расхищении народной души, природы и культуры. Собственно, как и все прежние книги Астафьева, эта – о браконьерстве, но о браконьерстве тотальном. На этой земле не осталось ни рыбы, ни даже чешуи от нее – «все поотравили, поисхрыпали радители будущей жизни». Горше не скажешь.

Создается ощущение, что лучшие, ярчайшие куски повести написаны как бы в состоянии особого озарения, особой внутренней вспышки, которая возникает всегда лишь в моменты невыносимой душевной боли. А когда этой боли нет, то писатель, наоборот, не «переходит границ», а откатывается от них далеко назад. Наплывают моменты бесплодного умствования. Ищет Астафьев, к примеру, виновников упомянутого зла (им же самим и найденного!) и ни с того, ни с сего находит его в «засилье в наши дни, на исходе века, во времена (вообще! – М. М.) смутные, бедственные, тяжкие, – массовой культуры». Она, эта массовая культура, этот извечный козел отпущения, одна во всем и виновата.

Смешны, наивны и беспомощны рассуждения Астафьева о нынешнем в Союзе «испытании вещами... нашего злого окурковского обывателя», о мерзком частнособственничестве, которое «стремится выколотить из земли побольше выгодного товара», о злонамеренном пополнении рабочего класса «головорезами, грабителями и убийцами». Социолог, философ, экономист Астафьев, прямо скажем, – никудышный.

Есть, кстати, в самой этой повести звонко-образное определение, которое прекрасно приложимо к самому Астафьеву – «провинциальное простодырство и надсада ума». «Провинциальное простодырство» – это мышление на уровне советского обывателя. Отсюда и сладенькие воспоминания о том времени, когда «латыши еще мало были поражены ржавчиной национализма». Отсюда и простодушные оценки нынешних литературных корифеев, к которым причисляются... С. С. Смирнов с Кирсановым и Тихонов. Про последнего даже сказано, что автор испытывает к нему «глубочайшее почтение, ибо... надежней себя чувствовать в жите и работе, когда он представлял интересы нашей литературы в международных организациях». Роман Айтматова «И дольше века длится день» определяется как «блистательный».

И все же отбросим все это в отвал, в издержки, что называется, производства. В сочинениях незаурядных писателей нас должны привлекать в первую очередь их сильные стороны. Сильная и прекрасная сторона астафьевского творчества – его писательская искренность и страстность. По мере сил, по мере всех возможностей он старается уйти от подхалимства и конъюнктурности, у него цельная и крепкая натура, и он силится говорить правду. Он не претендует быть ни пророком, ни проповедником, потому что это немыслимо трудно. Однако, как признает сам автор, «без попыток и потуг на это литературе существовать невозможно».

«Зрячим посохом» в старину называли память. Сюда вошли и память народная, и историческая, и память биографии, и душевная память. Образ зрячего посоха многолик и магичен, он рисует воображению мудреца и летописца. И просто человека, который много страдал, многое запомнил и о многом задумался. Вот почему Астафьев оказался вполне достойным названия собственной книги.

Майя Муравник

ИСПОВЕДЬ ПЕРВОГО УЧЕНИКА

«Знамя», 1988

В романе Солженицына «В круге первом» есть такой эпизод: известный писатель Николай Галахов выпытывает у свояка, дипломата Иннокентия Володина, сведения о «типических чертах» советского дипломата. Разгоряченный необычно откровенным разговором, Галахов, в котором читатели без труда узнали Константина Симонова, рассуждает про себя о писательском труде в советских условиях, когда он и лучшие из его коллег решали не «гнаться за бессмертием, а влиять на течение жизни сейчас. Конечно, многой правды нельзя было написать. Но они утешали себя тем, что когда-нибудь обстоятельства изменятся, они непременно вернутся еще раз к этим событиям, переосветят их истинно, переиздадут, исправят старые книги. А сейчас следовало писать хоть ту четвертую, восьмую, шестнадцатую, ту, чёрт ее подери, тридцать вторую часть, которую можно было! – потому что лучше немножечко, чем ничего».

В некрологе Симонову, опубликованном почти десять лет назад, Анатолий Гладилин, исходя из неоднозначности и даже некоторой загадочности этой фигуры, высказал предположение, что через годы на свет выплывет какая-нибудь небывалая по уровню правды рукопись покойного, книга, которая писалась в стол, с расчетом на публикацию в иные времена. Иные времена настали, и в журнале «Знамя» появилась неоконченная книга Симонова, надиктованная им за несколько месяцев до смерти, частично уже в больнице.

Логично предположить, что перед концом, подводя итоги, сводя счеты с жизнью, человек пишет о самом главном. Крупнейший симоновед Л. Лазарев рассказывает в предисловии, что в последний год жизни из множества планов, начатых и задуманных работ Симонов в конце концов выбрал то, «что важнее всего». Рукопись, над которой он работал, опубликована под заглавием «Глазами человека моего поколения», с подзаголовком – «Размышления о Сталине». Что не удивительно: много лет ходивший в особах, приближенных к «престолу», Симонов в «сороковые, роковые» был верным сталинцем, в середине пятидесятых заслужил – и не без тайной гордости носил – амбивалентное (полупозорное, полупочетное) звание сталиниста, в шестидесятые-семидесятые по капле выдавливал из себя яд идолопоклонства. И вот как итог – перед нами предсмертная исповедь, к которой уже по самому ее жанру следует отнестись с бережностью, вниманием и доверием: ибо может ли изворачиваться, хитрить, лгать человек перед

лицом смерти, перед ликом Вечности? Потому не режут ухо несколько уже подувядшие определения, которыми осыпает публикатор предстоящее нам чтение – «расчет с прошлым, покаяние, очищение», и без раздражения внимаешь уверениям критика: «оглядываясь на прожитые годы, Симонов хочет быть справедлив – что было, то было, за прошлое – ошибки, заблуждения, малодушие – надо рассчитывать. Симонов судит себя строго».

Последнее, впрочем, справедливо лишь отчасти. Симонов словно бы и не стремится выбраться из паутины тридцатилетней давности, по большей части сознательно отказываясь от позиции сегодняшнего дня, не желая судить ни себя, ни время с точки зрения семидесятых годов. Он намеренно – пожалуй, даже демонстративно – ограничивает свою задачу расшифровкой записей, сделанных в конце 40-х – начале 50-х тогдашним Симоновым, редактором «Нового мира» и «Литературной газеты», заместителем генерального секретаря Союза писателей, кандидатом в члены ЦК, лауреатом шести Сталинских премий («одну из которых считал незаслуженной, а остальные – заслуженными», – скромно уточняет автор).

Уже сам этот послушный список опровергает скромную заявку названия: ракурс взгляда К. Симонова неизбежно отличался от взгляда «винтика» тех лет, ему дано было больше увидеть – и, наверное, больше понять. И хотя автор уверяет нас, что выступает в этой своей последней работе как «человек своего поколения... людей, которым к тому времени, когда Сталин определился для любого из нас как первое лицо в стране, в партии и в мировом коммунистическом движении, было пятнадцать лет; когда Сталин умер, нам было тридцать восемь», на репрезентативность своего мнения он отнюдь не претендует. Он отдает себе отчет в том, что выжил среди «поколения обреченных», где одних «повыбило железом», других раскидало по лагерям. Он понимает, что таких, как он, раз-два и обчелся: «В своем поколении я принадлежал к очень неширокому кругу людей, которых обстоятельства их служебной и общественной деятельности несколько раз довольно близко сводили со Сталиным».

С точки зрения фактографической, информационной читатель обнаружит в мемуарах Симонова немало интересного. Несомненно полезной окажется эта книга и для историка, который найдет в ней множество выразительных штрихов к портрету Сталина. Симонов рассказывает о заседаниях Комитета по Сталинским премиям, членом которого он был с 1947 года, о процедуре присуждения премий, которые на 99,9 процентов определялись самим Сталиным, о сталинском

поведении на этих заседаниях, где Лучший друг литераторов, лицедействуя, актерствуя перед публикой целые сцены, словно измерял температуру своей аудитории, «кладя руку на пульс интеллигенции в нашем лице», как справедливо, хотя и не слишком изящно выражается автор. Все это, бесспорно, заслуживает внимания. Но современнику, пожалуй, интереснее будет все же другое: логика отношений поэта и тирана, логика приспособления художника и власти и существования при ней. И сам автор это хорошо понимает, признавая: «Тема „Сталин глазами человека моего поколения“ во многих случаях почти неотделима от темы, порой еще более внутренне трудной: „Ты сам своими собственными глазами много лет спустя“».

Описывая атмосферу макабрического цирка, царящую на заседаниях с участием Сталина – да и, шире, в литературной жизни вообще, – автор отводит себе скромную, но достаточно опасную роль канатоходца: «Жили мы тогда в поистине трудное время для человека, занимающегося литературой... На протяжении года, двух, трех все буквально по нескольку раз могло перевернуться с головы на ноги, с ног на голову», – рассуждает он. И дальше – неловкая в своей непосредственности, словно бы вырвавшаяся сама по себе, произвольно, фраза: «Мозги иногда лопались от этих по-своему честных стараний совместить несовместимое».

Где они, те книги, которым Сталин выдавал в те поры премии первой, второй и третьей степени? Кто сейчас помнит всех этих «Иван Ивановичей», бесконечные псевдоисторические лже-романы, Ванду Василевскую, Вилиса Лациса? Однако Симонов и через годы воздаст хвалу литературному вкусу и эрудиции своего тогдашнего кумира: «По всем вопросам литературы, даже самым незначительным, Сталин проявлял совершенно потрясающую осведомленность... он действительно любил литературу, считал ее самым важным среди других искусств, самым решающим и в конечном итоге определяющим все или почти все остальное. Он любил читать и любил говорить о прочитанном с полным знанием предмета. Он понимал книги в подробностях. Где-то у него была... некая собственная художественная жила... Вкус его отнюдь не был безошибочен. Но у него был свой вкус. Не буду строить домыслов насчет того, насколько он любил Маяковского или Пастернака или насколько серьезным художником считал Булгакова. Есть известные основания считать: и в том, и в другом, и в третьем случае вкус не изменял ему. В других случаях изменял». Нелегко почувствовать за этим бесстрастным, академическим тоном, что размышляет-то поэт и прозаик Симонов об убийце, уничтожив-

шем, выкорчевавшем все лучшее, что было в литературе той эпохи, когда «русская проза ушла в лагерь», а поэты «до шахт не дошли». Правда, некоторая размытость этих рассуждений дает почву для предположения, что все же где-то мелькала у Симонова смутная догадка: потому, может, и уничтожал, что понимал несовместимость собственной власти с настоящей литературой и торопился поскорее отторгнуть чужеродную ткань? Не случайно же главным вопросом, который задавал Сталин при вручении премии «имени мене», был сугубо утилитарный: «нужна ли эта книга нам сейчас?» И по степени нужности раскладывалась по полочкам подделочная литература.

А что же Симонов: сознавал ли, что это была литература «чего изволите», литература-рабыня, обслуживающая потребности общества, определяемые ее душителем? Страдал ли от боли за русскую литературу, от сознания ее униженности, ее обездоленности, от тоски, что и он ведь участвует в ее каждодневном убийстве? Не предположить ли, что да, страдал – однако верил, что необходимо, что нельзя иначе, и, вслед за Маяковским, «себя смирял, становясь на горло собственной песне»? Но увы! – напрасно станем мы искать в воспоминаниях эту ноту: верный солдат партии, Симонов не видел пропасти между поделками соцреализма и подлинной литературой, даже собственных литературных амбиций не отделял от ее надобностей.

Однажды, впрочем, возникает в тексте слово «самоизнасилование»: в связи с печально памятной пьесой «Чужая тень», сочиненной Симоновым по прямому указанию Сталина. История возникновения этой пьесы весьма поучительна: в ту пору, в 47-м году, прогремело так называемое дело Ключевой и Роскина, создателей противоракового препарата. Рукопись их монографии об открытии была, по их просьбе, передана американским ученым. Разумеется, виновники понесли наказание, но этого оказалось недостаточно. На заседании Комитета по Сталинским премиям вождь и учитель указал, что «надо уничтожить дух самоуничижения. Надо на эту тему написать произведение. Роман». Вот тут-то в дело вмешался Симонов, заявив, что это скорее тема для пьесы. А пьесой стала «Чужая тень», сочинение, по авторскому определению, стыдное, которое «я не должен был тогда, несмотря ни на что, писать... И в конце концов мог не написать, могло хватить характера воспротивиться этому самоизнасилованию». Однако не хватило, сработали оглядка, опаска, все то, что так едко и точно определил некогда Солженицын словами «духовный паралич». И мало того, что пьесу сочинил по сталинскому поручению, еще

и конец покорно переиначил – так, как продиктовал по телефону Сам*.

Сталин по меньшей мере еще однажды окажется соавтором Симонова: когда тот по заказу состряпает политический памфлет о вчерашнем друге Тито – написанный, как через годы признается Симонов, «с постыдной грубостью». Вклад Сталина в эту статью оказался велик: он не только выступил редактором, но еще и целиком сочинил финальный абзац и придумал название. Благодаря сталинскому творчеству грубость статейки была доведена, по словам Симонова, «до геркулесовых столбов». Но – проглотил и это.

Впрочем, несмотря на свои «мучительные» и «по-своему честные» попытки совместить несоевместимое», Симонов существовал все же в мире прочном и благополучном. Параллельно в литературе шли погромы. Однако мемуарист не помнит «в подробностях своей душевной реакции на доклад Жданова о журналах „Звезда“ и „Ленинград“ и на все, развернувшееся в связи с этим и вокруг этого». Да и где ж ему помнить: молодой, но уже маститый поэт в ту пору только что вернулся из Америки, и ему было не до каких-то там Зощенко и Ахматовых. Он был очень занят – мыслями о том, как лучше показать «духовные силы нашего общества, душевную красоту людей его», как противопоставить «их духовную стойкость мощи и богатству Соединенных Штатов». Даже теперь, с расстояния в тридцать лет, Симонов невразумительно мямлит и растекается мыслью по древу, оценивая тогдашнюю ситуацию: «Главное ощущение было такое: что-то делать действительно нужно было, но совсем не то, что было сделано. О чем-то сказать было необходимо, но совсем не так, как это было сказано. И не так, и в большинстве случаев не о том». Попробуем расшифровать эти таинственные «что-то, о чем-то». Оказывается, после войны «существовала атмосфера некой идеологической радужности, в чем-то очень не совпадавшая с тем тяжким материальным положением, в котором оказалась страна... было и некое легкомыслие, и стремление подчеркнуть пиетет к тому, что ранее было недооценено с официальной точки зрения, некая демонстративность, некая фронда», и Лучший знаток человеческих душ почувал в воздухе что-то нехорошее,

* Почти через двадцать лет после этой истории, доводя для печати свой роман «В круге первом», Солженицын заставит героя звонить профессору Доброумову – предупредить, чтобы тот не передавал французским коллегам медицинский препарат. Если учесть еще и явное присутствие спародированного Симонова в том же романе – не пародией ли «Чужой тени» является эта линия?

«нечто, потребовавшее... немедленного закручивания гаек и пресечения несостоятельных надежд на будущее». В целом одобряя и поддерживая саму идею, Симонов, однако, не одобряет «исполнения», называя его «торопливым и озлобленным», журит за то, что оно «во многом отличалось от замысла».

Ежели о событиях 46-го невнятно, недостаточно, но все же хоть как-то сказано, то о своем участии в собрании в июне 1954 года, ставшем гражданской казнью Зощенко, Симонов и вовсе ни словом не поминает. А между тем именно его, представителя «центра», выступление было там установочным. «Столичному представителю полагалось выступать в конце, заключать, кого надо подправить, все привести в соответствие с установками, известными лично ему», – пишет Даниил Гранин («Огонек», 1988, № 6). Симонов выступал после Друзина и Кочетова, от которых известно было чего ждать. Совсем иное дело – Симонов, «любимец маршалов и генералов, настоящий писатель, любимый поэт нашей окопной военной жизни», как величает его Гранин. От него ждали другого – восстановления справедливости, да и время было уже не кровожадное. Не дождался – выступление Симонова, окончательно добившее Зощенко, ничем не отличалось от кочетовского.

Та же амнезия внезапно поражает автора, когда повествование хронологически доходит до периода космополитической кампании 1949 года. Здесь он снова сбивается на скороговорку, сообщая читателям, что тяжело переживал происходящее, что ничто не согревало его душу, ни очередная Сталинская премия, ни славословия критики – «все это... было уже для меня как-то безрадостно или почти безрадостно». Но этим собственным, не слишком внятно переданным ощущением он и ограничивается, оправдывая возникающую «фигуру умолчания» отсутствием старых записей и обещая впоследствии «восполнить несколько десятков страниц». Может, у него и в самом деле не хватило на это времени, и он так и не успел рассказать о том периоде – отложил тяжелое, неприятное на после, да не случилось. А как хотелось бы услышать от самого Симонова, почему написал он установочную статью «Задачи советской драматургии и театральная критика». Вернее, даже не столько, почему написал – это, в общем-то, при его тогдашнем положении и без того вполне понятно, а вот почему он ТАК ее написал, ТАК неформально подошел к делу, ТАК поработал над стилем, сумел найти яркие, запоминающиеся, афористические обороты, резво подхваченные фразеологией кампании и во многом эту самую фразеологию определившие. Ведь мог бы отнестись к постав-

ленной задаче без души, отделаться стандартным набором, пожевать подобающую случаю идеологическую жвачку. Однако же – не захотел, постарался, вложил душу и сердце. И если он действительно, как пишет тридцать лет спустя, не разделял «фадеевского ожесточения» против критиков-«космополитов», то какими таинственными «творческими» причинами объяснить построения этой статьи, вроде, например, таких: «...В ту годину Гурвич, за спиной людей, защищавших родину, молчаливо спасавшийся и бездельничавший где-то в эвакуации, не смел... издеваться над „Волгой-матушкой“, на берегу которой, обливаясь кровью, стояли советские люди...» (а теперь, значит, смеет, «пытается оклеветать сразу и партию, и государство, и советский народ»). Или: Юзовский, который не уважает русский народ, «пытается оболгать советского зрителя, приписывая ему свои собственные космополитические взгляды на искусство». Или: «Космополит угодничает перед Западом, и прежде всего перед космополитами и трусами, спасавшимися во время войны с фашизмом из страны, где они родились, в Америку, за океан» (а лучше бы смело остались в той самой стране и сгинули бы в газовых камерах, от циклона - Б).

Через тридцать лет после публикации этого вдохновенного труда автор ограничивается постной фразой: «За некоторые вещи из происходивших тогда на мне лежит горькая доля моей личной ответственности... Но антисемитом я, конечно, не был».

У Шварца в «Драконе» есть замечательное место: сын бургомистра мерзавец Генрих оправдывается перед Ланцелотом: «Если глубоко рассмотреть, то я лично ни в чем не виноват. Меня так учили». – «Всех учили, – возражает Ланцелот. – Но зачем ты оказался первым учеником?» За неимением объяснений самого Симонова представляется логичным обратиться к шварцевской трактовке.

«Он был задуман добрым человеком», – сказала мне одна женщина, работавшая некогда вместе с Симоновым. Легенды о симоновской доброте, смелости и щедрости, циркулирующие вот уже много лет, общеизвестны. К слову сказать, сам Симонов в своих мемуарах о собственных благородных поступках, о помощи деньгами пострадавшим «космополитам» и их семьям, не поминает. Однако, начав рассуждать о Симонове, неизбежно наталкиваешься на это кажущееся противоречие: словно стоят где-то весы, на которых невидимо для глаза развешиваются его добрые и злые деяния. Да, разумеется, от человека остаются поступки – но от писателя остаются еще и слова.

Замечательный знаток и исследователь коммунистической идеологии Артур Кестлер в последнем своем романе «Век жажды» (1951) изобразил советского писателя Льва Николаевича Леонтьева, сборно-

символический образ которого совершенно очевидно являет собой симбиоз Эренбурга и Симонова. Судьба Леонтьева внутри советской литературы сложилась блестяще, он добился всех возможных наград, достиг высот: «Его коллеги, парализованные страхом либо отвращением, гибли или совершали роковые ошибки, он один из всего поколения выстоял». Впрочем, как замечает другой персонаж, «выжить он мог, лишь став проституткой, и то, что вы называете его искренностью, не более как тоска старой шлюхи по утраченной невинности». В одну из очередных заграничных поездок Леонтьев осуществляет затаенную мечту: становится невозвращенцем, чтобы наконец-то написать правду, только правду и ничего, кроме правды. С ним моментально заключают контракт на книгу «Я был Героем Культуры». Днями просиживает он над листом бумаги – но все, выходящее из-под пера, складывается в новую ложь. Он не умеет, не может написать правду, он просто не знает, как это делается. «Наверное, где-то во время долгого, трудного пути через жизнь он потерял самого себя, но трудно было понять, когда именно это случилось. Вот так, незаметно, один за другим, пропадают в стирке носовые платки».

Воспоминания Симонова двояким образом подтверждают вымысел Кестлера. Это не только рассказ о человеке, потерявшем «самого себя» как личность и как художник, но еще и свидетельство неумения, невозможности сказать правду в конце жизни, если до того был так накрепко, наглухо повязан с ложью. И потому – ни «покаянием», ни «очищением», ни даже просто горьким и честным «расчетом с прошлым» исповедь Симонова не становится.

Елена Гессен

ЧАД ОБНОВЛЕННОГО «ОГОНЬКА»

Когда-то, еще, кажется, в детстве, мне приснился сон, в котором вся я состояла из кусочков, живших своею отдельною жизнью, и каждый из них – по отдельности – болел. Почему сейчас, после недели непрерывного чтения «Огонька» это пришло мне в голову?

За окнами – желтый огонь американской осени, которая наступает в сентябре и тянется до Рождества. Перед глазами – груда журналов. В левом углу обложки белыми буквами на пунцово-красном – «Огонек», и пониже, помельче – черными – номер и месяц. В центре, как правило, – огромные цветные фотографии с надписями «Делать дело», или «Век прожить», или – разрывая пословицу, отдельно: «Не поле перейти», или решительное «Не мешайте работать!»

За три с половиной года я отвыкла от этого журнала, от его больших, скользковатых страниц, вызывающих старые московские воспоминания: валом валит снег на Зубовской, заснеженные шарообразные женщины стоят в очереди за ледяными мандаринами, а в стеклянной будке «Союзпечать» подмороженный парень с сигаретой в зубах считает мелочь на глянцевиной груде «Огоньков»...

Теперь, говорят, «Огонек» не купишь и на него не подпишешься. Верю охотно. Журнал принципиально изменился. В лучшую, конечно, сторону. Читать его интересно и порой жутковато. Я ведь эмигрировала, никакой перестройки не застала, слово это прямо по пятам въехало за мною сюда – в желтую американскую осень, в солнечную бостонскую зиму, догнало меня через четыре-пять месяцев после шереметьевского аэродрома.

И вот я читаю «Огонек» и чувствую себя словно бы возвращенной в то детское сновидение, в котором вся я состояла из разных кусочков и все они болели, болели, болели... Я пытаюсь составить целостную картину оставленной мною жизни, определить для самой себя происходящее в России, но чувствую желание отодвинуться во времени. Пусть бы прошло пять-десять лет, чтобы это дробящееся «нечто», именуемое то «перестройкой», то «бескровной революцией», то «возрождением», стало бы понятней, очертило себя в пространстве, как очерчивает здание, которое мы осознаем как архитектурное целое, только отойдя от него на приличное расстояние, а иначе перед глазами – пятна кирпичей, неровности засохшей краски, разводы дождя на стекле...

И все же можно попытаться что-то сформулировать, потому что есть очевидности, которые сразу же бросаются в глаза и не требуют проверки временем.

Да, журнал благотворно изменился. Он стал изобиловать темами, которые наболели в молчании. Порою обретаемое слово подобно взрыву: «С кого мы должны спросить за трагедию Худенко, за травлю Высоцкого и Любимова, за незаслуженную опалу и попытки морально уничтожить Сахарова? Кто ответит за спекуляцию на «комсомольском энтузиазме», когда тысячи добровольцев отправляли в тундру и болота, на нефть и газ, на возведение и по сей день нерентабельного БАМа, молодежи, которая по многу лет ждет сколько-нибудь приличного жилья в бараках сибирского самостроя? За судьбы рабочих, расселенных в городах, где загазованность воздуха в десятки раз превышает санитарно-допустимую норму, за детей-калек? За эшелоны водки, отправляющиеся в промышленные районы взамен продуктов питания?» (А. Головков. «Стена», № 41, 1988).

В «Огоньке» теперь пишут о разном, не боятся, начиная проблемами науки и кончая варварскими абортами и детоубийством.

«Каковы же были способы торможения и развития общественных наук, в частности, социологии?»

И ответ: «...строгий идеологический контроль за содержанием исследований, безусловное подчинение науки политике, преследование всего нового и творческого, запрещение свободных дискуссий» («Народ безмолвствует...?», № 41). Но это – по большому счету – «цветочки», Бог с ней, с социологией, ведь встречаются сведения, от которых просто волосы встают дыбом: «Воспоминание автора, тоже из студенческой практики. Курс судебной медицины. В течение недели – несколько трупов младенцев. Дело было зимой, и всех их подбирали где-нибудь в парке, в Сокольниках или Измайлове. Вот так, вышла мама погулять с ребенком, а вернулась одна...» (А. Попов. «Когда выбора нет», № 33, 1988).

Господи! Вот этого я не знала. Жила там, многое видела сама, давилась в очередях за колбасой и мандаринами, тряслась в прокуренной электричке, выслушивала оскорбления в транспорте, наталкивалась на одинаково измученные злые лица, о мальчиках, которым когда-то рассказывала про онегинские печали на подготовительном отделении Университета, вдруг узнавала, что они давно в Афганистане, но вот этого – честно – не знала. Каталась на лыжах по дивно заснеженным Сокольникам и не подозревала, что, может быть, где-то там, в сверкающих зарослях, в ледяной ямке...

Но ведь это уже что-то непредставимое, что-то из дьявольского мира «Мастера и Маргариты», помните: «Фрида, меня зовут Фрида!», что-то из гётевского «Фауста»...

На скользковатых страницах «Огонька» впервые за его долгую нечистоплотную историю появились, пользуясь выражением Пастернака, «куски горячей дымящейся совести», многолетний страх и умалчивание сменились каким-то вызовом бесстрашия и выговариваемости, какой-то подчас почти доходящей до бравады вседозволенностью. Вот, например: «Виктор Иванович, нужен ли комсомол сегодня? Не лучше ли создать комитет по делам молодежи?» («Буду доказывать, убеждать...», № 44, 1988).

Нынешний «Огонек» работает в основном живым современным материалом, лишний раз доказывая, что волевое человеческое стремление к правде – вещь неискоренимая, почвенная, кровная, не имеющая никакого отношения ни к физическому состоянию нации, ни к интеллекту. Это и впрямь то, «чем люди живы», это в нас – от Бога.

И потому прежде, чем с горечью сказать о том, что кажется мне просто преступлением по отношению к этой самой правде, я позволю себе с удивленной благодарностью – ибо написано это всё там, в России, когда еще неизвестно, чем вся нынешняя «свобода» кончится, – остановиться на некоторых работах, которые кажутся мне особенно заслуживающими внимания. В стремлении «дойти до самой сути» люди замахиываются на многое, иногда рубят дерево под самый корень: «Мы выросли и живем в системе, где политика всегда была первой и главной силой. В стране, где экономическая надстройка была создана до экономического базиса. Где политическая система командовала базисом и стала Административной Системой... Опять политику на первое место? Не получится ли, что мы снова отделим надстройку, увлекшись ее обновлением, пусть и в демократическом духе? Разве не ясно, что опирающаяся на старый административно-организованный экономический базис политическая реформа не выйдет за пределы деклараций? Вновь ставим телегу впереди лошади?» – спрашивает доктор экономических наук Г. Попов в статье «Побеседуем в духе гласности...» (№ 33, 1988). Или сообщения Георгия Рожнова, заместителя начальника исправительно-трудовой колонии, который пишет о происходящем за колючей проволокой так, что душу выворачивает, пока читаешь: «Такую белизну лиц, такую синеву под глазами, такую безысходность тоски я не видел больше нигде. Только в камере... А им в камерах невмоготу. От несвободы, от свар и потасовок с сокамерниками, от неизвестности, от тех вольностей администрации, о которых мы уже знаем... К этому не привыкают, чем дальше, тем тяжелее.

Недели, месяцы, а то и год с лишком ожиданий. Сначала ждут следователя – а его нет, ждут предъявления обвинения – а его не предъявляют, ждут заседания суда – а его не назначают» (№ 24, 1988).

Слава Богу, что не от всех нежеланных детей матери избавляются заблаговременно! Некоторым из них даруют жизнь, но такую, которую и жизнью-то не назовешь:

«Годов мне уже семнадцать. Мамка с папкой пьяные в лодке катались. Папка выпал, и его под баржу затащило. Достали его, а он уже синий. Потом мамка в другой раз захотела замуж. Отчим меня выучил материться и пить водку. Первый раз я выпил водки, когда мне шесть лет исполнилось. Вот с тех пор и пью... Я вообще-то дурак. Меня два раза в психбольнице лечили. Я и сам не знаю, отчего. Говорят, что дурак. И братишка младший в психбольнице лечился. А ему всего шесть годов. А сестренка родилась слепая...» (Д. Лиханов. «Колющее небо», № 3, 1988).

Материалов о сталинском периоде действительно очень много. Иногда, зачитавшись, я обнаруживаю себя как бы в смещенном времени: страницы пунцово-скользкого «Огонька» кажутся мне теми полуслепыми самиздатовскими листами, которые я когда-то читала ночами, пряча их под подушку от своей, смертельно боящейся «ЧК», как она до конца дней называла его, бабушки.

Неужели за окном моим американская осень? Медовый листопад Бостона? Читаю Давида Кугультинова. Чем не Самиздат?

«Навидался я... Показывали мне: видишь старика хромого? Оказывается, двадцать первого декабря сорок девятого года, в день семидесятилетия Сталина, двое заключенных (один из них этот старик!) договорились на лесоповале: чтобы весь срок на морозе с пилой не маяться, отрубить по ноге друг другу. Подобрали топор, облюбовали широкий пень, примерились, а не могут начать – страшно. Тогда один вынимает из-за пазухи сухарь, дает напарнику: „На, подкрепись, брат, да начинай с Богом“. И ногу на пень положил. Тот сухарь погрыз, взял топор, ну и... А потом и свою на пень, как договорились. Кровища фонтаном, мужики едва живы, охранник прибежал: „Дезертиры с трудового фронта! Симулянты, мать вашу!“ Тут один из увечных, белый, как снег, и прохрипел: „Чего ты, кум, лаешься в такой день? Это ж мы отцу родному нашему к юбилею на холодец. Пошлите ему“. И сознание потерял» (Д. Кугультинов. «От правды я не отрекался», № 35).

Все мы надеемся, что после того, как сталинское время столь беспощадно вспороли освобожденными от страха словом и памятью, человеческая природа, обновляемая растущими поколениями, не сможет сопротивляться *голым фактам* и *дереву сталинизма как такового*

не пустит свежие ростки. Нынешний «Огонек», безусловно, вносит в это свою лепту. Вот как отталкивающе-нелепо звучит теперь на его скользких страницах голос бывшего сталинского прокурора:

«Как заворуженные, глядели все на Шеховцова. Возникла тень Вышинского. (...) Он потребовал себе отдельный столик, разложил бумаги, поблескивал очками... он обличал: „В настоящий момент происходит разжигание антисталинской истерии и других негативных явлений нашего общества... Искатели-клеветники порочат личность Сталина... Я дышу воздухом 30-х, живу энтузиазмом 30-х, а меня не печатают, как инакомыслящего... Я сторонник истинной перестройки: надо беспощадно выкорчевывать разные мнения, надо прекратить порочить светлую память Павлика Морозова, надо назвать всех невозвращенцев предателями, надо опровергать все документы, которыми пытаются опорочить доброе имя гениального вождя...“»

Комментирующий выступление Шеховцова А. Минкин пишет: «Всю жизнь Шеховцов прожил, судя по всему, „всегда готовым“ к борьбе с врагами, всю жизнь „беспощадно искоренял“. И в беспощадности этой был отнюдь не одинок. А чего добился? К чему беспощадные винтики привели страну? Или они думают, что алкоголизм, коррупцию, наркоманию к нам подбросили враги? Что проститутки приземляются на улице Горького, прыгнув с парашютом из американского самолета?» («Тень», № 41, 1988).

Да. Произносится многое. И о наркомании, и об ужасе детских и взрослых колоний, и об отсутствии продовольствия, и о сталинском терроре, и о брежневском застое, и о сломленной социализмом экономике. Факты кровоточат, не отпускают...

Но пора, наверное, и мне сказать о главном, о том, ради чего написана эта работа. Салтыков-Щедрин когда-то сформулировал очень просто: «Есть нечто худшее, нежели самая худшая действительность, это преднамеренная ложь на нее».

Советская перестройка, если проследить ее движение по этому журналу, отчетливо обнаруживает на его страницах свою основную болезнь – тромбоз, закупорку артерий, несущих организму обогащенную кислородом кровь.

Тромб современного российского «возрождения» – это та сгустившаяся ложь, которая плотно перекрывает путь к истинному пониманию хода вещей. Неужели те, которые затеяли этот мощный процесс демократизации, взорвавший убогую, туго спеленутую запретами русскую жизнь, неужели они искренно думают, что можно сказать «А», но на «Б» подавиться и снова, как прежде, теми же словами, теми же лозунгами...

Опять ложь? «Да», – говорю я себе с горечью и – верьте! – не испытываю при этом никакого «эмиграционного» злорадства (вот вам, дескать, поймала!), потому что это земля, на которой я родилась и выросла, где и поныне живут любимые мною люди, где чернеют родные мне могилы...

Но что же делать, если из номера в номер «Огонек» выписывает свой основной тезис: «Спорят сталинизм и ленинизм. Две разные философии, две системы взглядов. Расхождения принципиальны» (Т. Иванова. «Кто чем рискует», № 24, 1988). Что делать, если на каждом шагу натыкаешься на такое: «Только что мы подвели исторические итоги, празднование 70-летия Великого Октября стало всемирным событием». Или: «Государство всенародно повернулось лицом к ленинским идеям...» Или: «Безнаказанность пьянила тех, кто в памятные всем времена безжалостно топтал, душил, карал и казнил невинных, нисколько не задумываясь о последствиях. Безнаказанность пьянит и сейчас некоторые горячие головы, так и не понявшие, что перестройка – это, прежде всего, воплощение в жизнь ленинских представлений о социализме, ленинского стиля руководства».

Все давно сгнившие (а точнее, гнилые с самого начала!) столбы, подпирающие возведенный на костях «Дворей Советов» – наперекор всему! – объявляются непререкаемыми.

Социализм? Какой социализм? Да истинный. «Социализм с человеческим лицом».

«Что такое социализм – не казарменный, не государственный, а настоящий, тот, который был выстрадан Лениным и который нами пока еще не построен?» – вопрошает президент советской социологической ассоциации Т. И. Заславская. Как, кстати, она дошла до своих «степеней известных», если, по ее же словам, в советской социологии до недавнего времени все было так драматически-безнадежно: «...как сформироваться, если тебя бьют по голове за каждую высказанную мысль, лишают права преподавать, воспитывать дипломников, аспирантов?» В самом деле – как? Трудно все-таки верить благополучным академикам и перестроившимся орденоносцам! Ведь право говорить сейчас – по логике советской жизни – надо было выстрадать прежде, разве не так? Но возвращаюсь к социализму.

«Мы, экономисты, вначале кивали на политиков, как на виновников наших хозяйственных бед. А сам по себе наш экономический строй считали единственно возможным видом социалистической экономики. Но смена целого ряда политических администраций, крах серии научно-технических программ выхода из трудностей, привели нас, экономистов, к идее, что причины проблем лежат где-то глубже

и, не исключено, в экономическом базисе», — пишет Г. Попов в статье «Побеседуем в духе гласности» (№ 33, 1988).

Побеседовали. Но ведь тем и кончилось. И по-прежнему течет из номера в номер: «социализм», «социализм», «социализм»... Но если публикации такого рода, как названная прекрасная статья Г. Попова, рассчитаны на думающих людей, если им, этим людям, разрешено теперь прочитать: «...как идти на политические реформы в условиях дефицита? Как народ, часами стоящий в очередях, использует свои расширяющиеся политические права? Что может дать широкая демократия в такой ситуации? Взрыв анархии и поход „низов“ на аппарат? Или, напротив, аппарат „выхолостит“ эту демократию и останется „на коне“?» (там же!), если людям — повторяю — разрешено прочитать такое, то как же можно при этом продолжать забивать их головы обветшалыми лозунгами социализма? Ведь это значит отказывать им в элементарном уважении, с одной стороны, и, с другой, расписываться в том, что всё происходящее подчинено какому-то игровому началу, жонглированию пестрыми шариками под куполом цирка. Шарик — разрешенные мнения, жонглеры на высоко протянутой проволоке — авторы статей, зрители с разинутыми ртами — вся многомиллионная Россия, затаившая дыхание и не помнящая в эти минуты, что идет представление, за билеты заплачено, а если жонглер — не дай Бог оступится — его ждет невидимая глазу страшущая сетка...

Читаем дальше. Тысячи детей уже выросли и искалечились на культе личности. Тысячи детских горл, прозрачных от голода, кричали: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Но вот наконец с этим разобрались, «отца родного» окончательно развенчали. Но дедушка-то продолжает жить! Бессмертный дедушка, замороженный посреди главной площади города, неподсуден! Обман продолжается, и маленькие роботы в проклятых галстуках цвета крови по-прежнему клянутся его именем! А вдруг их родители читали Солженицына? «Ленин в Цюрихе»? «Архипелаг»? А вдруг подросший мальчик пойдет в библиотеку и обнаружит там: «Необходимо провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Телеграфируйте об исполнении» (Ленин — в пензенский Губисполком. 9 августа 1918 г.). И тогда естественно возникает вопрос: «С кого же начались лагеря? И появились „сомнительные“? А чего еще требовал „самый человечный“?»

«Расстреливать, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты» (22 августа 1918 г. Тов. Пайкесу в Саратов).

Боже мой, какой ярkokрылой бабочкой вылетел Сталин из своей куколки – Ленина! Всё в этой куколке уже было заложено, всё подготовлено!

«По-моему, нужен секретный циркуляр против клеветников, бросающих клеветнические обвинения под видом „критики“» (5 марта 1921).

Или вот: «Не спит ли у нас НКЮст? Тут нужен ряд образцовых процессов с применением жесточайших кар. НКЮст, кажись, не понимает, что новая экономическая политика требует новых способов, новой жестокости кар. С коммунистическим приветом. Ленин» (тов. Сокольникову).

Неужели деятели современной демократизации думают, что можно спрятать такое, бесстыдно-циничное, плакатное: «Другое дело – питерский журнал „Экономист“. Это, по-моему, явный центр белогвардейцев. В № 3 напечатан на обложке список сотрудников. Всё это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг, шпионов и растлителей учащейся молодежи. *Надо поставить дело так, чтобы этих вредителей изловить и излавливать постоянно...*» (из письма Дзержинскому).

Перестройка яростно отмежевывает Ленина от Сталина, но сам Ленин, несмотря на свое завещание, оставил и другие свидетельства: «Гласность ревтрибуналов уже не обязательна. Состав их усилить Вашими людьми, усилить их всяческую связь с ВЧК, усилить быстроту и силу их репрессий. *Поговорите со Сталиным, покажите ему это письмо*» (тов. Уншлихту. 31 января 1922 г.).

Сейчас, когда идет такое бурное сокрушение основ советской идеологии, наступление на нее по всем фронтам – экономическому, нравственному, художественному, – диким атавизмом выглядит запрет, наложенный на имя Ленина, и почти сюрреалистически звучат для современного восприятия мертворожденные строки Маяковского:

«Я себя

под Лениным чищу...»

Читать-то дико, но ведь обо всем этом продолжают писать как бы всерьез, с той же надутой лирической проникновенностью, с которой писали и до перестройки, и до гласности, теми же вызывающими тошноту затрепанными фразами: «Кем духовно был для нас Ленин? Какой нравственный завет оставил Ленин? ...Но снова и снова вопросы... Снова и снова память о морозных январских днях... Человек не должен изгонять из своих раздумий о Ленине ноту печали...»

Я думаю, что если уж люди получили возможность слышать правду, то солгать им посреди этой набирающей силу правды так же грешно и нелепо, как, например, полоснуть ножом спасательный круг, за который хватается человек, выпрыгивающий с горящего судна. Если в России и впрямь идет перестройка, то все вещи должны быть названы своими именами, ну, а если это игра в «да» и «нет» не говорите, черное и белое не покупайте», тогда дело другое... Но кто позволил так играть с живыми людьми? Ведь они этой правды семьдесят лет ждали!

То же табу лежит на понятиях «партия», «коммунизм», «революция». Вот, например, в сорок первом номере журнала изложена выразительная история правдолюбца Владимира Богданова, которого травил и продолжает травить бюрократическая администрация. Статья заканчивается тем, что герою «предложили сдать партбилет. Но Богданов и по сей день носит его в нагрудном кармане. Считает себя коммунистом».

Мне, может быть, возразят, что на фоне огромной общей демократизации эти идеологические потери «не делают погоды». Думаю, что это глубокое и опасное заблуждение. Русское национальное сознание безусловно тяготеет к максимализму, более того, я совершенно согласна с Бердяевым, который считал, что «русская душа более чутка к мистическим веяниям, она встречается с духами, которые закрыты для забронированной западной души. И русская душа легко поддается соблазнам, легко впадает в смешение и подмену» (Бердяев. «Духи русской революции»). С таким сознанием опасно шутить. Легко соблазненное, с готовностью обольщающееся, оно столь же легко и отвергает впоследствии свои кумиры, если убеждается в их несостоятельности. Сейчас у людей, живущих в России, нервы болезненно напряжены и до предела взвинчены. И если им, поверившим в перестройку и потянувшимся к ней, как к ветру, дохнувшему вдруг на мертвую пустыню, будут опять подкладывать «лягушек в сахар», пользуясь выражением Собакевича, то перестройка эта в лучшем случае ничем не кончится. У русского человека очень высоки амплитуды колебания веры, надежды и безверия, равнодушия, поэтому ему в каком-то смысле легче примириться с отсутствием колбасы на прилавках, к которому он опять-таки по своей многолетней российской терпеливости почти привык, чем еще раз убедиться в том, что его обманывают. В такой наболевшей, пульсирующей стране, как Россия, когда вопрос «Быть или не быть» действительно поставлен ребром, никакие сделки с правдой больше невозможны. А ведь они продолжают. Тромб закупорил артерию.

Грустное подтверждение своим мыслям я нахожу там же, на страницах «Огонька», который благородно печатает мнения, «вызывающие у нас неприятие, чувство протеста», и делает это потому, что «монополия на одно, пусть даже самое правильное мнение ни к чему хорошему еще никогда не приводила». Так вот, читаю: «...не оставляет мысль о заданности журнальных вдохновений, о расчете, о заказанной музыке. Истине ли вы служите и беды ли страны заставляют вас братья за перо, сострадание ли к человеку и праведный жар? Или?» Я не могу поручиться за то, что имела в виду Н. Варшавская, написавшая это письмо. Но мне кажется, что ею сделано тонкое замечание. Да, поднятых материалов много, и они страшны, они по-своему принципиальны, но ощущение «заказанной музыки» действительно присутствует, более того – иногда почти физически чувствуется та граница, за которую не переступают и самые свободные, самые решительные. Вот, например, Ю. Карякин говорит о том, что гарантия перестройки – «опыт и история нашей революционной мысли, сила ленинских идей». Неужели он, исследователь Достоевского, всерьез произносит эти слова? А не догадывается ли он, почему не включают роман «Бесы» в готовящееся издание сочинений Достоевского? Нет, я не ловлю журнал на противоречиях и непоследовательности. Всякому понятно, что процесс демократизации в такой стране, как Россия, не может идти безболезненно. Противоречия и непоследовательности неизбежно должны были быть. Но в данном случае мне кажется, что уровень их *слишком* высок и опасен.

Да, у людей отняли Бога. Подменили его партбилетом. Но партбилет оказался несостоятельным, и человек зашел в тупик. Вы хотите ему помочь? Вы знаете, как это сделать? Я думаю, что никто толком не знает и ни у кого нет готовых рецептов. Движение к оздоровлению страны совершается наощупь, с вытянутыми вперед руками, и люди включаются в него только благодаря назревшей, переполнившей всех жажде очищения и правды. В этой ситуации ясно одно: лгать им больше нельзя. Иначе они – как всегда, беззащитные в своих надеждах – сойдут с дороги или повернут обратно.

«Пока мы не избавимся от вольного обращения с историей, будут сохраняться лазейки для самых невероятных псевдоисторических домыслов, когда сложным и противоречивым событиям дается упрощенная, а иногда и просто фальсифицированная трактовка», – пишут В. Носенко и С. Рогов в хорошей добротной статье «Осторожно: провокация!», направленной против черносотенных мифов (№ 33, 1988).

Конечно, это справедливо. Но ведь это справедливо в любом историческом сюжете, в любой теме. А при чтении «Огонька» создается

впечатление, что даже жаждущие сказать что-то настоящее делают это с «камнями» во рту. Так, например, психолог Занадворов спорит с Д. Урновым по поводу рецензии последнего на роман «Доктор Живаго».

«„Доктор Живаго“ – великое произведение, – пишет Занадворов, – потому что это первый в советской литературе роман такого масштаба, такого постижения событий о трудовой, подчас трагической судьбе русской интеллигенции, которая подобно Ахматовой, Мандельштаму, Булгакову, Пастернаку испытывала колебания и сомнения, трагически переживала события революции не в силу своего „барства“ или недомыслия, не потому, что не верила в идеалы социальной справедливости, а потому, что в силу исторической прозорливости страшилась их утратить (горькие плоды эти с 30-х годов мы пожинаем по сей день!). Постигание диалектики революции, которая с начала 30-х годов сменилась сталинским террором, трагически отразилось на ее судьбе».

Но позвольте: ведь не сталинская эпоха – тема пастернаковского романа, не с тридцатых годов начались метания русской интеллигенции. Пастернак не принимает большевизм целиком, как определенную философию, и Лара с доктором Живаго ищут укрытия от красного террора ленинских времен. Напоминаю слова героя романа, произнесенные им в разговоре с вождем партизанского отряда Ливерием:

«Во-первых, идеи общественного совершенствования так, как они стали пониматься с октября, меня не воспламеняют. Во-вторых, это все еще далеко от осуществления, а за одни еще толки об этом заплачено такими морями крови, что, пожалуй, цель не оправдывает средства. В-третьих, и это главное, когда я слышу о переделке жизни, я теряю власть над собой и впадаю в отчаяние.

Переделка жизни! Так могут рассуждать люди, хотя, может быть, и выдавшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие ее духа, души ее. Материалом, веществом жизнь никогда не бывает. Она сама, если хотите знать, непрерывно себя обновляющее, вечно себя перерабатывающее начало, она вечно себя переделывает и претворяет, она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий».

А вот еще одно высказывание, острее выявляющее инстинктивное, физическое отвращение Живаго к происходящему: «Я допускаю, что вы светочи и освободители России, что без вас она пропала бы, погрязши в нищете и невежестве, и, тем не менее, мне не до вас, и наплевать на вас, я не люблю вас и ну вас всех к чёрту!».

Есть несколько тем, которые журнал вроде бы и затрагивает, но делает он это как-то слишком «деликатно». Одна из этих тем – Афганистан. Вот как жестко, мощно размахнулась было Наталья Иванова в статье «Переход через болото» (№ 25, 1988): «...сегодня, когда афганская драма, война, длящаяся в два раза дольше Отечественной, подвергается глубокому осмыслению и общественному пересмотру, когда ее называют одним из тяжких последствий недавнего прошлого...» Вот тут, кажется, подхватить бы ее слова и – из номера в номер «громам греметь оттудова, кровавым лить дождем!» Афганистан! Но, очевидно, на этой теме все же лежит какой-то запрет, ну, может быть, не запрет напрямую, но определенная осторожность, до нее дотрагиваются не голыми руками, а в перчатках – горячая, кусается...

Раскрываю статью Глотова «Диалог с сыном» (№ 14, 1988). Фотографии солдат в госпитале. Мучительные. В центре страницы – раскинутое на операционном столе тело. Лица не видно. На нем белая маска, оно погружено в темноту. Освещено лишь небольшое пятно в нижней части туловища, там, где руки хирурга. Другая фотография – молоденький мальчик, обнаженный по пояс, пытается опереться на костыли, чтобы сделать шаг. Лица опять-таки нет. Смазанная гримаса непереносимой боли. Всего шесть фотографий. Под ними сдержанные комментарии: «Я увидел в госпитале страдание... Такая юность! Такая жизнь бьет из них! И вдруг – нет ноги, прикован к постели... калека. И вот этот Толик на костылях. Он верит, что будет ходить, хотя у него перебит позвоночник».

Слава Богу, что все это наконец обнародовано, что люди могут открыть журнал, где в середине – эти искаженные лица, эти простыни... Но все же приходит в голову: разве *такими* словами писать об Афганистане?

«Мы давно уже не молчим о войне. Да и как молчать? Наверное, мы скоро скажем и самое главное, обозначим *плюсы* и *минусы*, приведем цифры».

Плюсы? Какие же плюсы? Из одной такой фразы понятно, что советское руководство оставляет себе пространство для отступления, что мальчики с искаженными лицами на фотографии – это одно, а ввод «ограниченного контингента советских войск для оказания интернациональной помощи афганским коммунистам» – совсем другое.

Так что дело не только в том, что люди в России вследствие полнейшего отсутствия опыта демократии привыкли быть осторожными, что в них еще долго будет попискивать та гоголевская унтер-офицерша, которая «сама себя высекала», но в том, – и это главное! – что современная демократия насаждается сверху, она запланирована, она лимити-

тирована. Н. Эйдельман, отвечая на вопросы корреспондента «Огонька» (№ 35, 1988), прямо называет перестройку «революцией сверху» и уточняет: «За нынешней революцией сверху – огромный исторический опыт. Многовековой. Были удачные моменты: удачный вариант Петра, 1861 года. В советские годы НЭП. А рядом – попятный, «черный» вариант Сталина, Ивана Грозного».

Но ведь известно и то, чем кончился для людей «удачный» вариант НЭПа.

Думаю, что и сейчас Россия всей кожей чувствует повисшую над головой дирижерскую палочку, не случайно даже шутки ее по поводу перестройки отмечены накопленным историческим опытом. Все, наверное, знают, как перефразирован Пушкин:

Товарищ, верь! Пройдет она,
Эпоха, под названьем гласность,
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит наши имена!

Несмотря на свои внешне благотворные изменения, «Огонек» не перестает быть гибким рупором руководящей идеологии и точно соответствует ее сегодняшним задачам. Невольно вспоминаются слова одного журналиста, жившего в прошлом столетии: «Мы – какая страна? Петр Великий приказал нам быть просвещенными, мы просветились. Прикажут быть свободными – мы освободимся».

А если прикажут замолчать?

Любопытно проследить, как на страницах журнала сталкиваются «Огонек» прежний – мажорный, самодовольный – и «Огонек» нынешний, «перестроившийся». Иногда их столкновение рождает почти комический эффект (не будем забывать при этом, что природа комизма глубоко драматична!).

Читаю: «Много ли селянину надо для счастья в жизни? Не так уж и мало: дожди «по заказу» и солнце к урожаю, крепкий дом с добрым укладом, соседи, с которыми живешь в дружбе и согласии, толковая работа в поле и на ферме, жаркая банька в конце трудовой недели...»

Лермонтовская формула, определившая Россию как «страну рабов, страну господ», остается справедливой не потому, что в России по-прежнему наличествуют рабы и господа (в конце концов, почти в любой стране существует более или менее драматически-разительное неравенство сословий!), но потому, что именно в России укоренен какой-то абстрактно-господский взгляд на человека как на обезличенную государственную собственность. А может быть, селянину

нужно что-то еще для счастья в жизни? А уж баньки раз (!?) в неделю точно недостаточно, это как-то даже и читать неловко... Но не забывайте, что времена меняются. Смотрите, как решительно наступает на дребезжащее старческое добродушие прежнего «Огонька» «Огонек» перестроившийся, с его ломким юношеским баском, изредка дающим «петуха»: «Каждому актеру необходимы, как воздух, еще два человека: собственный адвокат и приглашенный киностудией на время съемок массажист».

И последнее: возьмите любой серьезный западный журнал. Ну, хотя бы «Тайм». Что характерно для него? Информативность. Осведомленность о том, что происходит в мире. Во всем белом свете. «Огонек», к сожалению, похож на те произведения живописи, которые начисто лишены пространственной перспективы. Другого «белого света», кроме своего родного, практически нет. Журнал не только не раздвигает границы кругозора того простого советского читателя, который ни в зарубежные командировки не ездит, ни родственников в Штатах не имеет, а напротив, его, этого простого читателя, как будто все время хотят уподобить страннице из пьесы Островского «Гроза», которая бойко рассуждала о «землях», где «суд несправедливый», а все люди с «пёсыми головами». Ю. Карякин откровенно вспоминает о прежних временах: «За рубежом я не раз убеждался: главная доблесть некоторых наших деятелей состояла в том, чтобы в грозных речах множить число врагов коммунизма. Критерий: множить врагов! Не множить союзников, не переубеждать...» (№ 14, 1988).

Боюсь, что в этом смысле журнал не сильно изменился. Его общая настроенность по отношению к Западу остается по-прежнему задиристой и недоброжелательной, хотя статей на эти темы до странного мало. Я не могу обойти молчанием глубоко безнравственную, на мой взгляд, публикацию В. Конецкого о покойном Викторе Платоновиче Некрасове («Последняя встреча», № 35, 1988).

Сколько отвратительной заносчивости и одновременно внутреннего лакейства в этой публикации! Самого Некрасова, в сущности, нет. Есть умный, бесстрашный, «свой в доску» Виктор Конецкий, который по разным поводам отпускает тонкие замечания, критикует эмиграцию, но в основном припирает Некрасова к стенке вопросами о Родине, на которую тому, по мнению Конецкого, очень хочется вернуться (но бедный Некрасов – заметьте! – отпрыгивает, сопротивляется, все говорит о своей любви к Парижу и, судя по всему, в Москву не рвется!).

«А не страшно, что здесь похоронят? В чужой земле, навечно?» Вопрос, как чувствуется, задан навзрыд. И, Боже мой, какие неизжи-

тые отвратительные предрассудки стоят за одной такой фразой! Вся тупая, казарменная советская идеология с ее показушной любовью – из цыганского романса под гитару – к своей земле и спесивым, плебейским, невежественным отращиванием к земле – чужой, где и люди-то с «пёсыими головами»!

Когда же удастся избавиться от этого? Когда наконец русскому человеку будет отпущено внутреннее право выбирать себе место, где жить и прах свой покоем? Право хотя бы задуматься об этом?

Но продолжаю: выписываю кусочек из якобы так состоявшегося между Конецким и Некрасовым диалога:

«А с кем из здешних писателей ты общаешься?»

«Нет тут никаких писателей, все засранцы! И все передрались».

Бедный Виктор Платонович! Как же ему защититься теперь, с того света? Но вот автор статьи произносит почти историческую фразу: «Ну, а кто из *отщепенцев* вернется, если *позволят*?».

Кого же он имел в виду? Юрия Любимова, покойного Тарковского, который тогда был еще жив, Войновича или, может быть, главного «отщепенца» – Солженицына?

Что ж Вы их так? Старыми-то словами? В России вроде перестройка... Должна заметить, что эта публикация явно не соответствует духу прогрессивной современности. Похоже, что ее, мутную жемчужинку, Виталий Коротич со дна глухого брежневского омуты выловил.

Но неутомимый Конецкий продолжает допрос:

«А кто у вас здесь самый талантливый?»

«А ну их всех в...»

«А твой шеф Максимов?»

«Максимов? Я с ним в разрыве. Но прохиндей он идейный... А „Континент“ закатывается».

Статья Конецкого не случайно названа мною безнравственной. Она просто не соответствует требованиям элементарной человеческой порядочности, и странно, что он, человек, очевидно, опытный и неглупый, не убрал из текста хотя бы такую фразу: «Тыкать пальцами в раны имеют право только те, кому эти раны принадлежат!» Это – ответ Некрасову, автору лучшей, по мнению многих, книги о войне, когда тот задал ему вопрос о современных практических проблемах в России.

Мне кажется, что если речь идет всерьез о духовном оздоровлении нации, то даже фразы, подобные этой – «пусть летят, едут, бегут, ползут прочь те, кто мечтает покинуть нашу страну», – должны быть или изъяты, или – что еще лучше! – соответствующим образом про-

комментированы. (Фраза взята из опубликованного письма одной читательницы «Огонька»!) Даже случайные фразы. А уж статьи, вроде «Последней встречи», просто недопустимы. Советскому человеку, столько лет прожившему за «железным занавесом», как никому другому, необходим воздух. Помните, как Порфирий Петрович внушал Раскольникову, что ему для того, чтобы разобраться с самим собой и принять правильное решение, больше нужно – «воздуху, воздуху!». Так и советскому человеку нужно осмотреться, «выйти за оклицу», «белый свет» грудью почувствовать. Мало селянину «жаркой баньки» раз в неделю. Помогите же ему в этом. Не тратьте дефицитную бумагу на публикации никому не нужного Грэма Грина, не представляющие ни художественной, ни информативной ценности. Ну, можно ли, скажите, читать такое: «Морис Касл и Артур Дэвис работают в африканском секторе британского разведуправления. Коммунисты спасли от тюрьмы будущую жену Мориса, африканку, и помогли ей бежать из ЮАР. Не разделяя марксистского учения, Касл в благодарность за спасение жены передает им секретные сведения, так он борется с режимом апартеида» (из предисловия к роману Г. Грина «Человеческий фактор»).

Но почему бы не проинформировать советского читателя о выходящих на Западе прекрасных, проблемных книгах, которые могут задеть его за живое скорее, чем секретные сведения африканского сектора! «Воздуху, воздуху, воздуху!»

Возвращаясь к тому, с чего начата эта работа. Мой старый сон, в котором вся я состою из кусочков, каждый из которых болит. Это самое точное ощущение от прочтения груды скользковатых «Огоньков». Американская осень за окном. Что на самом деле происходит там, в России? Судя по этим бравирующим своею смелостью публикациям – ничего хорошего. Картина русской жизни не оставляет надежд. Я почему-то вспоминаю строчки из стихотворения Странника: «История есть в вечность долгий путь, больным волом запряженные дроги...»

Поменялся ли «вол» в России? Вытащит ли он из налипшей проселочной грязи ее дроги, на которые вхолостую наматываются и наматываются «слова, слова, слова» горбачевской перестройки?

Ирина Муравьева

СИМВОЛ НАШЕЙ ВЕРЫ

В редакционной врезке раздела писем восьмого номера за этот год «Огонек» удостоил и нас своего внимания, процитировав часть (заметьте, в лучших традициях сталинистской пропаганды, только часть!) нашего редакционного заявления о «письме девятнадцати» против публикации «Архипелага ГУЛАГ» Александра Солженицына в Советском Союзе. Считаем необходимым привести опубликованную цитату целиком:

на совещании в ЦК КПСС 9 ноября сего года сообщил собравшимся о поступившем к нему письме девятнадцати перестройщиков от культуры, протестующих против возможной публикации «Архипелага ГУЛАГ». И хотя содержание этого письма-доноса до сих пор, несмотря на разгул гласности, не доведено до сведения общественности, имена некоторых его авторов стали широко известны: Виталий Коротич, Михаил Шатров и Анатолий Рыбаков. С чем мы их горячо поздравляем. Если же полученная нами информация не соответствует действительности, мы охотно извиняемся перед пострадавшими.

Что ж, если это так, то мы действительно приносим всем вышеперечисленным лицам наши самые искренние извинения.

А теперь по существу.

Цитата как будто воспроизведена с подлинного журнального оттиска. Но внимательный читатель уже в первой фразе сразу отметит явную несуразность: имя «сообщавшего» редакция «Огонька» исхитрилась выпустить. Спешим удовлетворить любопытствующих: это Вадим Медведев, секретарь ЦК КПСС по идеологии. В этом весь Виталий Коротич: и врага уесть, и — не дай Бог! — «его превосходительство» не вовлечь в дело. А то ведь, чего доброго, и взашей попрут. Эх, Коротич, Коротич, были Вы заурядным номенклатурным служающим, им и остались. Гласности!

Вот так, дорогой читатель, на их незамысловатой кухне фабрикуются откровенная ложь и лукавые полужалобки.

А дальше еще пикантнее.

Цитируем:

Нас умиляет, с какой легкостью тот же «Континент», годами на дух не переносивший советской прессы, сливается в экстазе братания с самыми «благонамеренными» и всегда правыми московскими журналами (имеются в виду «Москва», «Наш современник» и «Молодая гвардия». — Примеч. «Конт.»). Очень уж мы не по душе этим лицам. Впрочем, если бы они объяснились в любви к нам, было бы еще неприятнее.

Не проходит, Коротич! Нынче на такой демагогической мякине даже детей не проведешь. Пора бы Вам, в Вашем возрасте, поумнеть, нельзя же всех вокруг принимать за Ваших земляков — эмигрантов в Канаде, которым Вы годами пудрили мозги в своих зарубежных вояжах. К тому же, здешние ловкачи этот трюк уже опробовали — не вышло. Не пройдет и у Вас, хотя Вы и старый, можно сказать, матерый волк советской дезинформации. Видимо, несмотря на борьбу со стереотипами, Вам все еще свойственно видеть во всем вокруг себя «Лицо ненависти».

Что же касается нас, то мы как не переносили годами на дух вашей прессы, так и будем относиться к ней до конца. По этой причине мы и сегодня не углядываем особой разницы между «Огоньком» или «Молодой гвардией», «Московскими новостями» или «Советской Россией», «Правдой» или «Аргументами и фактами». И так далее, как говорится, и тому подобное. Потому что не принимаем вашей цивилизации целиком, вместе со всем ее содержимым. Как сказал бы Шекспир, чума на оба ваши дома!

Мы хотим видеть свободную, демократическую и процветающую Россию без Сталина, но и без Ленина, без Ягоды с Ежовым, но и без Бухарина с Рыковым, без Берии с Кобуловым, но и без Артузова с Кедровым, без Жданова с Кагановичем, но и без Кузнецова с Попковым, без Ворошилова с Буденным, но и без Тухачевского с Егоровым. И, разумеется, без общества «Память» — но и, конечно же, без господина Коротича со товарищи. Без всех вас вообще, ибо, как выясняется, вы стоите друг друга.

Вот так, дорогой «Огонек».

«КОНТИНЕНТ»

...И НЕСКОЛЬКО СЛОВ ВПРИДАЧУ

Полностью разделяя заявление редакции «Континента», к которой принадлежу, хотела бы обратить внимание на некоторые моменты, как кажется (скорее, в силу самого жанра заявления), упущенные нами. Самая важная деталь: ответ «Континенту» напечатан под заголовком «От редакции», между тем как в нашем заявлении ни о какой редакц и и слова не было. Это отнюдь не значит, что мы собираемся «объясняться в любви» к редакции «Огонька», но спрос шел не с нее, а с трех по имени названных советских писателей, в т.ч. с того, кто одновременно является главным редактором «Огонька». И он нашу информацию — редакция называет ее «клеветнической» (притом клеветой на «Огонек»), мы же с самого начала выразили предположение, что она, может быть, «не соответствует действительности», — не счел нужным лично опровергнуть. Между тем, заявление «Континента», в котором мы ссылались на полученные (и не поддававшиеся проверке) сообщения из Москвы, в значительной степени было рассчитано на ответ и даже на опровержение. И без всякой демагогии мы были готовы извиниться.

Но, перечитав огоньковскую заметку «От редакции», я подумала, что извиняться еще рано. Обстоятельства, в которых возникла и распространилась по Москве, а затем попала на Запад информация (или дезинформация) о «письме 19-ти» и о том, что оно упоминалось в выступлении В.Медведева, так и остаются неясными. Редакция пишет: «Это заурядное вранье. Естественно, никакого письма не было. Однако мы понимаем, каковы причины возникновения лжи и каким кругам она выгодна». Хотела бы я быть такой же умной и уверенной и не только твердо знать, что «никакого письма» не было, но и ясно понимать, «каковы причины» и «каким кругам».

Заодно «Огонек» нашел удобным отписаться по поводу Солженицына, но эта отписка не имеет ровным счетом никакого отношения ни к нашему заявлению, ни к главной теме, с которой оно связано, — теме публикации в СССР «Архипелага ГУЛАГ»: «...редакция „Огонька“ не получала от автора никаких рукописей (! — Н.Г.), а значит, и не рассматривала их» и т.п. Будто речь идет о нормальных редакционно-издательских планах, а не о (не побоюсь громкого слова) всенародном требовании, плотинкой которому встал ЦК во главе с главным идеологом и генеральным секретарем. Рупором этого требования стали не упомянутые «Огоньком» «всегда правые», но и не «левые», руководимые «прорабами перестройки» журналы, а многочисленные самиздатские, в первую очередь «Экспресс-хроника» и «Реферendum». И с ними мы испытываем не «экстаз братания», а — чувство братства.

Н.ГОРБАНЕВСКАЯ

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

(сорок седьмой год издания)

книга 170

В номере опубликованы:

В. Яновский. По ту сторону времени. (Окончание); ИЛЬЯЗД. Посмертные труды. Роман; Е. Замятин. Из литературного наследия. Публикация А. Тюрина; Е. Федорова, «Обойден и замкнут круг»; К. Ушаков, Серп и молот; Ю. Тролль, Пасьянс «будуар»; Вл. Купченко, «Лучший друг слова»; А. Штротас, В мире образов и идей Александра Галича; Р. Киршенштейн, Милитаризация промышленности в СССР.

СТИХИ: *Ю. Балтрушайтис, В. Перелешин, М. Крепс, М. Фельдман, И. Поляков.*

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: *Н. В. Поленова, Е. Д. Поленова и М. В. Якунчикова. In memoriam; В. Н. Челищев, Из воспоминаний; Письма М. Шагинян к Э. Гиппиус. Публикация А. Тюрина.*

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: *В. Крейд, Известные строки О. Манделштама; А. Иванов, К истории могилы Л. Ф. Достоевской.*

БИБЛИОГРАФИЯ: *Э. Мелтон, Русский крестьянин глазами Запада – новые работы американских ученых; Е. Филипп-Юзвиг, Отклики. Сборник статей памяти Н. И. Ульянова; Т. Фесенко, Ю. Терапиано. Литературная жизнь русского Парижа за полвека; М. Раев, Modern Greek Studies Yearbook. 1985-1987; М. Раев, R. H. Johnston. «New Mecca, New Babylon» – Paris and the Russian Exiles. 1920-1945.*

Заказы адресовать по адресу:

The New Review,

611 Broadway 842, New York, N. Y. 10012

Tel.: (212) 353-1478

Наша анкета

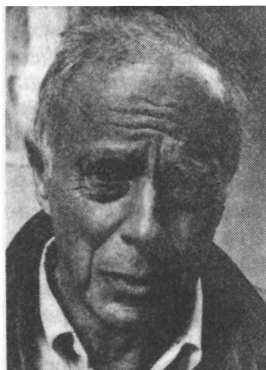
**Я НЕ ВЕРЮ ВО ВДОХНОВЕНИЕ – Я ВЕРЮ
ТОЛЬКО В ТРУД, В ПОГЛОЩЕННОСТЬ ТРУДОМ**

Интервью

с лауреатом Нобелевской премии по литературе

Клодом С и м о н о м

– Ваше имя, г-н Клод Симон, русскому читателю и в первую очередь читателям «Континента», которых мы представляем, известно теперь по публикации русского перевода «Приглашения». Когда «Приглашение» вышло по-французски, вам



пришлось дать по его поводу множество интервью, и, может быть, сейчас вам будет несколько скучно снова говорить об этой книге. Но все-таки мы хотели бы к ней вернуться. Эта книга – или совсем маленькая книжечка, – по-французски вышедшая отдельным изданием, а у нас уместившаяся на сорока страницах «Континента», – как сказано в одном из знаменитых русских стихотворений прошлого века, «томов премногих тяжелей». Много раз, в различных интервью, говоря о «Приглашении», вы справедливо

объясняли, что вы по природе отнюдь не политический писатель, не публицист. Несмотря на это или, может быть, благодаря этому вам удалось нарисовать, как нам кажется, наиболее глубокую картину современного Советского Союза. Можете ли вы сказать, каков был ваш подход к материалу, материи книги, к тому, что вы описали?

– Да такой же, как во всех моих книгах. «Приглашение» – книга, написанная на основе пережитого опыта, так же точно, как «Дорога во Фландрию» или другие мои книги. Я совершил краткое путешествие, будучи приглашен в Советский Союз, и

написал книгу того же рода, что мои другие книги: это воспоминания, впечатления.

– Но почему им удалось обвести вокруг пальца других, а вы, судя по книге, не поддались на их уловки?

– Ах, поддался ли я? Я не знаю, обвели меня вокруг пальца или нет. Я рассказал, что чувствовал. А вы меня спрашиваете, почему...

– Простите нескромный вопрос: вы верующий?..

– Нет, я глубочайшим образом материалист и атеист. Я воспитывался в католическом пансионе, но именно это разорвало мои связи с религией, думаю, уже до конца жизни.

– Однако в вашей книге ощущается своего рода метафизика, скажем, противопоставление того мира, который вы описываете, и вашего собственного мира, противопоставление дисгармонии и гармонии. Такое впечатление остается у читателя. Было ли у вас самого, когда вы были в Советском Союзе, впечатление встречи с чем-то, лишенным гармонии?

– Что разумеете вы под словом «гармония»?

– Скажем, некую целостность материального и этического порядка, где сохраняются связи между природой и людьми, между социумом и личностью...

– Знаете ли, я часто говорю, что даже во Франции я ощущаю себя чем-то вроде «перемещенного лица». Я – не экзистенциалист, не коммунист, не христианин, не сюрреалист... В результате, я – «перемещенное лицо» даже в своей собственной стране. А вы говорите о гармонии. Я вижу только один род гармонии: в искусстве, будь то в музыке, живописи или словесности, – потому-то я пишу: чтобы достичь определенной гармонии, да-да, гармонии всех вещей, во Франции ли происходит действие или где угодно, когда угодно, на войне, – всего того, что ударяет вас, затрагивает совершенно анархически, вразнобой, антигармонически, – когда пишешь, пытаешься отыскать во всем этом гармонию.

– Вы знаете, в свете этого в «Приглашении» вам удалось создать необыкновенную гармонию. После «Дороги во Фландрию», которая, кстати, в русском переводе почему-то стала «Дорогами Фландрии»...

– Почему?! Разве по-русски нельзя сказать «Дорога во Фландрию»?

– Конечно, можно. Трудно сказать, почему переводчики или, может быть, издательство посчитали нужным так изме-

нить заглавие. Так вот, после «Дороги во Фландрию» «Приглашение» – вторая книга, переведенная на русский. Сейчас в СССР собираются издать «Георгики».

– Я ничего об этом не знаю. Впрочем, я ничего не знал и о том, что готовится издание «Дороги во Фландрию», Советский Союз же не подписал конвенцию по авторским правам.

– Подписал. В 1973 году. «Дороги во Фландрию» это не касалось, она издана раньше, но «Георгики»...

– «Георгики» вышли в 81-м.

– И вот в журнале «Иностранная литература» в анонсах на 1989 год написано, что намечается напечатать «Георгики».

– Для меня это совершеннейшая новость. Мой издатель мне ничего не говорил. Я, конечно, спрошу его, но я очень удивился бы, если бы он меня об этом не известил: обычно он держит меня в курсе.

– Практически все ваши книги вышли в одном и том же издательстве, только две последние: «Весна священная» и «Гулливер» – в другом.

– Нет-нет, это не так. Это же не новые книги, а переиздания моих ранних. А последние тридцать лет я все время печатаюсь в одном и том же издательстве «Минюи». Начиная с книги «Ветер».

– В каком году вышла ваша первая книга?

– Сразу после конца оккупации, в 1945 году. Это была книга «Шулер», напечатанная в издательстве «Сажиттер». Я был знаком с директором издательства: это был еврей, бежавший во время оккупации на юг Франции. Я тогда занимался живописью – он купил у меня кое-что и спросил: «А чем вы еще занимаетесь?» Я сказал: «Да вот я написал роман и положил его в ящик». При немцах я не собирался его печатать. Он заинтересовался и попросил дать ему рукопись прочитать, а прочитав, заинтересовался еще больше и сказал: «Я хотел бы его напечатать, но мое издательство забрали немцы. Не можете ли вы подождать до конца войны – тогда я его напечатать». Я, конечно, согласился, и книга была напечатана четыре года спустя после того, как была написана.

– Можно предполагать, что жизнь западного писателя, его отношения с издателями – все это темный лес для читателей в СССР. Отношения с государственными издательствами складываются у советских писателей по-разному: одних печат-

тают огромными тиражами, издают при жизни собрания сочинений, другим приходится обивать пороги издательств в ожидании своей очереди, и зависит это не от качества книг, а чаще всего от принадлежности или непринадлежности к чиновному аппарату Союза писателей. Это – оставляя в стороне тех, кто пишет в ящик или печатается за границей. Но положение писателя в свободном мире отнюдь не так радужно, как это можно себе представить, глядя из СССР. Ваш случай в этом смысле особенно интересен: вы никогда не склонялись ни перед какими модными веяниями и ни разу не издавали «коммерческих» книг...

– Нет, никогда.

– Как же вы жили – писатель, желающий только писать?

– Мне повезло. Во-первых, я получил в наследство очень скромное, очень небольшое состояние, которое, однако, обеспечило мне материальную независимость. Я имел возможность всегда писать то, что мне нравилось, не заботясь, будет ли это продаваться. И другая моя удача – встреча с хозяином издательства «Минюи», самоотверженным человеком, не ищущим от писателя дохода. Он издавал Беккета, когда Беккет еще не был лауреатом Нобелевской премии, когда его книги не продавались, издавал меня, других, он не ставил на первое место коммерческие заботы. И так вот мы с ним работаем много лет. Мои книги продавались довольно слабо, но в конце концов, как вы видите, мне дали Нобеля. Две Нобелевские премии на маленькое издательство... Когда мне присудили Нобелевскую премию, один журналист спросил моего издателя, доволен ли он этим. Он ответил: «Я уже привык...»

– А какие из ваших книг имели наибольший успех?

– Пожалуй, «Дорога во Фландрию», «История» и «Георгики». Но это успех очень ограниченный – тираж не превосходил 30 тысяч экземпляров. Мои книги всегда имели успех у критиков, но для широкой публики не становились «событием».

– Еще раз возвращаясь к вашему издателю... В СССР распространено и другое заблуждение, как бы обратное тому, о чем мы говорили, и нередко странным образом с ним сочетающееся. Согласно этому заблуждению, на Западе, конечно, есть настоящие писатели, настоящая литература, но трудно себе представить бескорыстного издателя, поскольку западное общество насквозь меркантильно.

– В значительной мере это верно, но все-таки не «насквозь». Есть редкие отдельные издатели, такие, как мой, почти исключения. Они не заботятся о рентабельности, о немедленном успехе. Они не поступают даже так, как некоторые крупные издательства, которые позволяют себе издавать «нерентабельных» авторов, поскольку получают доход от книг, распродаваемых большими тиражами. Я даже, бывало, говорил своему издателю: «Ну, послушайте, чтобы было легче издавать хорошие книги, выпускайте литературу полегче». – «Нет, – отвечает он, – я хочу выпускать только то, что считаю очень хорошим». Знаете, я думаю, что он вообще уникальный человек, почти святой издательского дела. У него, по-моему, девять служащих вместе с ним, он сам работает день и ночь, и вот это крошечное издательство имеет двух лауреатов Нобелевских премий.

– *А в вашей жизни Нобелевская премия что-нибудь изменила?*

– Отчасти. Меня стали очень много приглашать в разные страны, я много путешествовал, давал интервью. Я писал тогда роман, но только теперь я его кончаю, потому что работу над ним пришлось прервать. Секретарь Шведской Академии сказал мне: «Готовьтесь к тому, что это отнимет у вас два года». Это отняло у меня три года и еще не совсем кончилось, но все-таки, несмотря ни на что, мне удалось работать, хоть и меньше обычного.

– *Вас много повсюду приглашали, но только одно приглашение вызвало у вас желание написать «Приглашение». В чем дело?*

– Ах, точно так же меня спрашивают, почему «Дорога во Фландрию», почему война. Да потому что война или Советский Союз – это все-таки нечто такое, что любопытно увидеть, выходящее за рамки привычного, поражающее. Я мог бы, например, написать об Америке, но к чему?... За те десять дней, что я пробыл в Советском Союзе, я увидел столько нового для меня, для моего зрения, столько поразительного, удивительного, и все это толкнуло меня написать книгу. Пожалуй, никак по-другому я не могу вам это объяснить.

– *Можете ли вы рассказать, как вы работаете? Каждый день?*

– Каждый день, в одни и те же часы, регулярно. Я не верю во вдохновение – я верю только в труд, в поглощенность тру-

дом. Вот вы меня спросили, что изменила Нобелевская премия в моей жизни. Труд требует непрерывности – каждый день, каждый день, каждый день. Если останавливаешься, очень трудно взяться снова. Во всяком случае, я в этом уверен. Я говорил об этом в Стокгольме: я не верю во вдохновение, я верю в труд, в поглощенность трудом, это значит ежедневно браться за работу, в определенное время – для меня это три часа дня, работать и не отрываться. Ну, я могу, конечно, оторваться, чтобы выйти купить сигарет и сейчас же вернуться за рабочий стол, – но всегда говорю себе «я должен», даже если я напишу всего две строки за день. Иногда больше двух строк и не приходит, зато в другой раз бывает страница или полторы, и если это делается регулярно... Знаете, я был знаком с виолончелистом Пабло Казальсом, когда он был беженцем. Он мне сказал: «Если я прерву упражнения на день, потом мне нужно два дня, чтобы обрести состояние, в котором я был перед тем; а если прерву на два дня – то мне потребуется четыре дня». Следовательно, есть нечто абсолютно необходимое – непрерывность.

– *Как говорят в России, «труд красит человека».*

– Уж не знаю, красит ли, но, во всяком случае, без труда ничто не делается. Труд и непрерывность дают ритм, каденцию. Если этот ритм, эта каденция не найдены, писать становится чудовищно тяжело: пишешь, как каменщик, который складывает стенку по кирпичику. А когда находишься в движении, в непрерывном движении, обладающем каденцией и ритмом, тогда все в порядке, но надо держаться в русле этого движения.

– *Даже в журналистской работе иногда испытываешь зачарованность этим почти магическим процессом, когда слова, лежа на бумагу, создают что-то, чего мгновение назад еще не существовало...*

– Вы употребили слово «магический». Да, в этом есть что-то таинственное – как вы хорошо сказали, появление того, чего только что еще не существовало. Во Франции, а может быть, и во всем мире жив еще этот романтический миф о словесности, которая выражает нечто, существовавшее до нее. Пока не пишешь – ничего нет! Есть лишь своего рода нерасчлененная магия ощущений, впечатлений. Кстати, об этом хорошо сказал Толстой, я цитировал это в Стокгольме. Он сказал, что нормальный человек, здоровый человек в

каждую минуту своего существования переживает множество воспоминаний, ощущений, чувств, бесчисленное множество. Так вот, это нечто, совершенно неорганизованное, не имеющее скелета, некая каша, – это ничто, всего только каша, и из этого следует делать что-то.

– *Случается ли вам чувствовать себя счастливым, когда вы пишете? Не когда уже написано, а в процессе работы.*

– Не знаю, что вы имеете в виду под словом «счастливый». Если назвать этим словом удовлетворение потребности делать то, что делаешь, то, вероятно, да.

– *Можно ли спросить вас, как вы видите мир, окружающий вас, вы, человек и писатель, глубоко и подлинно аполитичный?*

– Могу повторить то, что я сказал: как бесформенную магму. Дополняя приведенные мною слова Толстого, можно вспомнить еще фразу из «Мадам Бовари». Там говорится, что больная в одно мгновение, как все разом огни фейерверка, видит свой дом, своего отца и т. д. и т. п. Всё разом, подчеркивает Флобер, отдельными, бессвязными картинками. Я думаю, что мы вообще воспринимаем мир фрагментами, картинками, осколками. Думаю, что мысль Толстого и мысль Флобера дополняют друг друга. Так и я воспринимаю мир отдельными картинками, фрагментами, но так же мы все его воспринимаем, мы восстанавливаем нечто, придающее ему связность, поскольку мы привыкли видеть картины, читать книги, но в действительности, если мы задумаемся над тем, как же мир нам является, нас затрагивает, то окажется, что именно фрагментами. Я не вижу вас в целом, я не вижу эту комнату в целом, я вижу все время только фрагменты.

– *Но эти фрагменты, эти осколки – это ведь всегда то, что особенно производит впечатление?*

– Совершенно верно. Когда в Москве меня принимали в Союзе писателей, меня спросили, каковы мои впечатления. Я сказал: «Знаете, трудно сказать, каковы мои впечатления. Я лучше сошлюсь на Пруста, который сказал, что единственные верные впечатления – те, которые память приводит невольно, позднее. Пока же, как говорит Толстой, человека одолевают тысячи впечатлений, и только эта прустовская „невольная память“ отберет то, что наиболее важно и наиболее поразительно».

– Читаете ли вы русских писателей, переведенных на французский?

– Нет, очень мало. Я вообще очень слабо знаю иностранную литературу, да и французскую, как я понял, не слишком-то.

– Но, как можно понять и из вашей Нобелевской лекции, и из упоминаний в ваших книгах, вы читаете русских классиков?

– Ах, классиков? Ну, разумеется. Достоевский для меня вместе с Прустом – величайший писатель во всей истории литературы. Кстати, не только классиков. Я очень ценю русских литературоведов ленинградской школы – Тынянова, Шкловского. Для меня они тоже классики. Это был очень важный период. Они стоят у меня здесь на полках, и я думаю, что в области теории литературы не сделано ничего более сильного. Когда я был в Москве – это не в тот раз, о котором я написал «Приглашение», это было раньше, лет шесть назад, – по приглашению Союза писателей, я заговорил об этой ленинградской школе. Мне в ответ принялись говорить: «Но это формалисты, это устарело...»

– Тынянова как теоретика вы упомянули в своей Нобелевской лекции. А читали ли вы романы Тынянова?

– Романы Тынянова? Я вообще не знал, что он писал романы, я его очень высоко ценю как теоретика литературы, но романы... Впервые об этом слышу.

На обещании найти и доставить писателю романы Тынянова по-французски мы и расстались с Клодом Симоном.

Интервью взяли Н. Горбаневская и Н. Дюжева

Читайте в следующем номере «Континента»

Проза:

**Виктор Кривулин,
Эд Шухмин**

Поэзия:

**Владимир Алейников,
Михаил Мейлах,
Герман Плисецкий,
Владимир Уфлянд**

Публицистика:

**Кастусь Акула,
Роман Зиманд,
Александр Зиновьев,
Витторио Страда**

ЭРМИТАЖ

ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

АВЕРИНЦЕВ, Сергей. Религия и литература. (Статьи, 143 с.)
АКСЕНОВ, Василий. Право на остров. (Рассказы, 204 с.)
АЛЬТШУЛЛЕР, М., ДРЫЖАКОВА, Е. Путь отречения. (350 с.)
ВИЗЕЛЬ, Эли. Завет. (Роман Нобелевского лауреата, 280 с.)
ВОЛОХОНСКИЙ, Анри. Стихотворения. (160 с.)
ГИРШИН, Марк. Убийство эмигранта. (Роман, 145 с.)
ГОРЕНШТЕЙН, Фридрих. Искупление. (Роман, 160 с.)
ДОВЛАТОВ, Сергей. Заповедник. (Повесть, 128 с.)
ДОВЛАТОВ, Сергей. Зона. (Повесть, 128 с.)
ДОВЛАТОВ, Сергей. Чемодан. (Рассказы, 112 с.)
ДРУСКИН, Лев. У неба на виду. (Избранные стихи, 230 с.)
ЕЗЕРСКАЯ, Белла. Мастера. (Сборник интервью, 120 с., илл.)
ЕЛАГИН, Иван. Тяжелые звезды. (Избранные стихи, 360 с.)
ЕРЁМИН, Михаил. Стихотворения. (Сост. Л. Лосев, 160 с.)
ЕФИМОВ, Игорь. Архивы Страшного суда. (Роман, 320 с.)
ЕФИМОВ, Игорь. Как одна плоть. (Роман, 120 с.)
ЕФИМОВ, Игорь. Кеннеди, Освальд, Кастро, Хрущев. (340 с.)
ЕФИМОВ, Игорь. Практическая метафизика. (Философия, 340 с.)
ЖЕМЧУЖНАЯ, Зинаида. Пути изгнания. (Мемуары, 288 с., илл.)
ЖОЛКОВСКИЙ, А. и ЩЕГЛОВ, Ю. Мир автора и структура текста.
ЗА ЧЕЙ СЧЕТ? (Статьи, составитель Ю. Фельштинский, 190 с.)
ЗАЙЧИК, Марк. Феномен. (Рассказы, 184 с.)
ЗЕРНОВА, Руфь. Женские рассказы. (160 с.)
ИВАНОВ, Георгий. Третий Рим. (Избранная проза, 380 с.)
ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ ШЕСТИДЕСЯТЫХ. (352 с.)
КОРОТЮКОВ, А. Нелегко быть русским шпионом. (Роман, 140 с.)
ЛОСЕВ, Лев. Закрытый распределитель. (Очерки, 190 с.)
ЛОСЕВ, Лев. Чудесный десант. (Стихи, 150 с.)
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Д. Маленькая Тереза. (Жизнеописание, 204 с.)
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Д. Реформаторы. Лютер, Кальвин, Паскаль.
ПОПОВСКИЙ, Марк. Дело академика Вавилова. (280 с., 20 илл.)
ПОЭТИКА БРОДСКОГО (Статьи, ред.-сост. Л. Лосев, 256 с.)
РАТУШИНСКАЯ, Ирина. Сказка о трех головах. (Русск. и англ., 128 с.)
РАТУШИНСКАЯ, Ирина. Стихи. (На русск., англ., франц., 140 с.)
РЖЕВСКИЙ, Леонид. Звездопад. (Повести, 270 с.)
РОЗИНЕР, Феликс. Весенние мужские игры. (Пов., расск., 208 с.)
РЫСКИН, Григорий. Осень на Виндзорской дороге. (2 повести, 200 с.)
СВИРСКИЙ, Григорий. Прорыв. (Роман об эмиграции 1970-х, 560 с.)
СВИРСКИЙ, Григорий. Прощание с Россией. (Повесть, илл., 140 с.)
СУСЛОВ, Илья. Мои автографы. (Рассказы, 200 с., илл.)
СУСЛОВ, Илья. Рассказы о т. Сталине и других товарищах. (140 с.)
ТЕЛЕСИН, Юлиус. 1001 советский политический анекдот. (180 с.)
ТИМОФЕЕВ, Лев. Последняя надежда выжить. (Очерки, 200 с.)
ТРОЦКИЙ, Лев. Дневники и письма. (Составитель Ю. Фельштинский)
ЧЕРТОК, Семен. Последняя любовь Маяковского. (128 с., илл.)
ШТЕРН, Людмила. Под знаком четырех. (Повести, 200 с.)
ШТУРМАН, Дора. Земля за холмом. (Статьи, 256 с.)
ШУЛЬМАН, Соломон. Инопланетяне над Россией. (208 с., илл.)

Заказы отправлять по адресу: Hermitage, P. O. Box 410, Tenafly, N. J. 07670, USA

При покупке 3-х и более книг – скидка 20%.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ПОСЕВ»

МАКСИМОВ
Владимир Емельянович

Современный русский писатель. Его творчество одухотворено христианским восприятием жизни и любовью к человеку. Его язык богат своей простотой, а художественные образы впечатляют своей доступностью. Даже советская цензура не могла исказить его творчество, и изданные в Советском Союзе произведения пользовались известностью и любовью читателей. Но особенно ярко раскрылся его талант в произведениях, изданных на Западе. Прежде всего, в романе «Семь дней творения» — эпохальном произведении о судьбах России. Этот роман выдержал четыре русских издания и, переведенный на иностранные языки, вышел в 11 иностранных издательствах. Все художественные произведения В. Е. Максимова вошли в его шеститомное собрание сочинений.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

6 томов, в общей сложности 2300 стр., в твердых переплетах, с тиснением.

Том I: Сага о Савве (повести, изданные в Советском Союзе и сейчас изъятые из всех библиотек).

Том II: Семь дней творения.

Том III: Карантин (роман, в котором глубокая символика переплетена с реальной жизнью современной России).

Том IV: Прощание из ниоткуда (романизированная автобиография, передающая богатейшую переживаемыми, событиями и встречами жизнь писателя).

Том V: Жив человек. (Пьесы, пробивавшиеся на сцены театров, несмотря на «крамольные идеи», в них содержащиеся).

Том VI: Ковчег для незваных (роман, написанный уже за границей и показывающий, что эмиграция не нарушила творческих импульсов автора; образ Сталина в этом романе — один из интереснейших в современной русской литературе).

Стоимость всех 6 томов — 180 н. м. Каждого отдельного тома — 30 н. м.

В отдельных изданиях в продаже все произведения автора за исключением «Прощания из ниоткуда» и «Карантина», которые распроданы. Подробности в каталоге издательства, который высылается по первому требованию.

Книги Максимова на русском языке разошлись в количестве 14 тысяч экземпляров. На иностранных языках они вышли в 35 различных изданиях, не считая специальных «клубных», в таких странах, как США, Англия, Западная Германия, Франция, Италия, Испания, Япония, Израиль, Голландия, Норвегия, Швеция и др.

Книги можно приобрести в любом русском книжном магазине или непосредственно в издательстве:

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt a. M. - 80

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На один год – сорок нем. марок; на шесть месяцев –
двадцать нем. марок.

Цена одного номера – двенадцать нем. марок.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном
представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй
странице обложки) или у представителей «Ассоциа-
ции друзей «Континента»:

США: Вост. побережье – Э. Штейн (E. Sztein),
594 Chestnut Ridge Road
Orange, CT. 06477, USA

Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка
(4 номера)

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера),
начиная с №.....

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком ☐ почтовым переводом ☐
через банк ☐

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804





ЭДУАРДУ КУЗНЕЦОВУ – 50 ЛЕТ

Главные события в его судьбе – первый срок совместно с В. Осиповым и И. Бокштейном, самолетный процесс, незаконный обмен на советских шпионов – сделались вехами



в истории демократического движения в Советском Союзе. И все это оплачено им дорогой ценой: двумя лагерными сроками, смертным приговором, насильственной высылкой из страны. В среде наших правозащитников можно назвать от силы два-три имени равных ему по вкладу в дело духовного и гражданского возрождения современной России. В годовщину его пятидесятилетия мы считаем необходимым еще раз напомнить об этом.

Выбрав свой путь еще в ранней молодости, он никогда не отступал от него ради житейских выгод или политического лукавства. Об этом свидетельствуют все его выступления, дела, книги, две из которых – «Мордовский марафон» и «Русский роман» – давно стали достоянием самого широкого и взыскательного читателя по обе стороны границы.

Как у всякой большой личности, у Кузнецова множество друзей, но не меньшее число врагов. Но, уверены, что даже эти последние не станут оспаривать неизменно присущих ему – верности слову, выстраданной терпимости к иному мнению, великодушной широты. Дай бы Бог большинству из нас быть такими!

В той смутной и опасной эпохе, которую мы сегодня переживаем, Эдуард Кузнецов, в силу своих личных и гражданских качеств, остается для самых разных людей и там и тут одним из тех немногих ориентиров, благодаря которым они сохраняют в себе самое главное для человека – Надежду.

Желаем тебе, дорогой Эдуард, всегда оставаться таким, какой ты есть. И, конечно, еще долгих и долгих лет жизни!

«Континент»



Борис Козлов. «Всякое дыхание да хвалит Господа»
Холст, масло. 120 × 80